

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

П Е Р В А Я

Я Н В А Р Ь

---

М О С К В А

1 • 9 • 2 • 9

Москва, Главлит А 28843.

СТАТ — формат Б/5

Тираж 21.000 экз.

Типография «Известий ЦИК СССР и ВЦИК», Страстная площ., Б. Путинковский, 5.

## СОДЕРЖАНИЕ.

	<i>Стр.</i>
1. Александр МАЛЫШКИН. — Севастополь, повесть. . . . .	5
2. Л. СЕЙФУЛЛИНА. — Выхваль, рассказ . . . . .	47
3. М. СВЕТЛОВ. — Три стихотворения . . . . .	80
4. Вл. ЛИДИН. — Искатели, роман . . . . .	82
5. Бор. ПАСТЕРНАК. — Два стихотворения . . . . .	107
6. Борис ЛАВРЕНЕВ. — Белая гибель, повесть. . . . .	110
7. Петр ШИРЯЕВ. — Двое, рассказ . . . . .	162
8. Геннадий ФИШ. — В Уфе, стихотворение. . . . .	167
9. Илья САДОФЬЕВ. — Встреча, стихотворение . . . . .	168
10. А. ВОРОНСКИЙ. — За живой и мертвой водой. . . . .	169
11. В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧ. — Из воспоминаний о В. И. Ленине. .	203
12. Вяч. ПОЛОНСКИЙ. — Очерки современной литературы (о творчестве Всеволода Иванова). . . . .	216
13. Ник. СМИРНОВ. — Александр Малышкин . . . . .	236

### ДОМА И ЗА ГРАНИЦЕЙ.

14. Б. ПЕСИС. — Франция и Толстой . . . . .	249
15. Н. ЗАМОШКИН. — О третьем альманахе «ЗиФ» . . . . .	255
16. Ф. РОГИНСКАЯ. — Бытовая художественная культура и со- временность. . . . .	261
17. С. ГАЛЬПЕРИН. — По всему свету (от Локарно до Лугано). .	269
18. Б. КУШНЕР. — Южное сияние . . . . .	279

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

А. БОНЧ-ОСМОЛОВСКИЙ. — В. Колесинский «Угроза новых войн» . . . . .	292
А. БОНЧ-ОСМОЛОВСКИЙ. — Г. Донской «Борьба за Латинскую Америку» . . . . .	293

Б. ПУРЕЦКИЙ. — Ирандуст «Движущие силы кемалистской революции» . . . . .	294
Юр. БОРОДИН. — Ел. Драбкина «Грузинская контрреволюция» . . . . .	296
И. СЕРГИЕВСКИЙ. — П. В. Анненков «Литературные воспоминания» . . . . .	296
И. СЕРГИЕВСКИЙ. — А. Островский «Молодой Толстой в записках современников». . . . .	297
Ник. БОГОСЛОВСКИЙ. — Н. Панов (Д. Туманный) «Тайна старого дома» . . . . .	298
Ник. СМИРНОВ. — П. Низовой «Собрание сочинений. Т. I—IV» . . . . .	299
Ник. БОГОСЛОВСКИЙ. — Степан Кибальчич «Поросль» . . . . .	300
Н. ЗАМОШКИН. — Александр Лугин «Джиадэ» . . . . .	301
Анна ШАФИР. — Эльза Триоле «Защитный цвет» . . . . .	302
А. БЕК. — Я. Ильин «Жители фабричного двора» . . . . .	302
Я. ФРИД. — Сальвадор де Мадариага «Священный жираф» . . . . .	303
К. ЛОКС. — Сигрид Ундсет «Обездоленные» . . . . .	304
В номере портреты В. И. Ленина, Вс. Иванова, Александра Малышкина.	

# Севастополь

Повесть

АЛЕКСАНДР МАЛЫШКИН

Мы были моряки, мы были капитаны,  
Водители безумных кораблей.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

**П**рапорщик Шелехов записывал в вахтенном журнале:

«30 апреля... В 11 ч. 45 м. дан сигнал на митинг всем тральщикам, стоящим на рейде Стрелецкая бухта. Митинг состоялся на транспорте «Кача». Старший офицер зачитал воззвание совета матросских, солдатских и рабочих депутатов о всемирном празднике пролетариата—1-е мая. Постановлено в этот день отпустить часть команды на берег для участия в демонстрации».

«14 часов. Вернулись из контрольного траления тральщики «Витязь» и «Трувор».

«18 часов. С рейда Севастополь прошла в море подводная лодка «Нарвал»...

У вахтенного журнала — глаза ненасытного соглядатая. Строчка за строчкой собирает и запоминает на какой-то особый грозный случай все ежечасные события жизни, той, что на корабле, и около, в море. Шелехов, вчерашний студент, на первой своей самостоятельной вахте старается обойтись без подсказов любопытно благоволящего к нему вахтенного матроса и не пропустить ничего.

А на палубе штабного транспорта «Кача» плетется вперевалку вечерняя жизнь. Щеголи из молодых матросов чистятся и охорашиваются, собираясь на ночную гулянку, в Севастополь. Досушивается развешенное поперек палуб матросское белье. В бухте, под бортом «Качи», грязно-серые, струящиеся в тихой вечерней воде корпуса тральщиков, войско мачт, снастей, труб. Там и сям на берегу свалки разоруженных мин, глазастых, красных от ржави. Глухие вздохи машин под ногами, в глубочайших недрах. Шелехов глядит через борт, покуривая, он еще никак не может перестать удивляться...

Вахтенный, пожилой матрос со слезящимся взглядом, подходит бочком, напоминает:

— На флаг не пора, господин прапорщик?

На дне его скучливых глаз — далекая Екатеринославская губерния, парходные гудки на Днепре, ночевки на бахче. Прапорщик его не понимает. Желать, чтобы кончилась эта жизнь? Но ведь она почти еще не начиналась! Шелехов забегают на минутку в офицерскую кают-компанию, где висит расписание закатов солнца, — флаг спускается на судне точно в секунду заката, — и там портрет Александра Федоровича Керенского ободряет его японски-мечтательными глазами. Да, это только начало, только начало прекрасного восхождения. Могучая грот-мачта в пепельной синеве, зеркальные иллюминаторы, отсвечивающие розовой водой, гаснущее, безбрежное надморье...

Команда строится на палубах тральщиков. Церемония спуска флага близится.

На адмиральском «Георгии Победоносце», в Севастополе, в шести верстах от бухты, через две минуты грохотнет пушка.

Шелехов, горделиво замирая, поднимается наверх, на последнюю высоту корабля. Все суда бухты послушно ждут его команды. Здесь, на высочайшей площадке, только неохватный ствол трубы, железные зевы вентиляторов, вдыхающие море, подвешенные на шлюпбалках белоперые шлюпки, плоская бездна берега внизу, сквозь паутину рей, канатов, блоков...

Из шлюпки соскакивает дремавший там румяный, расфранченный горнист, с томной челкой до самых бровей.

— На фла-а-а... смиррр!..

Две шеренги матросов, в грязных парусиновых блузах до колен, покорно окаменевают на палубе. Горнист уставляет в небо трубу, лицо его от напряжения становится плачущим.

Опять — «Зоря»...

Тошно схватывает за сердце. Февральский вечер в осажденных юнкерских казармах, мокрая пурга, а ночью под окнами, в зеленоватом круге фонаря, люди в лохматых папахах, с винтовками. Чего там столкнулись лбами, сговариваются?.. Тогда горнист играл вот так же, закинув в мутную высь безглазое лицо, выплакивая туда тошную свою тоску, царскую службу, темь, темь, темь. Тогда казалось — не пронести уже себя живым через страшную, настороженную невидимыми засадами и убийствами ночь... А потом вышло, что революция — совсем другое.

Шелехов зажмурил глаза, шагнул к самому краю площадки и взвыл, чтобы слышала вся бухта:

— Fla-a-a... под-нять!..

Шеренги внизу беспокойно задвигались и, нарушая все правила службы, любопытствуя, задрали лица вверх, к прапорщику. Матрос у кормового флагштока тоже смутился было, но тотчас же решительно засучил руками и спустил флаг. Шелехов, с'ежившись, почувал неладное.

В ушах отголоском повторилось: «под-нять»...

Это было ужасно... непоправимо...

Флаг поднимают утром, а сейчас... Осёл, надо было флаг спустить... Осрамился на глазах у всех матросов, осрамился в первый же раз!.. Он мысленно с остервенением сбросил себя вниз с этой площадки так, что череп разлетелся на тысячу кусков. — Осёл, осёл! — мельком, беспомощно повел глазами на горниста: тот, шумно продувая рожок, усмехался извиняюще, даже поощрительно.

Прапорщик полез по трапу вниз, как оплеванный.

Вахтенный при виде его сконфуженно повернулся спиной и особенно внимательно стал смотреть за борт, где зауряд-прапорщик Маркуша, в затрапезном кительчике, удил рыбу со шлюпки, намотав лесу прямо на палец. В другой раз и Шелехов посмотрел бы охотно на эту забаву, даже спустился бы вниз, к уютному Маркуше, но теперь невыносимый стыд звонил в нем во все колокола.

Юркнул в кают-компанию, она — пустая (все офицеры вечером уезжают к семьям или на бульварах, на берегу), зажег свет и, прикурнув у стола, начал рвать зубами папироску.

Нет, какой позор!

Взгляд его встретился с глазами Александра Федоровича. Они проносились вперед, в туманы, в тревогу, в славу... Они как бы приглашали встать выше мелких неприятностей жизни.

И прапорщик откинулся назад, успокаиваясь, мечтательно стихая. Ну, что ж, ошибка вполне естественная и простительная для новичка. Но ведь самое главное все-таки еще не начиналось! Оно должно было начаться скоро — в этот вечер, сейчас. Вот тогда... посмотрим, что тогда!

\* \* \*

...Сиротская жизнь научила с'еживаться, мириться с попрошайничеством, недоеданием, грязью. Студент из «нуждающихся»... Каждый вечер Петербург раскидывал до неба зарево сумасшедших, пиршествующих огней. А студент бежал по мокрой панели, вожделеющий, полуголодный, ненужный никому. Горбатая, взвахлаченная шинель с петлицами,—украшение его юности,—выданная из благотворительного общества, позоряще хлестала по пяткам. Женщины, избегая его назойливых, жалобных глаз, отвертывались и смотрели на других... Перед производством в офицеры, когда жутко ликующая толпа, с марсельезой и ораторами, вдруг затопила юнкерский двор и заставила юнкеров разбежаться по домам — за безопасные родительские стены,—Шелехов один, из нужды, пошел кормиться на улицу (на страшную улицу!), потому что ему некуда было больше итти. Предусмотрительно отвинтив с груди университетский значок, слонялся там вместе с солдатами, неотличимый от них в своих коряжистых казенных сапогах, в матросской бескозырке, выпрашивал еду в бесплатных столовках...

Зато он увидел на этой улице, вблизи, что она совсем не страшная. Даже больше,—она заставила его затрепетать надеждами, которые невозможны, немислимы были вчера...

Правда, пиршествовавшие некогда витрины лавок и ресторанов жалко зияли пулевыми пробоинами или трусливо прятались за досчатыми щитами. Но, черт возьми, — то проклятое, истекавшее завистливой, голодной слюной, прошлое с ногами лезло в гроб! Автомобили продирались сквозь митинговое водополье. С них хрипло и восторженно кричали в толпу, пригоршнями разбрасывая листовки, какие-то студенты и офицеры—оттуда, из Таврического дворца, с высот революции. Такие же, как Шелехов! И народ, падая и ликуя, бежал за ними, безымянный народ. Ноздри юнкера раздувались опьяненно. Дни были преисполнены сказочных неожиданностей. Всюду повторялись новые имена, вчера мало кому известные, а сегодня волнующие, пронизанные героическим обаянием. В армии привязанность солдат делала офицерам помрачительные карьеры. Прапорщики и фельдфебели командовали полками. Угрюмый Балтийский флот беззаветно шел за мичманом Раскольниковым.

Было от чего воспалиться мечтам — самым необузданным...

И Шелехову, прапорщику «революционного выпуска», повезло. При розыгрыше вакансий ему досталось южное море. Рассказывали, что в Черноморском флоте пребывала пока идиллическая тишина; мятежный ветер Петрограда и Кронштадта туда не долетал еще... Матросы продолжали отдавать честь и выказывали бравую преданность Временному правительству. Офицеры,—больше из родовитых российских фамилий, столетиями служивших во флоте,—держались попрежнему, как-будто не произошло ничего — с высокомерным отчуждением от черной кости... — Тем лучше! — восклицал про себя Шелехов, мчась в вагоне на юг и едва сдерживая в себе бурное лихорадное кипение,—тем лучше... — Впереди грезилась еще никем не завоеванная страна. Он боялся опоздать, он хотел прежде всех сойти в матросский кубрик.

И вот пришел вечер, когда в первый раз остался с матросами один-на-один.

...Вахтенный приоткрыл дверь, осторожным голосом позвал: — Господин прапорщик, вы бы вышли, сами посмотрели за тую бухту: есть подозрительность...

— Что такое?

Шелехов тревожно выскочил за ним на шканцы. Стояли уже сумерки, бескрайно и недвижно лилось вокруг небо и море; берег тепло мутнел. Вахтенный показывал пальцем за борт.

— Вон за теми камышами огонечек то вспыхнет, то погаснет. Это, может, знак такой? А энти там, в море, принимают.

— Да, да, это подозрительно...

— И ребята внизу смотрят, говорят—неладно, моторку бы, что ли, послать туда, разведать.

— Да, конечно, сейчас же моторку, — обрадованно подхватил Шелехов. — Давайте!



Вахтенный свистнул в дудку, крикнул негромко, накрываясь за перила: — Моторист! Внизу, на полутемной палубе, затопало, пробежало, в каких-то низинных дебрях корабля зычно заорало: «моторист!»... Шелехов спустился на палубу, отдавал распоряжения — разные заведомые, зряшные слова:

— Поедете с приглушенным мотором, без огня...

На него надвинулся в упор как раз тот румяный ухарь с чолкой, горнист, — а Шелехов считал, что он давно где-нибудь в Севастополе, на Приморском бульваре, с портовыми марушками, — баловливо ухмыляясь, просил:

— Разрешите в числе команды и мне, господин прапорщик, на разведку. Скушно!

За ним еще наступали, перебивая друг друга:

— И меня, и меня...

Шелехов, стараясь держаться спокойно и независимо, назначил ухаря-горниста и еще четверых. Мотор где-то под бортом затараторил, заплескал, одушевил вечер.

Разведчики бурей сгрохали по трапу вниз, в кубрики, и тотчас же выросли перед Шелеховым — уже с винтовками в руках. Было весело и невероятно, будто все снилось. Горнист, застегивая патронную сумку, заржал:

— Живьем взять?

— Живьем, — сразу обвыкшись с ним, так же смешливо ответил Шелехов. От парня струилась беззаботность, благодушная удаль — с такими ребятами славно будет жить.

Глухой рокот шлюпки вынесся на середину залива, как-то внезапно стих там, по ровной далекой воде, над которой сверкнула зеленью заморская звезда. Шелехов невольно обернулся, ощутив на себе теплое и близкое дыхание. И заробел: кругом темной молчаливой кучкой сгрудились матросы, словно чего-то настойчиво ожидая.

\* \* \*

Впереди всех заметен был рослый, костлявый, неустанно скаливший белозубую пасть. Шелехов, в полужамешательстве, потянулся, прежде всего, именно на эту улыбку.

Выбормотал первое, что попало на ум.

— А что... разве здесь были такие случаи и раньше?

— А то ж!

Костлявый заходил ходуном, рванул в восторге рубаху на груди.

— А недавно у Севастополя, под той... под купальней. Его так же ж вот ребята с катера, с моря заприметили. Что это, дьвятся, огонек мигает и мигает? А он сигналы давал, сукин сын! Как сзади подкралась, смотрют, — сидит себе под купальней, фонариком грает... И усе, как у буржуа: котелок, манишка, бородка конусом.

— Теперь кто же по этому делу, кроме буржуя, подойдет? — вступился невидный, чувствовалось — хилый, подкашливающий не спеша, рассудительный... — Им на нашу свободу завистно.

Матросы сдвинулись ближе, теплее.

— Вильгельмовы денежки орудуют.

— Они теперь уси ждут, — вдохновенно горячилась белозубая пасть, почти выкрикивала, — они теперь ждут, когда между нами эта партийная драка пойдет, — скажем, кто кадет, кто меньшевик, кто есер. Етой драки не только Вильхельм, а и Миколашка наш ждет. Правильно, ваше благородие?

— Во-первых, господин прапорщик, а не благородие, — с улыбкой, но строго поправил Шелехов.

Матросы засмеялись.

— Он у нас, Фастовец, с пятого года, по старому режиму привык.

— Так вот, товарищ... Фастовец. Видите ли, это не драка, но каждый в своей программе видит какую-то правду, и так уж, собственно, во всякой революции всегда было...

(«Чорт знает, говорю, как репетитор на уроке, надо бы по-другому, зажечь...»)

— Ваше благородие... тьфу, господин прапорщик...

Фастовец несуразно, мучительно развел стиснутые кулаки, застоял даже, торопясь вытолкнуть из себя неподдающуюся, страстно со-трясающую его мысль.

— Так она ж одна, правда! Одна! Возьмите, кто робит... что ему нужно? Земля и воля, во! А это все есть в прохрамме есеров. У нас весь флот — есеры. Какая же есть еще правда? Если вы про кадетов говорите, то кому ихняя прохрамма нравится? Кому?

Он с яростным торжеством выбросил по направлению к офицерскому спардэку длинную, узластую руку, руку землероба. Захлебывались оскаленные гориллы челюсти.

— Та все тому капитану Мангалову, да поручику Свинчугову. Господам офицерам! Ихняя прохрамма... чтоб над нами, как при Миколашке, с аншпугом стоять.

Матросы все сразу заболботали несвязное.

— Мангалов... он три года червивым борщом душил... экономил... А сам, небось, поперек себя ширьше.

— А как Миколашку сшибли, сичас же красную рубаху надел, пузо подобрал, давай около матросов канючить: «И нам, говорит, товарищи, цари-то насолили, ну их к чорту!».

— Воны без мыла в матроса влезут.

Шелехову стало немного не по себе. Услышат еще там, на офицерском верху, подумают, что нарочно подзуживает матросов против своих же офицеров. А Фастовец... вот такие кликуши в Кронштадте накручивали голову толпе, а потом начиналось зверство. К счастью, тот — покашливающий, рассудительный — вступился опять:

— Я так думаю, господин прапорщик... Уси эти прохраммы, пока война, наше народное правительство... должно порешить. Оставить одну, правильную: есерскую. Война кончится, Вильхешку прогоним, тогда на тебе, галди, по какой хошь.

Издаലെка, по седой воде, опять послышался рокот: разведка возвращалась. Мотор разбултыхал и ночь и воду, трап заскрипел под многими взбегающими ногами, сразу стало людно, суетно. Лихой горнист явился перед Шелеховым и, приложив руку к фуражке, рапортовал:

— Дозвольте доложить — никаких происшествиев, кроме 'рыбалки. Просто костер жгли.

— Какие рыбалки-то?.. Рыбалки разные,—хмуро бормотал около Шелехова вахтенный.

— Ну, сеньки из порту, мальчишки. Не знаю, что ль!

Беседа вдруг порвалась. Между людьми стала бездыханная ночная тишина. По земле можно было ходить только на цыпочках. Оказалось, что звезды давно взошли, осыпали купольную, ужасающую пустоту. Одна, самая крупная, звезда сверкала, томилась, переливалась совсем недалеко, где-нибудь над Босфором, роняя в море бирюзовый, тусклый путь. Может быть, шли им сказочные корабли.

...За прибрежной степью, за перевалом, лежал Севастополь невидимым амфитеатром; окна его, обращенные к морю, были черны, наглухо закрыты, чтобы с моря не нащупал подкравшийся враг... Но у кофеен и на темных тротуарах празднично и тесно от гуляющих, разряженных по-летнему, гремят органы кино, в бульварной гущине шопоты и смех: флот вышел на берег. Не там ли где-нибудь и недавняя вагонная спутница, на чьем теплом, сестринском колене продремал он всю ночь среди солдатской давки? Она убежала на рассвете, даже не показав своего лица, смеющаяся, неуловимая, а он, чудак, совсем было воображал ее своей!.. А поезд трубил победно, сразу ворвавшись после гнилой невской зимы в солнечное лето, в горячие, цветущие миндалем сады—то начиналось невиданное еще, выигранное им на счастье царство... И, конечно, она жила там, она ждала каждый вечер, чтобы он пришел, отыскал ее...

«Приду!»—мыслью сказал ей через звездные сумерки, через море.

— А как, ваше благородие... тьфу, господин прапорщик... чи бог есть?

Это Фастовец неожиданно спросил мечтательным бабьим тенорком.

Шелехов нерешительно замешкался. О, он-то имел своего бога: какой-то цветной, счастливый ливень, которым должна скоро хлынуть жизнь. И чтобы эти теплые, по-ребячьи жадно теснящиеся около него, всегда были с ним... Но как передать им это?

Он все же попытался рассказать о звездах, о летящем их тысячетлетнем свете. Матросы глядели вверх, смутно шуршали.

— Как сказка...

— Не сказка, дурень, наука.

Шелехов горячо ухватился:

— Я, товарищи, конечно, не могу вам сейчас пояснить все сразу. Но давайте решим вот что: на-днях же организуем здесь курсы, пригласим еще кого-нибудь и будем обучаться всему по порядку. Раньше вас нарочно держали в темноте.

— Правильно, — зароптали кругом.

— Все одно, делать нечего, на бочке стоим...

— А то приезжают тоже из города разные лектура, морочат голову. Вот недавно один был... сразу видно из каких... Первым делом—все вы, говорит, товарищи, от обезьяны происходите. А ребята, дурни, молчат. Показать бы ему, какой он сам обезьяна, сволочь.

К Шелехову, через плечо других, свесился чубастый горнист, — давно хотел вставить свое слово, наконец, дождался:

— Вы, господин прапорщик, в Петрограде на студента учились... Наверно, знаете... Разрешите один вопрос, конечно, по житейскому делу. Вот промеж нас фотография Гришки Распутина имеется, все в натуре, конечно. Скажите, неужто в самом деле такая природа может быть в человеке, что даже глаза щекотит?

Матросы повеселели, многозначительно затолкались.

— Кто про что, Любякин про одно!

— А через што же его Сашка любила!

... Шелехов ушел, а матросская кучка все еще серела у борта, тая понемногу. Он взобрался на спардэк, стоял там по плечи в пылающем звездном небе. О чем они гуторят дремотно, не о нем ли? Конечно, о нем... «Все хорошо, чудесно,—подумал он, вытягиваясь потом на койке, в своей каюте,—но главное завтра... что еще будет завтра?..». Звездная тьма быстро понеслась над ним, его приняли теплые зыби.

Прапорщик спал одетый, как и полагалось на вахте. Каюту отвели новичку похуже, внизу, вровень с матросской палубой, так что слышно было, как близко внизу охали и гулко возились машины... Среди ночи Шелехов проснулся. По железному коридору, куда выходила дверь каюты, оглушительно ботали сотни ног, разухабистая глотка кромсала тишину: го-го-го-гоо!.. То матросы вернулись с берега, с гулянки, рвались к жратве. За железной стенкой, совсем близко к Шелехову, какой-то, чавкая на ходу, похвалялся:

— Вот послухал бы, на бульваре один экипажный за Ленина говорил. Ох, здорово! Тут к нему в светлых пуговицах подошел, в роде техника, наоборот стал крыть. Так чуть не в драку!

— А он кто, тоже из экипажных?

— Кто, Ленин-то?

— Ну да.

Другой ответил не сразу, вкусно почавкал сначала.

— А шут их разберет...

— У нас тоже, новый этот прапорщик... орательствовал. Видать, голова!..

Наверху, на спардэке, ходил вахтенный матрос: ему спать не полагалось. Он мигал уныло на звезды, боролся с дремотой, с теплыми бахчами на Днепре, с телушечьем — из хлева — домовитым зовом... Утром сбрыхнули, что скоро начнут демобилизацию, первым делом с его — девятьсот первого и второго годков. Потом на палубе прапорщик и Фастовец наговорили иное, сурьезное, беспокойное, и никакого конца-края еще не было видно... Телок кричал в темноте, на берегу, кричал так щемяще. Вахтенный слушал-слушал и скрипнул зубами...

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Офицеры, ради праздника, прибывают из города с первым утренним катером — еще до под'ема флага. Впрочем, спешат, главным образом, серебропогонные, офицеры рангом пониже: прапорщики военного времени, в роде Шелехова, поручики и капитаны, произведенные за выслугу лет из кондукторов-подпрапорщиков или из торговых моряков. Словом, те, что населяют и и ж н ю ю кают-компанию.

Золотопогонные, коренные флотские офицеры прикатят позднее и не на катере, вместе с матросней, а отдельно: на моторке или на бригадном автомобиле. Питомцы привилегированных училищ, знаемые во флоте имена: Скрябин, брат композитора, первый выборный начальник бригады, избранный матросами вместо прежнего натрал-брига-немца за тихость. Начальник дивизиона Бирилев Вадим 2-й, внук министра. Начальник дивизиона Дурново, брат министра. Старшие лейтенанты, просто лейтенанты, мичманы. Обитают они в рубке начальника бригады — наверху.

Нижние поднимаются туда не часто, только по вызову, с благоговением.

\* \* \*

Серебропогонным — не праздник, а позорище. В кают-компании томятся, выложив руки на малиновый ворс скатерти, барабанят пальцами, курят почти молча. Пожилой поручик Свинчугов, черпая папиросу из чужого портсигара, горько язвит над самим собой и над всеми вместе.

— Тебе морду бьют, а ты иди да еще смейся, как сукин сын!

Поручик весь в кислых едких морщинах, словно от нутряной боли. Должно быть, поэтому он никак не может выносить тишины.

— Дожили, — скрипит он, жуя морщинистые розовые щеки. — Послушал я... Вчера один товарищ выступал, кочегар Зинченко, которого наши в Петроград «делехатом» посылали.

Офицеры оживляются, любопытствуя.

— Ну-ка, расскажи, что он там?

— За цейггаузом собрались, в явь-то еще не смеют... иль совестно. Орателя, как полагается, на бочку. Маркуша, дай-ка, товарищ революционный, папиросочку! Да. Вот этот самый Зинченко... Да его,

сукина сына... давно капитану говорил, пошли его, сукина сына, куда-нибудь на Дунай, в Сулин, заразу!..

— Ну, ну, — жадно наседают офицеры.

— Вы, говорит, позорно здесь спите, товарищи. В Кронштадте, говорит, давно все дословно порешили: офицеры заместо серых палубу дряят, пищия с общего котла, а которые против—сичас к ногтю.

Тучный, одышливый командир «Качи», капитан Мангалов, задыхается, багровеет.

— И здесь... резню, значит... хотят?

— Свои, а хуже немцев... позор!

— Немцы, говорят, ихнему Ленину тридцать миллионов чистяком отвалили, да не бумажками...

Угрюмый взор Свинчугова цепляется за портрет воспаленного Александра Федоровича, которого еще вчера здесь не было. Морщины поручика сразу делаются плачущими.

— А это кто же нам жидо удружил? — обращается он к Мангалову. — Очень приятно.

— А кто, я, что ль?—обидчиво вывертывает толстые губы Мангалов. — Все энтот, новенький... Да, говорят, еще ночью на палубе с матросами шебаршил... чорт его знает там что...

За столом настораживают уши.

— С матросами? Значит, из демократов какой-нибудь.

— Эт-та нов-вость... — зловеще выдыхивает Свинчугов.

У Мангалова обида раскипается пуще. На вверенном ему корабле с самого переворота тишь да гладь. А теперь мало этого Зинченки, изволь, порти себе кровь из-за своего же брата... лазит, мутит там. Щеки у капитана пузырятся, багрово вспухают от гнева.

— И ето что же: на вахте, а дрыхнет до сих пор. За него вон... старший офицер на уборке. Ето, господа, безобразие.

Ражий, четырехугольный, стриженный ежиком ревизор Блябликов с приятностью приходит ему на помощь.

— Позвольте,—говорит он, жеманно ломая брови,—тогда очень просто: списать за несоответствием и никаких. Зачем между собой лишние неприятности наживать. Вы—командир, имеете полное право.

— Да как же так, сразу. Спишешь, а он... побежит к товарищам в кубрик, нагадит.

— Проучить, — желчно скрипит Свинчугов, — чтоб сукин сын приличие знал.

Из-за стола одобрительно подгигикивают.

— Правильно!

— Поручик сумеет, завяжет в стропку.

Поручик славится в бригаде своим скряжничеством и сварливым, похабным языком.

— Мы на значок не посмотрим, что с ниверситетским образованием. Мы сами у Дуньки на Корабельной слободе высшее образование произошли!

Кругом ржут,—словно гвозди выдирают — навзрыд, со скрежетом, с натужными слезами на глазах. Портсигары, с непривычной щедростью раскрытые, тянутся со всех сторон к Свинчугову.

Мангалов, строго напыжившись, кличет вестового.

— Ротонос, ступай, разбуди этого... прапорщика, скажи, командир приказал. Это, скажи, какая же вахта!

Кают-компания прокашливается, приосанивается, предвкушающе потирает руки. Есть на ком хоть немного выместить неизносимую, червем присосавшуюся обиду.

А корабли стоят в солнце.

\* \* \*

— Сейчас, сейчас! — кричит Шелехов в ответ на стук вестового. Первое, что он слышит вприсонках — это плеск, счастливый, наполняющий всю вселенную, какой-то сияющий плеск. Прапорщик с удивлением открывает глаза. Но ведь это же море! Наверху, на палубе, праздничное матросское топанье... Он совсем забыл про вахту.

Наскоро подвязывает кортик, беспечно напевая. Ощущение полузабытого, радостного, вот-вот готового опять свершиться, проникает все вещи как музыка. Ах, да, это вчерашние сумерки на палубе. Матросы... И еще то, что случится сегодня.

Осталось ждать, может быть, час — два...

Сердце его бурно падает, ноги малодушно слабеют. Вообще, не нелепая ли затея все это?

На палубе тенистая свежесть воды отрадно опухивает воспаленное лицо. Он только-только просыпается здесь по-настоящему. Вон уже подан к дамбе однотрубный и плоский «Джузеппе», на который хлынет скоро разряженная, бурливая матросская толпа и торжественно пронесут бригадные знамена на праздник, в Севастополь. Говорливая кипень манифестации, дредноуты и крейсера на рейде, в бахrome праздничных флагов, стенание оркестров... Здесь, на «Джузеппе», где-нибудь и его место, — наверно, вон там, пониже капитанского мостика, где жмутся обычно офицеры. Место, на котором случится...

Замирая, он даже видит на миг под собой гиблый, хватающий за сердце водоворот голов и глаз.

Сейчас пронесется там та чудодейственная волна, которая может подхватить и вознести, дать власть в тысячу раз больше и действительнее той, которую знает офицерский спардэк, погоны, чины. Только дерзнуть, только во-время схватить обеими руками дающееся однажды счастье...

Брюзгливый голос капитана Мангалова низводит его с этих мечтательных высот:

— Вы бы внимательнее, прапорщик, следили за своими обязанностями. Митинги митингами, да! А когда на вахте... не митинги, а вставать надо во-время... при уборке присутствие обязательно, да!

— Есть! — бесчувственно отчеканивает прапорщик. А самому — подпрыгнуть бы, прыснуть прямо в это ожирелое, полное достоинства пыхтение. — «Подожди, — сладко с'еживается он про себя, — подожди, туша, будет тебе сегодня сюрпризик!».

В кают-компании прохладно, сумрачно, тесновато от серебряных погон. Через перекрестный галдеж просеивается уютное звяканье ложечек в стаканах. Прапорщик совсем не замечает, что общий разговор при его появлении как-то сразу, подозрительно глохнет. Он хватается «Русское Слово» — конечно, там последняя речь Керенского, он рыщет глазами по строкам и тут же торопливо прихлебывает чай и ломает хлеб. Чудесный тепловатый хлеб, о каком в Петрограде нельзя и мечтать, масло мгновенно тает на нем, и это страшно вкусно, особенно корочки!.. И Шелехов забывчиво ломает корочку за корочкой, откидывая мякиш обратно в тарелку, к пущему возмущению своих чинных, многозначительно переглядывающихся соседей. — Господа, Керенский, министр Керенский опять выступал перед солдатами, вы читали?..—Но он никому не дает газету, он впиается в нее сам, восторженно и ревниво холодея...

А Свинчугова уже подталкивают со всех сторон нетерпеливые взгляды: когда же?

Поручик многозначительно поигрывает вислыми, рыжими, похожими на солдатские усы, бровями. Зачинает издали.

Сначала что-то насчет прихорашивающихся на палубе матросов.

— Куда до них нашим молодым прапорщикам, задний ход. Теперь на бульварах всех девчонок затралят!

— Средства, средства-то откуда? — подзадоривает кто-то.

Свинчугов смиренно ехидничает.

— Теперь все — народное достояние, все наше... Брезента с одной «Качи» пудов пять разбазарили. Как это по-вашему, по-демократически, молодой человек?

Но Шелехов не слышит недоброго подхихикивания, не видит тесно и злорадно навалившихся на него глаз... Он отделяется от Свинчугова кивающей, рассеянной улыбкой и продолжает самозабвенно тянуть чай, уткнувшись в газету. Над палубами, словно спохватившись, раздирающе, отчаянно кричит рожок.

Сбор!

Шелехов вздрагивает, пробуждаясь. Как, она уже подошла, страшная минута? Последний глоток чая не проходит через спазматически сжавшееся горло... Сейчас же встать, выйти на ветер, успокоиться... Но на пороге его останавливает скрипучий голос Свинчугова:

— А это как... по-демократически? Корочки-то обломал... а другим не надо!

Шелехов оборачивается недоуменно — неужели это ему?

За столом омерзительно прыскают, и тот же голос противно-ласкающе в'едаётся в слух:



— Сласти-ик!

Словно плетью отстегал. Гадко, лицо позорно пылает... Хорошо, что следом выходит прапорщик Маркуша и утешающе берет под руку.

— Вы на эту старую мотню не обращайте внимания. Он на всех, как цепной... Мы уж привыкли.

Маркуша да еще старший офицер «Качи», Лобович, вообще покровительствуют новичку. Это они ознакомили его с кораблем, с первейшими обязанностями. У Шелехова немного отходит от сердца, но он все-таки обиженно бурчит:

— Я не понимаю, с чего они вдруг...

— А ну! — беззаботно машет рукой Маркуша.

И, подпрыгивая, щурится лениво за борт, на ослепительную воду. Вообще, весь он потертый, ленивый, козырек у него всегда сдернут на нос, а затылок от этого — задорный... Маркуша — из тех немногих офицеров, что за панибрата с матросской палубой; при старом режиме даже пострадал не однажды от начальства за совместную выпивку с матросами, и это на первом мартовском митинге припомнили ему: из вахтенных выбрали в ротные командиры. Шелехов, стыдясь самого себя, иногда краешком даже чувствует в нем соперника. Все кажется, что хитроватенькие, соловеющие от солнца глазки еще не сыты, тоже ждут чего-то...

А вместе с тем люб ему Маркуша.

— На манифестации будем рядом, а?

— А чо ж!

На палубы вываливаются из кубриков с гомоном и топотом. Трапы скрипят. Деревянея, с ужасом созерцает Шелехов начинающуюся суету: как проходит наблюдать за посадкой старший офицер — мого-но-рослый, похожий на британца детина, с потухшей трубкой в зубах, как берег закипает бело-синими форменками, как теснятся из кают-компаний, выпячивая с достоинством груди, офицеры в ослепительных своих кителях.

Повременить бы еще минутку...

Нет, толпа уже ухватывает и тащит его, врозь от Маркуши, по трапу, под которым ядовито сияет и покачивается вода, по жаркой мостовой, проталкивает на зыбкую сходню «Джузеппе», прижимает там куда-то в угол, к зарешеченному люку, из которого веет нефтяным теплом машин. Кругом сперлись матросские груди, плечи, не видно ничего, кроме кусочка неба. Оглушительно грохочет и шипит лебедка.

«Джузеппе» отваливает.

У Шелехова такое чувство, что сейчас начинается его всенародная казнь...

\* \* \*

Тральщик крутит по небу огромную, спершуюся народом носовую палубу, нацеливает туда, где бездонно синее море прорыв в берегах.

«Как только выйдем за бухту, тогда...» — с содроганием отсрочивает Шелехов жуткую минуту. Но «Джузеппе» как-будто нарочно спешит дать полный ход, потрясаяще вздыхая всеми машинами. Сразу светлеет и запекает ветром над матросскими головами. Море! Шелехов, впрочем, не видит его за толпой. Только справа, на далеких плоскогорьях, преступил мгlisto-белый Севастополь. Пора.

Он трогает за руку стоящего рядом боцмана с «Качи». Тело кажется до тошноты опустошенным, легким, только сердце хлыщется с яростной назойливостью. Ссохшиеся губы еле повинуются.

— Помогите мне приподняться... вот сюда, на трубу...

Боцман с испугом смотрит, не понимая, но, пока прапорщик карабкается, послушно поддерживает его за локоть.

Палуба с народом теперь внизу, под ногами. Ровное, веселое от солнца поле голов, ленточек, белых доньшков фуражек. И вот она, — вся видна здесь, — великая водная вселенная, одичалая, краями уходящая в небо. Одутлые, кружительные валы бегут рядом с «Джузеппе». На Шелехова никто еще не обращает внимания, разговаривают, дремлют...

— Товарищи! — вдруг с отчаянием выкрикивает он.

И сразу точно просыпается на этой отчетливой, самого его ужасающей высоте. Зачем он здесь? Зачем эти вскинутые на него изумленные глаза, тысячи глаз, загорелые скулы, белозубые рты, оцепившие его беспощадным, не пускающим никуда вниманием? Вот она пришла — беда, непоправимая, позорная. Уже поздно назад...

— Товарищи... — он с мучительной спазмой наглатывается воздухом, придерживает насильно рукой бешено играющее сердце. — Я хотел сейчас несколько слов о празднике... который мы... сегодня... («...празднуем?... чествуем?»).

— Который чествуем... (все пропало, скандал!).

Он на минуту останавливается, чтобы надышаться. Не видя, смотрят на всех его жалобные, прыгающие глаза. Если б эта толпа хоть на миг забыла о нем, не глядела с таким пристальным пугающим вниманием, занялась бы хоть прежними разговорами... Он сразу забыл все приготовленные слова. И дышать стало нечем...

Замолчать разве сейчас, слезть, уйти куда-нибудь, на фронт, хоть в рядовые попроситься?

Все же, пересиливая рябую пляску в глазах, он выдавливает последний воздух из груди. Что-то скороговоркой лепечет о далеких рубежах, о далеких братьях, которые тоже выйдут в этот день, которые тоже...

Ему вспоминается вся речь, она до ужаса, до бесконечности длинна, каждое слово в ней весит удушливые пуды, не докрякать, не донести...

— И в этот день мы... матросы и офицеры революционного флота... сбросившие с себя... смрадные цепи... гнилого самодержавия... Мы, сильные своим революционным единством...

Еще усилие.

— ...протянем к ним братскую руку...

В грудь неожиданно вливается блаженная широта и легкость. Что-то изменилось, сдвинулось вдруг. В мире стало, как в раю... Слова, которые он бросает, наливаются душой и силой. Он чувствует как внизу пробегает послушный ему холодок восторга.

— И тем, в Берлине, братьям-рабочим, труженикам... И им крикнем через окровавленные окопы, через штыки, через ураганный вой: — Мы не против вас, мы против мирового жандарма Вильгельма...

Он уже, как властитель, смеет теперь наклониться над толпой, спросить этот океан преданных ему глаз:

— Верно?

В ответ, пугая даже его самого, срывается залпом глоток, орет накопелое:

— Арравиль-на-а!..

Наверху ветер бьет в лицо, море кругом колышет и несет свою синеющую вечность. Шелехов один над морем, над зыбью человеческих глаз. Не человек, а тугой, могучий парус... Это он мчит и мчит вперед зыблющееся, послушное судно.

— Мы скажем им: пролетарии всех стран, соединяйтесь! В борьбе обретете вы право свое... Ура!

— Уррра-а!.. — беснуются внизу, фуражки летят вверх.

Шелехов слезает неверными шагами на палубу, опьяненный, мутный, счастливый. Теперь заплачено за давнюю униженность, за вчерашний флаг, за корочки, за все. Хочется забиться куда-нибудь в безлюдный угол, остаться с самим собой, смеяться, плясать над своим лучезарным богатством. Он почти не слышит, как поднявшийся на его место рябой боцман кричит:

— Вот это, ребята, нам пример... Побольше таких ахвицеров. Тогда, двистительно, крышка суке Вильхельму...

Офицеры сидят на корме окостенелые, прямые. У Мангалова на лице мучительный, оскаленный прищур — от солнца что-ли?.. А город наплывает белостенными уступами зданий, шпилями и бульварами набережных, жаром облитых солнцем крыш. Стороной проходя, гортанно торжествуют трубы. Опять она, «Марсельеза»! Через толпу с трудом продирается Маркуша — с улыбкой не то льстивой, не то обиженной...

— Теперь вас выберут, — бормочет он Шелехову, делая кислое поздравляющее лицо.

Шелехов расцветает счастливой, непонятливой улыбкой.

— Куда!

— Выберут! — с горечью, завистливо машет рукой Маркуша.

И стоит, томится.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В гулком, зеркально-паркетном зале Морского Собрания командующий флотом, адмирал Колчак, делал доклад.

Командующий сказал, что считает долгом своей совести заявить... Его черные молдавские брови на клювоносом лице слагались в страдальческий, невыносимо страдальческий треугольник. Заявить, что... В зале присутствовали лишь величавые, седоусые: командиры бригад, соединений, отрядов, дредноутов, никого кроме, — они ловили каждое слово, едва не привставая, с благоговейным состраданием.

— Заявить, господа, что настоящее положение армии и страны...

Еще не зажигали огней; стекла высокомерных портретов времен Нахимова, Тотлебена, Севастополя пятьдесят пятого года бирюзовели в полусумраке. То отсвечивало вечернее море.

Море плескалось тут неподалеку, напротив, за белыми арками Графской пристани, плескалось, ходило, дыбилось мутно-зелеными полотнами. Оно угуливало за рейд, в котором плоско лежали и мглились корабли. Оно теряло, наконец, берега, становилось дико-безлюдной, подобной тундрам, пустыней, погребавшей в своих безднах целые миры, целые ночи углекислоты, окслизлостей, тысячелетних утопленников, — дико несущейся и кипящей пустыней, не знающей ничего, кроме своей сумасшедшей пустоты и неба, неба, неба...

А что дальше, за морем? Тихая Шехерезада садов, золотой рог на бледном восточном небе? Или только в снах такой Босфор?

У колонного под'езда Собрания бело-синия любопытствующая матросская толкучка. Ветер холодит сытные голые шеи, налетая из-за бульвара, с моря. Экономических денежек теперь на кораблях не полагалось, вынесено постановление: каждый день — жирный красный борщ, чтоб ложка стояла, на третье—сладкое—компот, кисель. Шеи, наливные, жаркие, хорошо прохлаждало из-за бульвара. Между прочим:

— Чегой-то там говорят, говорят...

— Может, опять Миколашку наговорить хотят?

— Н-но, браток, там сам Колчак!

— А что тебе Колчак?

— Н-но, браток, Колчак не даст. Колчак сам в есеры записался!

Ветер барахтался, играл газетными и журнальными страницами в соседнем киоске. На одной из обложек — лохматый, чистый старичок в очках, по колена в луже, пропускал меж ног целую флотилию: злоба дня, министр Милюков-Дарданельский. Пышные кипы «Утра России», «Русского Слова» — это все о том же, о севере, о раскаленной земле, на которой озоруют удушливые толпы, заваривается страшная чортова неразбериха... Копеечные, редко настроенные листки большевистского «Социал-Демократа»...

Вот оно где, самое преступное, безыменное, пронырливо-проползающее всюду. Хотят и здесь повторить Кронштадт?..

Командующий приехал с севера, с раскаленной земли Петрограда, он был принят Временным правительством, присутствовал на его заседаниях, мог ознакомиться с положением армии, флота, всей страны. Командующий сказал...

Да, да, его, вождя флота, слушали благоговеино.

Верно... Вот так именно думали все лучшие люди России. Вот именно казалось... что потрясенная, но обновленная родина... теперь вспомнит о великой исторической миссии Черноморского флота. Глубокая ошибка... или косность старого правительства, заставлявшего флот придерживаться осторожных оборонительных действий — в то время как он два года господствовал над морем, заперев турецкий флот в Босфоре... Враг истомлен... Именно теперь, казалось, настал миг — соединенными усилиями армий и флота прорваться в проливы, к европейским морям. В проливы! Шехерезада садов, сказочный рог на бледном турецком небе. Черноморский флот будущего, глядящий в океаны.

— Но...

Адмирал снисходительным, но повелевающим взглядом пресек готовую было сорваться, готовую бесноваться у его ног восторженную бурю. Он считал долгом своей совести заявить...

— Что Временное правительство — только тень власти...

— Балтийский флот, большая часть армии — абсолютно не боеспособны.

— Глава правительства, господин Керенский (между нами) — болтливый гимназист.

— И что только доблестный Черноморский флот, сохранивший свою боевую мощь и патриотический дух, только он...

Орудийный грохот, ворвавшийся с моря, помешал закончить адмиралу. Звенели хрустальные бирюльки люстр. В зале задвигались и заскрежетали стулья. Офицеры торопились встать, руки по швам. То был сигнал к спуску флага, и они хотели пережить священную минуту вместе с обожаемым флотом. Через улицу, на кораблях рейда, играли горны, флаги опадали с кормовых флагштоков, на палубах белоштантные команды цепенели на вытяжку.

Вот он, флот.

Дредноуты, почти неподвижно вкованные в сумеречную, лазурную воду: «Александр Третий» назван теперь «Свободной Россией», «Екатерина» — «Волей»... На каждом тысяча двести человек команды и сорок восемь орудий, из которых двенадцать дальнебойных, двенадцатидюймового калибра. Их жерла держат взаперти в Босфоре весь турецкий флот.

Серочугунные, похожие на соборы, броненосцы: «Иоанн Златоуст», «Три Святителя», «Евстафий», «Пантелеймон», — тот самый, что одиннадцать лет назад назывался «Потемкиным», — «Ростислав»... Они дряхлеют, но еще бывают походы, когда имена преподобных изрыгают шрапнель и смердящее пороховое пламя.

И миноносцы — трехтрубные и четырехтрубные игруны, клички которых придумывались, наверное, за чаркой, под гопак придворных плясунов, которым в такт разнеженно поигрывала царская нога в лампасной кучерской шароваре... Готовые мчатся и разить и согнуть ухарски в пучине, бескозырки набекрень.

— «Беспокойный», «Гневный», «Дерзкий», «Пронзительный», «Быстрый», Громкий», «Поспешный».

— «Счастливый», «Строгий», «Свирепый», «Сметливый», «Стремительный».

— «Живой», «Живучий», «Жаркий», «Жуткий», «Завидный», «Заветный», «Зоркий», «Звонкий»...

Двухтрубные старики, с именами золотоплечих, убиенных за престол: «Лейтенант Шестаков», «Лейтенант Зацаренный», «Капитан-лейтенант Баранов», «Капитан Сакен», «Лейтенант Пуцен». Быстроходнейшие красавцы — «новики», полукрейсера «Гаджибей», «Фидониси», «Калиакрия», «Керчь», несущие в своих недрах нефть и электричество и новейшие торпедные аппараты. Подводные лодки — стодесятитонные, двухсоттонные, пятисоттонные — «Лосось», «Судак», «Карась», «Карп», «Краб», «Кит», «Кашалот», «Нарвал»... Подводные крейсера — «Нерпа», «Тюлень», «Морж»... (Но «Морж» два месяца не возвращался из похода; его пловучие горницы с шестьюдесятью человек задохшейся команды, так и не узнавшей о революции, висели где-то в глубине, в панцырных сетях Босфора.)

И пузатые, густо населенные огромные транспорты, пловучих заводов, тяжеловозных блокшивов. Пароходы пассажирских линий, переделанные на тральщики и гидрокрейсера, пловучие краны, яхты, канонерские лодки, ржавые остовы корабельных кладбищ, засоренные углем, чугуном ломом, грязной водой, узины доков, чумазая портовая кипучка...

Флот!

А на кораблях и в многоэтажном казарменном городке полуживого экипажа, на горе, сорокатысячная, румяная, крепкогрудая сила, довольная своим «революционным» адмиралом.

— ...Говорят-говорят, да Миколашку наговорят на нашу шею.

— Все — и Муляров там, и Кетриц там, и Петров там... Самые контры, сволочи!..

— Н-но, браток... Колчак — он не даст!

— Про него сам Керенский... знаешь, как сказал?

— Да я за Колчака не говорю... я за этих...

В тот майский вечер, как всегда, катера с кораблей подчаливали после спуска флага к Графской один за другим, высаживали для гулянья толпы матросов, мичманов, прапорщиков. Офицеры проходили мимо нижних чинов не глядя, чтобы не попасть в неловкое положение: они не были уверены, что и в этот вечер им еще не придется отдавать честь. Но матросы улыбались навстречу сытно, по-доброму — от красного, жирного борща, от сладкого. И отдавали

честь — правда, уже с какой-то снисходительной, нарочитой молодцеватостью, которой деликатно замаскировывали добровольную поддачку, — но отдавали... А мичманы сразу становились зрячими и готово подхватывали ее, даже с некоей осанистой небрежностью. И мичманы самоуслажденно думали про себя еще раз: «Да, брат, у нас не Кронштадт».

...В тот вечер командующий сказал в Морском Собрании:

— Правительство, с одной стороны потворствующее разложению армии... бессильное... с другой стороны ищет опереться на мощную надежную силу. Эту опору, господа, оно видит в нашем Черноморском флоте.

(Ропот:

— Для них берегли?

— Пусть отказываются от власти!..

— И здесь устроят Кронштадт, да?)

— Господа, — возвысил голос командующий, — не время считаться ошибками. Великая родина гибнет на наших глазах. Допустим ли это, имея хоть малейшую возможность спасти? Имея доблестный, крепкий своей моральной силой флот? Господа, призываю вас как верных сынов родины. Призываю поклясться честью дорогого Андреевского флага! Завтра же все — на суда, в команды, в роты... Настает час, когда Черноморский флот должен...

(После, ночью, в каютах, на спардэках, в постелях шопотом рассказывали, что «многие рыдали»...)

А на рейде, в пепельно-синем вечернем тумане, корабли разбухали в чудовищные дымовые силуэты; корабли, как соборы, тонули в тумане.

А на улицы Севастополя, как всегда, высыпало беспечно гуляющей зыбью бело-синих щегольских форменок, золотых и серебряных плеч, снеговых кителей, золотобуквенных лент.

Всюду флот — в кофейнях Нахимовской, у молочно-синих фонарей кино, на смеркающихся бульварах, у киосков. Там газетные листки доносили удушье, взбаламученный, опасный гул, истерические крики накрывающейся над пропастью страны...

Наставал час, когда Черноморский флот должен был спасти Россию.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Кто-то на палубе подбежал к Шелехову сзади, сжал крепкими пальцами бока, смешливо дышал в ухо.

— Большевик, большевик?

Два длинных, плоскотелых тральщика, гремя цепями, неуклюже швартовались в бухте после работы. Море зернилось предвечерней желтизной. Со спардэка только что проиграли на митинг. Готовился выступить перед матросом сам начальник бригады, Скрябин. Оглянув-

шись, Шелехов встретился со смеющимся, длинным, в печоринских баках, лицом мичмана Винцента (матросы звали его — Вицын), минного офицера. Оттуда, с золотопогонного верха.

— Я хочу с вами познакомиться, серьезно, а?

Горячие черносливные глаза смеялись заигрывающе, избалованно, как женские. Голова чуть-чуть тряслась — это оттого, что мальчишка едва не прикончили в кронштадскую ночь. Он обнял Шелехова, прижался к нему щекой.

— Какой же я большевик?

— Ну да, ну да, говорите! Послушали бы, что сейчас про вас Мангалов в кают-компании рассказывал. Вообще, вы симпатяга, я сразу увидел, только зря вы тогда на катере выскочили. Пойдут теперь неприятности...

— Какие неприятности? — недоверчиво спросил Шелехов.

— Ну, мало ли какие... Слыхали, что адмирал говорил? Вообще, ему дана вся полнота власти, да-с! Есть, говорят, даже секретное предписание насчет агитаторов. Ну что, ну что, большевик! А Мангалов, между нами, здорово на вас сердит... упечет теперь, если захочет, в Сулин куда-нибудь, в Трапезунд, к чорту на кулички. А, большевик!

— Да я же повторяю, что не большевик! — злобно возмутился Шелехов. — И никто меня не посмеет никуда упечь. Руки коротки.

— О-о! — радовался мичман, пихал его коленом под колено, опять тискал щекотно бока. — О, достал огня из прапорщика, знамени! Ну, да чорт с ним, идем ко мне, я одну штучку покажу, ахнете.

По трапу вниз стопывали матросы, иные уже брели кучками по набережной, к береговой рожице, где копился митинг. В этот час, по мановению командующего, митинги начинались на всех судах, в командах, ротах. Железная рука адмирала, незримо и повелительно витающая над флотом, дощупалась и до бригады траления. А матросы — что? — исполняли службу, брели.

Не революция ли сама истекала желтым, тошным закатом?..

В полированной мичманской каюте было мглисто и душно от задернутых голубой марлей иллюминаторов. Хозяин подставлял стул, суетился, стал нежным, как друг. Он вынес на свет кусок чего-то зеленовато-серого.

— Из глины, смотрите, сам лепил. Узнаете эту рожу?

Сразу узнать было трудно. Так привычно-знакомые очертания комнаты, в которой живешь, измененные сумерками утра, пугают и тешат своею неузнаваемостью. Внезапное прояснение заставило Шелехова отвращенно содрогнуться. То был Александр Федорович, невыносимый кумир, но какой Александр Федорович! Тот же летящий вперед ежик на голове, готовые стремительно сощуриться глаза, но глаз, собственно, не было, как и у всякой гипсовой головы, в глазницах пухли одни закатившиеся белки. Губы развалились в дурьей, окостенелой улыбке; кончик прикушенного, распухшего языка просовывался меж зубов.



Революционный министр был казнен, удушен.

Видно было, что художник с любовной, смакующей тщательностью уловил все мельчайшие детали его исключительной, предомгильной гримасы.

...На минуту даже стало: не мичман, а он, Шелехов, провалился когда-то ночь в кронштадской трупной свалке и вот, смердящий, опять смеется, ходит по земле.

Мичман испытующе хихикал, суетился.

— Вам нехорошо? Ерунда, один момент. Смотрите, ровно одиннадцать движений.

Длинные выхолненные пальцы, поросшие реденькой черной шерстью, сдавили глину в бесформенный ком и забегали по ней, вкрадчиво ее приминая. Между делом мичман не переставал болтать:

— А вы давно во флоте? Вы видали когда-нибудь кавторанга Головизнина? Маленький, красный, с белым георгиевским крестиком. Это моя первая любовь, честное слово! Вы знаете, когда «Гебен» обстрелял Севастополь, Головизнин встречает его в море на «Капитане Сакене» — паршивая посудина постройки девятьсот седьмого года. И вместо того, чтобы удрать, вступает в бой, понимаете! А дальше! «Гебен» из дальнобойных сшибает у него к чорту трубы и зажигает судно, но Головизнин на горящем миноносце, без труб, все-таки идет в атаку и пускает торпеду. Знаменито!.. Смотрите, — и мичман, растроганно улыбаясь, протягивал Шелехову новое свое творение — некую срамную штуку, очень мастерски сработанную.

И тут же изменился в лице, посуровел, бурно порылся в ящике стола и вытащил оттуда портрет цесаревича.

— Вот видите... но до моих убеждений никому нет дела, господин прапорщик. Вообще, знаете... я тогда застрелиться хотел сначала. Потом решил, что лучше будет... что лучше...

Но не договорил и, бросившись на Шелехова, смял его, скинул со стула, — объятия мичмана были неожиданно костоломны, железны. Оба ботали друг друга головами о палубу, задыхались, хохотали. Шелехову удалось все же вывернуться, уклещить мичманову шею, — праздную победу, он скакал на ней верхом, ломая ее по-зверски книзу, — нежнотелую, дворянскую, неуступчиво наливающуюся кровью...

— Врешь! — рычал он, ликуя. — Врешь!.. — Веселая злоба хлестала из него через края, с пеной. Близилась схватка там, на берегу, настоящая схватка, он это чувствовал. Что же, он сам желал ее!

\* \* \*

«... однажды был симфонический концерт в зале Тенишевского училища в Петербурге. В программе стояло что-то возвышенное, из Скрябина... Билеты на концерт достала Людмила, которую он, Шелехов, считал тогда своей невестой, у себя, на Бестужевских курсах, даровые. Эта незатейливая курсисточка радовалась и восхищалась концертом

до неприличия. Вообще, около Людмилы было неловко... Но музыка, скрябинская музыка поддержала его, не дала отчаяться, — она как будто тогда еще показала ему в прорывах жизни чудное пенящееся море будущего...»

Под чахлыми, задушенными пылью кустиками, в вечерней тени, несколько сот матросов расселись по-турецки, скрестив ноги, в напряженно внимательном оцепенении. Скрябин, сторбленный, женственный, непрочный человек (серебропогонные звали его заглаза Володей), произносил речь, взобравшись на камень. Пухлые, изумрудные пузыри глаз, от волнения еще больше выпученные, того гляди оторвутся, скатятся по кителю прямо на затоптанную траву...

— Командующий, товарищи, описывал нам положение родины... И тяжело было слушать нам о том, что в самую критическую минуту, когда Германия напрягает все силы, чтобы... отнять у нас дорогую нашу свободу...

Маркуша льстиво подлез к уху:

— Не может все-таки Володя против вас.

«Хитришь, брат» — ревниво подумал про себя Шелехов. Он все время ожидал от Маркуши опасной вылазки — сам не знал какой.

И дальше, под монотонный говор, заплетались несообразные мысли.

«... Поэтесса Анна Ахматова выступала в большой, до пят, персидской шали. — Звенела музыка в саду таким невыразимым горем... Свежо и остро пахли морем на блюде устрицы во льду... Это — про Севастополь, про ночной бульвар: он видел его мельком в первый вечер приезда. Мичманы и лейтенанты за белыми столиками бульварного ресторана, в синих с золотом кителях, их дамы с голыми руками, в косо лежащих широких шляпах, — брезгливо отгородившееся от всех изящество, французская речь. Что им революция? И опять ты, Сергей Шелехов, проходишь, как серебропогонный пария, только обманываешь себя пустыми речами, липовый ты офицер! Быть бы тебе педагогом по словесности где-нибудь в Пензенской губернии, если бы не война, водовозной клячей, проверять диктанты, ставить двойки... вот она, настоящая, по закону отведенная тебе жизнь! Женился бы на Людмиле, журналы бы выписывали, ходили чай пить к местным интеллигентам... брали бы в лавчонке на книжку до двадцатого числа...

В самом деле, не оставить ли, учитель словесности, все эти мальчишеские мечтания, не очнуться ли?».

— И вот этот Ленин, — высморкавшись, разглагольствовал Володя, — и те грязные люди, которые с ним заодно...

Шелехов подловил на себе злорадствующий, победоносный взгляд Мангалова из-за куста, где жались все офицеры. И этот взгляд говорил о том же. — «Вот, мол, что все порядочные люди думают, слышал? А ты куда лезешь?.. Да и кто ты такой, мальчишка, свистун, моряк без году неделя!».

Прапорщик в ответ прикаянно, уныло опустил глаза. Бесноватый хохоток раздирал его, нестерпимо напряживал горло, плечи... В Сулин, говоришь? Он хотел бы хоть раз, торжествуя, проволочить капитана за собой по трапу, в духовитый матросский кубрик, куда навевывался теперь ежевечерне; чтобы тот посмотрел, как Фастовец, встречая его, готовно смахивает рукавом подразумеваемый сор с табурета, радостно щерится навстречу: — «пожалте, ваше благо... тьфу...»; как матросы сбредаются из всех углов трюма, обступают кругом, садятся у ног, ожидающе заглядывая прапорщику в рот, — иной тачая тут же сапог, латая фланельку. Чтобы увидел хоть раз, какая у мальчишки-прапорщика надежная, грудастая подмога! Значит, в Сулин?..

Скрябин заканчивал:

— Итак, наша сила, братцы, в тесном единении, доверии друг к другу. И тогда... тихий ангел мира слетит на Россию... ангел с крестом в руках, на котором написаны священные слова: свобода, равенство и братство.

— Ура; — нерешительно, но молодежато добавил Володя.

Матросы почтительно встали, вежливо гаркнули тоже «ур-ра». Володю, первого выборного начальника, вообще, берегли, так как видели в нем до некоторой степени собственное создание. Он же, с полагающейся для подобной минуты растроганностью, нырнул в самую гущу матросской толпы, нашел там рябого черного боцмана и облобызался с ним троекратно, по-пасхальному.

Боцман вырвался со слезами на глазах, сорвал с головы фуражку, с отчаянием заревел:

— Братцы, за нашего дорогого начальника, многая же ему лета, ура!

— Ур-ра! — опять стоя, почтительно откричали матросы.

Мангалов усиленно тер мигалки платком, нарочно на виду, чтобы всем в глаза в'едалось.

Шелехов больше не мог вытерпеть, вскочил на камень, руками, криком позвал к себе разбродно галдящую толпу.

Шум сразу отлетел за рошу. Матросы, любопытствуя, подбирались поближе. Прапорщик стоял, молчал, созерцая всех с мстительным спокойствием. Он дрожал, но то была золотая, плодоносная дрожь.

— Я полностью присоединяюсь к призыву уважаемого начальника. Однако, товарищи, наш уважаемый начальник, конечно, против воли подпал под влияние некоторых злостных слухов...

Хватило даже спокойствия, чтобы, не прерывая речи, поискать взглядом Мангалова. Но тот уже утаился куда-то, наверное, — выжидал где-нибудь исподтишка. Жаль, для него было приготовлено кое-что!

→ Я заявляю, товарищи, о Ленине — неправда, это такой же честный борец, как и товарищ Керенский. Он, товарищи, тоже всю жизнь боролся с проклятым деспотизмом, и за золото его не купишь. Да и разве наш Балтийский флот из одних дураков и негодяев, что взял и поддался весь шпионам?

— Верно! — хрипло крикнул чей-то одинокий голос. Другой громко и дружелюбно сказал:

— Молодчина прапорщик.

Но это было более потрясающе, чем громовые раскаты «прр-а-виль-на-а...». Вот когда можно было в удушающем, сладчайшем иступлении сорвать с себя погоны, потребовать матросскую форменку, объявить, что иду навсегда к вам, в темный трюм, за один котел, — и действительно растоптать тут же щегольской свой китель, и действительно уйти — так, чтобы это было, в сущности, битье морды Мангалову, Свинчугову и всем видимым золотопогонным архистратигам.

— Так вы говорите — в Сулин?

Прорвалась вся его желчь, накопленная нищими, язвительными годами. Он алкал борьбы, сопротивления, уничтожения врагов. Нет, чорт возьми, какой он учитель словесности! Нет, не будничную Людмилу ему, со смиренным пуховым платком, а подайте одну из тех, которые еще год назад, где-нибудь на петроградской панели, пронося мимо недоступное свое сияние, презрительно отводили взор от обтрепанного, жалостно вождеющего глазами птенца. В извращенном восторге ему захотелось даже настоящей опасности — взять, да на зло всем, и вот этой самой, смиренно- и умиленно целующейся с начальством толпе, заявить себя с теми двумя-тремя гонимыми, одобрительно поддержавшими его (не таинственный ли там Зинченко, побывавший в Петрограде?), да пальнуть в эту толпу лозунгами из большевистского «Социал-Демократа», строки которого и его самого порой опасно будоражили.

— Большевики же, товарищи... они, конечно, и заблуждаются кое в чем...

— Негодяи они... изменники! — пыхотно подкрикнул кто-то сзади. Нельзя было не узнать этого голоса с гневным пригнусом.

— ... но в основе у них... те же святые идеи...

Теперь под конец — динамитцу, динамитцу!

— Мы же, товарищи, будем слушать... Керенского, будем слушать и Ленина, а дорогу себе выберем сами. Это ведь никто другой, а мы с вами — революционная Россия. И наших железных рядов не расстроить никому (мощный жест рукой — чугунной рукой водителя-колосса). И с дороги нас не сбить — нам светит священный маяк... великое учредительное собрание!

Все-таки хлопки и крики «правильно» показались жидкими, не единодушными. Не хватило духу даже поторжествовать, обернувшись в сторону офицерского кутка... Матросы тотчас же сгрудились в гомонящий базар — надо было поскорее выбрать делегатов на вечернее общегарнизонное собрание в Севастополе, где должен был сделать доклад сам адмирал.

В заунывном томлении, никому не нужный Шелехов убред на берег бухты, лег на мокрую гальку, глядел, как плескалась, обессилев, грязноватая, пахнущая отбросами и бельем волна.

Маркуша и тут оказался рядом, присел, скучал собачьими, жаждущими в глубине чего-то сверхъестественного глазами.

В успокоенно сиреновом море, на траверзе бухты стоял видением медленный, грациозно наклонивший мачты корабль. Он уходил от земли—в пустоту неба, в свет.

— «Георгий»... гидрокрейсер, — признал Маркуша. — Наверно, в Батум. Хорошо на нем братве живет: плавают да приторговывают!  
— А вы, Маркуша, в дальнее плавали?

А сам глаза полузакрыв, будто и его качает волна на «Георгии»... Смотри, вон исчезают ставшие ненадолго годными берега, жилое нагромождение города, зелень бульваров. Кругом вода, неоглядная, бегущая, недавно плескавшаяся у иных материков... Может быть, в самом деле там лучше, чем на земле, где надо быть колочим, напрягаться, натужно прорываться день и ночь к какой-то непрочной, для самого еще плохо очертанной цели?

Маркуша всласть рассказывал:

— Эх, хорошо с пенькой в Австралию ходили! Вышел тогда у меня на Малайских островах один печальный случай. Пошел я прогуляться, вдруг ливень. Тропический ливень, это, шут его возьми, сразу сумерки кругом, хлещет, как из шланга, вода парная, теплая. Встал я, конечно, под деревце какое-то. Шут его знает, как оно называется, листья во ширины, по сажени длины и прямо от корня растут, потом загинаются чуть не до земли, а под ними тепло и темно, как в бане. Я под эти листья. Слышу, кто-то рядом еще стоит. Зажег спичку, оказывается, малайский бабец. Да какой, смак! Вся голая, только под пупом в роде бахромы, для видимости. Ну, ясно, раз голая, да дикая к тому же, да дело в лесу — я ее моментом цоп. И что же вы думаете? Кэ-эк она развернется да стебанет меня по морде!

Шелехов делал сочувственную улыбку.

— Да что вы!

Маркуша совсем зажурился, обковыривая грязными ногтями какой-то камушек.

— Вообще, Сергей Федорыч, нет мне в жизни лафы. И теперь вот — затирают. Кому прапорщика дали, а мне — зауряда. Оттого что образования не имею...

Видимо, он и за Шелеховым всюду следовал и разговор с ним завел с какой-то давно задуманной целью.

— А скажите, Сергей Федорыч, алгебра, шо это такое? Трудное?

— Да как сказать... Если постепенно, — ничего.

— А про чего в ней учат?

Шелехов не успел растолковать: из рожи торопливо приблизился боцман, деловито откозырял:

— Господин прапорщик, так что постановили выбрать делехатами ваше благородие, Зинченко и Фастовца. Теперь пожалте к старшему офицеру, там дадут ахтонобиль до городу.

— Спасибо, я сейчас... — Шелехов вскочил, жал руку боцмана, преисполненный кипучей, невыносимой доброты. — Сейчас, товарищ. .

— Бесхлебный-с! — подсказал боцман, опять статно откозыряв. — Очень ради постараться для такого господина прапорщика. Право слово, когда вы говорите, душа заворачивается, так и пырнул бы кого-нибудь!

И на берегу один Маркуша покинуто остался, наворачнув загадочно козырек на самые глаза. Выковыривал камешки из тины, бросал; песню, неведомо какую, нахмыкивал. И руки у Маркуши дрожали.

\* \* \*

Старший офицер встретил Шелехова приветливо.

— Садитесь, Сергей Федорыч, автомобиль уже налаживают. Вы знакомы... с другим делегатом?

Долговязый матрос в синей кочегарной рубашке неуклюже и усмешливо ответил на рукопожатие. Так вот он какой, Зинченко? Лицо со светлыми, седыми ресницами, красное, выпаренное угльным жаром. И руку не сразу выпустил, потискал сначала неловко, конфузливо, словно благодарил.

Милый человек Лобович угощал особенным табачком.

— Настоящий, выдержанный, теперь на редкость. Знакомый татарчук с южного берега привез. Как?

Матрос затягивался с озорноватой усмешечкой.

— Табачок ничего себе... Офицерский!

Лобович, чувствуя соленую издевку, хлопал Зинченко по колену.

— Хо-хо-хо!.. Совсем вас Петроград, Зинченко, того... Как-нибудь, посвободнее будете, загляните ко мне, побалакаем.

— Я вот что спрошу вас, Илья Андреич, — с тем же усмешливым миганьем, вкрадчиво обратился к нему Зинченко, — зачем мне капитан Мангалов такой шкентель завязал?

— А что такое?

— Ну, не знаете вы! А зачем он, пока я ездил, на «Витязь» меня списал? Три года на «Каче» хорош был, теперь нет? Наверно, думает: на плавающем, дескать, подальше от команды. Так скажите ему, Илья Андреич, что теперь зажать рот матросу все равно никак невозможно.

Старший офицер вдумчиво пыхтел трубкой, колебался, не находил, что сказать.

— Знаешь что, Зинченко... — незаметно для себя перешел он на «ты», видать, более привычное, — знаешь, плюнь ты на это дело. Зачем лишний тарарам заводить? Слышал, что Скрябин говорил? Не время теперь, братишка, не время!

Зинченко косил глаза в пол, посмеивался.

Мотор рвано затрещал на берегу. Фастовец уже щерился там, скидывая глаза вверх, ожидая спутников. Новенькая синяя форменка

на мужицких костях его сидела нелепо, франтоватым пузырем. В движениях и на лице обозначалась истовая торжественность.

Шелехов потряс ему руку, как старому приятелю и, так как оба матроса уступчиво пережидали его, первый возлег на уютные подушки.

Машина поднималась над бухтой, над грязно зеленеющими плоскостями прибрежий. Плакучий ветер бил в лицо. И вот они, холодящие севастопольские долины, развалины древнего Херсонеса; рядом — тылы обернутых в море дальнобойных батарей, поднявшийся над древней землей, лазурно светящийся кусок океанов. Откуда все это? Две недели тому назад неведомый никому юнец-прапорщик, которого кают-компания встретила с отчужденно любопытствующим равнодушием. «А куда его назначить?». — «Да заткните какую-нибудь штатную дыру, хоть вахтенным начальником на базе, благо он никогда не плавал». — А через две недели: — «Автомобиль выборным от бригады!». — Тщательно оберегаемую бригадную ценность, которой даже Мангалову приходилось пользоваться изредка, случаем — автомобиль золотоплечего верха!

Недаром с такой тоской выдавил тогда из себя Маркуша: «выберут»... Чуял, что это значит.

Бешено метало из стороны в сторону, порой клало прямо на плечо окаменелого Зинченко. Глаза того щурились, видать, и ему ощущение полета было любопытно, ново и лакомо. Машина мчалась в прорытом среди плоскогорья русле, шоссе судорожно извивалось, каждую секунду можно было разбиться в щепы, в слякоть о каменистую летящую в глаза стену. Пальцы сами впивались в кожаную обшивку, зубы скрежетали. Вот в глубине, на повороте, внезапно проступили опять воды покинутой бухты, тральщики лежали на ней, подобно крохотным недвижимым жучкам. Его бригада! Отсталая, заброшенная в забытой бухте, чернорабочая, привыкшая играть с гремучей смертью бригада, которую, в сущности, он один ведет за собой. Конечно, конечно, не Скрябин, не Мангалов, а он один! Казалось, в свистящем кругом воздухе, будоражно дергая за сердце, играют невидимые триумфальные оркестры. Он поведет ее и дальше... Правда, распаленный мечтами прапорщик и сам не знал — куда.

... Скоро предстояли новые выборы в совет. Шелехов не раз ловил себя на том, как полутайком от себя самого гадал, с ёкающим сердцем считал дни. Теперь-то уж неразумно было упрекать себя в фантазерстве, сомневаться. Он знал, что придет в зал совета сначала неизвестным, как две недели назад в бригаду, что затеряется на первые дни в толпе... насколько может затеряться боченок с динамитом. А потом... — думал прапорщик, — потом о нем заговорят не только в бригаде, а и на боевых кораблях, на бульварах, в собрании, наконец, — в каюте командующего... Он огненно поверил в это с тех пор, как прислушался к вскипающим в себе силам, как увидел под собой матросскую толпу, в ознобе восторга готовую беззаветно броситься туда, куда он ее позовет...

Но и совет, Севастополь — было еще не все. Он сам пока боялся заглянуть дневными, трезвыми глазами дальше, в самое сокровенное. Можно было задохнуться, как вот от этого сумасшедшего ветра!

Автомобиль влетал в гору, среди бирюзовых хижин предместья. Бирюзовых от вечернего моря. Мимо пронеслись, спинами в ветер, прохожие, ремесленники, матросы, разбегалась детвора, крутились телята. Впервые за всю дорогу Зинченко нагнулся к уху прапорщика:

— После митинга... — выкрикивал он осторожно, стараясь, чтобы слова не заглушали ветер, — после митинга хотим, свожу вас на «Прут»?

— Куда? — любовно, благодарно переспросил его Шелехов. Машина вползала в центральные улицы, мимо трамвайных рельсов, стекло-глазых этажей, мимо оттененных зеленью тротуаров.

Та, вагонная ночная незнакомка, могла теперь проходить где-нибудь здесь, могла сейчас видеть его, быть свидетельницей его торжествования. Он даже боялся оглянуться, пробежать глазами по тротуарам, чтобы не нарушить этой возможности.

— ... на «Прут». Там будет собрание... не для всех... понимаете?.. Такого, как вы, ребята примут! И Фастовца попробуем прихватим.

— Да! Да! — пьяно смеялся Шелехов; он ехал медленно красуясь, ощущая на себе ее невидимые, радостно изумленные глаза. Город всепроникался ею — до блаженного, задышающегося сердцебиения. Да, да, он пойдет, товарищ Зинченко, он пойдет, потому что жизнь, наконец, распахивалась перед ним настезь, со всем ее счастьем и удачей, и все равно, все равно, все равно было, куда идти!

## ГЛАВА ПЯТАЯ

... Мглистые, приземистые своды трюма, подслеповатый безгкерсиновой лампы на шатком столе, в роде кухонного, темные западины углов, из которых просекались кое-где мутноватые пятна стержко прячущихся лиц, или кусок полосатого тельника, или колено, внимательно оплетенное пальцами...

Вот что осталось в памяти от «Прута», на который пошли все трое после недолгого, но бурного митинга в цирке. И лишь впоследствии осозналась вся зловещая значительность сборища и увиденных там людей.

Зинченко, оставив прапорщика с Фастовцем, подошел, не здороваясь, — должно быть, виделись уже раньше, — к сидящему за столом пухлощекому матросу с пронзительными черными усиками и зашептал ему что-то на ухо. Матрос испытующе поглядел на Шелехова, на Фастовца, мешковато усевшихся на приступке железного трапа, уводящего в надтрюмную ночь, — глаза у него оказались тоже пронзительные, угляные, согласливо моргнул.

«Оправдывает мои офицерские погоны» — с иронией подумал Шелехов про Зинченко. Оглядеться пристально мешали встречно устре-



мленные кругом, сквозь махорочную пасмуть и ламповое блистанье, любопытствующие, недоброжелательные взгляды, а оглядеться надо было бы. «И на кой чорт меня занесло сюда?» — раскаивался он. Привел Зинченко какими-то окольными дебрями порта; где по шатким доскам, настанным через полуразрушенную баржу, где почти ползком, под кормой выскочившего на сушу парохода, где по краешку головоломной щели дока, на далеком дне которого посвечивала алюминиево отбросовая вода. Одному отсюда было не выбраться.

Зинченко по дороге из цирка все время негодовал:

— Ну, это, извините, не стадо баранов? У них еще от Николашки глаза не прочкнулись: раз начальство говорит, значит — вира, голосуй и никаких. А наоборот крикнуть, попробуй — крикни! Если бы вы, господин прапорщик, как давеча, в бригаде сказали, так вас бы в клочья.

— Так ты и мне за барана почел? — озлобился плетущийся сзади Фастовец. — Я ж тоже руку тянул. Ты мене ето... сначала обдокажи, а потом я тебе буду баран.

Зинченко, обернувшись, и в сумерках, должно быть, подмигивая Шелехову весело и с хитринкой, хвастался перед Фастовцем:

— Ты почаще ходи сюда со мной, тебе обдокажут, только слушай!

Шелехов принужден был согласливо подхмыкивать, поддакивать, но все против воли — ему от этих подмигов не по себе было. Он тоже голосовал, как и Фастовец.

Не видал Зинченко, что ли?

И здесь, среди затаенной, опасливой глухоты трюма продолжало неистовствовать в нем огневое и гудящее видение цирка. Оно пробивалось сквозь сыроватый, с капелью, ржаво-красный потолок заброшенного, умирающего крейсера, на котором некогда в красные дни восстания появлялся, в меланхолической своей накидке, сам лейтенант Шмидт. Оно еще звучало в ушах рваными гульливими бурунами недавних голосов. Иной вождь, в адмиральских с черными орлами погонах, восходил на помост, под ожерельчато огнистым куполом, и, снимая фуражку перед наводнившей партер и ложи смутноликой матросней, вглядывался в нее скорбно и хищно.

В тот вечер репортер «Крымского Вестника» записал:

«Энтузиазм представителей флота и армии, собравшихся в цирке, дошел, после слова командующего, до высших пределов. Офицеры и матросы братались под приветственные клики, со слезами на глазах. Все чувствовали суровую важность минуты и свою ответственность перед родиной. Все единодушно подхватили клич: «Родина — в опасности!».

Кто-то с галерки все-таки назойливо подсказывал насчет аннексий и контрибуций. «Они, буржуазы, сплять и видють Дарданелы. А у солдата от этой Дарданелы кишка вылазит. На кой они нам, с кашей их, что ли, есть!».

Потом на помост, рядом с адмиралом, ворвался чернобородый, разбойничьего вида, Стенька Разин в матросском синем воротнике, свирепо грохнул кулаком о перила: — Товарищи, прекратим трение по данному вопросу. Будя нам канат травить! Холосуй! И да здравствует наш верный батька, адмирал Колчак. Усе!

И руки, сотни рук выхлестнулись в воздух с восторженным хрустом, недвижно реяли растопыренными пятернями все время, пока адмирал шествовал к выходу, оссененный ими, как знаменами. Это голосовали не только делегаты кораблей и батарей. Тут голосовала сама вольготная матросская жисть, лентяйное полеживание на синем, теплом бережку, прибавка к жалованью, борщ, в котором ложка торчит стоймя, бульвары с музыкой, а на бульварах баловливая, к матросу падкая бабья сладость.

И как тут было не голосовать, если дыхание давилось от яростной, грудь распирающей гордости! Адмирал знал, чем воспламенить матросское, избалованное морем и бульварами воображение. Черноморский флот, только один Черноморский флот может еще мужественной рукой поддержать родину на краю жуткой бездны, вернуть на путь счастья и славы. Завтра же нужно выбрать делегатов для дела всероссийской важности, послать их на самые ненадежные участки фронта, в гибнущий Кронштадт, в Петроград, на фабрики, в казармы. Делегаты должны всюду сказать: — «Черноморский флот — вот он: офицер об руку с матросом зовет вас очнуться от безумия, сплотить расколотые врагом ряды, во имя великих идеалов революции, во имя свободы, равенства и братства!». Роль флота обретала потрясающие исторические масштабы, Севастополь готовился стать для России второй собирательницей Москвой. Будущее могло быть чудеснее Босфора... И Шелехов, словно взнесенный над смутными великими обрывами времен, голосовал:

— Да здравствует флот! Да здравствует Учредительное собрание!

Когда Зинченко напомнил ему дорогой про давешнюю его речь, он даже устыдился ее, как неуместного и глупо-ухарского мальчишества. Действительно, в такой момент...

Зинченко и черноволосый матрос за столом трудно и неладно обмозговывали что-то по бумажке. Народу было совсем немного: десять-двенадцать матросов. К удивлению своему, Шелехов увидел среди них еще офицера, и с немалым чином—капитана второго ранга, немолодого, который покуривал с деловитым видом, скрестив коротенькие пухлые ножки.

— Кто это, не знаете? — спросил он у Фастовца.

— То... с «Капитана Сакена», Головизнин. Боевой!

Так это капитан Головизнин? Действительно, георгиевский крестик белел на его груди. Шелехов представил себе этого плотного, коротконогого человечка в виде некоего полубога на борту горящего, лишненного труб миноносца; на его полупогибающем, готовом взорваться остове он в исступленном упрямстве мчал еще раз на «Гебен»

семьдесят покорных, оцепеневших человек, чтобы протаранить его борт и умереть. Мчал, не спрашивая, хотят ли они этого. Неужели и его могли теперь «выбирать»? Очевидно, так, если он попал сюда, на тайное большевистское собрание. И смутный, где-то на задах сознания, переблеск мысли уяснил ему, что, может быть, потому и выбирают, что не успели еще стереться с матросской души восхищение и ужас тех минут, а с ними и полубожеский облик.

Он и его обаял, как глубокая таинственная вода, — мучительный, сытенный толстячок...

Черноволосый матрос постучал по столу карандашом и привстал с сердитым видом.

— Тут, товарищи, собрались мы все, может быть, с разных кораблей и бригад, может быть, тут и офицеры есть, конечно, мы знаем, какие это офицеры, а также есть делегаты и не делегаты, на это наплевать. Вообще, рассусоливать долго нечего, к делу! Собрались мы все, как имеющие одно сочувствие...

В голосе матроса отдавалась неприятная, залихватская жестокость. Рядом с ним по-хозяйски развалился еще какой-то, с остреньким рысьим личиком, вбивающимся в душу, как гвоздь, в блинообразной шапчонке с надписью «Гаджибей». Встречаясь с его взглядами, Шелехов ловил в них белесоглазую, мелочно ненавидящую зависть... Или так казалось только? Вообще, все здесь было как-то легкомысленно-невеско после цирка. Там—громада всего флота, начиная с матросов, там—узаконенные порывы энтузиазма. Здесь—злоба с подозрительным оттенком, какие-то неизвестные, старающиеся спрятаться в тени матросы. Шелехов вздохнул о воле, об очарованной стране бульваров, живущей неподалеку в этой нрчи. Может быть, уже пропустил самую драгоценную минуточку...

— Там... адмиралы всему флоту голову морочат! На судах тоже собираются выносить резолюцию... угождают его высокопревосходительству (глаза, как кнутики, стараются пробежать мимо Шелехова и Головизнина). Но мы, товарищи, здесь внесем свою добавку. Пусть знают, что Черноморский флот не бычок на веревочке! А главное дело, пусть они бросят свою грязь насчет Ленина!

Неожиданно матроса схватил припадок ярости. Грудь и руки его судорожно заходили ходуном, глаза зверски полезли из глазниц. Представлялся, что ли, для агитации, или взаправду? Рычал на кого-то в темный угол:

— А то куда ни пойдешь, везде... Нет, буржуазная сволочь, не смей пачкать его имя, валять его по грязи!

Шелехов притаил дыхание, не зная, что делать, куда девать глаза. Стыдный озноб покалывал спину. Как за опору, уцепился глазами за Головизнина. Тот, невозмутимо покачиваясь, созерцал эту бурю с деловитым и вежливым вниманием. — «Вот это понимаю, выправка» —

восхитился Шелехов, и тотчас же сам принял такую же хладнокровную внимательную позу.

Матрос с рысьим личиком от себя вставил:

— Ихней сегодняшней лезорюющей все одно — подтереть. Посмотрим, как бы этой делехации хвакел не вставили!

— Кабы с дороги еще не воротили, — добавил мрачный голос из угла.

Черноволосый, отдышавшись, властно поднял над головой лист бумаги.

— Прошу тише. Вот здесь воззвание нашей инициативной группы, собравшейся сего числа на крейсере «Прут». Читай.

Он сунул бумажку матросику с «Гаджибея». Сам же, скрестив руки, остался вызывающе стоять, готовый гневно изъязвить каждого, кто осмелится поперечить хоть одному слову, выстраданному матросскими мозгами.

В матросском писании все же было достаточно хитрой осторожности. Зачинатели подпольного собрания не хотели или медлили раскрыть свое лицо до конца. То резкое, сварливое, упрямо несогласное ни с чем, что назойливо кидалось в глаза с большевистских листков (и, может быть, где-то, в последнем подсознании, даже притягивало, соблазняло какой-то раздражительной правдой), — здесь упрятывалось скромно за восклицания, полные гражданского благообразия. Только одно было, от чего вдруг вспыхнула залегшая куда-то на дно, змеем свернувшаяся тревога. Война... На лазурном берегу, на отлете от взбунченной России, среди бездейственных отдыхающих кораблей, в каждодневной сутолоке митингов немудрено было перестать чувствовать ее. А год-два назад, в Петрограде, это ощущение войны зловеще висело над каждой секундой жизни. Мокрый ветер полночи, случайно заставшей студента где-нибудь среди петербургских пустырей, говорил о пропащем, изрытом окопами поле, по которому шарят невидимые вражьи лапы, о страшном металлическом привкусе пули, ставшей узаконенным хозяином всего мира. И все это — мокрый ветер и окопы, и пули — ждали сго, предназначены были впереди для военнообязанного студента Шелехова. Война! Ею окрашен был даже хроматический гуд трамвая, он обонял ее кишащие безыменными шинелями, дождями и тыловыми повозками просторы, даже входя в булочную Филиппова на углу Ропшинской и Большого проспекта, не говоря о газете, о вокзалах, о подездах госпиталей. Дуновение этой забытой обреченности донеслось до него теперь. Оно переводило на другой язык припадок недавнего энтузиазма, всего, что было в цирке: энтузиазм этот мог таить в себе крайности, сползающие опять в ту петербургскую обреченность, мог стать лично опасным для Шелехова, да, да, если быть честным до конца...

Когда чтение кончилось, Головизнин, раздумчиво потупившись (рассматривая ногти), спросил:

— Но, господа... тут у вас, откровенно говоря, требуется сепаратный мир?

— Мы возражаем против бойни, — сказал, резко вихнув головой, черноволосый.

— К сожалению (ногти очень интересовали кавторанга)... я лично не имею полномочий. Надо поговорить с командой.

— Можно поговорить, а можно и заговорить, — бросил ядовито матросик с рысьим личиком и оглядел всех торжествующе.

— Мы, товарищи, никого не неволим, — сурово заявил черноволосый.

Здесь сорвался Фастовец.

Его вопливыый крик, не желавший считаться с нарочито приглушенными, осторожными голосами других, его длинношеяя трясущаяся фигура, охваченная внезапным озверением, испугали даже Шелехова.

— Та еще бы вы неволили... шоб я холосувал... Да шоб я тую землю и волю, которую борци... своею, сказать, кровью... шоб я ее Вильхельму, хадюке, своими руками: на, за ради Христа, возьми! Да не дождетс я он того, хад!..

Матрос с рысьим личиком растерянно мигал, утирая с лица брызги слюны, обильно летевшие от Фастовца. Черноволосый стоял с презрительной уступчивостью, потупив глаза. Фастовец, выпалив все, толкнулся на место, дрожа. Кругом молчали.

Шелехов понял, что пришел его черед.

Он прежде всего бросил взгляд на Зинченко. Тот нарочно глядел куда-то в бок, но, очевидно, был весь насторожен, ждал. Сказать, что собирався сказать Шелехов, значило подойти к нему и, не ожидающего, жестоко пнуть ногой. Сердце у Шелехова невыносимо, стыдно закатилось, но он все-таки пнул:

— Я... присоединяюсь к товарищу кавторангу. Наша команда тоже не знала об этом собрании.

На Зинченко физически нельзя было взглянуть — оттуда ударил бы по глазам невыносимый свет... Матросы по одному, незаметно как-то, выпалзывали из своих темнот, смелели, скапливались за столом около черноволосого. И на них глаза не поднимались. А кто-то уже задиристо бросил:

— А ваше, без команды, какое рассуждение?

Шелехов взглядом искал помощи у Головизнина. Тот понял его призыв, подошел, обнял за плечи и легонько подтолкнул к трапу. Сказал дружески, обращаясь более к матросам, чем к Шелехову (будто ничего не случилось):

— Пойдемте-ка на воздух, прапорщик, покурим, подумаем.

За ними поднялся и Фастовец. То было кстати: как бы почетное прикрытие отступления. Все же пришлось услышать провожающий снизу наглый возглас:

— Сматывайся!

Наверху, на палубе, помнившей шаги лейтенанта Шмидта, помнившей отчаянных, обреченных ребят (среди них был, непременно, и такой, в роде черноволосого, жесткий, с презрительной гордецей), на палубе, в теплой темноте, пахнувшей звездами, гнилостными испарениями порта и засоренной морской воды, — офицеры остановились на минуту, вынули папиросы. Спичка в пальцах кавторанга дрожала.

— Да... — произнес он, раздумчиво выпихивая дым.

— Да... — повторил за ним соболезнующе Шелехов.

Больше сказать не нашлось ничего. Затем видение горящего, предсмертного миноносца пожало ему руку, как равному, заметно поблекло и как-то поруганно ушагало в темноту. На круче, над рейдом, прапорщик потерял и Фастовца. Под ногами жила бездна, полная невидимых портовых построек, невидимой глубокой воды, невидимых кораблей. Бегущие по низу огоньки шлюпок подсказывали ощущение воздушной окрыляющей пустоты. Слово вот — сдвинься и вольно шагай в ней гигантскими, десятиверстными шагами. Со дна ее курилось воспоминание о гиблом дощатом переходе, по которому спасались остатки героической армии Севастополя, воспетой всеми хрестоматиями, о хмуром скуластом офицерике-добровольце, Льве Толстом, о накидке казенного лейтенанта. Прапорщик силился всмотреться в самого себя, уяснить, — что это такое, родное этим образам, и вместе с тем невозвратно дорогое, как юность, утеряно им сейчас в прокуренной, недружелюбной тесноте трюма.

Может быть, это касалось войны? О ней свидетельствовали, — впрочем, очень празднично — и огни южных улиц, осторожно отбрасываемые в сторону гор, от моря. Но что ж война! Если б ее не было, не было бы и теперешней его сказочной дороги... Мысли обрывались, боялись итти дальше, предпочитали утонуть в тесноте блаженно-несвязных упований... Бульвары и улицы об'яла сумасшедшая ночь.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Корабли на рейде, в бухтах стояли пустырями; котлы полуостыли, мачты замело темнотой. Вахтенные, побрякивая дудочной цепочкой, бездельно бродили по палубам, считали склянки, поглядывали скучливо на устье рейда, завешенное панцырными сетями до самого дна, в сторону невидимого, тихо пошатывающегося где-то там минными пучинами моря.

Там было спокойно.

Враг не приходил и не собирался притти: враг был надежно заперт в Босфоре. Вахтенному можно было позевывать спокойно, матюкнуться, вспомнив теплую жену, оставленную где-нибудь на екатеринославских бахчах; плюнуть раздумчиво за борт, в сырую темноту. И подумать: а ведь страшно, поди, лететь туда, в многоэтажную глуть, где под поплескивающей уютно жирной водой стоит по-

донный, склизлый мрак и, наверное, пошныривают еще потемкинцы, очаковцы и деловые ребята с «Императрицы Марии» (взорванной неведомо кем).

С моря было спокойно.

И флот гулял, наводняя бульвары — Приморский, Исторический, Мичманский, проулки Корабельной Слободы, Малахов курган. Флот красовался белой нарядностью, ленточками, могучими затылками по главной улице, по Нахимовской. Флот, измученный тремя годами подневольных походов, качки, авральных работ, — теперь отдыхал, благоденствовал, наслаждался сытным вольготным бездельем.

За углом, на Нахимовской, куда вышел Шелехов, сразу обдало гулом необозримого гулянья. Тротуары отяжеленно плавали в полуосвещенном сумраке туда и сюда. За сияющими дверями кофейни хлопала пробки; у сифонов с рубиново просвечивающим сиропом толпился развеселый табунок барышень и наперегонки острящих пехотных прапорщиков, по-боевому перетянутых ремнями. Гуляющих, выплывающих из темноты обносила ослепительная метель света.

... Бледноглазое, улыбающееся видение, уклонившееся к чьему-то плечу с мичманским погоном. Не она ли на мгновенье прижалась к Шелехову в тесноте запретной своей теплотой, словно подав тайный знак?.. Припудренно-голубоватое, надменное лицо гардемарина в золотисто-оранжевой ленточке, с женственно-опущенными, спящими ресницами. Двое матросов, подцепивших с обеих сторон заливистую, толстощекую кубышку с соломенной дяконской гривой; оба прилегли к ней плечами и довольны; на ленточках — «Свободная Россия». Четверка белых студенческих кителей. Лейтенант, уютившийся щекой под крыло огромной, шикарно скошенной набекрень шляпы и упоенно мурлыкающий про себя... Если беспрерывно смотреть, головокругительно замутится в глазах.

А наверху — темные, погашенные фасады гостиниц и домов и ночное небо, полное жарких, напряженных звезд. И там то же, что и здесь, на земле, только тоньше: ощущение чьего-то щемящего, но еще неузнанного присутствия. И прапорщик даже готов был протянуть руки и двинуться куда-то с закрытыми глазами, искать...

— Эге-ге... Тоже... фокстерьерничаете?

На тротуарном диванчике, в свету кофейни, любопытствуя на гуляющих, покуривал трубку старший офицер. Белый наряд Лобовича был свеж, хрустящ, параден. Он тоже вышел покрасоваться.

Шелехов пробрался к нему.

— Я после митинга... случайно, — сказал он, словно извиняясь в чем-то. — Знакомых у меня нет.

Лобович вежливо, намекаяще поучал:

— Одной политикой, батенька, тоже не того... заниматься! В голову дурная кровь бросится. Нужно очищение головы. Я вот раз в неделю аккуратно схожу на берег, фокстерьерничаю. Завтра утром — на корабль. А знакомых... эге-е, да вам ли говорить!

И он многозначительно повел глазами в сторону, на другой краешек дивана, где сидела женщина, не то гречанка, не то румынка, сложив лениво на животе руки в перстнях. Все в ней было крупно, отяжеленно: жирно-черные выпуклые глаза под коровьими веками, большегубый красный рот, с трудом втиснутые в кисейную кофточку груди. Она полулежала на диване, как тучная молодая ночь, в лунообразных своих серьгах. На взгляд Шелехова готовно ответил ее взгляд, вялый и страстный.

Он льстиво шепнул Лобовичу:

— Да, гурия...

И, не желая мешать, одиноко побрел дальше. Если бы не Лобович, он сам мог бы остаться с ней... Вдруг радостный испуг пронизал его. Расталкивая, как попало, гуляющих, он побежал за женщиной, которая сладко и быстро ступала впереди, пропадая в толкучей мгле. В наклоне круглой, шелково-вихрявой головки было мучительно-знакомое. Он, задыхаясь, почти нагнал ее, как чьи-то дюжие руки ущемили его за плечи сразу с двух сторон.

— Стой, Шелехов, куда!

То были ребята, с которыми вместе кончал школу прапорщиков. Они выходили с бульвара — Мерфельд, Сафронов, Ахромеев, одетые в безукоризненно белое, с чопорно приподнятыми сзади тульями фуражек, как на памятнике у Нахимова (это считалось шиком).

— Четвертый взвод! — растроганно крикнул Шелехов.

Он набросился на них с бурной радостью, он не видел их со дня приезда на флот. Дороги их немного разошлись. С обеих сторон ливнем рукопожатия, шуточки, подхихикивание. «Вы как?». — «А ты как? Ха-ха! Бригада траления... Так вот как у вас тралят?». Словно двери распахнулись в родные, настезь радушные комнаты. Шелехова подхватили под руки, повели за угол, в отемненные улицы.

— Идем, проводим Сафронова, потом вернемся на бульвар. Счастливые вы с ним, черти, оба на плавающих! А мы в экипаже оттопываем, как несчастная пехтура.

— А ты, Сафронов, разве тоже на корабле?

Те же девственные тяжелые веки, как некогда в юнкерских дортуарах, та же многодумная неповоротливость.

— Я на миноносце «Зацаренном». Пока вахтенным, готовлюсь на штурмана, подчитываю.

— Значит, не бросил своей мечты?

— Зубрит, зубрит! — назойливо прыгал маленький Мерфельд.— Пусть будет штурманом, нам не завидно, в экипаже спокойнее, земля — вот она! Из наших здесь Пелетьмин — на «Гаджибее» все-таки, Трунова услали в Новороссийск. Шелехов, заходи, какую мы нугу едим, Восток! Есть рояль, я занимаюсь. А ты ходишь в плавание?

— Пока на штабном, но... на-днях перехожу на тральщик, подал рапорт. У нас это — свободно.



Этого еще не было, но когда он говорил, вдруг сам легко уверовал, что так оно и есть на самом деле. Да и не век же он будет сидеть на «Каче». И радостной огненностью полыхнуло в жилах: только сейчас вспомнил, что у него, счастливица, есть еще море в запасе, дарованное ему море, приманчивый и жуткий вкус которого он еще медлил изведать!

— Может быть, сходим под Босфор, под Варну: у нас поговаривают. А ты, Сафронов?

— Я думаю, что война так или иначе скоро кончится. Мне все равно теперь — как. В Россию противно возвращаться. Я, Шелехов, уйду в кругосветное.

Друзья шли по пустынному тротуару, сверху широколиственно омываемому платанами, звенья листвы которых порой на свету окон играли опламененно. Сафронов заговорил неожиданно восторженно, словно стихи читал, даже за него стыдно стало:

— Я не знаю, чем бы я стал жить, господа, если бы нельзя было мечтать о кругосветном. Хорошо мечтать! Даже когда смотришь на полированные стены Морского Собрания, слышишь такой особый запах. Сколько на эти стены глядело глаз, которые видели Ямайку, Таити! Я хожу и не вижу улиц. Рекомендую всем географию и морские карты, это страшно успокаивает.

Переимчивый Мерфельд заразился его восторгом.

— Стой, Сафронов, замечательно! Хочешь, я тебе это сыграю, приходи. Это — Скрябин... «Танец Томления». Приходи обязательно и ты, Шелехов. Черти, вам обоим можно мечтать!

— Между прочим, брат твоего Скрябина — мой начальник, — вставил зачем-то Шелехов. — Чудачок тоже, на митингах об ангелах с крылышками рассказывает.

Ахромеев, толстозадый розан, насмешливо просипел:

— А ты, наверное, уже в эсеры записался?

Шелехов почему-то обиделся. Ахромееву ли, с его толстощекой, жизнерадостной глуповатостью, вровень с ним путаться в этих делах!

— Почему в эсеры. Может быть, в большевики!..

Даже сгоряча чуть было не сорвалось с языка — взять, да и ошеломить этих чистунов: а я, мол, только сейчас с тайного большевистского собрания, выкусите! Да воздержался во-время, охолодел. К тому же дошли до береговой кручи, и Сафронов начал прощаться, спеша на шлюпку.

Потом, несколько дней спустя, Шелехов несколько раз, напрягаясь, припоминал это мгновение: бездонные недра рейда под обрывом, за спиной — тусклую чешую мостовой, звезды, заштилевшую листву платанов; и Сафронова — уже обреченного, но не знающего об этом, пожавшего ему руку с хрустом, не сгибаясь, не поднимая тяжелых век, — и прощальный поворот его фигуры, с рукой, прижатой к козырьку...

Конечно, никто и ничего тогда не почувствовал. Припомнилось только, что когда возвращались на бульвар через Нахимовскую, сквозь бесконечное кружение толпы (диванчик, где недавно сидел Лобович и незнакомка, был пуст), — там почудилось Шелехову, в чересчур увеселяющемся и нарядном скоплении народа, нечто последнее, как бы занесенное на краю... Но причиной этого были недавно виденные, прячущиеся в трюмной темноте глаза, как-будто и здесь они с многозначительной и мрачной своей усмешкой смотрели из-за каждого угла, говоря про себя: — «Навешали на себя цацек, буржуазные сволочи, дышите, наслаждаетесь?.. подождите»... Газетные киоски еще не закрывались, хотя было уже поздно, торговали при свете огарков удушливым смятием севера, вестями о катастрофе, задышающимися речами вожда.

— Вы там, в своей бригаде, про речь командующего слышали?— спросил Ахромеев. — Вот это молодец! Весь флот держит в руке. Здорово, что мы попали сюда. Наши с Балтики пишут чорт знает что, их на общий котел посадили, погоны сняли. Жалко ребят. Вот у нас так жизнь, ты смотри, Шелехов, один Приморский бульвар чего стоит, а!

В прорыве деревьев открылась площадка над морем, на которой, в синем свете звезд, медленно кружилась толпа. Внизу невидимое море было бездыханно. Ночь казалась выхваченной из кинематографического фильма: рядом должны быть еще купы пальм, ступени виллы, спускающиеся к самой воде, и трагические, изрыданные скрипкой прибои. Вообще, Шелехов еще не привык к этой обстановке, разные видения носились мимо, язвили, чаровали, таяли. Оба спутника его, попав в толпу, заиграли, как кони, где-то кого-то увидали, кого-то окликнули, о ком-то перешепнулись; чувствовалось, что они здесь завсегдатаи и что у них есть интересные знакомства, а с Шелеховым все переговорено... И он не удивился, когда они, небрежно извинившись, кинулись в толпу за какими-то девчонками, оставив его одного.

Где-то повторилось старое ощущение своей мешковатости, ненужности. Толпа влекла его к себе, как чужеродное тело.

Он отошел, полежал грудью на каменной ограде над морем. Он все-таки чего-то еще ждал. Зачем на Нахимовской остановился с Мерфельдом и не догнал ту до конца? А может быть, то была и не она? Многие, что проходили мимо, шепчась и звеня смехом, были похожи на нее, но он уже не верил. Это его сбивали с толку серые платья сестер милосердия, в которых все женщины казались одинаковыми. Уже потихоньку уставал верить в невозможное.

И вдруг она прошла мимо.

Да, она, вагонная спутница, и в том же сером платье, в каком он увидел ее впервые. Она неспеша, не сопровождаемая никем, поднялась по ступенькам от моря, и была самая спокойная естественность в этом необычайном, потрясающем появлении. Едва ли она даже не позевывала. И, может быть, потому Шелехов и не ринулся

к ней бурно навстречу, как представлял себе тысячу раз в мечтах, а только нерешительно загородил дорогу.

— Это вы? — мог лишь он пробормотать. — Вы?

Девушка остановилась, вглядывалась в него, от неожиданности прижав ладонь к груди.

— А-а, милый спутник! Ну, вас не узнать. Где же вы до сих пор пропадали?

Он не мог сразу собрать своего тела, мыслей, слов. Он сам не помнил, что бормотал в ответ на ее играющий щебет. Он растерянно позволил взять себя под руку, кого-то неуклюже толкнул, кому-то наступил на ногу.

— Меня зовут Жекой. Идемте, выйдем из толпы. Я еще должна вас хорошенько поблагодарить, прапорщик, за ту ночь... помните?

Она повлекла его в темные, беззвучные гроты листвы, где-то по ту сторону жизни.

\* \* \*

— Жека, а вы в эти дни хоть раз вспомнили меня, вагон? Или это такие пустяки?

Они сидели на скамье в аллеиной нише, полной глухоты и мрака. Девушка клонилась к его лицу, лукавая, готовая тотчас отпрянуть, брызнуть смехом.

— А как по-вашему?

Ему кипуче захотелось рассказать ей всю жизнь, с изначальных самых дней, об одиночестве, о смутном предчувствующем пути, который шел к ней, о возвышенном значении их встречи. Удерживал ее подсмеивающийся, легкомысленный тон. Вместо этого говорил об университете, о Петрограде, о корабле. Узнал, что Жека была художницей, мечтала о Строгановском, работала на фронте сестрой, но непорядки в легких заставили ее вернуться в Севастополь, к морскому воздуху. Шелехов вдруг набрался храбрости, нагнулся и погладил пальцем ее теплую, тугую ногу.

— Помните, Жека... в ту ночь я спал щекой вот тут. Это была невероятная ночь. Но вас... это не стесняло?

Девушка не ответила, убаюканно покачиваясь и напевая с закрытым ртом. Он счел это за поощрение. Его наполнило самое сладостное в жизни, невыразимое тоскование. Но ее... ее покорности он не понимал. И уже становилось жутко за то, что он делал, и за то, что хотел делать дальше, как Жека вдруг соскочила со скамьи и закружилась с издевательским хохотом.

— А вы слышали, как инкерманские лягушки квакают?

— Жека, какие лягушки? — умолял он, ловя ее за руки, не желая проспать.

— Идемте, идемте, вам вредно уединенье.

Опять в кругу над морем шла толпа, в которой стало теснее и как-будто тише: люди кружились в бессловном забвении. Море смутно просветлело; лег знакомый сказочный путь от звезды.

Не твой ли путь, прапорщик Шелехов?

Потом спустились к морю, гуляли вдоль берега по гранитной дамбе, о которую плескалась теплая влажная тьма. Плескалась и отбегала и вдруг билась о край с глухим взрывом, взметывая к звездам водяной смерч, под которым, повизгивая, пробегали женщины. Должно быть, далеко в море был свежий ветер, и к берегам Севастополя гнало мертвую зыбь.

Жека лукаво и ожидающе молчала, нет-нет да и поглядывая на прапорщика из-за плеча. Нужно было говорить, болтать, а он не мог ничего придумать: молчал и любовался ею до самотерзания, до отчаяния. Да и понятно: он никогда еще не видел рядом с собой таких женщин, интересных, с изящной поступью, на нее даже в темноте встречные оглядывались и провожали взглядом. А от этого еще больше вязала зябкая, малодушная робость... Чтобы не молчать, задавал разные неуклюжие, неуместно-деловитые вопросы, в роде того: «что это за здание?» или: «у вас всегда в Севастополе так много гуляющих на бульваре?» или: «кажется, и у вас, в Севастополе, белый хлеб тоже исчезает с рынка?..» — и самому становилось стыднее. О, было бы совсем другое, если бы вместо него шел один из статных, напроборенных лейтенантов или мичманов, умеющих непринужденно создать между собою и женщиной атмосферу любовной игры, пустых, но значительных словечек, вкрадчивых касаний!.. Он малодушно сдавался заранее, хотя мог дать ей в тысячу раз больше, хотя судьба его восходила блистательно... Всюду они волочились за ним, нищие, пригорбленные годы.

Закуривая, нарочно осветил поближе спичкой ее лицо. Опять резкие, немного длинные, язвительные губы. Те самые, которыми поманили однажды, обрекая тосковать по ним всю жизнь, бледные, размытые туманом фонари Петербурга.

Он не мог вытерпеть.

— Мне хочется сказать вам, Жека... Я не представляю, как бы мог завтра или послезавтра гулять вот здесь, вообще жить, пить и есть и не видеть вас... А вижу всего во второй раз. Я потом расскажу вам много... А вы, вы могли бы завтра уже забыть обо мне?

Жеку разбирал неугомонный смех.

— Вы всегда так решительны?

Он понял это, как насмешливый намек на то, что произошло недавно в аллее. Не оттолкнул ли он ее своим сумасшедшим движением навсегда? Но она успокаивающе, добро прижалась к нему.

— Ну конечно, конечно, мы с вами будем большими друзьями.

Ему хотелось еще спросить: — «а есть у вас... кто-нибудь?» — чтоб успокоиться совсем, до конца. Но так и не посмел. Они очутились в дальнем пустынном углу бульвара, против самого рейда. Воздух еще

больше посинел — или глаза пригляделись в темноте, но различались недвижно шествующие туманные громады «Воли», адмиральского «География», скольжение поздних шлюпочных огоньков туда и сюда: то редел берег, гульбище, подступали сны и предполночная глухота.

— Покажите, в каком направлении Одесса, — попросила Жека. Шелехов показал рукой в фосфорическое марево звезд.

— И там румынский фронт?

— Да... А что? — с внезапной ревнивой тревогой спросил он.

Она не сказала ничего, тихо улыбаясь, думая о своем. С улицы донеслись отголоски органного вальса из кино, терзающая цыганщина, но это было хорошо. Они стояли у каменного парапета над морем покачиваясь, плечом к плечу; он читал ей стихи, какие приходили на память; лобзала камни внизу незасыпающая волна.

— Скоро одиннадцать, пора домой, — напомнила Жека.

Да, ему тоже нужно было спешить: мог уйти последний катер.

Он проводил ее на гору, в одну из старинных, чистеньких и узеньких улочек, где мостовые поросли травой. Прощались у чугунной калитки, под тусклым светом домового номерка.

— Помните: я каждый день после девяти у моря... там, где сегодня. Это — она сама, сама!

Медленно, боком утонула за калитку. Но лицо показалось на прощанье еще раз. Шелехов все стоял, ожидая чего-то.

— Прапорщик, — позвала она. — Ну, уходите. Как это: звучала музыка?..

— Звенела музыка в саду, — поправил он, — таким невыразимым горем...

Он приблизил к ней свое лицо; она не отдалила совсем, но и не давала губ. Напрасно он искал их, слабея и закрыв глаза: только чувствовал близкий их, лукаво отбегающий, скользкий холодок. Еще незнакомая ему игра! И у закрытой двери стоял еще несколько минут, и чугун леденил его лоб.

Нет, какая ночь, подумайте, какая ночь!

Он чуть не кричал это сам себе, сбегая вниз, к морю, и выпевая неведомый, самим им придуманный героический марш: турум-ту-ту!.. Что-то опять похожее на зажигательную «Марсельезу»... До катера добежал в самую последнюю минуту, когда уже убирали сходню. Пришлось махнуть с разбега над глухо клокочущей от винта водой, — и это было чудесно, потому что этого прыжка жадно просило тело.

Шелехов протолкался через матросскую тесноту, через родной корабельный, уютный галдеж. Узнавая его, расступались бережно... О, эти могучные матросские плечи! Теперь они — свои, вынесут из любой беды... Он пролез кое-как за мостик, на пустынный бак. Катер колыхало, сносило в темь мимо редких береговых огоньков, мимо военной мигалки, посверкивающей где-то на горе.

— Мина! Мина, — балуясь, кричали на корме. Голубоватый, огненный зигзаг в самом деле летел на катер, под самым бортом свер-

нул и молниеносно пропал впереди. То в фосфоресцирующей глубине играл дельфин. И ночь помрачнела.

Шелехов вспоминал весь сегодняшний день... За иной год не случится так много. Из океанической тьмы навстречу, в лицо, жег соленый освежительный ветер. Вот она жизнь, жизнь! Она оказалась щедрее и волшебнее всех мечтаний. Пальцы его стиснули борт, мокрый от волны. Какую-то мощь он мерил в себе, и казалось: еще небольшое усилие пальцев, стоит только захотеть, и кованое железо борта завьется податливой дугой. Глаза смеялись сами. И нарочно вслух, чтобы показать самому себе, что смеет все, нарочно вызывающе громко пел в темь, в ветер то, что днем боялся договорить даже в мыслях:

— Я хо-чу... да, та-ра-ра-рам!.. я хочу, дорогой то-ва-рищ, попасть, и я попаду... та-ра-ра-рам!.. в Учредительное со-бра-ние!..

*(Продолжение следует)*

---

# Выхваль

Рассказ

Л. СЕИФУЛЛИНА

## I

Долженковы лет пять скитались в оренбургских степях, искали вольной земли. На родину вернулись в голодное время, в начале двадцать первого года. Возвращенье было постыдное. Уезжали хозяевами на двух подводах, обратно притащились пешие, с легкой поклажей на загорбках. Их изба обветшала, кровля провалилась. Старший сын по возвращеньи пристроился на работу в чужом хозяйстве. Младшего, Степку, в пастухи наняло общество. Жена старшего, Дарья, двух детей вытягивала нечастой поденщиной, писаньем писем, прошений и ворожкой на гуще. Была она грамотная, смышленная и дерзкая женщина. Из всей долженковской семьи одна при встречах с почетными хозяйственными мужиками смотрела им прямо в лицо. В прошлом году послали ее на женский с'езд в уездный город, там она пристроилась и на работу в казенной прачечной. В городе она разузнала, что средний сын, Матвей Долженков, проживает в Москве, служит на хорошем месте.

Матвея очень любил отец. Все дети—свои, как пальцы на собственной руке. Какой ни зашиби—болит, какой ни отними—навосе о нем не позабудешь. Но когда они еще малы,—толкуются под родительской рукой; выделится один—для отца или для матери утешней остальных. Родительская память хранит драгоценный детский его облик во всей полноте и тогда, когда он станет взрослым, уйдет к своей судьбе, хотя бы незадачливой и зазорной. Взрослым Матвейку отец не видал, ничего не знал о том, как живет. Снился он ему часто ночами, и сновиденья эти всегда были тревожны. Матвейка рано ушел из семьи. В третьем отделении сельской школы мальчишка сильно приналег на учење. На экзамене учитель и приехавший из города господин по учебной части захвалили его. Заведующий школой сам приходил к Долженкову уговаривать учить сына дальше, в город отправить. Точно зельем опоили парнишку. Стал худ и ненавистлив ко всему

вокруг, будто хворый. Иногда в праздник приходил отец домой под хмельком. Во хмелю он бывал всегда слюняво ласков. Матвейка жался к нему, приставал неотвязно, как осенняя муха, все с одним:

— Папаня, пошли в город учиться. Я ведь в дом жа, вам жа наживу.

В то время у Никанора Долженкова были амбар с запасом и двор со скотиной. Но старшего сына надо женить, вышла пора и дочь замуж выдавать. Митревна прихварывала. Сохнуть, сутулиться начала, но детей еще носила. Всех обездолить придется, если Матвейку в городе учить. Никанор, жалостливо моргая глазами, внушал ему:

— И дед твой и отец неучеными прожили, ничего, не хуже других. Пить-есть, обуться-одеться хватает, и соседи не кормят. Хлеб не занимаем.

Но хлеб добывать при малоземельи в их местности становилось все трудней. Двинулся Никанор с семейством на новые земли.

Перед германской, — в деревнях нежданной, как грабитель в ночи,—войной обосновались Долженковы в Оренбургской губернии, богатой скотом. Приехал к ним из города прасол. Он купил у Никанора на убой яловую корову и быка. Полученные с прасола деньги считал Матвейка. Он жарко поспорил с покупателем из-за недоданного пятиалтынного. Прасол ругался, плевался, ногами топал, пророчил парнишке лихую судьбу. Но, когда распивали с Никанором магарыч, горячо похвалил за сметку, за упорство, вздохнул, посетовал на свою бездетность. Никанор разнежился, всхлипнул от умиленья, тоже пожаловался:

— Парень-то хорош! Хоть я и отец, а не хвалясь скажу, золото-парень, а печали от него тоже хватит.

Он рассказал подробно про Матвейкино горе. У прасола магарыч с Никанором был не первым в тот день. От удачи в закупке скота, от вина неселый шум стоял в голове. Он то и дело широко распахивал кургузый городской серый пиджачишко, ласково подмигивал мужикам, обнимался с ними, хвастал про свою нестяжательность, неразумную щедрость. Тяготила ли его бездетность, и он, действительно, до сердца восхитился чужим потомком, захотелось ли ему во хмелю оставить в деревне после себя славу благодетеля,—только предложил он Никанору взять Матвейку с собой, обещал обучить на свой счет, сделать его своим подручным, а там, может быть, и компаньоном. Никанор заупрямился.

— Не купец я, а свое рождение могу сам на ноги поднять. По чужим дворам не живали еще. Покорнейше благодарим, ну, не согласен.

Отказ раззадорил прасола. Раз пять принимался уговаривать Никанора, тот упорствовал.

На утренней заре прасол, проводив с погонщиком закупленный скот, выехал вслед на легком тарантасике один. За деревней дожидался его Матвейка, со слезами просил взять с собой. Прасол был уже трезв



и сумрачен. От обещанья не отказывался, но без согласия отца не взял, даже отговаривал мальчишку от ухода надолго из семьи. Все же сообщил, где его разыскать, добавив сердито:

— Только пускай теперь он сам, твой отец, хорошенько меня попросит. Без этого не возьму.

Матвейка слезами, угрозами деревню подпалить, утопиться, а больше всего страстностью своего отчаянья вынудил Никанора на тягостный поступок. Поехал отец догонять прасола, униженно просил и сдал ему Матвейку.

Во время войны прасол разбогател. После Октябрьской революции бегал с другими богачами от большевиков, в свой город вернулся нищим умирать. Матвейки при нем уже не было. Парень ушел с красными и затерялся где-то в городах. Справлялись о нем родители много раз, при всяком случае, но искать след человека тогда надо было с предельным упорством, как дорогу в степи в буран. Долженковы так разыскивать Матвейку не могли. Старший сын долго отлеживался раненый в австрийском госпитале, а вернувшись, попал опять в сражение. То белые, то красные забирали его воевать. Потом вся семья переболела тифом. Разорились, затощали, перевели скот и хлебные запасы. Митревна, крепкая до костности в своих привязанностях, тосковала на новом местожительстве. За четыре года никак она не могла привыкнуть к людям, собранным в степной губернии с разных концов России, к разнообразию их обычаев и верований. Для нее свои, Россия, русские были только там, где женщины носили фартуки, как она, выше груди, где бог один, страшнолицый Спас за престолом в церкви, и нет иноверцев в селе, где коренной хлеб не пшеница, а рожь, где у земли привычный с измалетства, оттого сердцу Митревы, тугому на новую красу, незаменимо милый лик. Степь вместо лесов, смешанный говор, незнакомые прибаутки, присловья, свадебные обряды, проводы покойников—все казалось ей странным, даже нечестивым, вызывало брезгливую настороженность. По ее мольбам привел Никанор семью обратно в родное село. Но родина показалась ей по возвращении подмененной. Не той, что вставала в воспоминаниях и во снах на чужбине. Горьки были и здесь старость и нищета. Прошло шесть лет. О Матвее перестали даже разузнавать.

Вдруг сноха Дарья сообщила старику, что добыла его адрес. Отец даже прихворнул от душевного волнения. С неделю плохо двигался, больше лежал. Дарья написала Матвею письмо. Ответ получили Долженковы только через три месяца. Матвей извещал, что находился в отъезде по своей службе, письмо Дарьино недавно прочитал, скоро приедет в Александровку на свиданье с родителями. Ни сами Долженковы, ни соседи их, никто в деревне обещанью Матвея не поверил. Если б Матвей захотел старикам помочь, — выслал бы денег, а он только отписался, Ну, что ж, понятно: трудно дается после голодных лет хороший кусок. Матвею уже двадцать пятый год. Свою семью завел, как же иначе? Отрезанный ломоть.

Но донимала нужда и, прослушав его ответ, старик Долженков вздохнул, проговорил совестясь, покашливая:

— Ну, что ж... кхм... кхм... на добром слове спасибо... Кхм... кхм... А может, прописать ему, не придет ли... кхм... кхм... рублей пять. Муки, картошки купить... Кхм... Как, Дарья, посоветуешь, а?

Дарья взглянула искоса на старика, поправила на голове повязанный по-городски концами назад красный платок, пристукнула по столу жилистой рукой, визгливым бабьим голоском протараторила:

— Я ему пропишу, я ему отпою, он у меня почешется! Я его разыграю по басам. Жди-пожди, когда придет, ка-абель ласковый. Мать с отцом в ожиданках ноги с голоду вытянут! Ну, и мы поуменьли. Я расстараясь да в Москву к нему проберусь. Сам не дает помощи, вытянем! Небо-ось, хватит! Посовестились, натерпелись! Коли этакой сын, что абы-бы самому сладко, а родители пускай водицу пьют да водицей и закусывают, эдакого и за грудки потрясти не грех. Не думайте, папаша, не сомневайтесь, от меня он не отвертится.

Но не только поехать в Москву, написать она собралась не сразу. Много было работы, очень уставала за день, не до писанья. Болели изъеденные стиркой руки, ныла спина.

На той неделе в субботу, ввечеру, Дарья с детьми пришла из города, чтобы провести праздничный день с мужем. В сумерки семья собралась во дворе за ужином. Сидели на земле вокруг разостланной дерюги. Истово черпали ложками из большой деревянной чашки тюрю из черных сухарей, приправленную луком. Дарья не один раз оглядывала всех беспокойным взглядом. У нее в-узелке, принесенном с собой, были белый хлеб, заварка чаю, селедка и три куска сахара. Разделить на всех, что каждому достанется? Двое стариков, Степка, сестра его Фрося, она сама, двое ее ребятишек — семеро. Губы только помазать! А затемно придет с работы на ночевку муж. Тоже не жирно кормится, пусть хоть он сегодня поест вдоволь. Она считала себя правой, но не могла победить жалости к близким, давно не знавшим сытости. Взглянув случайно на Степкину спину с выпиравшими из-под рубашки острыми лопатками, она поджала тонкие губы. Худенькое рябоватое ее лицо стало совсем маленьким, остро горестным. Трехлетний Петька дотянулся до общей чашки, запустил в нее обе руки. Дарья с размаху ударила его по спине.

— У, свиненок, пропаду на вас нет! Еще ногами в чашку залезешь? Сиди!

Ребенок содрогнулся от обиды и боли, громко заплакал. Детский горький вскрик далеко разнесся по улице, по тихому вечернему полю за избой. Старик укоризненно покачал седой с прожелтью головой.

— Мачеха ты, что ли? Ну, иди, иди, ко мне, внучек, иди, маненький. По земле чуть ступать начал, а ты затрещины сыпешь. Еще надают без тебя, на это не поскупятся, не думай. Что-что...

Дарья перебила его визгливой бешеной скороговоркой.

Дарья перебила его визгливой бешеной скороговоркой:

— Надоели они мне пуще всякого лиха! Кто хорошо живет, так детей ни крестом, ни постом себе не вымолят, а на наши нехватки они плодятся, как тараканы. Двоих схоронила, радовалась, а вот, никак, опять тяжелая. Чего же это, господи, куда? Петька с Кланькой скрутили меня, чисто лошадь путы. Без них я бы давно в делегатки выбилась. Из-за них и собранья пропускаю и в книжку почитать некогда, а нонче только с читаньем языком двигать можно и работу добыть. Люди-то живут...

От горячей злости у ней перехватило дыханье. Поперхнулась словом, махнула рукой и замолкла так же внезапно, как взголосила. Старуха тяжело поднялась с земли. Крестясь, пришептывая сыздетства привычные, непонятные ей самой слова молитвы, она трижды поклонилась на восток серо-синему небу, медленно разливавшейся по нему темноте. Выгнутая дугой спина старухи уже не распрямлялась. Когда она пошла к избе и на ходу заговорила с невесткой, казалось, что скрючил ее предельный испуг, потому оглядывается старуха не через плечо, а боязливо согнувшись, из-за локтя.

— Мудришь больно, сношенька. Делегатки да пролетарии, да текучий амент, наслухалась и я на старости, при недалней своей могиле. Уж столь дивного понасказали ваши-то олатыры, никак боле и в диво человеку ничего не осталось.

У входа в избу она повернулась к Дарье, стоящая корпусом вниз, будто каждый миг готовая рухнуть ниц под бременем долголетних трудов и неврачеванных болезней. Она с усилием приподняла повыше серое, морщинистое, как иссохшая земля, лицо и с унылой, бесстрастной убежденностью сказала:

— Землю-то матушку сколь не бутырь, хошь вверх доньшком перевероти, людям предел не переменишь. Как господь назначил, так оно каждому на его долю и будет. Если бог без счастья на свет послал, дак и в делегатках сытости ты не добудешь. Нет, милая, нет, не ухватишь! А другой и в низком звании, никакой тебе не пролетарий, а как мы, пень серый деревенский, живет в счастье, кажный день досыту ест.

Дарья вскочила, хлопнула себе ладонями по бедрам, страстно ахнула, сплонула и, рывком схватив на руки успокоившегося около дедушки Петьку, пошла в поле к огородам. Семилетняя Кланька вприпрыжку побежала за ней. Степка, сутулясь от худобы, пошел, позевывая, в избу, на ходу неожиданно взвеселился, взбрыкнул ногами, как длинноногий жеребенок, крикнул:

— Пра-алитарии, которы пролетают...

Фроська благодарно, радостно фыркнула, вытерла губы грязным рукавом кофты и тоненьким голосом запела недавно заученные слова последней песенной новинки в Александровке:

Я для него была верна  
И воровать порой ходила,  
А деньги все, признаться вам,  
Ему же, Каину, носила...

Старуха из избы заругалась на нее за нехорошую песню, заохала, закашлялась, закряхтела. Степка из сеней звонко спросил:

— Папаня, а папань! Говорят, в Москве печек нет. Из-под полу горячий дух напустят, а во всем доме тепло. Правда али брешет учителей Федька?

Старик не ответил, не услышал. Он стоял прямой, тощий, неподвижный, лицом к востоку. Собирался на ночь богу молиться. Перед ним расстилалась широкая поляна. В сгущавшемся сумраке цветы и травы казались сплошным темным покрывалом, принакрывшим для ночного отдыха яркую радость справлявшей юность земли. Но еще различима была прорезавшая поляну прямая длинная дорога и слитная единая тень деревьев березовой рощи за ней. Из рощи, с поляны ветер наносил быстро, легко набегающей и убегающей волной ароматы майского цветенья. Старик вдыхал их нежадным старческим дыханьем, но про молитву забыл и не приметил, как появился на пути городской тарантас на железном ходу. Звук мерного тренья колес об дорогу, стук лошадиных копыт, понуканье возницы слышались уже явственно во дворе. Подвода повернула к деревне по свертку, ближнему к долженковскому жилью. От невероятной, но настоящей догадки у старика всполошилось сердце, стеснилось дыханье в груди, зазвенело в ушах. И вот — по двору разнесся вопль испуганной счастием старухи. Потом старик увидел, как с разбегу перемахнула через жердины изгороди простоволосая Дарья, уронившая на бегу платок, как сходились к их двору возлюбопытствовавшие соседи, позже сам обнимал сына, расспрашивал его, отвечал на вопросы, но голоса людей и его собственный казались ему приглушенными. Все вокруг — двор, незакрывающая его изгородь в две березины, изба, кривенький хлевушек стали непривычными, недействительными, как в сновиденьи.

## II

Слух о приезде к Долженковым московского гостя быстро разнесся по селу. Дарья насбираала в соседних дворах угощение для него. Никто в этот раз ей не отказал. Косоглазая Устинья с дальнего конца деревни без просьбы сама понесла самогон в бутылке с надписью «мадера» и горшок крутой пшенной каши. Поспешили вдогонку за ней и другие бабы. На ходу Устинья рассказывала:

— Тетка Маша первая увидела, едет, говорит...

Низенькая востроносая бабенка горячо перебила:

— Тетка Маша? Господи! Вот какие люди есть, прямо без стыду! Тетки Маши и в повидах-то не было, как я на дорогу выбегла. Корова у меня не пришла, корову поглядеть... Гляжу, он едет... Я тут же сдогадалась...

Басовитая, от отдышки всегда пыхтящая Катерина, по прозванью Моториха, не дала ей договорить.

— В тую пятницу видала я во сне, будто бы старуха Долженчиха, Митревна...

Но и ее внушительный голос был покрыт торопливыми сообщениями других баб. Каждой хотелось быть причастной к событию, взволновавшему мирное течение одинаковых дней.

В избе у Долженковых стол, криво сколоченный маломощными руками старика, принакрыли самотканной скатертью. Дарья раздобыла и лампу и керосину. За столом разместились вся семья и почетные посетители. В открытые настежь двери избы один за другим входили мужики. Оттесненные назад бабы вытягивали шеи через их плечи, судачили шепотком, протискивались поближе к Дарье, к Митревне с расспросами. За окнами слышалось шушуканье, дурашливое покашливание парней, девичий приглушенный смех. Ребятишки, не таясь, влезали на завалинку, всовывались внутрь избы, оглядывали всех с жарким любопытством. Стоящие сзади хватали их за ноги, стаскивали за шивороты, чтоб не мешали видеть. Сердитое сопенье упорствующих мальчишек порой прерывалось хныканьем, возгласами.

— Я те сам щипану! Какой нашелся товарищ ротный, командир сопливый!

— Глашка, не трожь, у, мокрохвостая богородица в девках родила!

— Мамка, а-а-а! Чего он уши мне дере-ет!

— Тише вы, галманье. Дайте послушать, что московский сказывает.

Степка и Фроська часто высовывались в окно на улицу, наперебой хвалились жарким шопотом:

— Он только накой-то застегнулся, а он при часах.

— А пинжак-то, видали, какой у него? а? Ладней, чем вон у тех проезжих, автомобиль-то которы в овраге ухрястали!

— У тех какая одежда, у нашего-то куда богатей! Вот те и «ври»! Какая у него пальто, дак и не наврешь, не сдогадаешься. Э-эдакого матерья не наврешь!

Фроська, победно оглядывая столпившихся в темноте, подтвердила прерывистым от страстного восторга голосом:

— На низу на пальте подкладка чистая шелкова, ладошке щекотно. Сроду-отроду не брехучая и сейчас брехать не стану, чистая шелкова!

Из толпы им отвечали завистливым сомнением, смешком, дружеским одобрением, советами:

— Ты, Фроська, завтра вели тебе купить ботинки с калошами.

— Ни пальта, ни на голову платка, а ты—ботинки с калошами. Деньги просите, с деньгами уму хватит, чего надо купить.

— А с богатству тоже, бывает, ум теряют.

— О-о, гляди, ты не разбогатеи, неустойка выйдет—терять тебе нечего.

— А мне вот дай-ко тыщу рублей, дак умней меня, до край свету пройди, будет только тот человек, у кого их две ай три.

Матвей сидел во главе стола. Он охотно поворачивался во все стороны, успевал слышать многих, почти каждому отвечал. Старик сбоку, сначала робко, со сладким замираньем сердца, потом трезвей, внимательней разглядывал его. Свой, никто не поспорит,—Долженков. Сложеньем в отца, высок, сухощав, но крепок в кости. Таким смолоду был Никанор. Обличьем очень с матерью схож, светлоглазый и улыбочивый. Воды много утекло с той поры, когда звонкоголосый мальчишка Матвейка ушел от семьи в город. А со времени Митревниной младости—еще больше. Кто знал ее молодойкой Аксиньей, и тот не найдет в ней прежних черт. Но Никанор видит и за морщинами и за тусклостью взгляда нежные щеки и синие глаза. За выбор жены он никогда родителей не покори́л, пришлась по душе, и молодой ее образ ему памятен навсегда. Сходство с ней у Матвея особенно сильно потому, что ни борода, ни усы не изменяют лика. Он гладко выбрит. Но безволосое по-женски лицо, как и вся городская повадка, делает его чужим, человеком иной жизни, отпугивает. Старику стало не по себе, когда сын вольно, с шуточкой отвечал старикам:

— Спасибо, дедушка Пахом, живу ничего, хорошо. Поедьте со мной в Москву, там старых заново молодыми делают. Нет, не шучу, доктора такие есть.

Федор, старший брат, в поле ездил. Поспешил притти, не умылся. Темной тенью лежала пыль у него на лбу, у крыльев носа и во впадинах глаз. Сгоряча он близко подсел к брату, но поглядел в его бритое чистое лицо, на белые руки, потом на свою, прилипшую к потному телу грязную рубаху, торопливо поднялся со скамьи.

— Дарья, ну-ка смениться мне, дай-ка чистую рубаху. Пойдем, сплесни воды, умоюсь.

Он приостановился, свертывая толстую бумажку для цыгарки. Матвей быстро выскочил из-за стола, выхватил у него из рук засаленный кисет:

— Постой, вот покури. Я папирос привез. Да бери всю пачку! У меня с собой много, я много курю.

И тут же к соседям, к чужим — мало ли их поглазеть набилось в избу, — ко всем:

— Пожалуйста, закуривайте. Пожалуйста, пожалуйста!

Ловко, вертко обращаясь то к тому, то к другому, он открыл чемодан и принялся совать папиросы направо и налево целенькими пачками по двадцать пять штук.

— Алексей Иванович, пожалуйста. Ух, старый друг! Не узнал бы я тебя, Сашка, если б ты сам не назвался. Прямо пожилой мужик, а ведь мы одногодки. На, бери, бери, да бери, чего ерундишь? Степан Яковлевич, пожалуйста!

Митревна опасливо поглядела на сына, жалобно—на мужа... Старик угрюмо отвернулся. Только легковесный человек, расточитель

показывает чужим свой запас. У такого сколько ни есть благоты, все прахом пойдет. Не маленький, поди, сам понимает: кто легко одаривает, над тем люди смеются. И Матвея на смех поднимут все, кого дуром угощал. Скажут:

— Эх ты, целыми пачками папиросы ширяет туды-сюды, возьми, забирай. Видать не потное, не горбом добытое. Дается же в эдакие дырявые руки добро!

А Матвей, и впрямь как блажной, начал за папиросами гостинцы родным при всей деревне доставать.

— Мама, а тут вам я привез...

Митревна замахала руками, поспешно, чуть не спотыкаясь, скрючившись сильнее, чем обычно, подошла к сыну:

— Ладно, ладно, сынок, иди-ко закусывай, не ломай стол, садись. Чего там привез. Приехал сам, вот за это спасибо! Чего навезешь, самому-то в городе прожить сколько стоит.

Юркая старушонка — в деревне звали ее «бабка-телеграф» — пронирнула под локтями у мужиков к самому столу, протарантила весело дребезжащим говорком:

— Матушка, Аксенья Митревна, утроба ты моя, из-за тебя и я не сплю. Уж какой наш стариковский сон, а тут и вовсе никак, и глаз не завела! Да радость вам какая! Да как же, о-ох, господи-и! Нет, мол, сама себе думаю, в могилу скоро, там отлежусь, отсплюсь, а теперь резво бегите, плохие мои ноженьки! Как ни приспешать с Митревной, с Никанор Пахомычем, с родителями, со счастливыми не порадоваться? За терпенье за ваше, за кроткую вашу молитву наградил вас бог-то как, а? Соколик-то, сынок любимый, Матвей Никанорыч, налетел. Налетел, милый, к родителям, налетел, утроба! О-ох!

Она громко, упоенно всхлипнула, быстро вытерла концом фартука глаза, всплеснула ладошками, стиснула их в умиленьи.

— Пригож, ой, пригожий какой удался он у тебя, Митревна! Уж что тут скажешь, ничего не скажешь,—и умен и с лица приятен. И женка-то, поди, под пару? Дамочка румяная, умница золотая. Жалованья вы сколько получаете?

Матвей и Дарья засмеялись, отозвались одновременно:

— Не женился еще, бабушка, в Москве свахи плохие.

— По утру, бабка, сосчитаем с тобой вместе его получку. А сейчас накось выпей, проздравь с приездом.

Старуха, протягивая сухую цепкую руку за стаканчиком, отрицательно качала головой.

— Куда уж мне выпивать! Воды глотну, и то качнусь. Силы-то у меня осталось сколь у воробья, да и смолоду выпивать неохотлива была. Только уж для тебя, утроба, для тебя, Матвейюшка, с радости, с проздравленьем пригублю. Ты мне все одно, как мой сынок, Павлушенька... заместо его, утроба! Ну, здравствуйте. О-ох, как крепка, самодельная-то. Ба-атюшки! Дух не переведу с непривычки-то. У Пермяковых брали? У их, видно. Только у их удастся эдакая жаркая.

Матвей засмеялся, сунул под столом брату Федору деньги, Федор подозвал Степку. Тот, крепко сжимая кулак, вихрем помчался по улице. Вернулся он скоро с четвертью самогона и с двумя бутылками водки под мышкой. С ним вместе вошел парень с косым пробором на голове, в спортивной полосатой майке, в белых брезентовых туфлях — гармонист Митя. Дарья подозвала Митю к столу, предложила выпить. Он бережно снял с себя гармонию и передал Степке:

— Поберегите, молодой человек.

Стаканчик он взял, оттопырив мизинец, стукнул пяткой об пятку и поклонился, держа голову вбок:

— Приветствую вас, Матвей Никанорыч, от лица культурной части населения.

Лихо осушил стаканчик одним глотком, перевернул его вверх дном и пояснил:

— Как вас уважаю, так и выпиваю.

Свежий воздух, входивший в раскрытые окна и дверь, густел мгновенно от махорки, от утробного дыханья разогретых выпивкой людей, от запаха пропотевших мужицких рубах. Сумятица пьяной беседы становилась все шумней. Дед Парфен, похожий на сову желтыми круглыми глазами и мохнатыми бровями, тянулся через стол к Матвею:

— Ну, ладно, если я собирал, если я старался, и у меня было, за это я — дерьмо? А пролетарий — ни кола, ни двора, на рубахе один ворот без заплат, он — человек? Да теперь же кто хлеб на базар повезет. О-он? Никогда-а. Раз у него нет, он чего повезет? А у него нет и не будет. Чужое, что в руки попало, дак и то промеж пальцев утекло. Чего он тебе привезет, а? Ты рассуди. Опять я повезу? А мне чего везти, а я где возьму везти? Да ты чего, милый, да ты рассуди, я чего повезу?

Короткопалой жесткой рукой он стучал по столу, передергивал крепко сбитыми плечами, шумно вздыхал. Бабка-телеграф юлила сзади то справа, то слева около него, перебивала, зудила:

— А ты, Парфен, бога не гневи, у тебя есть чего везти, есть, знаем, знаем, не прибедняйся! На-айдешь чего везти! Есть, есть, есть, есть, не гневи господу. Нака-а-жет!

Парфен озлился, быстро повернулся к бабке всем корпусом:

— Ты помолчи, ты промеж меня и господу не встревай, не тебе за бога встревать!

— Я и не встреваю. Я ему, милостивцу, не докучаю, — чего даст, чего отымет, за все спасибо. А вам все мало, все боле просили, вот и раздражили бога, надокучили. Он вам и поставил советскую власть.

Парфен хлопнул себя по коленкам, вскрикнул с горячей обидой:

— Да советы ништо богом установлены? Богом, што ли? Разе на комиссаров помазанье бывает?

Бабка отмахнулась обеими руками:

— Меня это не касаемо, какое им бывает помазанье. Я живу себе, живу, во всем ему, владыке, покорствую, не обижаюся. А вы его



допекли до ярости. Немилостивый стал! Когда солнышко надо, — дождик хлещет, когда дождю, — сверху жаром пышет. Прошлый год хлебу зреть, земле прогреваться, а святых-то уж не знай чем опоили на небе. Ливмя лило! Не подноси, Матвей Никанорыч, не надо, не потребляю ведь я. Сокол ясный, утроба, только для тебя выпью! Только для тебя! Здравствуйте!

Парфен сердито отстранил бабушку локтем от стола.

— Отойди, не мешай разговору! А я вот тебе скажу, Матвей, ты это как рассудишь, ежели человек бедный али партийный, дак он обязательно дельный, а?

Бабушка снова сунулась через его плечо:

— У меня зять коммунист, дуже дельный, вот бы с тобой, утроба, он побеседовал всласть. Только тепер в тюрьме сидит, коператив растратил. Ну-к што ж, грех на всякого живет.

Гармонист приподнял брови и внушительно проговорил:

— Я бы вас попросил про коммунистов поаккуратней выражать. Возмущать население я не разрешаю.

Бабушка подбоченилась:

— Ишь ты, поди ж ты, наострился как в машинистах-то на мельнице. Утроба, Митенька, и на гармони ты горазд и высказываешь враз, как мой зять. Уж до чего хорошо! Матвей Никанорыч, слышь-ка, да ты вот к ему, к Митеньке-то, поближе. А мы что, мы народ серый, коли что не так, ты не взыщи! Ну, как люблю, так и пью. Ух, утроба, Матвеюшка!

Никанор, тыкаясь подбородком то себе в грудь, то Матвею в плечо, тянул уныло, запинаясь в словах, будто беззвучно икая:

— Сынок, спа-асиба... Сынок, хто я стал, нищий я стал, а ты при... прие-ехал, спа-сиба-а. А-абидно тебе, хто я стал... Ма-атвей, не гнушайся. Не-ету у меня ни коня, ни коровы. Сы-ынок, курицы нет во дворе.

Он с усилием приподнял вверх лицо. На мокрой седой бороде налипли кусочки каши. Нижняя губа отвисла, обнажив выщербленные старостью желтые зубы, весь слюнявый немощный рот. Крупная прозрачная слеза застряла в морщине на щеке. Так он долго просидел с устремленными в потолок тоскующими глазами. Федор, хмуря брови, откашливаясь, перегибался к Матвею, отстраняя рукой отца.

— Вы, папаша, погодите! Вы маленько переждите, вы сейчас это не к делу. Я вам, Матвей, вот что скажу. Мы не против, вы этого в мыслях не держите! Папаше вы любезный сын, мне дорогой брат, но мы понимаем, на какое вышли положение вы, а где мы остались! Ну, я все одно, мы не против, мы на это согласны. Если что не так скажем, всякое лыко в строку вы нам не ставьте. Вот хозяйство мы желаем подправить...

У Матвея кружилась голова и от выпитого вина и от душевного смятенья. Ему хотелось каждому из них в отдельности или всем разом сказать особенными проникновенными словами, как хорошо он

каждого из них помнит и ценит, рассказать, как недороги стали друг другу люди в больших городах, там, откуда он приехал, а вот они ему близки с детства, и он счастлив от ощущения любви к ним в себе. Но слов он не находил, голос пресекался. Настойчиво и бессвязно он твердил:

— Я разве не знаю... Я знаю. Вот и на родине опять. Я, знаете, давно собирался... Ну, разве я не понимаю, я ведь вам не чужой. Тут мне ведь и деревья в лесу — все родня! Человек человеку часто бывает враг, а как это тяжело, друзья!

Гармонист громко крикнул Степке:

— Тубареточку мне, молодой человек, раздобудьте. Гражданё, прошу вас, освободите мне место в отдалении, постараюсь для гостя, поразвлеку вас сегодня. Потанцуйте, желающие!

Усевшись, он закинул лицо вверх, прищурил глаза, подумал и заиграл плясовую «Мельник». Баба-телеграф, примаргивая то одним, то другим глазом, плавно двинулась, притопнула, закружилась, выводя тоненьким голоском:

Ветер дует спереду,  
Мельник мелет в середу,  
Цвяты мои, цвяты,  
Цвяты алы, голубы.

Дарья бешено сорвалась с места, звонко подхватила:

Цветы мои, цветы,  
Цветы алы, голубы...

Притопнув, она взвизгнула, махнула мужу рукой:

— Федор, уважь. И мы празднику дождались. Мы нынче гуляем. И-их, «сторонись богачи»!

Обычно быстрые ее движенья в пляске были неистовы. Сотрясенье бедер и плеч вызывало представление о телесном разгуле. Федор плясал, сурово поджав губы, со строгим взглядом, но в присядку прошелся с исключительной ловкостью и легкостью. Вслед за ними закружились, толкаясь, мешая друг другу, еще две бабы и маленький увертливый мужик.

Согнутая Митревна, тряся головой, затопталась в кругу. С хилым смешком она приговаривала:

— Бабы, бабы, доченька, сношенька, выпимши я! Бабыньки, с радости я... Фрося, Фрося, Дарьюшка, веселая я. Внучки мои, голубчики мои, поглядите на баушку, я выпила.

Сивые космы выбились из-под черной старушечьей повязки, глаза выпучились, в них набухли кровавые жилки, старческое ее лицо нехорошо исказилось от пьяного смеха. На кровати, суча ногами, трепеща ручонками, отчаянно плакал разбуженный шумом Петька. Митревна тянулась, было, к нему. Он закричал еще сильнее, затрясся всем телом и посинел. Тощая нежнолицая баба осторожно взяла ребенка на руки, прижала рукой его голову к своему плечу, пошептала, погладила, он затих, но долго еще содрогался у нее на руках. Она тщетно звала к нему Дарью:

— Дарья, да ты что, ай стыду в тебе нет? Кинули свое дите в избе на пьяных, чисто безбашенного какого, а сами, на-ко, расплясались! Страмота! Тьфу!

Сердито расталкивая народ, она вышла с Петькой во двор.

Из-за хлевушка раздался режущий уши визг, оттуда выскочила Фроська, кинулась к бабе:

— Тетенька, тетенька Стеша, и я с тобой. Ой, господи, напугалась я как, ой, сердце вырвется! Тетенька! Перепи-ились, сдурели, ой-ой, беда! Я с тобой, ох, с тобой. По нужде по своей вышла, а он...

— Да что ты, что ты...

И тут же баба догадалась:

— Небось, Василий-снохач? Вот кобель, прости господи, взъярился на старости. За этим, как выпьет, только и гляди, и дите испортит, греха не побоятся. Налакаются, поглядишь, дак и не пьяная заблюешь. Ба-атюшки, шалеют от зелья, беду свою пьют, а все варят, все лакают! И кто его первый выдумал сготовлять, всеё адовой муки мало для его. Ма-ало!

Она недавно схоронила мужа, убитого в пьяной драке. Задрожав от воспоминанья, она заплакала надрывно, с причитаньем ушла со двора и увела с собой Фроську.

В сенцах Степка корчился от натужной рвоты, взывал:

— Мама, мама-а... ой, помру сейчас. Ха-а-а! Ой, смерть моя.

В избе мужики зевласто и вразброд запели старую протяжную песню о том, «как горька полынь - травушка, а горчей ее служба царская». Вдруг вошел в хор, выделился, повел дальше песню верно и душевно высокий мужской голос. Пьяный многоголосый хор бессилен был опорочить его и затихал, покоряемый им. Один за другим отстали, смолкли хмельные мужики, только один проникновенный голос продолжал петь. Молоденькая несчастливая женщина, тосковавшая бесслезно в ближнем огороде, упала в грядку лицом, взрыдала всласть, потом тихонько поднялась, подошла к плетню, чтоб лучше слышать. Под окном долженковской избы затихла возня и девичьи взвизги. Во дворе Дарья, прислушиваясь, отрезвела, вздвинулась:

— Что же это, хорошо-то как, аж мураши по спине! Да кто это? Никак Матвей?

Она протолкалась к окошку сквозь притихшую толпу. Матвей стоял, прижавшись спиной к дверному косяку. Конец песни он вытянул долгим, хватающим за сердце, но чистым, ненадсадным звуком. И сейчас же, чуть передохнув, завел иную, веселую. Видно было Дарье его побледневшее, просветлевшее лицо, но она перестала видеть, всем вниманием ушла в слух. Вслед за словами, какие теперь радостно выпевал Матвей, она невольно распрямила спину, подобралась, взвеселела.

Расходясь по домам, мужики прощались с Матвеем проще и теплей, чем здоровались по приходе. Гармонист с искренним восторгом заявил:

— Отчаянно поете! Замечательно!

Низенький старичок с кудрями вокруг лысины хлопнул его ласково пониже спины, растроганным голосом проговорил:

— Ну, и мастер ты, парень, песни играть. Ух, и мастер! В нынешнее время никто, пожалуй, во всей округе тебя не перепоеет. Слабогрудый народ пошел, больше горлом надсаживается. А я хорошо слышу, кто если обманывает, горлом если заместо нутряного выпева. Смолоду я сам певун был хороший. Вот уважил ты меня нынче! Вот спасибо, как уважил!

Узкоплечий мужичок очень высоким голосом заявил:

— Не видал я еще певца себе под пару, а вот довелось. У нас в полку никто тоньше меня не вытягивал. Солдаты высоко хором ведут, а я взовью, в ушах засвербит! Ротный командир, бывало, скажет: «ах ты...» — ну, тут, известно, взматерится, извиняйте, и скажет: «да у вас с женой-то который за мужика спит, не она ли?». Вы не так тонко выводите, ну хорошо.

Юная черноглазая баба задержалась в дверях, посмотрела долгим взглядом на Матвея. Горячий свет ее восхищенных глаз мерещился ему до полного рассвета, без малейшей мути вождельня. Он не мог заснуть от другой страсти, поглощавшей жар его крови, от чаяния славы. Сегодня в чаровании его дара были люди, которым—он боялся—недоступно, ненужно искусство.

### III

Уезжая из города к родным в деревню, Матвей думал пробить у них полтора месяца, весь свой летний досуг. По приезде первые три дня, когда Долженковы покупали муку, пшено, телегу, приторговывали лошадь, были напоены до краев радостью давать людям радость. А на четвертый—уже затомило Матвея странное ощущение: будто он откинут в дальнее прошлое и заперт в нем. Кругом—память о недавнем и новшества настоящего. За ближним лесом сохранились еще обвисшие обрывки проволочных заграждений. При въезде в село торчат останки дворов, убитых гражданской войной. В бывшем волостном правлении—волисполком, на вывеске—новый герб, серп и молот. Речь не только молодежи, но и пожилых мужиков; даже упорно косных старух просекалась не русскими, неизвестными прежде словами. В церковном доме, где раньше жил священник, помещался клуб. По окончании полевых работ молодежь собиралась в нем. Зимой почти каждое воскресенье ставились спектакли. Митька-гармонист особенно хвалил постановки «Марат», «Теща в дом, все вверх дном» и оперетки, где под его, Митину, гармонь пели про козни Антанты. Церковь большую часть праздников оставалась наглухо запертой. Нечасто наезжал для богослужений и выполнения треб священник из другого села. Наделяли его щедро. Но когда он выразил желание обосноваться здесь на постоянном служении, жители назначили ему малую, как нищему подачка, плату. Парфен Бульгин, большой ревнитель благолепия церковных обрядов, вразумительно объяснил:

— Батюшка, когда редко ты приезжаешь, ты нам гость, а гостя надо и в будни по-праздничному угостить. А коли поселишься здесь, станешь, как свойственник, часто захаживать. Тут уж не гневайся, получай только то, что сами не доели, где же на каждодневное твое гошенье напасешься? Накладу на нас и без тебя много. Да и чего скажешь, поотвык народ от обедни в каждое-то воскресенье. Ты, батюшка, не гляди, не уповай, милый, что в твои те наезды церква битком. Это по редкости, в охотку, и охальники наши приходят принаряженных девок глядеть. А насчет бога народ нерачительный, не уважительный стал. Уж чего боле говорить: у меня в горнице кивот дедовский с иконами, а коло его сидючи мои же сыновья табак курят. Нет, и не торгуйся, все одно больше не заплотим.

Парфен об этом разговоре сам рассказал Матвею.

Были в Александровке три семьи, в которых росли некрещенные дети. Минувшей осенью отпировали пять свадеб без венчанья, лишь по записи. Пожилой Александровский народ без задору, лениво, попенял молодоженам. Митревна, сообщая сыну о невенчанных и о младенцах некрещеных, устало добавила:

— Им совесть дозволяет, а нам што? Каждый сам себя ответчик. На то, видно, мир повернулся, каждый по своему обычаю живет.

В версте от деревни лагерем стояли пионеры из детских домов ближнего уездного города. По вызову они являлись на работу к Александровским мужикам. Сторожили коней в ночном, таскали воду на поливку огородов. Девочки в избах у занедуживших хозяек убирали, стирали, доили коров.

Но все это новое было наверху, как на озере круги от удара камнем. Нутряная жизнь во дворах, в избах, в поле, в семье хранила свой прежний многовековой уклад.

Однажды в полдень Матвей, развяленный бездействием и жарой, спал в снях. Отчаянные крики разбудили его. На соседнем дворе женщина кричала, хрипела, замолкала сомлев, снова взвизгивала режущим уши и сердце взвизгом. Матвей кинулся на помощь. Вернулся он с большим синяком под левым глазом. В своем дворе его встретил старик. С тихой укоризной, покачивая головой, сказал сыну:

— Неладно ты сделал. Промеж мужа и жены чужому нечего соваться, какое тебе дело? Теперь у нас и дружба врозь, обижаться на нас соседи будут.

И Митревна, охая, вздыхая, похлопывая себя по бокам, дивилась:

— Сынок, и на кой тебе надо в чужое дело путаться? Хошь они и невенчанные, а все одно муж да жена, стало — одна сатана. Он поучит, он и пожалеет. Теперь Верка-то, поди, пуще прежнего плачет. Побил бы да и отошел, а за твою заступу ей выместит, долго злобиться будет. Под глазом-то примочи водицей, а то... погоди-ка...

Матвей крикнул ей с сердцем:

— Человека убивают, а вы рядом сидите, э-эх!

Митревна спокойно ответила:

— Чать не дурак, до смерти не убьет, за смерть, известно, хочешь, не хочешь, а отвечай. Да кабы убил, ты сунулся, и тебя замотают в суд, да в дело. А если мы слыхом не слыхали, видом не видали, какое наше дело? Да нас дома не было — и вся! Кабы в праздник, от нечего делать не стерпели, побежали бы поглядеть, а нынче и глядеть некому.

Матвей, тяжело дыша, присел на завалинку, взял в рот папиросу, но не сразу смог зажечь спичку. Пальцы у него дрожали. Мать присела рядом с ним, он неприязненно скосил на нее глаза. Митревна продолжала сетовать. Голос ее уныло и равномерно поскрипывал:

— Да сказался бы мне, куда побежал, я бы тебя не пустила. Уж как ни то, уговорила бы, не пустила. Верка-то теперь мне выговорит. Скажет, мало ль бы што кричала я, больно было, вот и кричала, а чужих мужиков моего страмить не звала. И чего ей страмить его, хорошо как живут, согласно живут! Намедни в городе ей на платью набрал. А взял он ее только что не телешом, безо всякого приданого. Да недоглядчивая она, нехозяйственная, поди за какой недогляд и поучил муж. Он в город-то не курей ли возил на базар?

Матвей сердито пробурчал:

— Откуда я знаю, курей или свиней. Дайте мне, мама, посидеть, успокоиться. Идите, ведь вы отдыхали, ну, идите, отдохайте.

Митревна проговорила раздумчиво:

— Нету свиней у них. Не иначе, как курей, боле нечего. Нехозяйственная она, Верка-то. Ну и поучил, ну и другой раз лучше доглядит, ему же спасибо скажет. Отец твой вон какой смиренный, ни-ни не дрался, а одна заставил его свекор... Ты куда, куда опять пошел-то? С подбитым глазом куда пойдешь? Теперь тебе и на улку-то выходить три дня нельзя — засмеют.

Матвей смотрел через плетень на залитую солнцем улицу. На завалинке напротив пристроились две бабы. Одна лежала на коленях у другой, и та большим гребнем для расчесывания шерсти искала в ее жидких длинных серых волосах. С обеих сторон улицы в ослепительном свете, темнея закутками своих дворов, стояли тихие, точно необитаемые, избы. Было слышно только, как чесалась, сотрясая ближний плетень, свинья, и где-то поодаль поскрипывал невидимый журавль колодца. У соседей тоже все затихло. Может быть, Верка и ее муж оба уснули, отдыхая, она — от побоев, он — от битья. У Матвея саднило щеку, ныло зашибленное Веркиным мужем плечо, но тупая тоскливая вялость, сковавшая тело и мысли, была не от боли — от этой солнечной неизбывной тишины.

Митревна побормотала еще какое-то невнятное назиданье. Матвей ее не слушал, не разобрал. Она глубоко вздохнула, пошла в избу. Там, кряхтя и охая, достала из-под кровати шерсть, села на полу, вытянув ноги, и стала шерсть разбирать. Увидев, что сын смотрит со двора в окно, сказала:

— Распраздновалась я. Курушатиха на той еще неделе шерсть принесла, наказывала поскорей отобрать, а я на радости-то заленилась. А ты чего томишься, сынок? Шел бы в сенцы, лег бы, отдохнул.

Матвей угрюмо отозвался:

— Ничего я не делал, не устал, не от чего отдыхать.

— А чего тебе делать? Отдыхать приехал — отдыхай. Вон Дарьины книжки на божнице, возьми в книжку почитай.

Матвей невесело усмехнулся.

— Мама, я уже тебе говорил, на другой день приезда я их прочитал. Что же, я двадцать раз одни и те же книжки буду читать? У Дарьи их всего-то пять штук.

Старуха приподняла на него недоуменные глаза.

— Нешто мало? А где же их боле-то напасешься? Я и то на Дарью поругалась. Три книжки, сказывает, подарили ей, а за две деньги заплатила. Много ль денег-то у их, а Федор на табак прокуривает, она за книжки отдает. Ни от табаку, ни от книжек сыт не будешь, того не думает, лучше бы платок лишний голову покрыть купила. Подарили три книжки, ну и читала бы их.

Матвей вздохнул, зевнул, расправил плечи, прошелся по двору. Никанор у сарайчика неверной старческой рукой обтесывал какие-то лишние колышки. В их бедном дворе нечего было делать. Федор и Дарья, и Степка, и Фроська — все работали на людей. Он оставался один со стариками. Третьего дня и вчера он уходил на целый день за деревню, в лес. Там лежал на траве в сладостном фимиаме цветущей зелени, потом долго старательно пел голосовые упражнения, арии и песни. Сегодня ни гулять, ни петь ему было невмочь. И последующие, сами по себе длинные, летние дни тянулись для него непомерно долго. Даже погода ни дождем, ни ветром не нарушала их тождества. Стояла ровная жара. Митревна никак не давала сыну ни валежнику в лесу для варева собрать, ни воды наносить. Она начинала неистово махать руками, назойливо причитать:

— Да ты не трожь, не трудися! Да ты отдохни, поди отдохни, сынок!

В ее представлении данные им семье деньги, подарки, привезенные из Москвы, были окуплены большим физическим напряжением, надрывным телесным трудом. Как-то попробовал он ей объяснить:

— Мама, мне полезно заняться вашей работой. Это мой отдых. Митревна всплеснула руками.

— Матвеюшка, поднял ты нас! Сколько дал, Федор с Дарьей в пять лет того не добудут, да тебе не поспать, не отлежаться? И не говори, и не обижай родителей. Сделаем, все сделаем, иди, отдыхай. А может, поесть хочешь? Я для тебя башку сварила. Левонтий-косоглазый пиванерам говядину доставляет, я у его башку откупила. Сла-ад-кая! Поешь.

Вся семья ела кашу или щи с забелкой без мяса, ему отдельно каждый день готовилось мясное, иногда блины, пышки, пирог с луком

и с яйцами. Умывались без мыла, вытирались чистой, но жесткой холщевой тряпкой. Полотенце и душистое мыло Матвея оставались неприкосновенными. Одеядло и подушка у него были свои, мать раздобыла где-то старенькую перину ему на подстилку. Старики спали на кошомке с одной общей засаленной подушкой, укрываясь стародавним вытертым тулупом, Степка зиму и лето на печке, не покрываясь, с полушубком в головах, Фроська на голой скамейке, ветхую ватную кофтенку, единственную свою верхнюю одежду,—под голову, укрывалась половиком. Матвей купил им в городе два ватных одеяла, полотенца, мыло и две подушки. В сенцах стоял Дарьин доньне пустой деревянный сундук. Старуха все заперла в него. Мыло давала по праздникам одной Фроське, веруя, что от него «румянцы играют»: Фроська в невестин возраст входила, и надо было ей румянцы наживать, чтоб скорей засватали. На полотенца Митревна и поглядеть не дала. Попрежнему вытиралась вся семья общей, всегда захватанной тряпкой. Матвей уговаривал мать, спорил с ней, старуха не сдавалась.

— Хочешь — назад отбери, твое. Трепать не дам. Чуть разжились добром, да и не побережь его? Им же сгодится, Фроське замуж выходить. Каждый день с мылом размываться, — не господа мы, непривычные к эдакому роскошеству.

— И зимой одеяла не дадите?

— И зимой не дам. Спали, поспят и еще, вырастут, им же запас. О, еще сгодится потом, как сгодится-то, мать добром помянут.

— Ну запас, а теперь-то как же?

— А чего теперь, чего еще надо? Бога за тебя надо молить, в сундуке добро завелось, чего теперь? Людьми стали. Сундук запёртый держим.

Из привезенного из Москвы Матвеем ситца сшила сменные платья и рубахи, но надевали их только в праздник: «на люди выйти не хуже других». В будни дома ходили попрежнему в старенькой заношенной одежде, пока еще держалась она на плечах.

Когда Матвей покупал мясо для всей семьи, старуха никогда не давала его с'есть сразу. Она варила его столько, чтоб поесть в прикуску с хлебом, как сахар с чаем. Остальное опускала в ведре в колодец, чтобы подольше сохранить без погреба летом. Поэтому свежим его только отведывали, а на другой и на третий день ели слегка протухшее. Никанор, Федор, даже Фроська соглашались с матерью, что иначе нельзя: «с'едни нахмякаться досыту, а на завтре кусочка не сберечь, как же это можно?». Ворчала Дарья:

— Сберегатели! Свежего кусочка не попробуют, чистыми, умытыми и не походят.

Да Степка иногда канючил:

— Братка уедет, щи с говядиной все одно не станешь варить. Хоть бы при нем досыту накормила.

Говорила Митревна: «Каждый теперь за себя ответчик, каждый по своему закону живет», но терпимость ее была от сознания беспомощ-



ности утвердить один закон. Для нее самой и для всей семьи, кроме Дарьи, такой закон был: «что люди скажут». Люди—это те, кто живет в преданности понятиям, воспринятым еще от прадедов. Забежала к Долженковым комсомолка Зина, вожатый отряда. Ей, по-мальчишечьи стриженной, худенькой, в коротких штанах, на вид можно было дать не больше 14 лет. Но разговаривала она очень наставительно, на низких нотах. Зина звала Фросю и Степку на беседу у костра. Матвею строго выговорила:

— А почему же вы, товарищ, не приходите к нашему костру? Конечно, может быть, вы беспартийный, но, во всяком случае, культурный человек из центра должен поинтересоваться нашей работой. Вот вам заданье: приведите брата и сестру.

Но, разговорившись с Матвеем, она забыла свой служебный тон. Голос стал звонким, неровным, смеялись много и охотно. Митревна присела поодаль. Она смотрела в сторону, упорно молчала. Старик вошел в избу, смущенно покашлял, пригладил волосы на голове, ушел обратно во двор. Фроська жадно, во все глаза, оглядывала Зину с головы до ног; временами искоса, с опаской посматривала на Митревну. Вторила Зине в смехе тихонько, прикрыв рот рукой. В длинной бористой юбке, в кофте с торчащими на плечах сборками рукавов, казалась она много тяжелей и старше Зины. Посмеявшись, каждый раз спохватывалась, лицемерно кротко подтягивала губы, и бабьим, не юным делалось ее свежее лицо.

Зина спросила:

— Где же вы работаете, товарищ? В каком учреждении?

Матвей ясно улыбнулся.

— Работаю голосом. Пою. В опере пою.

— В о-пере? В Москве? Ах, как это интересно! Мне девушки говорили, что у вас чудный голос, но я не думала, чтобы даже в опере. Вон вы какой. Артист, значит?

Совсем детским, робким голоском добавила:

— Я сроду не слыхала оперы. У нас одна пионерка была в Москве, она рассказывала. Говорит, чудно! Она, может, вас слыхала. Про оперных артистов даже в «Известиях ВЦИК» пишут. Про вас тоже писали?

Матвей весело тряхнул головой, засмеялся:

— Ох, писали, много писали.

Зина по-ребячьи задрыгала голыми ногами, всплеснула ладошами.

— Замечательно как! Дорогой товарищ, спойте. Ну, хоть немножечко! Ну, хоть две строчки. Вы знаете «Шахту номер три»?

Матвей с неловкостью оглядел избу, пожал плечами.

— Да я сейчас как-то не могу.

Митревна тревожно приподнялась, озабоченно темной сухой рукой стерла со стола невидимую пыль и неуверенно проворчала:

— Как же песни в буден день? Люди вздвигаются, с чего у Долженковых песня. Ай, мол, все еще не отгуляли. Да ты в коператив даве охотился сходить, чать, уж открыли его.

Зина вскочила.

— Ой, и мне пора! Очень интересно, я и засиделась. Миленький, дорогой товарищ, нам вы споете?

Матвей встал и, крепко пожимая тоненькие Зинины пальцы, пообещал:

— Непременно. Я приду к костру. И «Шахту» спою, хотя это и не для моего голоса. Вместе хором попоем.

— О-обязательно, мы будем ждать. Вот чудно! Ну, до свиданья. Так Фросю и Степу с собой обязательно!

Со двора она заглянула в окно, помахала рукой:

— Так мы жд-е-ем. Обязательно! Товарищ дорогой, приходи-и...

Зина бегом побежала по улице. Матвей, улыбаясь, смотрел в окно ей вслед. Фрося сияющими глазами следила за братом. Митревна сердито дернула ее за юбку.

— Ты это што же, девка, цельный день и будешь у окошка стоять? Ты што, не слыхала, тебя Настасья кликала, дите понянчить, а?

Фроська дернула плечом.

— Дак Зина же приходила.

Митревна, согнувшись над столом, угрюмо проворчала:

— Зина, Зина приходила, праздник какой!

С натугой приподняв голову повыше плеч, она вдруг дребезжащим голосом крикнула:

— Ты у меня, Фроська, мотри, я молчу, молчу, да примусь за вас. Тебе Зина какая канпания? Ты с нее моду не бери, я еще не померла. Помру, тогда, может, эдак же в штанах по улке побегешь, абы стыд прикрывши. Почитай все ляшки наружу, тьфу, прости меня господи-батюшка, грешницу. Молчишь, молчишь, а не стерпишь, перевернет нутро, телешом девки ходют. Это уж куды же, распутство какое пошло? Я бабой была, по ягоды через реку ходила в брод. Никанор, когда на берегу один стоит,—муж ведь мне,—я не заголялась. Так во всех юбках, по пояс намокну, иду, а тут, гляди...

Матвей засмеялся, ласково прихлопнул ладонью ее темную жилистую руку.

— Мама, да ведь притворство это! В баню всегда вместе с отцом ходите...

У Митревы голова затряслась. Она выдернула руку, горячо с сердцем ответила:

— Об этаких делах, сынок, с матерью не говорят. В баню полагается мужу с женой ходить, все люди ходят, а при Фроське ты эдакого разговору не заводи. Пока жива, не дам ей с голыми голяшками бегать. И нет моего согласия на ихние костры ходить, не пушу. Вон Сонька Зверева бегала к костру, дак пымала ее тетка, папиросу она курила.

Фроська, захлебываясь, поспешно перебила:

— Сонька заучилась у костра тебе, что ли? Она с Митькой гуляла, он ее попросил: коли я тебе симпатия, на-ко покури. А ей Зина же, никто другой, Зина не велела курить.

Митревна постучала рукой по столу.

— Не перекоряй матери, не смей мне перекорять! Я Зине не указчица, не в таком житье мы ноне, чтобы нам другим указывать. В своей-то семье живем зубы сожмя, своему-то дерьму, вот из себя рожденному, и то не говоришь, все молчишь, но уж только тебе страмоты этой не дозволю. Иди, сымай кофту, беги ребенка няньчить, а то я хилая, хилая, а за космы тебя оттреплю.

Фроська, шмыгнув носом, всхлипнув, нехотя, задевая ногой за ногу, ушла.

Матвей зевнул, встал, расправил плечи так, что кости хрустнули, и зашагал по избе.

Ворота скрипнули. Старуха насторожилась.

— Кто это там?

Вошел Федор. Мать удивленно спросила:

— Ты чего? Ай забыл што, с поля воротился, ай вовсе не ездил?

Вытирая пот со лба, отдуваясь, Федор тяжело опустился на скамейку.

— Не ездил. Якрыть их, в совет зовут. Панька забегал утресь, говорит, если сегодня не придешь, придется в город ехать, обязательно заставят. Анкету заполнять насчет бедняцкого хозяйства. Давно звали, да я все не собрался, некогда, да и замучили, собаки, расспросами. И об чем спрашивать, все знают, какая у нас именья. А Панька еще пугает: мы, говорит, тебя в другую графу перепишем, у вас корова завелась, и лошадь, слыхать, покупаете.

Митревна испугалась, голова у ней затряслась.

— В какую еще графу? Да што же это, господи, милостивец, до чего люди ненавистники! Это бабка-телеграф в совет бегала, насудачила, не иначе она. И в какую еще графу, и ничем ничего не разберу, батюшки!

На ее причитанье, обеспокоенный, вошел Никанор. Узнав в чем дело, он тяжело опустился на лавку, поник головой. Матвей рассердился.

— Что вы за люди? Все под страхом, всего боитесь. Что ужасного в том, чтобы анкету заполнить? Ведь скрывать-то вам нечего, с вас ничего не берут и не возьмут, вам же, вероятно, помогут на поднятие хозяйства. Вами, бедняками, других пугают, а вы боитесь.

Никанор встал, торжественно и горестно произнес:

— Сынок, ты в городах проживаешь. Там у вас не знаю как, но не поверю, чтоб и там у бедняка жизнь была не горькая. Стращать-то нами и тут стращают, вон за Федора старика Терехина взгрили, что не доплатил батраку, а опосля мы с им, с Федором-то, оба в ноги ему кланялись. Острастка-то она нам же по шеям, как опять в батраки наниматься надо. По завидке аль по злобе люди наплетут, а там пойди, выкручивайся, пока разберут, что нет у нас ничего и ничем не разбогатели мы.

— Да чему у вас завидовать? За что на вас злобствовать?

Федор, оглядев брата сумрачным взглядом, ответил:

— Люди найдут. Тебе тоже в совет велят притти. Со мной вместе, я за тобой и пришел. Матвей, ты на какой должности там? Панька допытывался, а я чего скажу? Я не знаю.

— Я—певец. Пою в опере.

Он засмеялся, подыскивая слова, какими можно об'яснить им понятие «опера».

— Театр такой есть...

Федор и Никанор посмотрели друг на друга, потом оба недоуменно на Матвея. Митревна вытянула шею, чтоб лучше слышать.

— Какая, сынок, должность? Чего говоришь?

И Никанор переспросил:

— Чего?

— Ну, как вам об'яснить. Театр, слышали? Вот где бывают спектакли, представленья. Вот как у вас в клубе. Только там почти не разговаривают, все поют. У вас тут оперетку ставили, Митька на гармонии играл и пел, так же...

Никанор облокотился на стол.

— Постой. Дак Митька же машинистом на паровой мельнице, там он на должности, а пел он... У нас тут много парней моду взяло, представляют тиятр, ну, и поют тоже. Дак это же кака должность, за это жалованье не плотют. Ты про должность скажи, где жалованье получаешь?

Матвей засмеялся.

— Да там и получаю, в театре, в опере. За то, что пою. Я знал, что будет трудно вам об'яснить, потому сам и не начинал.

Никанор провел рукой по лицу, почесал затылок, головой покачал. Митревна в раздумьи медленно выговорила:

— Не возьму я в толк все-даки. Поешь... Мало хто поет? Отец твой, как пьяный напьется, тоже поет. Вон и Федор всегда во хмелю с песней, хуть невеселой, а поет. Никто им за это денег не платил и не заплотит. Аль уж из ума я выжила, аль не то слышится, что говорят? А?

Отозвался Федор:

— Ты, мам, этого, конечно, не слыхала. И папаша тоже, конечно, в крестьянской жизни. А я, как служивший солдат, и во многих городах подтверждаю, действительно, есть. У нас в лазарете певицы эти самые приезжали, пели. Ну и нанятые мужчины тоже. Артисты они называются.

Матвей весело вскрикнул:

— Ну, вот, вот. Я—артист, актер. Я—певец.

Федор шумно втянул ноздрями воздух, отозвался задумчиво и медленно, как бы сам с собой рассуждая:

— Оно, конечно, оно так, есть такие люди... Ну, только занятья эта плохая. Какая это заняття, петь там али плясать? Плотют, конечно, и одеты они по-господски. Ну, мы так думали, из тех они господ, что на брюхе шелк, а в брюхе—щёлк, одно слово—артисты. Сколь им там заплотют? Это не работа.

Матвей покачал головой, посмотрел Федору в глаза, душевно сказал:

— Это, Федор, работа, очень трудная работа. Искусство это, брат, называется. Вот ты возьми хоть попроще: портной. Чтоб он стал искусным портным...

Федор, стукнув ладонью по столу, страстно перебил его:

— Да к то же портной! Это нужное, в одеже ходим, одежа нужна. А тебе кто плотит? За песни сколько захочет кто заплатить? Если есть шальная денга в кармане, дак можно, конечно... Портной! Ты скажи еще — мельник...

Никанор печально и робко вступил в разговор:

— Сынок, Матвей, а чего же, в науке-то, значит, ты не дошел, коли этим, как его, а-артистом заделался?

Митревна затрясла головой, запричитала:

— Ой, сыночек ты мой несчастный, да где же ты денег добыл? Шутка сказать, нам сколько помог...

Матвею трудно было выговорить, вдруг совестно сделалось сказать, потому что в сравнении с их жизнью ему самому легким казался его большой труд,—сколько он зарабатывает. И, главное, живет все с недостатчей, а как объяснить, почему? Все душевные их силы уходили на добыванье и накопленье, о пользовании они и не думали. Освободила его от объяснения бабка-телеграф. Она всунулась в окно со двора. Митревна горько подумала:

«С задов, змея, подкралась».

Бабка-телеграф бойко затораторила:

— Давно у окошка стою, поздороваться никак не допускаете. Тыры-тыры, тары-бары, об чем беседа? Матвейка правильно обсказал: трудное дело. У их, у артистов, и косточки все поломаны, я в цирке видала, зять в город спяну меня возил, дак видала, как изгибаются. Отколь денги, зачем денги,—есть денги и слава те господу! Может, он, Матвей, для отводу артист, а сам в чеке служит. Мене зять обсказывал...

Неожиданно рассвирепел Никанор:

— Брысь, проклятая! Шныряешь кошкой под чужими окнами. Какое твое дело в нашу семейную беседу встревать!

Бабку—как водой смыло с завалины. Издали она прокричала:

— И в чеку не возьмут его, дурака такого. Может, каператив у дураков тоже растратил где-нибудь, сюды скрываться приехал. Не скроешься, а-артист!

Митревна уронила руки на колени, заплакала.

— Прямо с первого дню твоего приезда, Матвей, под нас подбирается она, ведьма ласкучая! Сколько раз ловила я ее на задах, во дворе, в хле-еву у нас. Теперь дождалась празднику, растрезвонит наше горе по всему селу. То «Матвей Никанорыч, утроба», а сейчас — «Матвей», я сразу сдогадалась. Навредит по всей Александровке! Расскажет: «артист». Даве Зинке рассказывал... Ну, я никак не подумала, не сдогадалась. А мы-то думали... А-артист, как же это?

## IV

Митревна хотела войти в избу, Матвей неожиданно открыл дверь изнутри, чуть ее не зашиб. Они столкнулись лицом к лицу. Голова старухи сильно затряслась, неразгибавшаяся спина еще пригнулась. Ее ранняя дряхлость, весь жалкий вид вызвал у него острую тоску, ощутимую, как физическая боль в сердце.

— Мама!

Обнял согнутую спину, прижался губами к виску, втянул, почти внес ее в избу. Мать заплакала, вскрикнула:

— Матюшенька, милый сын...

Непривычная сыновняя ласка ее потрясла. Матвей усадил мать на скамью, сел рядом с ней, погладил ее костистую шершавую руку. Она долго не могла успокоиться, дрожала, смотрела на сына сквозь слезы, шептала слова, какие говорила когда-то над ним, над дитятей.

— Птенчик мой, кровинушка, дитятко ты мое...

Ей и сейчас представлялся он беззащитным без ее охраны. Хотелось прижать обеими руками к своей груди, закрыть собой от толчков, обид, от небреженья людского. Матвей учуял ее мысли, сказал с ласковым укором:

— Мама, что я — болен? Умираю? Беда, что ли, какая стряслась надо мной и над вами?..

Старуха торопливо, горячо перебила его:

— Я к телеграфихе сейчас ходила, будто яиц купить... И купила, сынок, чтобы ей доход, не гневайся, десяток цельный купила... О-ох. И сказала, что служишь ты на должности на хорошей, а выговорить, мол, на какой — не могу, они нынче мудреные, эти слова...

Матвей невольно рассмеялся.

— Да чем плохая у меня должность? Как вам растолковать?

Старуха еще поспешней, давась словами, досказала:

— А нащет, что только песни поет, смеялся это он с нами. И мы-то, мол, не сразу по своей темноте раскумекали, что в смех, что в дело. Говорю это я, а сама смеюсь, сама усмеиваюсь... Весело так высказываю, сердце-то у меня дрожит...

Матвей покачал головой, тяжело вздохнул, поднялся со скамьи.

— Ну, хорошо. Главное, успокойтесь сами. Говори всем, что хочешь, только не надрывай мне сердца... Мать моя милая, гордиться ты мной должна.

— Да я и не корю тебя, сынок. Оно ведь как, разве я не знаю: который и поплоче, да в науке дойдет, а который из бедности, хоть хорош, ему — заковыка. Я-то понимаю, а чужие люди неуверчивы, сам, мол, виноват...

— Я, мама, пойду прогуляюсь, голова у меня болит. Верно, перед дождем, очень душно сегодня. А вы... успокойтесь вы, смотреть на вас тошно. Да вот еще что: посчитайте с отцом, сколько денег, ну,

что вам еще купить. Самое необходимое, а потом, месяца через полтора, пришлю еще... Буду высылать...

Старуха упавшим голосом спросила:

— Уезжать скоро хочешь? Говорил, поживешь у нас...

— Нет, надо ехать. Денька через два, через три.

Митревна сникла к столу, проговорила чуть слышно:

— Боле не повидаю тебя, не дожить... О-ох!

— Ну, мама, опять заплакала! Не надо. Как это не дожить, повидаемся еще не раз и не два. Да я не завтра еду. Дня четыре, пять, ну, неделю еще пробуду.

— Да я што? Я — ничево. С нами тебе какая веселья... о-ох!..

Матвей вышел во двор, мать окликнула из окна:

— Матвей, что я скажу. Подь-ка поближе!

Робко, искательно она зашептала:

— Уважь на старости отца с матерью! И телеграфихе скажи, всем, кто спросит, скажи...

Матвей махнул рукой, быстро пошел задами к лесу. Им снова овладело смешанное чувство большой досады и жалости. Какая нелепость! Какая смехотворная и горькая нелепость! Были убедительны его слова, потому что шли от горячего желанья прошибить вдруг вставшую между ним и родной семьей отчужденность. Но все, что он говорил, разбивалось в прах, в ничто об незримую преграду розного уровня человеческого мироприятия. Именно розного, а не только розного. Не слишком высоко над ними его ступень. Он — человек средней умственной одаренности с малыми отрывочными сведениями от истоков знания. Но он приобщен к той жизни, где даже голодный кричит не только «хлеба», но «хлеба и зрелищ». Здесь весь мир стиснут в одном утробном урчаньи. И не только для его обнищавшей родни. Немощная старуха ходит защищать, обелять его по дворам. Отец почти целые дни проводит в лесу, чтоб не встречаться с односельчанами, не вступать в объяснения с ними. Фроська проплакала весь прошлый вечер: «братом дражниют, прохода не дают». Степка выходит из избы со взглядом затравленного волчонка, готовый к грызне. Федор третий день не заходит к своим. Даже Дарья сумрачно попеняла Матвею:

— Зачем было обсказывать как и что. Служу, мол, и все, — какое в деревне понятие? Непривычно нам, чтобы певунам экие деньги давались. Шутка ли, двор ты поднял, помог.

Утром сегодня заходил к Долженковым старик Парфен. Поздоровался с косою усмешкой. Уселся на лавку, широко расставив ноги, наклонив голову, строго оглядывая круглыми желтыми глазами избу. Он долго не начинал разговора, пыхтел и гмыкал. Матвей слышал, как Фроська шептала матери, возившейся у печки:

— Чисто бугай пыряться пришел.

У Никанора вспотели волосы, он покашливал, заговаривал с гостем льстивым неверным голосом. Вдруг Парфен с размаху хлопнул себя по коленкам:

— Дела-а! Ну, дела-а!

Никанор смолк на полуслове. Парфен уставился на него в упор:

— Дела, говорю, отец. Хороши дела. А? Как рассудишь? Чего боле рассудишь, я рассудил! Рассудил, говорю, отец. Еще мало с нас, дураков, продналогу берут. Мало, мало, прямо говорю, мало! Обсказали мне теперь говоруны—те наши, которы на с'езды ездют. Им в Москве песни шибко хороши пели, послухали и они. А еще, говорят, Иродиада советская здорово выплясывала. Почитай, нагая, одно слово, Иродиада. И ей тоже ладно плотют. Ну, сказывают, и не жалко заплатить. Уж так плясала, сказал бы как, да не матерюсь в избе; иконы здесь висят. Ну, как же не мало с нас берут, а?

Матвей сдвинул брови. Глаза у него засветились сердитым блеском, но спросил он спокойным голосом, садясь рядом с Парфеном:

— Дедушка Парфен, ты к нам в гости зашел? Хочешь разговаривать как следует? Я тебе об'ясню.

Парфен вскочил, будто его кипятком ошпарили.

— Хватает с нас об'ясняльщиков, хватает без тебя, парень. А ты пюй, распевай! Мы, мы трудом, мы в поте лица, а тебе жалованье идет за песню. По-ой!

Матвей стукнул ладонью по столу.

— Я знаю, что мне делать! Буду петь, я—певец! Ты не понимаешь, старик...

Парфен предостерегающе поднял руку.

— Не шуми, не застращаешь. Столь стращали, страх весь из себя я уж вывонял.

Твердым, неспешным шагом пошел к выходу, от двери повернулся, сказал с большим презрением:

— Выхваль ты, вот ты кто. Есть такой зверь, выхваль. За шёрстку, за покрышку ценится, верхушкой выхваляется, за то и зовут выхваль. И, как тебя, его только городские мотальщики покупают. Привелось мне однова этого выхвала у купца видать. Дак тот его за собственные деньги купил, а на тебя казенное жалованье тратют. Ну...

Он не договорил, вышел, хлопнув дверью. Во дворе еще прокричал:

— Выхваль и есть! Как приехал, выхвалился капиталом, одежей... А с кого на тебя капитал-то содрали?..

Матвей вошел в лес, вздохнул всей грудью и лег на землю. Сквозь узорные просветы зеленой листвы солнечные блики падали на траву, от малейшего колыханья веток играли на ней веселыми зайчиками. Под стволами старых раскидистых дерев, в сумраке древесной густоты тень лежала на зелени темным отливом. Открытая поляна в тихом зное была вся золотая, упоенная щедростью солнца.

Стрекотанье насекомых, переливное журчанье скрытого в ложбине ручья, шуршанье крыльев птиц при взлете, их щебет, шорох ползучих наполняли лес слитным шумом. Музыка лесных жизней,



игра яркости и теней, смешанный запах юного цвета, вызревающих ягод и прели от прошлогодних листьев — эта литургия звуков, красок, ароматов всегда отрадна была для Матвея. Здесь, в родоначалии искусства, певец вспомнил, что библейское злое сказанье праотцем его называет Каина. Быть может, древние земледельцы и пастухи облыжно заклеили одного из сыновей Адама тавром братоубийцы за музыку, песни и пляски его потомков. Им, взрыхляющим, оплодотворяющим темную тучную утробу земли, ненавистными стали эти потомки, творцы иных, неведомых ценностей. Тут же, разом, Матвей вспомнил постоянное ласкательное и хвалебное слово бабки-телеграф — «утроба» — и усмехнулся. Вместе с «утробой» сколько цветистых, художественно выразительных слов знает та же бабка, сколько песен, как мужики и бабы слушали его пень, как пляшет сумрачный Федор! Но все это для них не подлинная жизненная ценность. Главное — утроба. Во сколько оценит Парфен всех народных артистов Республики?

Матвей долго пробыл в лесу. Меж деревьев совсем стало темно, но над селом еще светил догорающий закат. Матвей устал, проголодался, но домой итти не мог. Митька-гармонист ввел его в семейство Советских. Это была уличная их фамилия. Митревна объясняла:

— Носовы они, по рождению Носовы. А это их прозвали за то,—при белых в тюрьме старик с девкой сидели. А теперь как что не по их, сейчас: «не по советскому, дескать, понимаете», али: «мы — советские граждане», ну их и зовут Советскими. У них одна девка в городе в прислугах живет—комсомолка, ну, все-таки ничего не скажешь — дельная, а Надька, котора здесь, так с возрасту на мужчин ветер-дура. Три мужика у ей перебивало, а помер только один, живых меняет.

Старик Советский земледельцем не занимался. Он лудил самовары, чинил сельскохозяйственные и швейные машины, сепараторы, вставлял стекла, малярничал, знал много ремесел и без заработка не сидел. Дородная, очень моложавая его жена пела когда-то на клиросе, считалась первой в Александровке красавицей, теперь она слыла неразумной, незначительной бабой, краснобайкой и пьяницей. Муж и посейчас называл ее Липочкой, она его — Васенькой. В избе у них всегда было хламно, но приветно. По вечерам в нерабочую пору толкалась молодежь. Матвей к ним заходил с Митькой раза три. Ему там дышалось легко, и он прошел из лесу прямо к Советским. Надя, женщина лет двадцати пяти, бледная, с темными кольцами вокруг серых глаз, но очень милолицая, встретила его во дворе.

— Здравствуйте, Матвей Никанорович. Вот домовничаю, скучно одной-то в избе, я и разгуливаю по двору.

— Чего же по двору? Я вот в лесу гулял, хорошо, — сказал Матвей, пожимая небольшую жесткую Надину руку. Она несла на себе почти всю домашнюю работу, мать немного делала. Вечерами, убравшись, надевала чистое, по-городски недлинное, неширокое

платье, туфли с каблуками, пудрилась и завивала мелкие кудряшки на висках. Во все свои посещения Матвей видел ее чистенькой, улыбчивой, и Надя ему нравилась. Но сейчас он был утомлен, очень хотел есть и все еще расстроен своими мыслями, поэтому не отметил, что Надя особенно ласково заглядывает ему в глаза. Она засмеялась приятным негромким смешком.

— Ну еще придумайте, и я бы с вами, что ли, в лес гулять пошла? И так ославили чуть не пранституткой. Сейчас я огонь вздую и самовар поставлю.

— Вот за это спасибо. Я, признаться, голоден.

— Ну, яичек сварю. Пожалуйте, заходите.

В сенях она сразу приостановилась и повернулась. Матвей натолкнулся на нее. Надя охнула, не отодвинулась, прижалась к нему.

— Напугали вы меня!

Матвей понял, что женщина просит об'ятий, и вдруг она стала ему неприятна. Строгим голосом он ответил:

— Извините, пожалуйста.

Надя отпрянула, легко вбежала в избу.

— Темнота, не видно. Заходите, заходите, я мигом вздую свет.

Пока самовар кипел, Надя угостила его водкой и крутопросоленным свиным салом. Сама выпила водки она глоток и попросила у Матвея папироску.

— От папаши крадучись курю, а мамаша знает. Со скуки. Какая наша жизнь, очень скучная. Я не к этому стремилась. Если вам рассказать мою судьбу, все равно что книжку-роман прочитаете.

Они сидели в чистой половине избы. В ней стояла ножная швейная машина, на столике под стенным зеркалом, — пустые флаконы из-под духов, фарфоровая собачка, будильник и пудра. Окна еще днем от мух завешаны были вверх коротеньких надвесок из бумажного тюля темным старым тряпьем. Сенцы Надя заперла на задвижку. От водки Матвей повеселел, сам придвигался к Наде поближе, схватывал крепко за руку, когда она вставала. Но Надя настроилась рассказывать ему свою жизнь. Спокойно, решительно его отстраняла и певучим приятным говорком рассказывала:

— Первый муж у меня венчанный был. За него меня выдали по семнадцатому году. Ну, конечно, девчонкой была, не понимала про любовь, и даже не знаю, какой он у меня был. Умер—пожалела, конечно, все-таки... Деток жальче было. Двоих схоронила, с ним рожденные.

... Теперь вот третий, мы с ним даже не зарегистрированы, не нравится он мне. Сейчас тут в городе работает, а ни копейки в дом, с меня же просит. Хозяйство-то у родителей, конечно, мое на большую половину, но за что я ему давать буду? Знаете, как несогласно живем? Вот лягем ночью на кровать, он к стенке лицом, а я к краю лицом, спинами друг к другу.

Матвей засмеялся, обнял ее за плечи рукой.

— Да, этак скучновато!

Надя высвободилась.

— Подождите, вы сейчас за мной не ухаживайте, потом, погодите. Мне охота вам душу открыть и с вами посоветоваться. Здесь не с кем, все народ отсталый, на старое воротит.

Матвей досадливо махнул рукой, затянулся папиросой и, позевывая, сказал:

— Плохой я советчик. Курить хотите?

— Дайте, коль не жалко. Еще я вас попрошу, на память нашего знакомства, спишите мне какой-нибудь стишок или простыми словами что-нибудь сами составьте. Вот я сейчас.

Она потянулась, достала со столика под зеркалом зеленый альбомчик с разноцветными листками и подала Матвею. Он ухмыльнулся, почесал ладонью щеку.

— Ну, знаете, это я, наверно, не сумею.

На одном из листков он увидел лихой почерк и подпись Митьки-гармониста, заинтересовался, прочитал стихотворенье.

#### ПРОЛЕТАРСКАЯ РОЗА

Пролетарская красная роза,  
Расцвела я в публичном саду,  
И дрожала она, как мимоза,  
Тщетно ждя свою череду.  
И боялась она, и желала,  
Чтоб ее кто-нибудь сорвал.  
Кто сорвет эту розу — счастливец,  
Кто своею ее назовет,  
Важный спец или скромный партиец,  
Или просто какой-нибудь люд.

Надя, это вам на память в намек на вашу красоту. Прочитайте еще одну штуку.

#### Женская душа.

Полфунта правды, пуд коварства, полграмма совести, пуд зла, притворства 10 килограммов и пылкой страсти два ведра. Одна восьмушка фунта чести и постоянства один фунт.

Надя, может быть, и не все, конечно, этого я не знаю, но все-таки множество есть таких.

Любящий вас Дмитрий Телепин.

Матвей прочитал, звонко, раскатисто расхохотался. Надя обиделась. Крупная слеза покатилась у ней по щеке, оставляя желтую борозду на запудренном лице.

— Не ожидала от вас, чтобы над стихотвореньями смеяться. Я очень люблю стихотворенья. Сам так не сумеешь сказать, чтобы грусть проняла али в насмешку. Здесь люди не нуждаются, а я люблю... Покупаю даже со стишками книжки, а на эти деньги лучше бы пудры купить.

Матвей сразу смолк, подумал:

«Для нее это, как пенье для меня. Это для нее искусство. Бедняжка, милая!».

Он очень нежно обнял ее и крепко поцеловал. Они не слышали, как давно под окнами кто-то тихонько возился, осторожно переступая от одного к другому, подслушивал. Резкий стук в окно заставил вздрогнуть, отшатнуться друг от друга. Матвей уронил стул, громко выругался.

— Чорт! Кто там?

За окном злой, срывающийся голос ответил:

— Я не знал, что хозяйствует здесь Матвей Долженков. Надька, отопри, а то стекла выбью.

Надя сдвинула брови, прислушалась.

— Это кто? Митя? Я тебе какая Надька далась?

— Отвори-и!...

— Не отворю, если грубияните. Хоть разбейте стекла, а к нам тогда больше — до свиданья.

Послышалось приглушенное ругательство, но вслед затем голос прозвучал просительно:

— Ну, ладно, отопри, Надя, дельце одно сказать хочу.

Надя вздернула плечи, вздохнула и прошептала Матвею:

— Не уйдет, все одно, пойду впуск. Завтра сговоримся, когда свидимся.

Крикнула громко:

— Сейчас открою, иди к двери.

У выхода в сени Надя приостановилась, поманила к себе Матвея. Матвей сердито отмахнулся рукой. Надя виновато прошептала:

— У него ко мне жестокая любовь. Ну, правда: «любовь, и всем ты хороша, когда взаимная бываешь»...

В сенях дверь затряслась от ударов кулаками. Надя убежала открывать. Вошли они не сразу. Долго перекорялись шопотом во дворе. Митя вошел как-то боком, сердито скривил рот, поздоровался угрюмо:

— Добрый вечер, Матвей Никанорыч.

— Здравствуйте. Вот и еще гость, веселей будет.

Митя быстро повернулся к нему.

— Я здесь в гостях бывал пораньше вас, а вам часто захаживать не советую. С песнями с вашими по другим дворам ходите, здесь в их не нуждаются.

Матвей дружелюбно двинулся к нему.

— Будет, Митя! Напрасно сердиться, я случайно зашел. Я не знал...

Надя перебила:

— А что тут знать, что перекоряетесь? Дмитрий Степаныч, вы думаете я вами глубоко затронута, нисколько я вами не затронута. Я вас просила... Не желаете вежливо, не нуждаюсь...

Митя взглянул на нее с жаркой обидой, подбоченился, выставил вперед ногу пяткой в пол, пошевелил носком и плечами.

— Фу ты, ну-ты, мамзель-стреказель, вы сколько классов прошли? — Вдруг заорал: — Столько же, сколько я, одинаково! а я тебе, стерва, не под пару? Образованней ищешь? На нем костюм завлекательный, а?

Он засучил рукава, кинулся к Матвею. Надя вскрикнула, вцепилась ему в плечи, повисла на нем.

— Ой, не бейтесь из-за меня! Не деритесь, боюсь, боюсь драки, Митенька!

Матвей громко, с сердцем, заявил:

— Не собирался я из-за тебя драться. Замолчи, Надя! Успокойся, парень, никто не отбивает.

Он вышел, Митя кинулся за Матвеем, волоча за собой повисшую на нем Надю. Но у порога ей удалось его остановить. На улице еще слышал Матвей Митины крики:

— Дармоед! Классового пролетария обижаешь! Меня, рабочего, машиниста? Трудового крестьянина?

Матвей прибавил шаг. Митины крики стали неясными, смолкли в отдалении.

На утро рано прибежала к Долженковым во двор бабка-телеграф. Она сообщила Митревне, что Надька на свету с громкой бранью выгнала от себя Митю-гармониста. Матвей проснулся, услышал бабкин говорок во дворе и сразу, даже не умывшись, стал укладывать свои вещи в чемодан. Понурый вошел со двора Никанор. Сын, не оглядываясь, попросил его:

— Найдите мне, папаша, на утро подводу.

У Матвея было нехорошо на сердце. Томили обида, стыд, даже сознание невольной вины перед стариками. Весь день провел с ними, пробовал искренне поговорить, они пугались, громко жалели сына, ругали Советских, мать навзрыд плакала, Фроська вбегала в избу, всплакивала вместе с Митревной и убегала опять. Она с жаром судачила с девками и бабами про брата в огородах, на речке, у колодца, приходила, наблюдала, снова бежала докладывать. Это было веселей, чем бояться покора и прятаться в своей унылой избе. Вечером Матвей пошел к костру повидаться с пионерами. За воротами повстречался ему Степка и попросился идти с ним. Мальчик, подняв вверх лицо, с вызовом оглядываясь по сторонам, мужественно прошел всю улицу с братом мимо еще не заснувших, злобно шушукующих во дворах баб. Вышли за село. На глади полевой издали был виден яркий костер. Встретили их радостными криками. Всем любопытно было поглядеть на Матвея. Деревенские разговоры о нем долетели и сюда. Деловая часть беседы не клеилась. Дети все оглядывались на него. Степка сидел рядом с ним притихший, стесненный. Но когда запели, отошло от сердца у Степки. Во всю глотку, неверно и проникновенно, он пел в хоре. Потом голос одного Матвея далеко разносился в ночной поле-

вой тишине. Разошлись только в полночь. Зина недалеко проводила их. Стараясь разглядеть лицо Матвея ласковыми глазами, она нерешительно проговорила:

— Конечно, вы нехорошо поступили, зачем-то пошли, водку там пили и вообще. Но все-таки вы, товарищ, наверно, не плохой человек?

Матвей засмеялся.

— Наверно. А если нет, так буду хорошим, я еще тоже молод. Зина радостно подтвердила.

— Конечно! А главное, в деревне все-таки мещанские сплетни, кому, наконец, какое дело? А жалованье вы имеете право получать. Всякий труд должен быть оплачен. А певец—ведь это тоже служба? Они даже нас ругали, что денег стоим.

Простились они сердечным крепким рукопожатьем. Степка сунул Зине несогнутую ладонь, проговорил горловым баском:

— До свиданьица, товарищ. Будем к вам захаживать.

Дорогой Матвей легко разговорился с братом. Степка расспрашивал про Москву, смеялся, дивился, восхищался. Не заметили, как подошли к деревне. У самой околицы от последнего двора отделились три черных фигуры, следом за ними еще две. Степка увидел, закричал пронзительно и жалобно:

— Братка, бить будут!

Первым наскочил на Матвея неизвестный ему небольшого роста мужик в рваном пиджачишке. Он бормотал что-то о продналоге, о легком Матвеевом заработке.

— Гребешь наши денежки, сучий сын!

За ним сбоку Митя-гармонист.

Матвей был силен и ловок. Он быстро скрутил руки мужику, ударом ноги отшиб Митю. Но пятеро его одолели скоро. Били нещадно и веско. Он звал на помощь, хрипел. Его должны были услышать в ближайших дворах, но на выручку не пришел никто. Степка с визгом промчался по улице. На его зов кинулись первыми Никанор и Федор. Присоединились и соседи. Матвея отняли живым, но он хрипел, изо рта темными сгустками вытекала кровь. На подводе, нанятой накануне для отъезда, повез Федор брата в ближайшую больницу. В вол-исполкоме допрашивали арестованного Митьку с пособниками. Жители боялись попасть в суд, в дело, и подводу с Матвеем до околицы провожали только Никанор с детьми. Митревна лежала без памяти, без языка. Безбоязненно трусила за Долженковыми лишь бабка-телеграф и причитала:

— Утроба-а, милай, да зачем ты ехал, да что нашел? Пел, распевал, горя не знал, приехал, болеть себе нашел. Утро-ба-а!

На пригорке за селом встретили телегу пионеры. Зина с рдеющими щеками, с вз'ерошенной головой остановила подводу, сказала отцу:

— Гражданин, мы вынесли постановление требовать для виновных строгой ответственности. Вам окажем мы помощь в хозяйстве и вообще.

Никанор посмотрел в ее заплаканные припухшие глаза, низко поклонился и молящим голосом попросил:

— Барышня, вы—ученая, поглядите, помрет он или выживет?

Зина, привстав на цыпочки, наклонилась над телегой, спросила тоненьким беспомощным голоском:

— Очень вам плохо, товарищ Долженков?

Матвей ее услышал, даже понял, но явь мешалась у него с лихорадочными его мыслями, отозвался он сумбурно, невнятно. У Зины вздулся, покраснел нос, набухли слезами глаза. Отвернувшись от старика, сказала она сквозь зубы:

— Нн-е знаю, гражданин. По-моему, выживет.

В Москву из далекого уезда Матвей вернулся, когда начали падать на бульварах, в городских садах багряно-золотые осенние листья.

# Три стихотворения

М. СВЕТЛОВ

## I. ПОЕЗД

Он гремит пассажирами и багажом,  
В полустанках тревожа звонки,  
И в пути вспоминают  
Оставленных жен  
Ревнивые проводники...

Он грохочет...  
А полночь легла позади  
На зелено-оранжевый хвост,  
Машинист с кочегаром  
Летят впереди  
Лилипутами огненных верст.

Это старость,  
Сквозь ночь беспощадно гоня,  
Приказала не спать, не дышать,  
Чтобы вновь кочергой,  
Золотой от огня,  
Воспаленную юность мешать,

Чтобы вспомнить расцвет  
Увядающих губ,  
Чтобы молодость вспомнить на миг...  
Так стоит напряженно,  
Так смотрит на труп  
Застреливший жену проводник.

## II. ВЕТЕР

Сквозь лес простирая  
Придушенный крик,  
В присядку минуя равнины,  
Проносится ветер  
Смешной, как старик,  
Танцующий на именинах.



Невежда и плут, —  
Он скатился в овраг,  
Траву разрывая на части,  
Он землю копает:  
Он ищет, дурак,  
Свое идиотское счастье.

Не пафос работы,  
Не риск грабежа,  
А скучное, нудное дело:  
Проклятая должность —  
Свистеть и бежать —  
Порядком ему надоела.

Он хочет сквозь ночь  
Пронести торжество  
Не робким и не благочинным,  
Он ропщет...  
И я понимаю его  
По многим, но тайным причинам...

### III. ВЕТЕР И ПОЕЗД

Через голубые рубежи,  
Через северный холодный пояс  
Ветер вслед за поездом бежит,  
Думая, что погоняет поезд.

Через Бологое в Ленинград,  
Дуя в вентиляторы ретиво,  
Он бежит за поездом, —  
Он рад  
Собственной инициативе.

Он обманут,  
Он трудится зря,  
Он ненужен, но доволен зверски,  
На себя ответственность беря  
За доставку поездов курьерских.

Он боится время потерять  
И гудит,  
И носится по крыше...  
Так не станемте ж его разуверять!  
Пусть гудит,  
Чтоб не было затишья!..

# Искатели

Роман  
ВЛ. ЛИДИН

## I

**В** апреле привалили туманы, с туманами шли дожди, с дождями возникала весна. Люди за зиму коростели в непогодах, промерзали в шахтах, калечились простудами, отгоняя лютостью спирта, песнями, пропивом души зимнее окаянство. В земле было—золото. В нищете, поколениями забирались люди в землю за золотом: в золоте была жизнь, и в золоте была смерть. Люди были старатели, старатели строили сёла, оседали на золоте, родом шли в землю и родами оставались в земле. Над шахтами бушевали ветра, долгие зимы севера; в шахты лилась вода, тысячи ведер подпочвенных вод. Вода заливала золото, отнимая его у человека. С водой боролся человек за золото, за счастье, за право на жизнь. Так шли годы, десятилетия. Поколения уходили, золото пребывало в земле. В шахтах оставались легенды, недопетые песни, завещанья отцов. Земля сопротивлялась человеку, и человек не сдавался перед ее неслыханной силой и продолжал борьбу. Старатели строили землю, заново разрывая ее, перекидывая, создавая отвалы. На отвалах проростали травы десятилетий, отвалы становились пригорками, взгорьями, горами. На пригорках играли дети—будущие старатели, они играли обломками кварцев, и дети знали, что в камнях лежит золото. Снегами шла зима, туманами означилась тугая весна, с дождями приходило северное позднее лето. Зарыжел камень, сызнава с весной начиналась горячка, как каждый год. В кузницах отбивали кайла, льды сизели на реках, наливаясь водяной глубиной, из приисковой конторы вышли техники с треножниками. У техников были чертежи, нивеллиры и планы; у старателей—стародедовские приметы, зоркость добытчиков, кровь поколений искателей. Так весной выходили люди на лов земли.

У человека дом был на выселках, осевший, готовый обрушиться в шахту, которой сам подкопал он свой дом. Шахта была во дворе рядом с хлевом; в хлеву не было скота, а лежали груды кварцев и кра-

сиков—пород. Человек веровал, как веровали его дед и отец, что жила, большая красничная жила, проходит под домом. Дед подсек полсто-летье назад красничную жилу, жила выклинилась, ее разбило на струи: два поколения искало, какая из золотых этих струй продолжает жилу. У человека не было семьи, он был бобыль, у него было имя бобыля— Андрюша Рыбак. Андрюше Рыбаку шел шестьдесят третий год, пятьдесят лет копался он в шахтах, он обуглился в них, как кварц, у него были черные волосы, чёрные молодые, как бы спекшиеся в прищуре глаза. Андрюша Рыбак приходил в контору на прииск, у него спрашивали о добыче, о золоте: глаз его иногда был точнее приборов; память достовернее планов. Он знал землю, копал свою шахту под домом, как все копали; был неудачник-искатель, как многие были искателями-неудачниками. У него была своя мечта — найти золото; все старики копались в земле, у каждого была мечта найти золото.

Всю вёсну, как только облысела земля и сизыми своими глубинами протаяли реки, уходил он в туманы, в тайгу. Дом его пуст был неделями. Гора, на которой бродил человек, называлась Благословенной горой. На пяти горах бродили старатели, в каждой горе родами копались люди; умирая, завещали отцы не уходить с этих мест. Отец, дед Андрюши Рыбака копали на Благословенной горе. Дед нашел здесь золотое гнездо, разбогател, прожил всё в год, снова полез на всю жизнь в землю. Водами, дождями прошумела весна. В окаянных туманах трудно рождалось лето. Когда сошли воды, Андрюша Рыбак ушел на три дня. Он ушел на три дня и пропадал две недели. Дом его был не заперт, в нем не было ничего, кроме бобылевой утвари, пустой шахты с оползшими крепями, навороченного отвала пород во дворе. Андрюша вышел поутру, в мешке у него были хлеб, чайник, соль, сахар в бумажке, табак. В руке он нес кайло. За отвалами туман лежал десятинами, широко дул сырой ветер, человек скоро продрог. Сапожищами он чавкал по грязи, дорога шла по болоту четырнадцать верст. Он вышел из дома утром, пришел к тайге к вечеру. Весь день он шел эти четырнадцать верст, пробиваясь сквозь елань, сквозь болото. В тайге было уютливей, не так задувал ветер, хорошо пахло прелью. Он пробирался сквозь чащу, прошел еще три версты, свернул на восток. На тайгу надвинулась ночь, чернота, как в угольной яме. Человек останавливался, размышлял, шел дальше: землю он знал. По деревьям, по запахам прели выбирал он дорогу. Ночью, в черноте, нашел он костер. Костер горел хмуро, сырь одолевала его. Но здесь было тепло, огонь. Человек сидел у костра, ждал его, над углями висел чугунок. Человек сказал:

— Смерз?

Андрюша ответил:

— Сморился.

Он снял свой мешок и тоже сел к огню. Так, молча, они сидели. Тепло шло от костра, угли лились, непогода отодвигалась. Человек, который ждал его, был тоже старатель; был он старше Андрюши,

шестьдесят восемь лет он ходил по земле; человека звали Егор Шаверда. Шаверда молчал, молчал Андрюша. Он отогревался, пил чай, дымился от сырости. Потом он сказал:

— Мужики не примечали? Мужики приметят, сейчас раззвонят. Побаловаться золотишком кому неохота. Опять финогеновские придут, добытчики!

Шаверда сказал:

— В прошлом году в Пышме корчевали, нашли породу, раззвякали... думали, что железо или свинец. Двадцать партий пришло, всю землю расковыряли, а не далось золото. Золото тишину любит, я так примечал.

Андрюша ответил:

— Так и по-моему.

Дым над старателями не уходил, подпирал собой сырость. Опять сказал Шаверда:

— Думаешь, тут без ошибки?

Крепко дымился теперь человек, опаляемый пламенем; большой узловатой рукою мешал он костер.

— Золото здесь, Егор. Пятьдесят лет меня водит. Пора. Мы не добудем, годы все вышли. Финогенов разведает, старательскую горячку поднимет... мы нашли, он разорит, в кабак золото вгонит. Инженера надо сюда, пускай государству достанется. Раньше для себя богател человек, на шахты в ссылку гоняли. В Пышме кладбище на три десятины... лежат старателишки. Нам на труд хватит, а богатеть поздно, брат,—силы не те.

Костер потухал, людей клонило ко сну. На ночь подбросили веток, чтобы не смерзнуть совсем, ночь шумела широкими ветрами. Ночью пошел дождь, залил костер, заливал людей. Люди спали.

Старатели утром двинулись дальше. Шахту били в тайге потаенно, скрывая от людей. Ствол начали рыть месяц назад, прошли три сажени, весенние воды заливали шахту. Старатели развели костер, согрелись чаем, стали ведрами откачивать воду. Промерзшая за зиму почва еще источала влагу. Старатели до полудня таскали ведрами воду, потом спустились по лесенке вниз. Внизу была вода, в воду стали по колено; привычно перекрестились, ударили кайлами породу. Первые куски зашлепали в воду. Снова ударили кайлами, черный мокрый камень сыпался вниз, загружая шахту. Угрюмо, размеренно били породу, десь часов кряду, рабочий весь срок. К сумеркам кончили работу старатели. В шахте были сырость, могильная вода, могильная тьма. Теперь ручным воротом нужно было выбрать породу наверх. Люди вышли на свет, вытерли лбы, сели на бревна. Было им вместе сто тридцать лет.

— Пошабашим,—сказал Андрюша Рыбак,—жги костер.

Старатели набрали сучьев, полили их керосином из бутылки. Низко, нелюдимо пошел дым.

— Неделю покопаем и будет, — сказал Андрияша опять, — открыться надо, пока никто не разведет.

Ночью снова был туман, шел дождь. Опять заливало шахту, людей, костер. Весна было гиблая. За дождями, за весной, за туманами—сипло, простуженно, непогодливо шло лето.

## II

Бригаду из села Богородского, из летних еще лагерей, погнали по Окружной дороге. Поезд шел с Казанского на Брянский вокзал, опоясывая великим окружьем Москву. Весь этот путь над московскими огородами, мимо древних зубчатых новодевичьих стен; два дня богородского сидения в осенних простуженных дачах; встревоженных хмурых людей, еще по инерции охраняющих крепостные осовецкие, никому не нужные пушки; невнятную глухую Москву, события в которой прикрывались пустою инерцией военных продолжаемых будней, сменами караулов, честями, чисткою артиллерийских коней; все это окружное продвижение к Москве, все дни, всю свою жизнь за эти дни запомнил Инжеватов без одного пробела. С четкостью метронома работало сердце. Как бы объективом предельной резкости наводились подробности. Стихия поднималась, опрокидывала историю, столетья, страны, армию, отдельные судьбы. Швыряемое этой стихией, человеческое сознание запомнило все, как пред смертью. Подмосковные пустые поля, мимо которых шел поезд, юношей в длинных, нелепейших артиллерийских шинелях, смертельную опустошенность в глазах, глядящих на подмосковный, отлистываемый с роковою неумолимостью путь; своих сотоварищей, среди которых было много таких же, как и он, Инжеватов, студентов, оторванных для войны от науки, ненавидящих войну и брошенных в богородское каждодневное отупение, где месяц за месяцем подготовляли их для этой войны, для ее продолжения. Все шло обычным порядком в селе Богородском, в военном заданном окружении, как если бы попрежнему равнодушно и буднично проводила Москва свои дни. На второй день к вечеру части бригады отправили окружным путем на Москву. Поезд Окружной дороги медленно прошел над стынувшей в октябрьской глухонемой неподвижности Москвой-рекой, миновал смиренную вечернюю тишину новодевичьего монастырского кладбища и остановился в пути. Это была Москва II. В Москве I шли бои. Сбитые с толку, отчаявшиеся в невзденьи люди остались в нетопленном сумраке теплушек, продолжая ту же тупую инерцию подчинения. В зябкой неверящей настороженности жались друг к другу, курили, пытались уснуть, чтобы прогнать озноб и тревогу. В ночном этом сумраке, в глухоте бессмысленной подмосковной стоянки подполз к Инжеватову Шологов. Давно уже, с Горного института, где они работали вместе, с петербургских совместных их дней, привык ощущать Инжеватов его неотразимую силу. По-своему, своенравно умел вести Шологов линию жизни. Лицо к лицу,

дыханье в дыхание, говорил он теперь из-под нар, своею жаркой тревожностью разоблачая лживую и предательскую тишину подмосковного их пребывания:

— В ловушку нас гонят, Демид... надо бежать при первой возможности. Люди не хотят войны, они правы, я с ними... всей душой ненавижу войну. Правда там, на улицах Москвы, я чувствую это, сознаю, ужасаюсь...

Он говорил в темноте, была ночь, тревожные сны одних, бессонные огоньки папирос не спящих. Тогда же, на товарной стоянке Окружной дороги, они поклялись друг другу; эту клятву сдержали они до конца, до последнего часа своей решаемой наново судьбы. Людей выгрузили из вагонов, построили и повели по путям к Москве. Над Москвой были зарева. Ночное небо распахивалось. Люди шли вдоль пути—без слова, стук сапог, насупленное дыхание, запах шинелей. Человек в ловких сапогах, с георгиевским офицерским крестом, с погонами поручика, командовал ими. Запыхавшихся людей привели на Брянский вокзал. Сумрачное полыхание керосиновых ламп, тревожная полутьма вокзального купола с неналитыми электричеством фонарями, приклеенная к фуражке рука поручика, сдающего людей, полковник-фронтвик в сивой шинелишке, уже уложивший Москву в полуверстку артиллерийских обстрелов, опорных пунктов, обходных колонн. Так встретила Москва в этот час. На вокзале была бессмыслица, отупение, солдатские запахи, фронтовая ошалелая рота, пригнанная в Москву еще с утра и дожидавшаяся ночи, чтобы переправиться в город. Шологов исчез, потом вновь появился, потом снова исчез. Шли часы. Люди засыпали вповалку на проплеванном вокзальном полу. Инжеватова тоже неумолимо стала опутывать эта клейкая густая истома. Сидя, он засыпал и вновь просыпался. Внезапно, как бы в самом зрачке, возник Шологов вновь,—воспаленные глаза, проросший синевою щетины подбородок.

— Больше половины наших за нами,—сказал он, пожираемый торопливостью, возбуждением, тревогою, которую не умел уже скрыть,—двинемся в город, все побегут... дали бы только мне взвод!

На солдатских погонах были у него фейерверкерских две коричневатых полоски. Он снова исчез. Опять вокзальное отупение стало залеплять постепенно раздираемые поминутно тревожными срывами сердца веки. Ночью, в двенадцатом часу, людей стали переправлять в город повзводно. Сразу широко и знобюще пахнуло ночью морозною сыростью, просторным предзимним дыханием Москвы. Тревога и дрожь трепали людей как бы приступом малярии. За вокзалом сейчас же приняла тьма. Шесть человек артиллеристов, в шелкающих по сапогам шинелях, зябнувших, ждущих только одного: как бы разорвать эту военную скованность, разбежаться по своим домам, выйти из тупого подчинения, к которому месяц за месяцем приучали их в селе Богородском,—шесть человек под началом Шологова погрузились

в московскую тьму. Инжеватов этот путь от вокзала запомнил: над мостом, над Москвой-рекой раздиралось небо рыжею судорогой; у Смоленского рынка неведомо откуда застучал пулемет; пригибаясь к земле, люди побежали, сбились, растеряли друг друга. Пулеметы заколачивали Москву, как деревянный ящик. Инжеватов шагал за людьми, не узнавая знакомого города. Недавняя мирная трудовая Москва, занятия в институте, который одолевал он трудом, самолюбивою крестьянской волей вчерашнего самоучки, знакомый Смоленский бульвар, где играют дети и где с железным шорохом ветер сметает теперь отслужившую ночную листву. Кривыми ножницами истории срезалось знакомое полотнище дней. Порфиноносной наклонившейся глыбой нависла империя, чтобы обрушиться через сутки. Шли вдоль домов, притискиваясь к этим недружелюбным сумрачным стенам, минуя Смоленский насупленный рынок, с его досчатыми балаганами. За Смоленским рынком возник Арбат. Арбат был черен, безлюден, простерт. Угрожающе стояли дома, растягиваясь в бесконечность. Проходили Арбатом, останавливаясь, замирая, слушая темноту. Гроыхание вывесок потрясало железным ужасом внезапности. Неожиданно Шологов свернул в переулок. Это был стык: профессорский Никольский переулок, арбатские тупички, артерийки между Арбатом—Пречистенкой. Тишайший московский мир, особнячки, сады. Люди быстро прошли начало Никольского, свернули в Сивцев-Вражек, далее — мимо вымерших московских домов—в насупленный притаившийся Власьевский. С отчаянием самоубийц просовывали деревья из старомосковских садов свои осенние просительские сучья. Внезапно шопотом скомандовал Шологов:

— Стой!

Люди остановились.

— А где же остальные?

Их было трое. Трое из отряда исчезли. Маленький солдатенка в длиннополой, поповским подряником хлестающей по сапогам шинели, сказал:

— Отстали на Смоленском...

Вдруг, несмотря на тревогу, на весь ночной этот путь, стало смешно. Шологов сказал:

— Вот молодцы... а вы куда, Синегубов?

Солдатенка, кисло пропахший потной своей торопливостью, сказал умоляюще:

— А я у Арбата живу...

— Так валите домой... с нами-то вы зачем увязались? Богородское кончилось. Дойдете один?

Солдатенка ответил:

— Дойду.

Он торопливо откозырял и устремился назад в переулок. Конечно простирался вперед дворянский насупленный Власьевский. Они прошли его до конца.

— Теперь, главное, Левшинский нам миновать... саблю, давай сюда саблю!

Инжеватов отстегнул портупею. Шологов перебросил сейчас же саблю за забор в чей-то сад, следом перекинул свою. На углу они остановились. Билось сердце. Инжеватов снял папаху, пот тек по его лицу. Белая пустая церковка, поповский садик, весной цветет здесь черемуха. Они пошли один за другим вдоль ограды. Оружие бухнуло над Зубовской площадью, вероятно, свело небо светящейся зевотой. Ограда кончилась, пузатые контрфорсы церкви остались позади, переулок был черен.

— Лезь через забор,—сказал Шологов вдруг, перебегая вперед по камням,—в парадное не пустят...

Он присел и подставил ему под ноги руки по-гимнастически. И Инжеватов взмахнул на забор. Железо рвануло штанину, ожгло ему бок. Он сползал вниз, в сад, не выпуская руки Шологова, выволакивая его за собой. Через мгновение они свалились на землю. Садик был маленький, провинциальный балкончик домишки. Шологов побежал по дорожке, взбежал на террасу, стал стучать в дверь. За дверью никто не ответил.

— Это я, Дмитрий... — сказал он приглушенно. — Наташка,пусти! За дверью завозились, снимали засовы, отодвигали.

— Входи,—сказал Шологов вдруг.

Инжеватов ступил, сейчас же запнулся ногой, полетел в темноту. Шологов говорил в темноте:

— Экий ты, дядя... нельзя зажигать света, иди за мной.

Он повел его за руку. Внезапно тьма дрогнула, синеватый огонек разгорался, чей-то профиль пополз по стене. Девушка со свечей в бутылке стояла в дверях. Очаровательное, неправильное лицо; испуг его уже просветлялся улыбкой. Лицо освещено светом снизу, отчего огромные провалы глаз, необыкновенная прелесть улыбки, мальчишеской юности.

— Ну, вот и знакомьтесь!.. Наташа и Инжеватов. Натальюшка, сначала умыться, прокисли!.. После все расскажу.

Инжеватов провел рукой по бедру. Рука была мокра от крови. На заборе он разодрал со штаниною ногу. Минуту спустя они снимали шинели. Холодная вода успокоительно полилась из кувшина. Шологов открыл дверку шкафа, сказал: — Держи! — Пиджак полетел, за ним брюки. Это было необычайно. Двое штатских минуту спустя оглядели друг друга. Два студента оглядели друг друга, Старая студенческая куртка была велика, рукава длинные.

— Ну, я повыше тебя... извини, — сказал Шологов. — А теперь идем-ка знакомиться.

Свеча выдирала из тьмы углы шкафов, книги, закоулки маленького, по-московски провинциального дома. Они прошли коридором, стали подниматься по лесенке. Девушка со свечей стояла на площадке. Рот ее был приоткрыт, она улыбалась. Молодые, веселые,—несмотря



ни на что — зубы. Она глядела на штатских, с заглубившимися солдатскими лицами, с остриженными головами, и улыбалась. Свеча полыхала, глаза потухали, светились вновь, улыбка освещала лицо.

— Ну, вот, мы и дома, — сказал ему Шологов и пропустил перед собой. Свеча колыхнулась, девушка глядела ему прямо в глаза. Так Инжеватов вернулся снова в жизнь.

### III

Необычайно в этой тревожности, в этом неисговом дне запомнились глаза. Глаза улыбались себе, не ему, Инжеватову. Чуть-чуть по-монгольски скошенные в устьях глаза. Белый платок на плечах в зябком настороженном пречистенском доме. Тишина платка, тишина чистоты — после дней и ночей богородского бессмысленного плена, товарной пустынной стоянки Окружной дороги, простертого ночного Арбата, бегства... И еще: стены книг профессорского кабинета, лаборатория рядом, сложный стеклянный, латунный мир — и невысокий седеющий человек, его обитатель, профессор Алексей Михайлович Шологов. Отмеренный аршинами, шагающий по кабинету, с привычками военного в штатском, Дмитрий Шологов — от первого брака отца, и двое слушающих его — своей тишиной, привычкой размеренно жить, размеренно трудиться и мыслить. Позднее узнал Инжеватов: в этом сложном лабораторном мире Шологов был не один; вместе с ним все эти последние годы было то существо, которое сидело сейчас на диване и которое он приучил к своей науке, к труду — приемная дочь от второго, несчастливом брака. И еще Инжеватов узнал: с двенадцати лет вел Шологов приемную дочь. После смерти жены осталось вместе с ним двенадцатилетнее, похожее на мать существо. Ему он отдал привязанность, науке — жизнь. Постепенно увел он его за собой в лабораторный тот мир, который стеклом и латунью блистал позади его кабинета, подчинил своим интересам, устремил к своей цели... В своей студенческой комнате, с чертежным столом и со свертками чертежей по углам, Дмитрий Шологов говорил Инжеватову ночью:

— Отец — человек, Наташа становится человеком... за них я спокоен. У отца своя вера — наука, он все сумеет понять... большая правда есть в том, что только вчера казалось невероятным! И нам определять себя надо, мы вышли из игры не для того, чтобы наблюдать в стороне из обывательских окон. Ломается наша история, Демид... завтра, через день надо решить для себя, к какому берегу плыть. Нерешивших все равно захлестнет.

Они лежали в постелях, говорили и засыпали и снова будили друг друга. Была ночь, простертая тьма за окном, раздираемый московский октябрь. Потом Инжеватов замолк, все исчезало; блаженство успокоения протянулось, руки немели. Он хотел окликнуть Шологова и не мог. Внезапно он вспомнил: чуть скошенные в устьях монголь-

ские глаза, белый платок на плечах. И он улыбнулся — сквозь сон, тишину и небывалость такого томления... Вот как записал он новый день жизни в полевой своей книжке:

«Я сброшен с берега, на котором стоял до сих пор. Все надо начинать сначала и прежде всего самого себя... Мне двадцать шесть лет, отец мой был мужик, я прошел жизнь сам, сам овладел ею, добиваясь того, к чему шел. Я знал много человеческой мерзости, узнал войну, страшное дело ненависти к человеку. Когда люди восстали против этой ненависти, меня погнали из села Богородского Окружной дорогой в Москву. Этого пути я никогда не забуду. Над подмосковными огородами летели спугнутые тучи ворон. Ныне этот путь, — как невероятное прошлое. Все начинается снова. В старой студенческой куртке Мити придется выпустить рукава. Надо начинать новый счет жизни».

Эту запись на листке полевой своей книжки, четыре дня, проведенные в профессорском доме, молодые глаза, которым в те дни мог отдать он себя без остатка, сидящего негромкого человека, одного из тех немногих людей старшего и одаренного поколения, которые все постарались понять и никого и ничего не возненавидели, — все это запомнил для себя Инжеватов, как начало своей возобновляемой жизни... Годы шли затем, это были сибирские суровые годы, здесь снова были войны и смерть, здесь, в Томске, стал он, наконец, инженером, — породы и руды для него заменили людей, и на руды, на золото он пришел инженером, чтобы продолжать свою жизнь.

Лошадь засекалась на пути с приисков в город. Инжеватов не торопил ее, плетеную тележку перекачивало на колесах, еще полных воды. Иногда возникало солнце, негреющее проходило по тусклым колеям, по отвалам пустых пород, трижды изученных и перекопанных поколениями старателей. Труд и судьбы людей покоились в этих отвалах. Три года назад пришел он на золото. Прииски были истощены, разорены годами небреженья и хищничества, шахты залиты водой, планы утеряны. Все надо было начинать сначала, изучить местность, восстановить сведения о добычах, о разработках, обуздать хищников. Судьба страны, которую начал он строить, лежала здесь, в этих недрах. Два года ушли на разведки, на откачку залитых шахт, на восстановление крепей. Была эра подпочвенных вод. Воды сочились, лили в шахты, надо было бороться с ними ночи и дни. Золото было здесь, недоступно для человека покоилось оно в жильных породах, в этих неверных изменчивых жилах, которые надо было уловить и подсесть и которые обманывали человека и от него уходили. В управлении не верили в золото здесь, он боролся за золото: разведки, весь его инстинкт, самолюбие говорили, что золото есть. Старые жилы выклинивались, новые не обнаруживались, шахты заливали водой. Человек бился с породами. Породы побеждали, не даваясь, размалываясь впустую, не оседая золотом. И все же золото было. Год назад, в заводских архивах, он нашел план. Плану было сто лет, два века под ряд искали здесь золото. План был начертан гусиным пером; гусиным пером на плане были на-

несены разработки, старинные прохождения жил, места залежей. На плане были прорезаны узкие сквозные полоски, под узкими полосками на других листах плана лежали новые шахты, квершлагги и шурфы, которыми проходили год за годом, выбирая породы. Год за годом планомерно пускали люди шупальцы в землю, выскивая золотоносные жилы. Инжеватов взял эти планы к себе, месяцы провел он над ними, изучая, предполагая, исследуя. Между пятым и шестым листами, на девятом году разработки по плану, он нашел поразившую его пустоту. Люди на девятом году подсекли жилу и шли штреками на юго-запад; линии штреков были указаны. На десятом году люди изменили их направление и пошли на северо-запад. Пустым, непройденным оставалось пространство, в котором должна была залегать подсеченная жила. Это было непонятно. Неделями сидел он над планом; чьей-то ошибкой или сознательной волей оставалось непройденным золотоносное большое пространство. Он начал разведки, поиски этого места. Столетие изменило землю. Горами, отвалами вздыбились опустошенные недра. Тысячами проходили старатели, поколениями наворачивали отвалы, бракованные пустые породы. Старые шахты перекроились позднейшими, новыми; частью осыпались, частью были залиты водой. Он отыскал на Благословенной горе эти столетние шахты. На месте мелкого ельника выросли вековые ели. Столетие замело след, ревниво скрывая от человека то, что он пропустил в свою пору. Все же Инжеватов не ушел с этих мест. Шаг за шагом старался восстановить он подробности столетнего плана. Он познавал эту землю наощупь, изысканиями, треножниками приборов, вновь наносимыми планами, на которых столетний кустарник означался лесами, долины—взгорьями, нанесенными людьми, горы—выветренными, снесенными наполовину вершинами. Золото было здесь. Всем добычливым инстинктом он ощущал его в недрах. Он загромоздил образцами пород ящики стола. Пирит, железные окиси, свинцовый блеск, березиты и кварцы—первые спутники и носители золота. Трижды, четырежды он обошел эти места. Он стал набрасывать план разработки. Надо было вести борьбу с управлением. В управлении сидели старые инженеры, изыскания его становились убыточными, прежние разработки были истощены, требовали больших затрат; новой добычи не было. Управление решало приостановить работы в районе; в управлении были цифры, опыт; у него были воля, надежда, труд. Этого было мало.

Он отпустил вожжи, трясся в тележке, смотрел на изрытую пустую дорогу. Все эти годы он знал труд, одиночество, опять труд, опять одиночество. Между тем Инжеватовым, которого пригнали почти десятилетье назад покорять Москву, между сегодняшним им—лежала жизнь. Давно судьба страны, судьба родины стали собственной судьбой. Так сложилось в его труде, в его днях, в его жизни. Личное пропускалось, отmetalось делами, приисковым одиночеством. И в одиночестве,—чем раскидывались дальше года, тем отчетливей, неотразимей возникал день его возвращения к жизни, бегство с Дмитрием

Шологовым пречистенским глухим переулком, провинциальный маленький садик и смеющиеся, скошенные в устьях глаза... Впрочем, в четырех этих днях, проведенных в пречистенском доме, мог он вспомнить еще и другое. В тревожности, в стремительном их ночном возвращении, в жизни на ходу, когда решалась история, люди сближались быстрее и доверчивей. Вероятно, немного в эти дни было сказано; многое — перечувствовано, это наверное. И сразу, той же стремительностью дней, тем же ветром — его и то существо, которое впервые увидел он со свечей на площадке старенькой лестницы, их обратило друг к другу. Это было очень сильно, необыкновенно томительно, необыкновенно глубоко; ничего не было сказано до конца, и все же это осталось на целую жизнь. Может быть, поэтому за все эти годы он ни к кому не стремился, никого не желал. Это протягивалось за тысячи дней, трижды за эти годы видел он Дмитрия Шологова, и каждый раз говсрил ему тот о сестре, о том, что она его помнит, о том, что она вошла в работу отца, как помощник... Дмитрий Шологов работал сначала на Лене, потом на Алдане, оба избрали они этот золотоискательский путь; там были большие разработки, драги, экскаваторы, туда приезжали американцы... это были не столетние шахты, над которыми бился он здесь и которым отдавал свою жизнь.

Старообрядческое большое село, Шайданское озеро. Разорванные ветром, необыкновенно грустящие сосны. В селе сады, стародедовский толк, ревнителн благочестия бежали сюда два века назад. Север над озером, над его весенними волнами, над елями, стерегущими его берега. Он долго проезжал сквозь Шайдан. В управлении опять надо было доказывать, спорить; каждый раз уезжал он оттуда с надеждой, что вернется назад победителем. Проходили недели, шли будни, сто пудов породы из выработанных шахт едва давали полтора золотника золота. Ему не верили в управлении, считали его инженером заносчивым, малоспособным. Он не сдавался, упорно, стиснув зубы, до унижения. Главное было — верить. За селом опять шел поселок, плачущая весенняя осень. Одна только большая радость в этой поездке — желтоватая телеграмма в кармане; Шологов едет из Иркутска в Москву. Опять встретятся на вокзале, проездом, от звонка до звонка, отхватывают на миг по большому куску друг от друга, а главное — с ним, с Дмитрием Шологовым, можно послать в Москву, в профессорский дом, незатмеваемую годами память... Он смотрел мимо лошади, мимо дороги — и вдруг ударил вожжей рванувшегося испуганного жеребца:

— Н-но, иди веселей!..

Тележку рвануло, понесло по колеям; Инжеватова бросало в ней, он гнал лошадь, лицо его было бело, фуражка свалилась. И город, под взгруженными, синеватыми по краям облаками, возник ввечеру. Тогда он придержал жеребца, пустил его шагом; тот шел, ставил уши, не верил человеку. Инжеватов надел фуражку. Поезд проходил по мосту — из Москвы, может быть. Пустырями, городским житием, досчатыми колодами окраин встречал вечерующий город.

## IV

Он оставил лошадь в базе, снял в гостинице номер, остался один. Внизу, в ресторане, играли скрипка, виолончель и рояль. Скулящий провинциальный оркестрик. Все же была в виолончели певучесть. Площадь под окном, нелепые шарабаны извозчиков, провинция, вечер. Двое пьяных хотели перейти эту площадь, пускались в плавание; не доплыли, легли посредине. С детства узнал он провинциальное это житишко, не выдержал, бежал в большой город. В городе нашлись люди, пристроили торговать, научили любить книгу; от книги все пошло, раскрылась жизнь. Обычная российская судьба. Торговать не сумел, поступил на дорогу конторщиком, слушал, как гудят паровозы; жизнь проходила за окнами, здесь стучали счеты, люди с годами становились похожими на желтые эти, тысячи раз отсчитанные костяшки. И отсюда бежал он с той же жадностью жизни и с надеждой ей овладеть, наконец. Теперь была такая же борьба: надо было побеждать или сдаться. Побеждать — добыть, одолеть; сдаться — стать послушливым исполнителем, посредственным немудрящим служилым. Не для этого он бился все годы.

Он умылся; стоя у окна, вытирал он лицо. Северный винный закат, горный мир, нетронутый, не отдавшийся еще человеку, покоились над городом, который строили золотом. На стойбище веков, на разрушенные тысячелетиями гряды должен был притти человек. Память ледниковых эр дремала здесь, ожидая добычливого покорителя. Как бы у подножия будущих человеческих дел лежал этот город. В зеркале шкафа увидел Инжеватов себя, свое лицо, от которого отвык. Утро на приисках начиналось делами, за неделю он обрастал бородой, снимал ее по привычке почти без зеркала. За эти четыре года он очень подсох, почернел; упрямо чернели волосы, не желая сдаваться. К 34 годам у людей седели виски, эпоха сидела людей раньше времени. На приисках люди подсыхали, чернели, превращались в породы. Сам он стал, как кусок золотоносного кварца, которыми полны ящики его стола. В номере было одиночество равнодушного гостеприимства. Он хотел начать дела поутру, сегодня остаться одному, только с собой; многое снова приносил с собой Шологов. Опять была музыка. Он захватил фуражку, спустился вниз в ресторан. Люди пили пиво, слушали музыку, грузнели от пива и музыки. Два тоскующих молодых музыканта с тропическими бабочками галстуков вытягивали душу из виолончели, из скрипки. Грузная дама, бывшая учительница музыки, вероятно, тоже выколачивала из рояля его расстроенные остатки души. Инжеватов сел за столик, заказал пива. Девушка спросила:

— Ермолаевское или «Красный вулкан»?

Он сказал:

— Все равно.

Девушка смахнула салфеткой, увидела в нем солидного человека, который не пришел напиваться, сказала доверительно:

— Правда, я не спец в этом деле, но Ермолаевское пиво меньше горчит.

Она ушла и принесла пиво. Он отпил пива, оглядел посетителей, пьющую неспящую эту провинцию. Заново делалась страна, превосходные мечтания были у людей. Эти ни о чем не мечтали, налипали проселочными ковригами глины на колеса, обвисали пивною пеной на жизни. Тем сильнее, тем упорнее — делать жизнь, добывать жизнь. Человек в фуражке лесничего подошел, споткнулся, сказал:

— Извиняюсь, вы не инженер Мамалыгин?

Сокрушенно узнал, что—не инженер Мамалыгин. Глаза его видели двухголовых людей. Виолончель басовито запела сонату Бетховена. Тот же лесничий подошел к музыкантам, сказал: — Извиняюсь, нельзя ли чего веселей?.. я денег не жалею,—полез в карман, долго искал, ничего не нашел. Инжеватов допил пиво и вышел из гостиницы. Был вечер, люди гуляли, сидели на скамейках бульвара, шли в летние сады; в летних садах пели хоры, хлестали выстрелы в тирах. Он отрезал от себя эту жизнь, жил в миру своих надежд, своих преодолений; знал шахтеров, бурильщиков, штейгеров; жизнь определялась шурфами, породами, добычей, изысканиями. Это было — много, самое главное, отречение, более полное, чем равнодушная поступь нетревожимых дней. Он вернулся в гостиницу, долго сидел у окна, курил, смотрел на огни, потухающие постепенно к полуночи. Город спал.

\* \* \*

Обручальное кольцо, надетое в молодости, давно уже залившееся годами, жирком; между средним и указательным пальцами иод табака. Шеншиловый бобриск волос, нелюбопытные, много видавшие и вылинявшие глаза человека. Сорокалетний опыт—буднями, сотнями шахт, пудами намытого, добытого из пород и самородкового под'емного золота. Папироска дымится, человек листает его проект, сводку донесений о добыче за последние месяцы. Вдруг пенснэ на шнурочке спадает, вылинявшие изумленные глаза выпученно, почти ненавидяще глядят на него:

— Откуда у вас такой апломб, Инжеватов? Государству нужна добыча, а не ваши проекты... Старые шахты выработаны, их нужно закрыть. Район убыточен, нужно свернуть работы. Старатели перекопали всё до отказа, похищничали в районе достаточно. Откачивать воды насосами, — для этого нужны средства. Загонять в землю средства, — во имя чего, во имя проблем?

Три года под ряд в управлении говорили те же слова. У инженера Колтухова был опыт, цифры были неоспоримы. Чтобы убеждать, надо наладить добычу; работа со старыми планами, его изыскания—никому нет до них дела. Задача одна: оттянуть решение, попытаться эти вылинявшие глаза человека смягчить надеждой искателя, которую сам он знал в молодые горячие годы. Люди в управлении сидели годами. После революции, пустых лет, когда золотом для человека был

хлеб, прежние люди вернулись на свои места. У людей были опыт, знание, десятилетия работы на золоте. Но люди десятилетиями сидели в креслах, разрабатывали чертежи, знали о добычах по золоту, которое им доставляли в запечатанных кружках, по донесеньям, по сводкам. Горячее живое чувство искателя, эти начальные изыскания, когда инстинкт, воля, надежда ведут человека по следу, — были забыты, казались ненадежной горячкой молодости. Обручальные кольца вросли в пальцы, иод табаку обугливал эти живые отростки человека, привыкшие к бумажным листкам, к перу, к уверенному обжиманию жизни.

— Я очень прошу дать мне еще несколько месяцев, — сказал Инжеватов. — У меня есть некоторые предположения относительно простирания жил, которые считаются выклинившимися. Проект эксплуатации я представлю в течение месяца.

Колтухов опять надевал пенснэ, пенснэ защемило на носу привычную складку.

— А отвечать кто будет за все? Вы ищите, я — отвечаю... не так ли? Я представил докладную записку о закрытии шахт «Иераклий Пастухов», «Кривой отвал», «Шахта № 4». В остальных двух шахтах разработка может пока продолжаться, если не будет больших вод. Добудьте на сто пудов хотя бы три золотника — я буду защищать ваш проект.

Победительно, доказательно своею линиялостью приближались глаза. Четыре года его исканий, надежд, лютого труда, затраченного на откачку затопленных шахт, на пробивку новых шурфов, на внедрение в эту недобычливую, упорно ему сопротивляющуюся землю, — здесь, в управлении, все эти четыре года стирали, как небывшие годы. Его надеждам сухо сопротивлялись цифры, его упорству противостоял сорокалетний опыт человека, снисходительно смотревшего на него теперь. Инжеватов сказал:

— Я все же оставляю за собой этот месяц. Если я ошибаюсь и нельзя будет строить новую шахту, пусть начнут разведку старатели.

— Старатели тоже проектам не верят. — Пенснэ закачалось, упало с хрящеватого носа. — Дайте настоящее доказательство, мы сами начнем разработку. От золота мы не отказываемся.

Еще несколько дел, вопросов, записанных в книжечке, — и Инжеватов поднялся. Ему подали руку с благосклонной враждебностью. Пески взметало над городом. Город был в песчаном тумане. Инжеватов шел улицей, свернул зачем-то направо, дошел до моста. В городском пруду округло, мечтательно плыли облака. Возвращение к жизни может быть для него лишь тогда, когда он станет, наконец, победителем. Его поколение разбудили для жизни, он хочет делать жизнь. Мир, тысячи облаков проплывали в городском этом, застенчивом от своей городской одинокости пруду. В четыре часа приходил из Иркутска экспресс.

## V

Поезда шли в Сибирь, из Сибири, в Манчжурию, на Дальний Восток. Китай на Востоке, Москва—на Западе. В вагонах китайцы, японцы, американцы — транзитом сквозь тысячи верст русских степей, тайги, рек, сибирских больших городов. На вокзале всегда в приезжающих, отъезжающих людях, дорожных звонках — непреодолимое напоминание жизни. Там, на приисках, были неторопливые уединенные будни. Теперь опять возникли вокзал, беспокойная тревожность путей, путевые далекие зовы. Инжеватов стоял на перроне и ждал. Широко дул ветер, ветер жизни. За пятнадцать, за двадцать минут надо сказать Шологову обо всем, что пережито и передумано в эти годы. Поезд шел, у дежурного звякнул звонок, семафор был открыт. Фанера, спальные вагоны экспресса прострочили мимо. Десятидневный путь от Владивостока к Москве, путники, привыкшие к смене городов, станций, народов. В окнах женщины, дети, японцы — и вдруг скуластое, близкое, обросшее бородкой лицо. Шологов крикнул:

— Демид!

Носильщики затерли в проходе. Инжеватов устремился с толпой. Эта встреча сейчас была ему нужнее всего. Шологов умел шагать через дни, сквозь эпоху, вести свою линию жизни. Минуту спустя он соскочил со ступенек вагона.

— Ну, здравствуй, друг! — Они обнялись. — А я проездом качусь... ну как же я рад тебя видеть. Говори быстро: бодр, здоров? — Он взял его под руку, они пошли вдоль вагонов. — А я в Америку, брат... честное слово! Насквозь качусь. У нас Калифорния, американцы приехали... берем россыпи. Думаю, мир удивим! Так вот на годик подучиться в Америку, в Америке золото в открытую берут... Но ты—о себе. Доволен?

Инжеватов сказал:

— Брожу около... торопят, калечат меня. Но я свое возьму, — добавил он вдруг упрямо. — Не позволят начать разработки, — со старателями буду работать. Это не одно самолюбие, брат, а судьба страны, я так понимаю... не будет энергии человека, все пойдет показанному гладко, без перспектив. А мы для этого в землю ушли, чтобы думать о будущем.

— Я в тебя верю, Демид, — и Шологов прямо прекрасными своими, чуть на выкате глазами посмотрел на него. — Ну, а когда же в Москву?

— Когда возьму свое, не раньше.

— А если не возьмешь?

— Возьму!

— Впрочем, ты прав: если веришь, — возьмешь. — Они ушли далеко вперед, к паровозу. — Я ведь о Москве не спроста... ты прости, — сказал Шологов вдруг. — У меня, брат, отец — превос-



ходный... настоящий ученый, большой человек. Он и революцию глубоко, по-настоящему принял. Я с ним дружу, уважаю его. И есть у меня сводная сестренка, брат, — Наташа. Она сейчас с отцом работает, вошла в науку, окончила медицинский, лучший помощник отцу. И есть у меня, брат, ты... ты — человек упорный, верный, честный. Я так тебя знаю и таким в себе держу. Нам бабушка вместе ворожила — на фронте, в переворот, да и на золотишке сейчас... Так вот, думаю я: есть победители-люди и есть просто так... просто так живут себе, размножают подобных, довольствуются заведенным порядком на земле. А другим заведенного порядка мало... надо утверждать себя в жизни, свое создавать. Таким отец был всю жизнь, такие и мы с тобой, такая же, думаю я, и Наташка... И вот надо закрепить эту связь. Ты, Демид, не взыщи, говорю я том, о чем думаю, так привык... думаю я о тебе и Наташке. Так уж случилось. Наташкой ты занозился, она — тобой... Годы стирают, так вот и не хочу я, чтобы годы стерли все это. — И Шологов вытер лоб. — Найдутся и поинтересней тебя, — сказал он свирепо.

Они остановились возле путей. На дальнее странствие напивался воды паровоз. За тысячи верст была Москва. За тысячи верст было то, о чем говорил ему Шологов, необыкновенная горечь, необыкновенная мечта. Так просто — сесть в поезд, устремиться к тому, наконец, чем были полны эти годы. Двойными путевыми вздохами вздыхал паровоз.

— Ты мне скажи... как мне передать — когда в Москву ты приедешь? — И Шологов взял его за плечи, на голову выше его, в фуражке инженера, удачливый золотоискатель, человек больших дел. — Четыре года — не дни... люди становятся старше, чувства меняются.

Они стояли друг против друга.

— Когда поставлю добычу, тогда вернусь, — сказал Инжеватов вдруг спокойно и просто, с успокоительным для себя разрешением всего, что подняла в нем вновь эта встреча. — Я тебе ни о чем не скажу, да и не нужно... здесь выбора нет. Своя судьба меньше, пост наш маленький, но — пост... уйти с него я не смею. Когда мы по Власьевскому с тобою ночью бежали, мы с одного берега спасались, чтобы ступить на другой... Теперь мы на другом берегу, здесь — родина, Дмитрий, страна. А там... ты скажи — вся моя душа там.

— А если найдешь, тогда вернешься? — знакомые глаза близко, внимательно смотрели в глаза.

— Тогда вернусь.

Шологов вдруг качнулся и обнял.

— Ну, так ты найдешь, Демид, я уверен! — сказал он проясненно. — Кто ищет, тот всегда находит. А я в Америку еду, похватать там знаний немного, — добавил он еще плутовато, — золотоискатели мы, ничего не поделаешь.

Они возвращались к поезду. Какие-то минуты прошли, уже надо было прощаться. Звонили звонки, люди устремлялись к вагонам.

— Ну, так прощай же, Демид... я все передам. А золотишко ищи, это наша страда.

Опять близкое, обросшее бородкой лицо в окне, минутная встреча, годовая разлука. И поезд пошел. Инжеватов стоял на перроне. Трижды взмахнула фуражка в окне. В вагоне-ресторане стоял буддийски-огромный повар в белом колпаке, в окнах спальных вагонов — толстый японец в черных очках, миловидная женщина с девочкой; в жестких вагонах люди глядят с верхних полок, подперев головы: случайная станция, чужой город. Вокзал опустел, стало светло. Извозчик на тряском шарабанчике повез лихо в город. Деревянные домишки, провинциальное житие, улицы в траве. Инжеватов вернулся в гостиницу, спросил счет, позвонил в базу по телефону, чтобы приготовили лошадь. С городом было кончено, делать здесь больше нечего. Он надел дорожный брезент, пропыленную свою фуражку. Тревогу, которую поднял в нем Шологов, тоже надо было стиснуть, сдавить. Москва — там, он — здесь. Личное — там, общее — здесь. Этому отдана теперь жизнь. Через час выезжал он из города. Знакомая плетеная тележка, знакомый желобок на сытой спине жеребца. Опять городские окраины, железнодорожный путь, по которому унесся в Америку Шологов. Опять колеи. Крестьяне пылят, едут порожняком по домам. Монастырское кладбище, коммуна для беспризорных, поля. Город оставался позади. Шологов уехал — это надо изгнать из души. Сейчас другое — проект о закрытии шахт, который подал в Москву Колтухов. Что же, надо бороться, силы у него еще есть, золото ждет своего добытчика. Вечером должен притти штейгер: сколько дали вчера сто пудов породы из шахты № 4?—Это были будни, дело, его труд. Колеи стряхивали мысль за мыслью. Опять Шайдан, сосны, просторное одиночество озера. Он ехал, думал, курил. Жеребец шел исправно к дому; его никто не тревожил. Пахло сыроватой весной, солнце огибало свой круг. И к вечеру снова — отвалами, взгорьями, столетиями труда человека, надеждами поколений старателей — возникла земля приисков.

## VI

Человек пришел утром в контору. Инженер уехал в город. Человек остался ждать: все его знали, старатели часто приходили в контору, Матвей Ерофеев был старателем сорок пять лет, человеческий срок. Матвей Ерофеев приготовился ждать домовито. Он сел на ступеньках конторы, закрутил самокрутку, отсыпал махорки, задымил на роздыхе. Управляющий приисками Колымов проходил, спросил:

— Чем дышишь?

Ерофеев ответил:

- Дело есть.
- Ко мне?
- К инженеру.
- Золотишко нашел?
- Может, и золотишко.

Колымов присел, тоже скрутил папироску. Старатели приходили, у всех было дело, у всех было золото, все находили жилы — лопатами бери. Один пахал — нашел кварцевый валун, другой жорчевал — добыл свинцовый блеск. Где был свинцовый блеск, там могло быть и золото. Свинцовый блеск оставался свинцом, кварцевый валун — пустым кварцем. Люди рыли шахты, бились годами, ничего не находили. Колымов знал старательскую эту горячку, сам был старателем, сам бился за золото, сам своими плечами, мускулами, ревматизмом знал старательский труд. Революция вышвырнула его из глубин, понесла по земле, с шахтерами ходил в партизанах, перекидывался к красным, брал Омск. Урок жизни заново он прошел на земле. С войной пришли партия, долг. После войны надо было или снова уходить в недра, или остаться на земле. Его возвращали на золото управлять приисками. Для этого нужны были знания, нужно было забыть партизанщину, узнать ответственность, о которой не думал он прежде. Он все это прошел, теперь был снова на золоте, управлял приисками. Шахтеры приходили к нему, он знал их нужды своим опытом, своими годами, проведенными в земле. Он привык относиться к людям сторожко, полудоверчиво. Старатели воровали золото, скрывали добычу — он это знал: у инженеров были свои планы, свое честолюбие, другой мир, далекий от этого человеческого угрюмого труда под землей. Так десятилетиями добывали золото, ставили шахты, хищнической горячкой опустошали недра. Теперь были другие люди, иные навыки; теперь — горячий соратник, человек одного с ним труда — был инженер Инжеватов пришел сюда, они сразу друг друга поняли, сразу поверили; труд их был — один, борьба общая, честолюбие искателей, боровшихся за удачу, за добычу для страны... В управлении не знали их надежд, их самолюбивого запоя. В запечатанных кружках штейгера по вечерам приносили добычу. Если добыча была достаточна, все шло далее буднями; если добыча падала, управление вызывало, доказывало убыточность, отказывало в дополнительном оборудовании шахт. Вместе с Инжеватовым делил он многие вечера воспаленных надежд; дни стирали эти ночные обольщения, недра восставали, добыча была ничтожна. Колымов курил, курил Матвей Ерофеев. Колымов спросил, наконец:

— Где копаете?

Матвей Ерофеев ответил не сразу; сказать — легко, найти — трудно.

— На «Гиблой Елани».

Колымов затянулся, пустил дымок:

— По плавунам пошли? Опасное дело.

Матвей Ерофеев ответил сердито:

— С бабой на печи не опасно... на то и золото, чтобы опасно.

— А инженер зачем?

— Пущай посмотрит, может, жила тут на двадцать вершков, и порода не твердая.

— На плавунах работать — горькая участь, дед!

— Какой я тебе дед, у меня сын осьми годов ходит.

— А самому сколько?

— А самому двадцать пятый шел, как царь Александр помер.

Старатель сердился. Приходили с надеждами, надежды заливались водой, на плавунах — на ходячих этих пластах — неведомая тысячепудовая сила выбивала вдруг балки шахт, словно играла плечом земля. Большая была сила земли. Старатели шли в плавуны, работали в шахтах с плохими крепями, земля обвисала над ними, готовая рухнуть. В труде забывали об опасности, знали самозабвение, не теряли надежды, верили. Вера двигала человеком, главное здесь была — вера. Верой разворачивали землю, шли в опасность, отдавали жизнь труду. — Колымов ушел. Старатель остался ждать. В полдень он достал из мешка хлеб, печеные яйца, поел; в час задремал на ступеньках, дремал по-стариковски; люди, приходившие в контору, шагали через него. В четыре он проснулся, опять закурил, сбегал к колодцу напиться. Инжеватов приехал в восьмом часу. В конторе были штейгер Богданов с шахты № 4, буровой мастер Блохин, Колымов, старатели. Те же запахи пропитанных дегтем сапог, махорки, конского пота. Запечатанная кружка с дневною добычей, треножки, чертежи, запыленные породы на полках. Он жил рядом с конторой, в том же доме. В одной его комнате рабочий сосновый стол, книги, чертежи и приборы; ящики, набитые породами. В другой — промятая койка, умывальник, на стене фотографии: матери в старообрядческом черном платке по-глаза, покорствующее туповатое лицо крестьянки с нечеловечески-прекрасными тревожными глазами, сам он с Дмитрием Шологовым в год поступления в институт, когда впервые сдружилась их младость.

Он умылся с дороги, Матвей Ерофеев ждал терпеливо в сенях, пока он умоется.

— С утра тебя жду, — сказал он неспешно. — На «Гиблую Елань» не заедешь? Братишки дожидаются, две сажени прошли.

— Крепи ставили?

— Малость подперли.

— Глядите... плавуны сдвинут, задавит вас.

— А ты заезжай.

Инжеватов сказал:

— Такую почву крепить — большие расходы. Строевой лес надо, а вы из старых шахт погнившие материалы таскаете.

— А если жила?..

Он знал: если звали инженера старатели, себе не верили, значить, — копали впустую: Когда находили золото, — отмалчивались, если дело в тайне; сдавали золото по мере нужды, остальное припрятавали, пускали на сторону. Он сказал:

— Ладно, приеду на неделе, как управлюсь.

Матвей Ерофеев ушел с надеждой, — а вдруг одобрит инженер, велит копать дальше. Прошли стволом три сажени, красичные породы были не золотоносны, земля посулила — ничего не дала. Инжеватов остался с людьми. В конторе пахло деловыми будничными запахами. На вокзале как-то сдвинулись чувства, большое смятение привез с собой Шологов. Теперь все становилось на место, порядок жизни — угрюмый порядок трудовых его дней. Жильное золото в шахте № 4 обеднело, штейгер Богданов принес золотник со ста пудов. Люди были угрюмы, Инжеватов знал эту угрюмость. Он сказал:

— Что есть, то и есть. Не мы начинали шахту. Новое золото надо искать.

Штейгер ответил:

— Сто лет люди ищут.

— А я говорю, возьмем! — Инжеватову вдруг стал ненавистен этот угрюмый неверящий человек. — А не возьмем, значит, мы не добытчики!

В конторе было накурено; люди сдали золото, потолковали, ушли на крыльцо. Инжеватов раскрыл окно.

— Никита Петрович, хотят консервировать шахты, — сказал он погодя. Широко лежало старательское село, белая колокольня, мост через речку, отвалы. — Колтухов подал в Москву доклад о закрытии шахт... Перекидывать будут, все равно не уйду, — добавил он вдруг, — останусь со старателями... если я ошибаюсь, — я плохой инженер, незачем меня и держать.

Чуть бурятское лицо с желтыми большими зубами и синие по-мальчишески васильковые глазки, огромные шахтерские руки Колымова. Это оттуда — из земли. Рубашка в полоску — застиранная, но опрятная, золотая коронка во рту, шелковый вязаный галстук, — это уже отсюда, с земли. Сбивала его жизнь крепко. И Колымов сказал:

— Подожди горячиться... нас много гнули, мы и сами гнуть научились. Если я в дело верю, я с него не уйду и тебя не отпущу. Над управлением еще управление есть. Мы не для себя ищем... если бы для себя, нас погнать — в один счет. Я для управления — солдат, а для страны — полководец. Старатель родом бьется, его не тревожат. А мы три года чужие дыры штопаем, на четвертый сами строить хотим — а нас в скобочку?.. Нас поставили на дело, мы трудимся... а если завтра от веры моей оторвать захотят, я драться буду — и тебя не выдам. Вместе начали, вместе и кончим. — Большие тяжелые

руки комьями лежали на столе. — А горячиться ты брось... старательское это дело, не наше. — Слова он вколачивал хмуро, много он говорить не любил. — Искать, Инжеватов, надо... найдешь — возьмешь. Мы за революцию брать научились. Мелочи на земле много осталось, они нас бумажками, циркуляришками душат... ничего, я отпишусь, им приятность, а я свое дело не брошу.

Большие синеватые губы его вдруг распаялись, между ними были зубы, желтые уверенные зубы, знающие, как стискивать молчанием рот. Этот приисковый вечер, свое возвращение, свою связь с человеком, который вместе с ним пришел искать золото, ощутил Инжеватов, как новую силу. Руки были большие, улыбка дремучая, соки человека дремали. Жизнь нужно брать, обминать руками и строить. Он опять был один в своей комнате. На длинном сосновом столе лежали планы разработок шахт, глубины стволов, начатые и пройденные штреки, пути его новых разведок. Он достал перо, открыл баночку с тушью... жизнь, надежды, все свои ночные часы,—о, как мог бы он их разделить с теми узкими, скошенными в устьях глазами, которые через несколько дней увидит Шологов снова. Он подложил транспортир, провел черту, перо задержалось; капля сползла с него, стала расплзаться на чертеже. Инжеватов скрипнул зубами, собрал себя; кончик ножа стал считать, счистил каплю, ноготь загладил шероховатость. Ревниво, вбирая в себя целиком, лежал чертеж перед ним. Инжеватов работал, ночь шла.

## VII

— Дышло! Браги мне!

За пологом засипело, чудовищные меха раздувались, как в кузнице. Человек выбрался из-за полога, сел на скамью. Волосы, борода его были сваляны, он сидел, сипел, орган играл в нем басами. В кабаке Финогенова гульба шла восьмой день. На речке Желтухе нашел старатель под'емное золото. Самородок был в полтора фунта, великолепный изжелта-смуглый извилистый самородок, как кусок человеческого мозга. Удача пришла, рухнула на плечи, погребла под собой человека. Восемь дней лежал под ней человек, восемь дней знала Кышва и Захаровский хутор, и деревни Гнилое Поле и Кислицы об удаче старателя. Восемь дней полыхала гульба, были затеи одна другой ослепительней, восемь дней пропивал человек себя, свою удачу, полуторафунтовый свой самородок. И восемь дней вместе со старателем гуляли Фрол Финогенов с артелью. Два поколения Финогеновых держали кабак на Кышвенском тракте, шел тракт на Сибирь, по тракту гоняли ссыльных, по тракту артелями проходили старатели. В кабаках оставляли старатели удачу, спиртом нужно было заливать золото. От Ивана Финогенова — деда перешел кабак к сыну — к Егору Финогенову; от сына — к внуку Фролу. Кабак

был на тракте, во дворе кабака была шахта. Торговали спиртом и рыли. С речки Желтухи приходили старые копачи. Был фарт — пропивали удачу; не было фарта — люто голодали, шли на другие ключи и речуги. Зимами доставали золото выморозкой, пробивали лед, бадьями таскали пески. Метелями, снегами, морозами заносился человеческий труд. Приезжали спиртоносы, брали золото, меняли на спирт. Неделю гуляли старатели, бились на смерть из-за стряпок, старательских жен. Стряпки были многопудовые бабы, готовили на всю артель; кто был сильнее, удачливей, тот ими владел. Драка начиналась со спирта, бились в кровь, на смерть, в гиблую. Бабы хоронились в избу, ждали, кому достанутся. Сильный вывозил больше песков, сильному доставалась баба, так повелось. Летом переходили с косы на косу, выбивали шурфы, брали лотками пробу. Было золото в пробе — оседали, ставили вашгерты, располагались жить. С золотом возвращались в жизнь обратно. На шитиках, на плотках плыли к человеческой жизни. В человеческой жизни были спирт, тракт, по которому артелями брели неудачники, промывавшие слабые россыпцы; в человеческой жизни стоял кабак Финогенова. Шли за счастьем в тайгу, находили счастье в кабаке, гуляли неделями. В слободе жили веселые девки. Девки пили спирт не хуже мужчин. С девками, со спиртом приходило старательское счастье, за которое зимами вымерзали на льду и заползали на месяцы в шахты.

Человечишка перебежал двор, в кабаке было пусто, час был утренний. Человечишка сказал:

— Брагу давай.

— Лютый?

— Гундит.

Егорка присел, боченок был прочный, дубовый, бражка текла в ковшик. Волосом, пудовостью своей был похож на отца, отец — на деда, на прадеда — дед, финогеновское в роду было крепкое. Человечишка обеими руками взял ковш, побежал назад через двор. Одна ноздря у него была рваная, пепельная борода висела ботвой: могло быть ему сорок, могло — шестьдесят. Человечишка в Олёкме брал золото, старатели шли по Витиму, нашли богатые пески, намывали по фунту. С песнями, с золотом возвращались на землю; на Ленском тракте отбил он у другого старателя бабу, баба была большая, горячая, как жеребец. Из-за бабы дрался он на Жигаловской станции на смерть, вырвал ему старатель ноздрю, все же добрал его он, свалил ударом под сердце. Баба пошла с ним, пела в самую душу, знал Дышло молодость, горячку, удачу. Баба дошла с ним до Качуги, в Качуге опять пили старатели, и в Качуге ночью ушла с его золотом баба. По Лене на паузке везли ссыльных, была осень, баба с золотом сгнула. Он погнался за ней следом в Жигалово, в кармане его был нож, скверную бабу надо было убрать с земли, чтобы не позорила землю. Лена была гиблая, шитик заливало водой, он сидел на корме; на паузке впереди пели ссыльные песню. В Жига-

дово пришли с осенними ливнями, было здесь окаянство осени, скользкий глинистый берег, тоска. В Жигалове бабу он не нашел, погнался по тракту обратно; остаток золота, который не сняла она с его шеи, пропил он в горькую в кабаке. Так пришло счастье и так ушло счастье. Потом искал человек счастье на Ваге, на Жуе, на Большом Харлухтахе, перекинулся на Енисей, знал Мариинскую тайгу, прошел Сибирь, искал с корейцами счастья. От первой удачи памятью осталась ноздря, кличка за длинную руку — Дышло. Финогенов с четырьмя такими же обгрызанными жизнью старателями сбил артель, искал золото. Что находили, оставляли в его кабаке. Месяцами били землю, в неделю спускали добычу.

Финогенов обеими руками взял ковш. Человечишка присел, смотрел, как он пьет; мохнатый кадык ходил, как кулак. Так выпил человек весь ковш. Запущие глазки посмотрели на свет: спал он без просыпу шестнадцать часов. Финогенов в артели был старостой.

— Всё сделали, как я велел? — спросил он погоду. — Золото на Гнилом болоте нашли, понял? След замести надо, место узнают, сейчас налетят... денюжки товарищам нужны. Инженер приедет, шурфы пустит, на-ка работай, — сдавай по казенной цене. Понял?

— Знаю.

— Самородок не мы нашли... заезжие старатели угощали. Смотри, развякает кто, с тебя спрошу, Дышло!

— Свои не развякают, чужие доложат. Не мы одни на Благословенной горе.

— Врешь! — Мохнатый кулак вдруг взлетел, Финогенов стал черен. — Снесу тебе крышку... врешь!

— Не вру.

— Кто такой, говори.

Дышло присел, пепельная его борода вздохнулась. В доме стучали часы. Рыжий кот спрыгнул с окна.

— Андрюшка Рыбак с Шавердою копают... шахту наши видели.

— Убью!

— Убивай. Елань пройдешь на восток, в лесу копают. Старики найдут — не удержат.

Опять домовым вышел кот, пошел по половичку неспеша. Финогенов скинул сапог.

— Пужать вздумал, дьявол! — Кот исчез. — Ты ноздрею слушай, ноздря тебе ближе в душу. Я — староста, мой приказ... гони братву к вечеру, пускай в трактир собираются. — Финогенов налег на стол; опять меха раздувались, как в кузнице. — Как и что обдумаем вечером... на тебя моя надежда. Олёкму не забыл еще? Может, пуще богатство тут, а мы между пальцев пропустим? Старикам год жить, с собой не возьмут... а нам с тобой жизнь жить. На золото баба любая пойдет, простоя тебе не будет... в полгода возьмешь за что всю жизнь терпел.



Пепельная бороденка вдруг закачалась, словно стало раздувать ее ветром. Финогенов расплывался огромно, заслонял собой свет. За золото бились, золото другие — старики — отнимают.

— Все понял? Копачам объясни: мы не возьмем — другие возьмут. А я Егорке скажу, пусть тебе впрок отпускает. Золотишком обзаведешься — отдашь. Мануфактуры надо — бери, Егорка ситцу на рубахи отрежет. А копачам скажи, — виду не подавать, что шахту приметили: мы стариков и так обойдем...

И Дышло ответил вдруг, сивые глазки его смотрели в лицо Финогенову:

— Я, Фрол, Олёмку помню. Черная кровь у меня от нее запекалась. Больше счастья своего не отдам... меня и Жуя водила и в Бодайбо тосковал... скуки мне много было в жизни отпущено.

— Себе горб зашибали, а за казенный полтинник сдавать?.. старики растревожат, придет инженер, под'емного золота не найдут жильное достанут. А жилушка наша, отцовая... кровью по ней проходили. Сто лет для себя искали, а теперь государству?

И так же, тем же двором прошмыгнул человечиска. День был полный, под солнцем проростали отвалы травой. Кузнец в кузнице отбивал кайла, стаями летели искры, как пчелы. Дышло шел. Рваная его ноздря нюхала воздух. Тракт был знакомый — великий путь на Сибирь. Много трактов прошел он за свою жизнь. Так же на Жигалово проходил Ленский тракт, по которому шли старатели с золотом. На Олёмке нашел, в Качуге потерял, на Благословенной горе опять хотят отнять его счастье. — За отвалами на речке Гнилой мыл Иван Рыбин золото. В речугу высыпались пески, бежали с водой по отводу, он задерживал их на колоде; сквозь железное сито песок просыпался с водой. Легкий песок уходил, тяжелое золото оседало на дерне. Труд был древний.

— На гробу счастье ждешь? — сказал Дышло и сел рядом с ним.

Уносилась вода, промывался песок, золотыми крупинками, долями отмерялась добыча старателя. Золотниками отдавал себя земле, золотники получал взамен. Сколько отдавал человек земле, столько же получал он обратно, не более. Дышло сидел над колодой, смотрел на пески.

— Одним по долюшке каплет, две доли в день не намоют, другие фунтами берут.

— Свое счастье каждому.

— Может и тебе перепасть. Вечеру приходи к Финогенову, он объяснит.

Иван Рыбин сел. Длинное лицо его было в поту, худые руки в земле, рубаха на плечах была мокра.

— Ты чего, за кабатчика страждешь? Обернул вокруг пальца старателишек, артель сколотил, старостой себя назначил, орудует ими как хочет.

— За себя стражду... золото отнимают у нас, вот что! Тебе неделю золотник намывать, а жила в земле лежит, в руки просится. Старики по следу пришли. На Благословенной горе шахту бьют, три сажени прошли.

Иван Рыбин встал, по длинному его лицу стекал пот.

— Кто видал?

— Козьма видел, Сыч видел.

Иван Рыбин сказал:

— К нашему золоту не допустим.

— И я говорю.

— Ребят собирай.

— Собираю.

Опять Иван Рыбин присел над колодою. Вода уносилась с песком. Дышло шел дальше. Старатели работали у себя во дворах. Каждый верил—под домом проходит жила. Подкапывали жилища, дома оседали, рушились в шахты. Дышло прошел по тракту семь верст, свернул в сторону. За отвалами начиналось село. Он дошел до отвала, сел на землю, вытер лоб. В отвалах лежали перемытые пустые породы. Деда насыпали отвалы, приходили внуки, разбивали их снова водой, находили золото, которое не досталось дедам. Золото водило людей. Он сидел на отвале, дул ветер, низкие рваные облака бежали, как овцы. За золото надо биться, это он знал. Рукой потянулся он к кварцу, привычно осмотрел его, кварц был пуст, ни одна золотинка не прослоилась в нем. Он отшвырнул камень, хотел обтереть руку, забыл. Человек сидел на отвале, золото дремало в отвале, облака уносились в великолепной нищете своих рубищ. День шел.

*(Продолжение следует)*

---

# Два стихотворения

БОР. ПАСТЕРНАК

## I. ИЗ «БАЛЛАДЫ»

Впустите, мне надо видеть графа.  
О нем есть баллады. Он предупрежден.  
Я помню, как плакала мать, играв их,  
Как вздрагивал дом, обливаясь дождем.

Позднее узнал я о мертвом Шопене.  
Но и до того, уже лет в шесть,  
Открылась мне сила такого сцепленья,  
Что можно подняться и зёмлю унести.

Куда б утекли фонари околотка  
С пролетками и мостовыми, когда б  
Их марево не было, как на колодку,  
Набито на гул колокольных октав?

Но вот их снимали, и, в хлопья облекшись,  
Пускались снова без оглядки дома,  
И плотно захлопнутой нотной обложкой  
Валилась в разгул листопада зима.

Ей недоставало лишь нескольких звеньев  
Чтоб выполнить раму и вырасти в звук,  
И музыкой, — зеркалом исчезновенья  
Шатнуться, выскальзывая из рук.

В колодец ее обалделого взгляда  
Бадьей погружалась печаль и, дойдя  
До дна, подымалась оттуда балладой  
И рушилась былью в обвязке дождя.

Жестоко продрогши и до подбородков  
Закованные в железо и мрак,  
Прыжками, прыжками, коротким галопом  
Летели потоки в глухих киверах.

Их кожаный строй был, как годы, бороздчат,  
Их шум был, как стук на монетном дворе,  
И вмиг запружалась рыдванами площадь:  
Деревья мотались, как дверцы карет.

Насколько терпелось канавам и скатам,  
Покамест чекан принимала руда,  
Удар за ударом, трудясь до упаду,  
Дукаты из слякоти была вода.

Потом начиналась работа граверов,  
И черви, разделав сырье под орех,  
Вгрызались в создание гербом договора,  
За радугой следом ползя по коре.

Но лето ломалось, и всюю машиной  
На август напарывались деревья,  
И в цинковой кипе фальшивых цехинов  
Тонули крушенья шаги и слова.

1915—28

## II. ИЗ НЕОКОНЧЕННОЙ ПОЭМЫ

Я тоже любил, и дыханье  
Бессонницы раннею ранью  
Из парка спускалось в овраг и впотьмах  
Выпархивало на архипелаг  
Полян, утопавших в лохматом тумане,  
В полыни и мяте и перепелах.  
И тут тяжелел обожанья размах,  
Хмелел, как крыло, обожженное дробью,  
И бухался в воздух, и падал в ознобе,  
И располагался росой на полях.

А там и рассвет занимался. До двух  
Несметного неба мигали богатства,  
Но вот петухи начинали пугаться  
Потемок и силились скрыть перепуг,  
Но в глотках рвались холостые фугасы,  
И страх фистулой голосил от потуг,  
И гасли стожары, и, как по заказу,  
С лицом пучеглазого свечегаса  
Показывался на опушке пастух.

Я тоже любил, и она пока еще  
Жива, может статься. Время пройдет,  
И что-то большое, как осень, однажды  
(Не завтра, быть может, так позже когда-нибудь)  
Зажжется над жизнью, как зарево, сжалившись  
Над чащей. Над глупостью луж, изнывающих  
По-жабьи от жажды. Над заячьей дрожью  
Лужаек, с ушами ушитых в рогожу

Листвы прошлогодней. Над шумом, похожим  
На ложный прибой прожитого. Я тоже  
Любил, и я знаю: как мокрые пожни  
От века положены году в подножье,  
Так каждому сердцу кладется любовью  
Знобящая новость миров в изголовье.

Я тоже любил, и она жива еще.  
Все так же, катясь в ту начальную рань,  
Стоят времена, исчезая за краешком  
Мгновенья. Все так же темна эта грань.  
Попрежнему давнее кажется давешним.  
Попрежнему, схлынувши с лиц очевидцев,  
Безумствует быль, притворяясь незнающей,  
Что больше она уж у нас не жилица.  
И мыслимо это? Так, значит, и впрямь  
Всю жизнь удаляется, а не длится  
Любовь — изумленья мгновенная дань?

1916 — 28.

# Белая гибель

Повесть

БОРИС ЛАВРЕНЕВ

1

**С**триистые шелковые ленты хризолитового блеска шелестя качались внизу, и на их сверкающих сгибах вздрагивали опаловые тени высоких, ленивых, круглых облаков. Облака плыли над заливом, над косматыми налобьями скал на восток, навстречу ширящемуся молочно-розовому сиянию рассвета и, наливаясь им, розовели над морем, как теплые девичьи тела на пляже.

Хризолитовые ленты с медленным и тягучим хрустом рвались, разбивались, рассыпались сияющими, живыми хрустальными шариками. Шарик в шаловливую перегонку, кувыркаясь и блестя, катился на сероватую полосу гальки и, тая, гасил на ней.

Ленты валов медленно и валко шли без числа из открытого устья залива, из матовой глубины зыбкого тумана, залегающего над далью, над гудящей широтой океана.

За свежими желто-смолистыми сваями пристани в глубине бухты, лепясь к грузным скатам плато, к вывихнутым корням горных сосен, к темной шерсти хвои, бревенчатыми подслеповатыми троллями спали дома фактории.

Черные узкие оконца мрачно палились на море. В одном только окне крайнего сарая электростанции сонно трепетал бледный сиреневый свет, стираемый утром.

Утро великой тишины просыпалось над заливом неторопливо, торжественно, баюкаемое шуршаньем шелковых лент и детским плачем чаек.

На перемычке последних свай сидел, свесив ноги над водой, парень в брезентовых грубых сапогах и вязаной серой фуфайке. На его брови, белые, лохматые брови северного человека, свисала кисточка шерстяного, зеленого с белым колпака.

Парень рассеянно болтал ногами. Блеклые синие глаза бессмысленно наливались розовым утренним медом. Он мурлыкал простую двухтактную, древнюю, как мир, как лето, как июньское утро, ласковую мелодию деревенской песенки. Парень не ложился спать в эту ночь.

Около полуночи, в зеленом сумраке летней ночи, он поджидал на другой стороне бухты в охотничьем еловом шалаше служанку старшего инженера фактории — Ингвар.

Ингвар была высока ростом, статна, широка в кости. У Ингвар был ярко-кровавый рот и в нем узкие полоски зубов лесного зверька. Она умела высоко и звонко петь, так же высоко и звонко смеялась. От этого смеха у парня стискивало дыхание и начиналась щекотка под коленями. Он два месяца бродил вокруг домика инженера, не находя случая подойти, мучаясь и потяя от желания заговорить с девушкой.

Ему помогла весна. Когда майское солнце прогрело землю и из-под прозрачно-побурелых пластов снега вышли наружу густые рыжие мхи, шуршащие под ногами, он, блуждая вокруг дома инженера, натолкнулся нежданно на узкой тропке на Ингвар. Еще льдистый, но уже волнующий влажными запахами, майский ветер трепал ее цветной платок.

Парень остановился посреди тропинки, опустив руки. Кисти их свинцово отяжелели и загудели от напора крови. Он стоял так, не сводя взгляда, испуганного и пустого, с подходящей Ингвар.

Она подошла вплотную, раскрыла ослепительный рот и засмеялась:

— Сойди с тропинки, — и легко толкнула парня под ребро. Он отлетел в сторону, путаясь сапогами во мху и так же остолбенело смотрел, как она проходила мимо. Пройдя, обернулась и крикнула:

— Как тебя зовут, чертополох?

— Нильс... — завязшим во рту голосом выдавил он.

— Нильс? Я так и думала. Ты самый большой дурак на всем берегу. Ступай сюда, урод, и не хлопай гляделками.

Он подошел, и по мере того как приближался, она смеялась все выше и звонче. Он смотрел на нее, на сильные ноги, открытые взвисьшейся юбкой, на сочную грудь, колебавшую кофту, как волна в заливе колеблет тени облаков, и молчал. Она подбоченилась.

— Ну, чего тебе нужно? Что ты весь мох кругом дома стоптал? Что ты буркалы свои водяные на меня пялишь? А?

Парень вспотел с ног до головы.

— Ты мне по сердцу, Ингвар, — прохрипел он, надеясь, что ветер унесет его дерзкие слова.

Но она покраснела и захохотала:

— По сердцу? Овца, утри слюнки!

Маленькая жесткая рука мазнула его по губам. Он зажмурился, как от ожога и, когда рискнул взглянуть, — Ингвар, хохоча, бежала к дому.

В следующее воскресенье они уже плясали на площади и ходили под руку. Еще через неделю Ингвар впервые пришла в охотничий шалаш. Теперь парень больше не боялся ее. Он привык к яркому рту

и не дрожал уже от смеха Ингвар. Он стал хозяином в игре и роли переменились. В эту ночь он вдосталь насытился смеющимися губами и высокой девичьей грудью, горячей, плещущей в его грудь, как прибор.

Пьяный и усталый он довел Ингвар до тропинки. На прощанье лениво, по-хозяйски обнял. Итти домой не хотелось. Слишком зазывно шелестело море, слишком томно и медлительно проплывали к востоку круглые ленивые июньские облака, слишком раздражающе визжал пронзительный оркестр чаек.

Он свернул к бухте и залез на сваи пристани, чтобы поглядеть еще раз вблизи, — без цели, так, от любовной пресыщенности и безделья, — на большую серую птицу, бесшумно спавшую на легкой зыби бухты.

Птица прилетела в Джерри-Бай с юга три дня назад, и уже третью ночь неподвижно колыхалась на воде. Стройная, ширококрылая, распластавшаяся над водой, она все время притягивала внимание Нильса.

Из разговоров в фактории он знал, что птица должна скоро улететь на север, но час ее отлета был никому неизвестен.

Ее серое тело тонкими лапами металлических труб опиралось на два широких поплавка, и поплавки эти казались Нильсу как-будто издавна знакомыми, старыми друзьями. Вероятно, это происходило оттого, что поплавки были похожи на шерстяной колпак Нильса — зеленые с белыми полосами.

Когда Нильс взобрался на сваи пристани и взглянул на птицу, он впервые за три дня заметил в ней признаки жизни.

Верхний люк в сером узком теле птицы был открыт, и у двух широколопастных крестов, повисших над крыльями, возился человек в синем рабочем комбинэ. Морские глаза Нильса, не потерявшие зоркости от бессонной ночи, по-звериному ясно видели в руках у человека в синем комбинэ блестящие искры инструментов. Нильс смотрел и ждал, что птица заклохчет часто и гулко, как в день своего прилета, и оба креста сольются в стремительные гудящие круги.

Но человек в синем, очевидно, не был склонен доставлять береговому ротозею бесплатное развлечение. Вскоре он исчез в корпусе птицы и больше не появлялся. Птица молчала, покачиваясь. Поплавки плавно ныряли, зарываясь в волну и выскакивая из нее сверкающими от облипавшей их на секунду воды.

Нильс зевая смотрел на птицу, но уходить не хотелось. Какая-то внутренняя сила приковывала его к мокрым и скользким бревнам, сидеть на которых было неудобно и холодно.

Он отвернулся от птицы и лениво оглядел ширь залива. Из устья его, разрывая шаткие клочья тумана, вползал моторный куттер. На черном борту белела мелкая надпись, и Нильс напряг зрение, чтобы разобрать ее. Но куттер был еще далек и обвит туманом. Куттер был чужак, не из Джерри-Бая, случайно забредший за пресной водой или



консервами. Это было ясно — все свои куттера были наперечет и для них не нужно было трудиться читать название. Их можно было узнать по корпусу, по оснастке, по другим признакам.

Подавшись вперед и приставив ладонь ко лбу, Нильс разглядел на корме куттера вертикальные полосы флага: синюю, белую, красную.

«Французская калоша» — подумал он презрительно.

Занятый установлением личности куттера, он не заметил легкого скрипа досок позади себя и обернулся только на говор. По пристани шли люди. Между ними он узнал директора фабрики Гельмсена и инженера — хозяина Ингвар.

Первой мыслью его было, что инженер узнал о любовной игре с Ингвар и пожаловался директору, и вот теперь эти люди идут, чтобы задать ему трепку. Он испуганно вскочил, поскользнувшись на сваях, но сейчас же успокоился. Идущие не обращали на него никакого внимания. Они приближались, отрывисто переговариваясь.

Впереди, окружая директора, шли четверо в меховых одеждах и кожаных круглых шапках, похожих на поплавки невода. Один, небольшого роста, шедший с инженером, смеялся молодым звонким смехом и этот смех почему-то напомнил Нильсу смех Ингвар.

Когда люди подошли вплотную, Нильс увидел, что у смеющегося мальчишески упругие, нежные, покрытые пушком щеки и карие смешливые глаза. Он был очень юн.

Позади первой группы шли низшие служащие фабрики, в том числе механик-монтер Яльмар. Идущие дошли до конца пристани, до того места, где на воде дремала моторная лодка фабрики «Эльга». Яльмар по шаткому трапу сбегал вниз и сбросил холст с мотора.

Один из людей в меховых одеждах остановился совсем рядом с Нильсом и повернулся к нему в профиль. На зеленовато-золотом блеске утреннего света вылепился темный силуэт крупного и тяжелого лица с резким выступом носа, окаймленного глубокими продольными морщинами, сбегаящимися на подбородке. Узкие синеватые губы сжимали мундштук трубки и, поглядев на трубку, на крепкий очерк лица, Нильс вспомнил портреты, не раз виденные в газетах, и вспомнил, что этот человек, которого в его стране и повсюду звали Победителем, должен был лететь на большой серой птице к северу.

Нильс отступил на шаг и быстро стянул колпак. Ветер сбросил ему на лоб белые клоки волос, он нетерпеливо зачесал их назад пятерней.

Он знал, что этого старого высокого человека, с которым здоровается за руку сам король, нужно уважать. Он подобрался и вытянул руки по швам.

Но тот, кого звали Победителем, не смотрел на него. Он повернулся к директору Гельмсену. Сухие губы его разошлись вокруг мундштука лукавым ореолом.

— Отлично, господин Гельмсен, — сказал он чуть глуховатым голосом, — наша хитрость удалась. Ни одного интервьюера, ни одного фотографа.

Директор Гельмсен почтительно и тихо засмеялся.

Внизу запыхтел пущенный Яльмаром мотор. Победитель, прищуривая глаза, посмотрел на солнце. Веки прикрывали его зрачки, как пленка, и Нильс увидел, что эти глаза похожи на глаза мудрой и смелой птицы.

— День будет ясный, — сказал Победитель и, снова обернувшись к директору, спокойно сказал, как-будто исполняя простой обычай вежливости: — До свиданья, господин Гельмсен. Благодарим вас за гостеприимство.

Директор подался вперед, хватая протянутую ладонь, и Нильс увидел на его одуловатом лице, опущенном бородкой, испуг.

— До свиданья. Когда же ждать вас обратно?

Победитель ответил не сразу. Он посмотрел на устье залива, на остатки тумана.

— Никто не может сказать точно. Инструкции у вас есть. Если на третьи сутки вы не увидите нас в бухте, — сообщите в штаб воздушных частей. Но я думаю нет оснований... Только бы не туман...

Он еще раз взглянул на залив, и Нильс вторично увидел его тяжелый и резкий профиль.

Остальные молча стояли за ним. Похрипывало астматическое дыхание директора Гельмсена. Наконец, Победитель обернулся к ожидающим:

— Пора, Эриксен! В лодку!

Великан в меховом костюме поднес руку к кожаному шлему и уверенно пошел по ступенькам трапа. За ним пошли двое других. Победитель еще стоял, пожимая тянущиеся к нему руки. Нильс придвинулся ближе, чтобы не упустить ничего.

Шагнув к трапу, Победитель встретился взглядом с глазами Нильса. В их блеклой глубине он увидел почти детский восторг. Он улыбнулся и, поставив ногу на ступеньку, положил руку на плечо Нильса.

Нильс стоял вытянувшись, прижимая руки к бедрам, по-солдатски.

Победитель похлопал парня по плечу:

— Будь здоров, малый, — сказал он, смеясь, — не унывай, кланяйся своей крале.

«Откуда он знает?» — машинально подумал Нильс, густо покраснев, но, прежде чем успел разжать рот, Победитель уже был в лодке.

Ее нос отвернулся от свай, и за тупо срезанной кормой побежала по зеленоватой глубине кипящая пенная струя по направлению к качающейся на волне серой птице. Лица сидящих в лодке быстро уменьшались и таяли.

Так Нильс Воллан, кавалер и возлюбленный смешливой служанки Ингвар, стал последним, чьи глаза запомнили прощальный взгляд Победителя.

## 2

Серая птица, спавшая три ночи в пустынной бухте Джерри-Бай, приняла в свое продолговатое тело пятерых, чтобы нести их на гудящих крыльях над фиордами, над косматыми налобьями скал, над темной шерстью хвои и дрожащей прозрачной листвой берез на север, в белые пространства.

Пятеро были разными. У каждого по-своему билось в такт металлическому сердцу птицы живое человечье сердце и по-своему работали серые таинственные клеточки человеческого мозга.

И в кровеносных сосудах текла разная кровь.

Тот, что сидел в передней, застекленной, кабине, перед загадочными для обычного человеческого сознания циферблатами, трубками и проводами, положив на обод руля бледные тонкие сухие пальцы неврастеника, — был француз.

Его, под именем лейтенанта Гильоме, знала Франция.

Патриотические парижские буржуа, томные дамы высшего света и пестрые женщины бульваров и кафе дрожали от восторга, развертывая в дни войны в постелях свежие простыни газет, читая о семьдесят пятом боше, сбитом непобедимым королем воздуха, лейтенантом Гильоме.

Парижские фирмы наживались на его имени.

«Ликер Гильоме».

«Сигареты Гильоме».

«Шелковые гарнитуры Гильоме».

«Десертный шоколад Гильоме».

«Плащи Гильоме».

«Идеальные дамские шарики Гильоме».

Все, что носило прославленное, несравненное имя героя Гильоме, имело обеспеченный сбыт. Благодарные фабриканты присылали лейтенанту Гильоме огромные посылки с образцами фабрикатов на фронт.

Дрянные сигареты и скверный шоколад Гильоме раздавал механикам и солдатам аэродрома, и это еще больше увеличивало его популярность в армии и стране. Дамские шелковые комбинезоны и идеальные предохранительные шарики Гильоме, из озорства, разбрасывал с воздуха над немецкими позициями, и газеты, захлебываясь, твердили о неподражаемом остроумии Гильоме, который, как галантный рыцарь, заботится о немецких дамах.

Но Гильоме по ночам мрачно напивался с другими, не менее знаменитыми, летчиками, а утром с тяжелой головой и скукой подымался в отравленный тротиловой и пироксилиновой вонью воздух и привычно гонялся за немецкими авио.

У него была необычайная зоркость, звериное чутье машины, выработанное долгой практикой. Свой одноместный истребитель он знал, как самого себя.

Завидев немца, он, нахмурясь, налегал на рычаги, истребитель, вздрагивая, как живой коршун, бросался за врагом. Начиналось бешеное, смертельное кувырканье в воздухе.

Обе машины, преследуемая и преследующая, танцовали дьявольский воздушный танец, взлетали вверх, рушились вниз, кидались в стороны, пока стремительным маневром лейтенант Гильоме не подбирался снизу под противника на пятьдесят метров.

Тогда, закрепив руль направления, действуя лишь ножными рычагами на рули высоты и элероны, Гильоме неторопливо клал бледные тонкие пальцы на затылок пулемета. Он признавал только русский пулемет Максима, это был его каприз, и для него всегда держали в парке запас лент, с разрывными пулями.

Худое, горбоносое с чахоточными пятнами лицо нагибалось к прорези прицела, большие пальцы нажимали спуск, и в гудящий рев пропеллера врывается хрипящая чечотка пулемета.

Над аппаратом противника вспыхивало розовое облачко взорвавшегося бензина, он окутывался черным хвостатым дымом и, закачавшись, нырял в бездну, проносясь огненным коконом мимо ускользающего истребителя.

Лейтенант Гильоме на прощанье махал ему рукой.

Лейтенант Гильоме не ненавидел немцев. Он не болел патриотической горячкой, он считал войну грязной псиной свалкой и открыто говорил об этом везде и всюду. И, тем не менее, он сбивал немцев везде, где это было можно, и при одном имени Гильоме у лучших немецких летчиков холодели ладони и горло сжимала неприятная спазма.

Лейтенант Гильоме не хотел убивать своих товарищей по ремеслу, которые были по ту сторону фронта и носили немецкие фамилии. И онаясь за немецкими аппаратами и сбивая их, он всегда избегал думать о том, что на сбитом и пылающем аппарате горит живой человек.

И, пробегая в моменты отдыха слюнявые излияния газет о «воздушном Баярде, пламенеющем священной ненавистью к варварам бошам», лейтенант Гильоме рвал газеты, плевался и ругался самыми затейливыми ругательствами.

Ибо он один знал настоящую причину своей неутомимой погони за немцами, причину, в которой не было ни тени патриотизма, ни тени «священной ненависти».

Да, лейтенант Гильоме ненавидел... Ненавидел фронт с его кровью, грязью, насекомыми, вонью экскрементов и трупов, грохотом и бестолковщиной. Лейтенант Гильоме любил только Париж и в Париже он любил только Мадлен де-Монсо

На борту своего истребителя в свободный час он сам — красной лаковой краской «Гильоме», присланной ему с почтительнейшим письмом фабриканта на мягкой шелковой бумаге, которую лейтенант с удовольствием использовал после обеда, — вывел имя «Мадлен».

И разлука с Мадлен и Парижем была самым тягостным для лейтенанта.

В армии существовал негласный приказ, по которому каждый летчик, сбивший немецкий аппарат, получал двадцатичетырехчасовой отпуск в Париж.

И лейтенант Гильоме, ежедневно рискуя своей головой, зарабатывал отпуска, бросался в поезд, неся в Париж, выхватывал Мадлен из ее гнездышка на Rue Saint-Martin, кружил до полночи по кабакам, и остаток ночи, до утреннего поезда на фронт, торопливо и стремительно ласкал Мадлен в спутанном беспорядке шелков и кружев огромной средневековой постели.

С окончанием войны лейтенант Гильоме вышел в отставку и стал неразлучен со своей возлюбленной.

Он был на редкость постоянен для француза и, казалось, мог бы без конца наслаждаться этой любовью.

Надо сказать, что Мадлен стоила постоянства.

Гильоме нашел ее в начале войны, еще будучи сержантом и заканчивая обучение в школе летчиков, в маленьком бистро возле Версаля. Она была там постоянной посетительницей, почти служащей.

У нее была профессия. Она резала маленькими ножничками быстро и точно силуэты посетителей. Но за особую плату, для любителей, она с такой же быстротой и подлинной художественностью вырезала очаровательно непристойные сценки. При этом у нее была внешность скромной, хорошо воспитанной девочки, получившей образование в каком-нибудь кармелитском монастыре.

Вырезав из плотной черной бумаги изощренно эротическую группу, она подавала ее заказчику, смотря на него ясными чистыми, как-будто отражавшими безмятежную голубизну прованского неба глазами, и в них светилось такое невозмутимое целомудрие, что ни один из заказчиков не рисковал состричь по поводу ее работы.

Ученик школы летчиков Гильоме пришел в бистро с компанией приятелей, таких же вольноопределяющихся. Они успели достаточно нагрузиться аперитивами и абсентом, когда вошла Мадлен и скромно села на свое обычное место за столиком в углу.

Приятели указали Гильоме на Мадлен и объяснили ее ремесло. Заинтересованный, он поднялся и, несколько нетвердо шагая, направился к девушке.

Бросив на стол десятифранковую бумажку, он просил вырезать ему историю любви Зевса к Европе и с интересом следил за быстрыми движениями прозрачно-розовых пальцев, действовавших ножничками.

Когда девушка, взглянув ему в глаза безгрешным взглядом серафима, подала свою работу, исполненную с экспрессией и откровенным реализмом, Гильоме, прищурясь, поглядел на силуэт, потом на нее и сказал весело:

— А право, пичужка, гораздо веселей проделывать все это в натуре, чем вырезать такую роскошь для потехи дураков.

Мадлен, не опуская глаз, спокойно спросила:

— Мсье уверен в этом?

Гильоме засмеялся:

— Конечно, малютка! Бросай свою пачкотню и я воспроизведу все это с тобой куда реальней.

Она вздохнула и молчала несколько секунд. Сложила ножницы и бумагу в крошечный портфель и, вздохнув, ответила:

— Хорошо, мсье.

Они провели ночь в загородной гостинице, и на утро Мадлен, полубезумная, с синими тенями под глазами, потянувшись, обняла Гильоме и прошептала мечтательно:

— Мой дорогой, ты прав! Это куда приятнее, чем только вырезать.

В это же утро Гильоме узнал, что она живет у старого скупого отчима, который ей смертельно надоел. Он перевез ее в мансарду, а оттуда, по мере того как росла его военная слава, в пышный маленький особнячок. Они по-настоящему полюбили друг друга, и эта любовь не погасла со временем.

Но после войны, живя счастливым бездельником, Гильоме вдруг томительно затосковал в уютном гнездышке. Он никак не предполагал, что та пьянящая игра со смертью, которую он вел в течение трех лет, может стать настолько привычной и настолько необходимой, что, просыпаясь в дни мира в белой спальне, рядом с теплым, безупречно прекрасным телом Мадлен, он будет скучать по грохоту, дыму, суматохе аэродрома.

Он вставал с постели, открывал окно в сад и жадными, тоскующими глазами смотрел в мирное голубое небо, ласковая тишина которого не нарушалась пчелиным жужжанием летящей неприятельской машины. И, если случайно в такое утро по небу внезапно проносился какой-нибудь почтовый аэроплан, он провожал его, вцепившись пальцами в подоконник, как в руль своего истребителя.

Он попробовал определиться на службу в компанию воздушных рейсов. Его приняли с почтением, почти подобострастным. Имя Гильоме сохраняло еще свое обаяние. Но, вернувшись из второго рейса, он яростно швырнул свое кожаное пальто в угол, и на заботливый вопрос Мадлен зарычал, сжав кулаки:

— Сто тысяч чертей! Тоска! Я летчик, а не кучер фиакра. Возить этих глаженных олухов в цилиндрах и их жирных сук и получать за это монету по таксе? К дьяволу!

Он ушел со службы компании воздушных рейсов, купил себе собственный Дорнье-Валь и кружился на нем по часу в день, снедаемый бездельем и скукой. Его тянуло к настоящей, большой работе летчика, какая была у него в дни войны, такой работе, которая щекотала бы нервы, давала ощущение и несла громкую славу.

Но мирные будни разжиревшей Европы не давали простора романтике.

Имя Гильоме стало понемногу затягиваться серой пленкой забвения, и то время, когда женщины Франции оберегали честь своих мужей шариками Гильоме, стало уже достоянием истории.

Гильоме ринулся в кругосветный перелет, но тут, впервые за его летнюю карьеру, его постигло несчастье. В тридцати километрах от Парижа он имел вынужденный спуск и был привезен домой с вывихнутой рукой и ободранным носом. После этого, в ярости, он продал помятый Дорнье-Валь и сказал Мадлен, что не хочет больше летать в это чертовское время, когда не умеют ценить настоящих летчиков и когда весь воздух загажен антеннами и тому подобной дрянью.

Он сажал рассаду, подстригал клены и купоны облигаций, любил Мадлен и все-таки тосковал.

Но однажды почтальон принес ему большой пакет, запечатанный красной печатью с королевским гербом северного королевства.

В нем он нашел приглашение лететь на спасение застрявшей на 82° северной широты команды экспедиционного судна «Роза Мари».

Полет был рискован, тяжел, но обещал приключения и славу. Главой предприятия был Победитель, человек, слава которого затмевала даже блеск имени Гильоме.

Гильоме показал письмо Мадлен. Мадлен, видевшая его тоску, не только благословила его на полет, но пожелала лететь с ним вместе. Гильоме изумленно взглянул на нее и, отбросив письмо, кинулся целовать ее с таким жаром, что она вспомнила давнюю ночь в загородной гостинице, когда она впервые убедилась, что любить приятнее, чем вырезывать любовь.

Через неделю они выехали на север. Встретясь с Победителем, Гильоме уперся, как вол, заявив, что он летит только с Мадлен, или не летит вовсе. Нежелание Победителя было сломлено спешностью полета и он покорился капризу летчика.

Нежный розовощекий юноша, виденный Нильсом Волланом на пристани в таком же меховом костюме, в каком были все люди, прилетевшие на серой птице, — была Мадлен де-Монсо, верная подруга бывшей славы и гордости Франции, лейтенанта Гильоме, летевшая с ним вместе в полет, который нес Гильоме развлечение, настоящую работу и новую славу, и который был для него лучшим лекарством от медленной и с'едающей сердце тоски фокстротных будней и размеренной жвачки, усыпленных победой рантье.

### 3

Вальтер Штраль родился в Саксонии. В Саксонии, где весной яблони заливаются в одну ночь розовым снегом цвета и где хороши девушки, как поется в старой саксонской песенке.

Но Вальтер Штраль мало обращал внимания на яблоневого цвет и на прекрасных, тугих и багровощеких саксонских девушек. С девяти-

летнего возраста Вальтер Штраль помогал отцу в багровом чаду сельской кузни.

У старого Штраля была добрая, пышная и плодородная, как саксонская почва, жена.

Каждый год она рожала во славу и на пользу расцветающей германской империи. Работы в деревушке было не так много, а ртов в семье было тринадцать и от этого старый Штраль согнулся несколько раньше, чем это следовало бы по жизненным законам.

От этого же Вальтер Штраль был отправлен на четырнадцатом году в Дрезден, к дяде Фрицу, имевшему в предместьи крошечную мастерскую по починке велосипедов и мотоциклов.

У детей старого Штраля не было ничего, кроме головы и рук, и им нужно было знать какое-нибудь ремесло, чтобы путешествовать вокруг жизни.

У дяди Фрица, к великому огорчению Германии, не было своего приплода, дядя Фриц был закоренелый и непатриотичный холостяк.

Пока он был молод, он не отказывался от веселых встреч с маленькими мещаночками или бойкими кельнершами, но с педантичной осторожностью избегал отягощать простые романы сложными результатами. Постарев, дядя Фриц свою любовь перенес на мастерскую.

Он любил дело и был поэтом гаек, винтов, конусов, спиц, шайб, поршней и прочих велосипедных и мотоциклетных таинств.

Задумчивого и рассеянного племянника он приучал к такой же любви и вниманию жестко и настойчиво. После двух лет пребывания у дяди, уши Вальтера значительно выросли от постоянного дерганья.

Это не понравилось Вальтеру и, когда ему исполнилось шестнадцать лет, он ушел из маленькой мастерской дяди Фрица в огромные корпуса фабрики автомобильных и аэропланых моторов, где работать было жутко и трудно, но где не дергали за уши и небрежность грозила только немедленным вылетом на улицу.

Но Вальтер Штраль не вылетел. Его, немножко ленивого, флегматичного и созерцательного юношу, захватил и подчинил властный, гармонический и захватывающий ритм фабрики и он стал одним из ее молчаливых, исполнительных и покорных колесиков. А так как у Вальтера Штраля была хоть и мечтательная, но ясная и понятливая голова, он через год был уже субмехаником конструкторского цеха.

Но, вместе с работой, Вальтера Штраля захватили и социал-демократические идеи. Он стал читать Энгельса и Бебеля, по вечерам заседал в социал-демократическом рабочем фереине, в клубах трубочного дыма, сжимая в руках кружку с текущей по пальцам пышной пивной пеной как некое грозное оружие.

Он ходил на маевки, пел вместе с другими социал-демократические песни, дразнил на улицах столпоподобных шуцманов, попадал иногда в полицейбюро и гордо заявлял там, что он социал-демократ.

Это гражданское мужество не отражалось на его служебной карьере. Империя не преследовала строго социал-демократов, сам



император, пошевеливая прославленными усами перед фотоаппаратами, говорил почти социал-демократические речи и признавался в любви к рабочему классу.

Монархия и социал-демократия мирно шли рука об руку во славу Германии, ибо и та и другая любили родину.

Были, правда, чудачки, которые пытались доказывать невозможность такой дружбы. В их числе был сын старого вождя Вильгельма Либкнехта—Карл. Империя сердилась на Карла и сажала его периодически за решетку.

Вальтер Штраль, как и другие члены ферейна, любил горячего, порывистого и резкого на язык Карльхен, но считал его неисправимым фантазером и, хотя сам был значительно моложе Карла, относился к его выступлениям, как к запальчивым мальчишеским выходкам.

Вальтеру Штралю было уже двадцать лет. Он был субмехаником, на прекрасном счету у герра директора и инженеров, получал приличный оклад, помогал немного старому Штралю и откладывал сбережения на книжку.

Иногда он непрочь был погулять с компанией молодежи и поухаживать за саксонскими девушками, которых он теперь начал замечать. Девушки относились к нему благосклонно: у него были такие приятные шелковистые льняные волосы и большие серые глаза.

Поэтому Вальтер Штраль нередко ссорился с квартирной хозяйкой Фрау Шервуд, когда у него ночевали девушки с влажным и добрым ртом и широкими гостеприимными бедрами. Он уже стал подумывать о том, что пора завести настоящую хозяйку и свой уютный угол, потому что девушки, как ни были они ласковы, приятны и нетребовательны, все же вызывали расходы, в то время как хорошая, честная жена должна была нести в дом прибыль.

Но он не успел присмотреть жену. Настал день, и газеты взбешенным воем заголосили о войне.

Он с горечью простился с Лизхен и отправился на фронт. За полтора долгих года он понял там, что Карлуша Либкнехт был вовсе не таким неисправимым и беспочвенным фантазером. Вальтер Штраль все больше и больше клонился в сторону левой социал-демократии и пораженчества.

Поэтому он испытал почти удовольствие, когда во время одного из разведочных полетов, в который он был взят на борт лётчиком ритмейстером фон-Грауденц, для выверки шалившего мотора, русская пуля перебила провода рулей высоты и «фоккеру» пришлось садиться на русский косогор у болота.

Потомок тевтонских рыцарей фон-Грауденц, выскочив из аппарата, отстреливался от русских сбежавшихся солдат, пока хватило патронов в маузере, после чего солдаты долго и с хрипом били его в спину прикладами за такую неустрашимость до тех пор, пока его не спас русский офицер.

Вальтера же Штраля, принимая во внимание его покорность и вежливый поклон, взяли в плен без инцидентов и отправили в далекий уральский лагерь.

Когда проволочные ограждения лагеря были перерезаны революцией, Вальтер Штраль сделался председателем солдатского совета немецких военнопленных, а затем поступил в Красную армию старшим механиком авиоремонтного поезда.

Но русская революция была неделикатна, свирепа, грязна, по ней ползали насекомые, и социал-демократическая душа Вальтера Штраля, несмотря на симпатии к идеям русских, брезгливо с'еживалась и ехидничала.

Комиссаром поезда был днепровский слесарь Тулупов. Тулупов любил по вечерам приходить в вагон Штраля,—где работал дизель-мотор, дававший энергию поезду, и где от этого всегда было тепло,—чтобы спорить с немцем.

Но споры никогда не удавались. Тулупов любил широко и бестолково, по-русски подымать вопросы мировой справедливости и выкладывать душу; Вальтер Штраль был точен, как ритм мотора, утилитарен, узок и ограничивался короткими ироническими фразами, которые под конец приводили Тулупова в бешенство.

Он плевался, выскакивал из вагона и, ругаясь, грозил, что расстреляет немецкую контру.

Самая крупная стычка между ними произошла однажды под Оренбургом. Поезд медленно громыхал по занесенной бураном белой степи. Тулупов сидел у Штраля и доказывал, что русская революция не только разрушает, но и строит. Вальтер Штраль вежливо, с чуть заметной улыбочкой, кивал головой.

Поезд остановился перед вокзалом у семафора. Тулупов открыл дверь и спрыгнул на землю. Пути вокруг поезда были рыжи, загажены, забросаны об'едками и гнилым сеном. Между путями высились огромные кучи замерзших экскрементов.

На своем плече Тулупов почувствовал руку. Он обернулся. За ним стоял Вальтер Штраль, аккуратный, вежливый, с трубкой в зубах. Он вытянул руку по направлению к замерзшим кучам и спокойно спросил на ломаном языке:

— Вас? Чтой это есть значит?

Тулупов, внезапно ощутив какое-то неприятное смущение, покраснел и резко ответил:

— Сам видишь. Куча г...

Вальтер Штраль без улыбки отрицательно повел головой и произнес со стоическим спокойствием:

— Ниэт... Это есть показательни аусштеллунг... виставок... русски построительств. О, я!.. Эс ист шён!

Тулупов побелел. Пальцы его рванули крышку кобура. Вальтер Штраль увидел в глазах комиссара опасное русское безумие и скрылся

в вагоне, захлопнув дверь на задвижку. Тулупов вырвал наган и, слепой от злобы, выпалил семь раз в красную обшивку теплушки.

После седьмого выстрела из вагона глухо прозвучал спокойный голос Штралья:

— Съем пуля даром на потолок. Я ложил меня на пол.

Тулупов махнул рукой, истерически захохотал и побежал вдоль поезда успокаивать переполошенную охрану.

Вскоре после этого, однако, Штраль покинул поезд и уехал в Германию. Он последовательно разочаровался в патриотизме, социал-демократии и коммунизме. Он стремился скорее добраться до родного Дрездена.

Там, разочарованный во всем, он пошел к прежнему герру директору проситься на фабрику. Герр директор охотно взял Вальтера Штралья на прежнюю работу. В течение пяти лет Вальтер Штраль стал старшим механиком-конструктором.

Он окреп, немного располнел, стал важен и неразговорчив. Он получал крупное содержание и, как покойный дядя Фриц, отдавшись всецело работе, Вальтер Штраль сделался закоренелым мизогиним. Он решил, что в послевоенной Германии брак вовсе не такое выгодное и разумное дело, как прежде.

Он весь ушел в моторы.

И, когда в рискованный и героический северный полет фирме понадобилось послать механика, который мог бы поддержать честь ее мощных моторов, выбор дирекции остановился на Вальтере Штрале.

Он принял предложение дирекции без колебания. Ни энтузиазма, ни сомнения не отразилось на его крепком лице с каменными челюстями.

Ему не было никакого дела ни до цели полета, прекрасной и человеческой цели спасения погибающих людей, ни до спутников по путешествию, ни до последствий этого путешествия.

Он не боялся ни жизни, ни смерти, вернее, не замечал их. Вся жизнь для него заключалась в точнейшей выверке двух моторов гидроплана. Собирая аппарат в путь, он по несколько раз в сутки запускал моторы, прислушиваясь к их реву и гулу, настойчиво ища изощренным слухом малейшие неровности и отклонения в их стремительном сердцебиении.

Он знал, что от работы этих двух стальных организмов зависит честь фирмы, расширение сбыта ее продукции, реклама, рост производства, а вместе с этим и дальнейшее продвижение по службе и повышение оклада. Он входил уже в те годы, когда человек начинает понимать и ценить комфорт и благополучие.

И он думал только о том, чтобы заслужить лестное доверие дирекции и доставить ей выгоды, которые коснутся и его своим отраженным светом. Моторы должны были работать с четкостью солнечной системы, потому что это было нужно фабрике в жестоком мире конкуренции и борьбы за завоевание рынка.

О людях, которые летели вместе с ним, он не думал, и не думал о том, что от безупречности двух механизмов, кроме материальных выгод, зависят также жизни участников полета и его собственная.

Он был честным и верным служакакой прежде всего. Кроме того, он не оставлял на земле никого и ничего, о чем можно было бы жалеть. Если бы фирма пожелала отправить его в междупланетное пространство, он полетел бы, потому что он служил и должен был выполнять служебное предписание. А до того, что находились безумцы, добровольно лезшие в такое предприятие, ему не было дела.

Два последних обитателя обтянутой кожей гондолы, качавшейся на спокойно-опаловой воде бухты Джерри-Бай серой птицы, — были северяне.

Физик и метеоролог доктор Эриксен и другой... Другой, который от завистливой, мелочной и злобной человеческой толпы получил по праву звание Победителя.

Доктор Эриксен был молод, моложе всех спутников, моложе даже Мадлен де-Монсо, которой официально было двадцать четыре года и неофициально тридцать один. Поэтому доктор Эриксен, сознавая все неприличие своих двадцати шести лет, старался в этом испытанном многоопытном обществе держаться скромно и незаметно, насколько это позволял его огромный рост молодого викинга.

Он был единственным, кто не мог выпрямиться во весь рост в компактной каюте гидроплана. При каждой такой попытке его темя ощутительно упиралось в жесткий потолок и он растерянно горбил спину и сутулился.

Доктор Эриксен испытывал глубокое уважение к своим старшим спутникам и рыцарски преклонялся перед Мадлен.

Он, выросший в суровой стране, в старых стенах древнего университета, преданный науке точной и трезвой, заблуждался в самых простых истинах той обыденной жизни, которая текла вне лабораторий и аудиторий.

И участие в полете маленькой, хрупкой женщины с рыжеватыми кудрями и полной обаятельной слабости улыбкой казалось ему сверхчеловеческим героизмом, перед которым должно было стать на колени с обнаженной головой.

Он совершенно неспособен был понять, что Мадлен де-Монсо, как и ее возлюбленный, ринулись в опасное, почти смертельное предприятие только от скуки и томления, повинувшись древним зовам горячей галльской крови, неугомонно бившейся в их телах, толкая на авантюры, на риск, на безумие, ради того только, чтобы эта неугомонная кровь не обратилась в жидкую, укрощенную буднями розоватую водицу, текущую в жилах европейского мещанина.

Поэтому всякий раз, когда в дни, предшествовавшие полету, Мадлен обращалась к доктору с каким-нибудь мимолетным вопросом, доктор краснел, у него пропадал дар слова и ему становилось грустно и нежно-хорошо.

И Мадлен, заметившей это, нравилось поддразнивать этого ребенка-великана и вызывать у него приступы лирической и восхищенной грусти.

И в кабине гидроплана она поместилась рядом с ним на передних креслах, чтобы и во время полета иметь его своим соседом. Ей льстило это детское и чистое обожествление ее грешной жественности.

Доктор Эриксен считал свое участие в экспедиции высокой честью для себя и для своей науки, которой он служил так же верно и самоотверженно, как бортмеханик Вальтер Штраль служил идолу германской технической промышленности. Но в то время, как Штраль помнил и о себе, о выгодах, которые принесет и ему его служение, доктор Эриксен думал только о пользе физики и метеорологии.

Арктика, мрачная Приполярная область, мировой склад вьюг, метелей, циклонов, низких давлений, снегов, инея, магнитных бурь, загадочных течений и холодных вихрей, кладовая насморков, бронхитов, гриппов,—казалась доктору Эриксену враждебным чудовищем, врагом человеческого рода, которое нужно поразить в ахиллесову пяту, в ненанесенную на карту воображаемую точку полюса беспощадным и спасительным копьем науки.

Доктор Эриксен тоже был романтиком. На сером кожаном кресле гидроплана он ощущал себя Георгием Победоносцем, воссевшим на крылатого коня, чтобы стереть главу враждебного науке и человечеству змия.

И, может быть, поэтому он особенно остро ощущал удовольствие, что свидетельницей его возвышенного научного подвига является красивая, молодая и пленительная женщина, от которой пахло нежными и чудесными ароматами, не похожими на запахи химических реактивов в университетской лаборатории.

И доктор Эриксен мечтал, что в полете ему представится случай заслужить благодарный взгляд своей соседки каким-нибудь деянием рыцарской доблести.

Только благодарный взгляд. Не больше. О большем доктор Эриксен не думал, не хотел думать. Он был северянин, скромный и целомудренный, все женщины казались ему неземными существами, к которым страшно прикоснуться.

В маленьком городке на берегу южного фиорда он оставил такое же, слетевшее с горних высот, создание с тяжелыми белокурыми косами и синими, как раствор метиленовой синьки, глазами.

Неземное создание называлось фрекен Анна Демсун и было до корней волос пламенно и безнадежно влюблено в гигантский рост и безмятежно ласковое лицо молодого жреца метеорологии.

Безнадежно потому, что доктор Эриксен не представлял себе, что эти дети неба с длинными косами и певучими голосами могут заражаться такой грешной и неприличной бодезнью, как человеческая страсть и что от одного намека на нее такой чистый ангел, как фрекен

Анна, растает, как восковой херувим над елочной свечей, и без остатка исчезнет в синеве.

И как ни пробовала фрекен Анна деликатно и осторожно, со всей свойственной женщинам севера тихой настойчивостью, дать понять своему обожателю, что она непрочь испытать самое человеческое блаженство в его громадных и сильных руках, — доктор Эриксен не понимал этого и смотрел на нее безмятежно-светлыми, обожающими взорами.

Его счастье было полно и совершенно. Он мог смотреть на свой предмет и этого ему было достаточно. В двадцать шесть лет доктор Эриксен был девственником, и сны у него были безгрешны, как у двухлетнего мальчугана.

Но, вступив в кабину гидроплана, он в тот же миг позабыл о всех женщинах. У его места на стене кабины и на полу медно блесстел хаос физических и метеорологических приборов и они поглотили все его внимание. Неловко поворачиваясь громоздким корпусом в узкой клетушке, он перебирал и пересматривал их, и пальцы его ласкали медь и стекло с нежностью любовника. Он попал в свой, привычный, увлекательный, целесообразностью цифр и формул, прекрасный мир.

Заднее широкое кресло в суживавшемся конце кабины занял Победитель. Он снял шлем авиатора, и на матово-сером фоне спинки кресла казались особенно чисто и нежно белыми его коротко остриженные седые волосы и особенно крупными и выразительными резкие и тяжелые линии головы мыслителя.

Непрестанные годы мысли и непрестанные годы борьбы отложили на этом темном, словно изваянном из старого дерева, лице отчетливые черты решимости, зоркости, широкого ясновидения прямых и трудных путей.

На шестом десятке своей жизни он преодолел все, что было назначено и что хотелось ему преодолеть, и от этого приобрел еще одно выражение — чуть-чуть скучающей уверенности и покоя.

И немного зрелой, глубоко проникающей иронии залегло в складках узких синеватых губ, как-будто губы эти сложились для того, чтобы сказать:

— Вот сделано все, пройдены все пути и достигнуты все пределы. И что же? Мир, не имеющий больше тайн, становится тесен и скучен.

Семья, в которой полвека слишком назад родился сероглазый мальчик, никогда не думала, что ему назначена судьба сорвать остатки покровов с последних тайн земного шара.

В этой семье из столетия в столетие просто родились, вырастали и скромно и верно служили отечеству в банках, таможах, судах простые и мирные люди, вполне удовлетворявшиеся сдвинутыми каменными горизонтами родных фиордов и тихой и честной памятью в сердцах неприхотливых сограждан.

И тот, кому назначено было стать Победителем, на первой трети своей жизни размеренно проделывал путь своих отцов и готовился

стать незаметным провинциальным врачом, чтобы честно врачевать насморки и геморрой у бухгалтеров и катарры кишек у городских лавочниц.

Но в один весенний день его позвало море. Он вышел из пропитанного трупным и формалиновым запахами анатомического театра и пошел подышать свежим запахом на приморском бульваре. Он зашел в уединенную часть бульвара на холм, покрытый серебристой хвоей калифорнийских елей.

Под блеклым майским солнцем дымился и шумел порт, серебряной сельдяной чешуей переливалась вода за молом, четырехмачтовый парусник уходил в Аргентину, на его палубе, как связки спаржи, лежали ободранные сосновые стволы. Оттуда, со сверкающей воды на холм шел крутой, упрямый, соленый и волнующий ветер.

Океанский ветер. Стремительный, непокорный, никем неукротенный ветер голубых зыбей, далеких странствований, неоткрытых далей.

Он щекотал студента мягкими и влажными щупальцами, он кружил голову, пьянил, будоражил, сводил с ума.

И, внезапно побледневший, выронив из рук анатомический атлас Шпальтегольца, студент вытянулся вперед, подставляя грудь ветру, смотря в морскую прозрачную голубизну восторженно распахнутыми глазами. Он в одну секунду утратил рассеянный, часто мигающий взгляд городского жителя, утомленный шрифтами книг и искусственным освещением.

Он приобрел в это мгновение навсегда раскрытый, прямой, небоящийся ветра взгляд морской птицы и, хотя глаза его с непривычки слезились и краснели, он не опускал век и стоял неподвижный, потрясенный нечаянно открывшимся ему смыслом мира.

Потом закачался, закрыл лицо руками и бегом побежал к городу, к улицам, к привычному, знакомому, давнему.

Оброненный атлас Шпальтегольца остался лежать на чисто подметенном гравии площадки.

Через три дня бриг, уходивший в Австралию, вез на борту простым матросом бывшего студента королевского медицинского факультета, и с этого дня пошла по пути тернистому и горькому, но ослепительному, блуждающая комета Победителя.

Тридцать лет дрожали под ногами пьянящей дрожью порыва доски палуб, и мимо бортов, запениваясь, неслись волны всех морей и океанов.

Свинцовая синь Атлантики, густой сапфир Тихого, змеиная зелень Индийского, лиловая густота Средиземного моря, мутные воды Желтого, глубокая чернь Берингова и вороненая рябь приполярных зыбей оставляли соль своих брызг на его лице, пропитывая и дубя заглубевшую кожу.

Покой перестал существовать для него. Его покой стал постоянным движением, и только изредка, в часы болезни на узкой, взлетающей корабельной койке перед закрытыми глазами вставало успо-

каивающее видение—белый домик под черепичной крышей на берегу зеркальной бухты, по песчаному дну которой сияющими стайками бегали золотые рыбки.

Но болезнь уходила, он вставал на ноги, выходил на палубу и там, слушая стремительную симфонию ветра в такелаже, забывал об этом мимолетном и расслабляющем сне, смотря в новые пространства и голубые миражи горизонтов.

В неустанном движении он стремился к незапятнанным человеческой любознательностью уголкам мира, он испытывал материнскую нежность к каждой вынырнувшей из оторочки пены подводной скале, непомеченной на точнейших лотциях британского адмиралтейства.

Он твердо верил, что человечество должно владеть всем земным шаром без изъятия и должно подчинить себе все его загадки, иначе этому человечеству незачем существовать.

Слабое и вырождающееся, исчерпывающее понемногу те запасы природных богатств, которые оно топтало ногами на занятых им территориях, оно было обречено на гибель.

Нужно было открыть и подарить ему новые запасы, новые возможности, взбодрить его дух, толкнуть на новые взрывы борьбы за существование.

И с некоторого времени все его внимание направилось на области, куда еще не ступала человеческая нога. В обоих полушариях за высокими широтами лежали скованные белым молчанием области.

Под грузной, зеленовато-хрустальной тяжестью льдов, под пушистыми напластованиями вечного снега таились земли, мрачные, проледневшие, нагромождения черных базальтов и угрюмых гранитов.

В Арктике они были разорваны, образуя архипелаг таинственных земель, обрывков рухнувшего в водяную пропасть материка.

В Антарктике, за гигантскими обрывами ледяных барьеров, земля вставала угрожающим массивом горных высот, равных Альпам. Она образовывала сказочный материк, недоступный и враждебный. Он сумрачно разлегся вокруг полюса, тая в своих недрах, может быть, неисчерпаемые запасы ископаемых, тепловой и световой энергии, нужной нищающему человечеству.

В нем глубоко под почвой кипела борьба мировых сил, глухо колыша поверхность, обламывая пласты барьеров и вырываясь наружу торжественно-погребальными султанами дыма и пепла из жерл пугающих вулканов Эребуса и Террора.

И снова в течение десяти лет водимые им суда врезались в заколдованные области, и доски палуб дрожали под его ногами уже не от мягких и плавных накатов волны, но от скрипа, треска и грохота сжимавшихся вокруг корпусов прозрачных, бездушных и нещадных льдин, лопались бимсы и переборки, перекашивались шпангоуты.

Захваченное скрипящими и хрустящими челюстями льда, беспомощное судно покорно плыло, подчиняясь незримому течению на горбатой спине ледяного поля. Дни сменялись днями и ночи ночами.



Где-то далеко текла обычная мирная жизнь, шумели улицы городов, облитые голубоватым медом электрических светов, раздвигались занавесы театров, ослепляя павлиньим водоворотом цветных радуг, томительно рушились в душистый сумрак водопады симфоний и фуг, жадно блестели зовущие и отдающиеся глаза. В высоких залах с портретами коронованных особ люди, запаянные спереди и сзади в блестящие консервные коробки мундиров, шамкающими голосами решали судьбы стран. Вспыхивали войны, заключались и разрывались союзы.

А вокруг захваченного льдами судна расстилалась прозрачная, похрустывающая тишина. Кончались запасы провианта. Люди с воспаленными от блеска снегов глазами, с распухшими кровавыми деснами спускались с палубы на лед, шатаясь от слабости, едва держа карабины, прокрадывались к полыньям и часами стерегли круглую, с человеческим добрым взглядом морду тюленя или маленькие, лукавые угольки глаз белого медведя.

Сжигался весь уголь, и по судну звонко стучали топоры, выламывая доски и бревна на топливо. Экипажем овладевало безразличие и смертельная сонливость. Офицеры и матросы не выходили из кают и целыми днями валялись, зарываясь в промозглые меховые мешки, примерзающие к замороженным бортам.

И только он, командир и водитель, каждый день часами стоял на спардэке, вглядываясь в белую сумеречь немигающими глазами вещей птицы, сверхчеловеческим чутьем улавливая в воздухе неощутимые признаки приближения теплых ледоломных ветров.

Они налетали внезапно, в ночь, с влажным гулом и свистом. Сильнее скрипел полураздавленный корпус корабля. Звонкий грохот, скрежет и визг катался по ледяным полям, точно невидимая артиллерия обстреливала их ураганным огнем.

На утро вокруг корабля расседались широкие полыньи, в них черным серебром рябила вода. В топки летели последние койки, настилы мостиков, верхней палубы, и винты, медлительно урча под кормой, бурлили ледяную чернь глубин. Медленно, шаг за шагом, от трещины к трещине, от полыньи к полынье корабль выходил, наконец, в гулкую широту океана, и люди дышали и пьянели размахом простора и свободы.

Так год за годом пробивался Победитель к полюсам. В одно из плаваний, оставив корабль, с пятью спутниками и двадцатью тундровыми собаками, на узких и легких нартах он пошел через ледяные барьеры и черные хребты к недоступной сердцевине Антарктики.

Волей, настойчивостью, упрямством он преодолел ледяную западню и воткнул в маленькую кучку снега, в той точке, где секстан и буссоль показали конец невидимой оси, пронизывающей землю, знамя своей родины.

Вокруг было тихо и пустынно. Жались к нартам исхудалые собаки с выпирающими из-под свалывшейся и примерзшей к бокам

шерсти ребрами. Угрюмо и безразлично стояли усталые спутники, и на один момент Победитель ощутил странную тоску и смущение.

Завеса еще одной тайны упала, разорванная упрямым напором его руки, и—странно!—он не почувствовал ожидаемого удовлетворения. Застывший, колючий от мороза воздух, не колебавшийся над этой омертвелой пустыней, замораживал и мертвил его мечты о будущем человечества, о новой сокровищнице мирового хозяйства.

Во всяком случае, в этот момент он чувствовал только смертельную усталость, разочарование и голод. Он не видел в эту минуту в руках человечества средств к тому, чтобы овладеть этими сокровищами, таящимися под трехсотметровой броней прочного, как сталь, льда.

Он машинально поправил наклонившееся древко знамени и, понутив голову, отдал приказ своим спутникам пускаться в обратный путь.

И в то время, как их силуэты утонули в начавшейся пурге, к той же точке с другой стороны подошел со своими людьми англичанин. Он увидел воткнутое в холмик снега чужое знамя, вцепился в отморозенные лиловые щеки и глухо застонал.

Он шел сюда с другими мыслями и побуждениями, чем Победитель. Он пришел закрепить за Великобританией еще один кусок земли, пустой, ненужный, мертвый и недоступный. Но британская гордость требовала, чтобы все, еще бесхозяйные, места земного шара склонились под корону его величества английского короля, и в британском министерстве уже лежал подписанный приказ о назначении губернатора этой области, где не было ни одной клетки протоплазмы и где не мог найти себе работы ни один полисмен.

И он опоздал. Чужие цвета реяли над центром Антарктики, шелестя тяжелыми складками шелка.

Англичанин так же, как и Победитель, сумрачно повернул обратно. На обратном пути от горя и обиды он умер. Его люди вырубали яму в звонком зеленом льду и положили туда сухое, легкое и ломкое тело.

А Победитель, вернувшись на свой корабль, заперся в каюте и неделю не выходил оттуда. И, когда он впервые появился на мостике, его люди увидели, что на щеках его прорезались две новые глубокие морщины.

Но путь его не был еще кончен. Впереди был еще север. Такая же кучка снега или безволная пропасть воды над воображаемой осью.

В это время гудящие металлические птицы завоевали непокорный и мстительный воздух.

Победитель бросил корабли и ринулся в бой с севером на крыльях.

В первый полет он вынужден был опуститься, не долетев, на плывучую льдину. Моторы, привычные уже к покоренному воздуху средних широт, выдохлись в оледенелом пространстве.

Две недели Победитель со своими спутниками лечили их сжавшиеся от холода сердца, пока вновь побежал бензин по медным артериям и зарокотал взбесившийся пульс цилиндров. Серая птица вернулась назад тогда, когда ее перестали уже ждать.

Тогда, сознав несовершенство аэроплана, Победитель обратился к дирижаблю и достиг своего. На следующий год он пролетел над местом своих последних стремлений. Такая же пустыня расстилалась под прозрачно-серебристым корпусом воздушного корабля.

Снова с бокового мостика гондолы упал северный флаг с заостренным древком. Пронзительно свистнув, он полетел вниз и глубоко воткнулся в снег. И, как прежде, Победитель испытал и сейчас то же чувство разочарования и тоски.

Но в этот раз еще и самая честь похода оспаривалась у него его спутником, новичком в дальних странствованиях. Трескучей рекламой, самовосхвалением, беззастенчивой наглостью он бросил тень на имя Победителя, и стареющий искатель не мог уже протестовать и бороться.

Он по-настоящему устал. Давний мимолетный и расслабляющий сон становился желанной явью. Белый домик под черепичной крышей на берегу тихой бухты гостеприимно открыл ему двери последнего отдыха. Он чувствовал, как обволакивает его мягкими сетями баюкающий покой, и не боролся с охватившим его сладостным безразличием.

Бороться больше было не с чем, открывать больше было нечего.

Мир был изведен и пройден насквозь, бесконечная лента пути, пробежав тысячи миль, привела его к начальной точке. Из круга не было никакого выхода и он примирился с неизбежностью, с необходимостью остановиться и ждать другого конца, под бременем горестной и неудовлетворенной славы. Мирная тина засасывала его, из нее больше некуда был вырваться.

Он с полным равнодушием отнесся к известию, что его спутник в последнем полете и враг, отнявший у него половину последней победы, предпринимает новую экспедицию на корабле в сердце белой тишины.

Усталая кровь не ответила на это известие ускорением биений. Он только старчески мудро и старчески спокойно улыбался. Он знал, что льды не любят легкомысленного молодечества и заранее знал конец этого предприятия.

Но он молчал. Он не хотел ни предостерегать, ни осуждать, ни тем более помогать. Ему были известны законы, скрытые от других, но он угадывал, что его знанию не поверят.

И только, когда пришла короткая, жалко пискнувшая в мировом гуле знаками Морзе весть о катастрофе с «Розой-Мари», с судном его врага, который, презрев законы льдов, захотел совершить то, чего не мог совершить сам Победитель—пробраться в заповедные области

на беспомощной и жалкой скорлупке из дерева и железа, проглоченной без остатка клыками торосов,—Победитель очнулся от усыпляющего покоя.

Иной, не прежний голос искания и странствия позвал его. Другой зов, зов долга и человеческой простой жалости к маленькой кучке людей, умиравшей в ледяных тисках, людей, среди которых находился его враг, человек, отнявший у него радость последнего достижения, властно поднял его, зажег его кровь молодым, бурлящим пожаром, и он бездумно кинулся на этот зов.

\* \* \*

Гильоме обернул в сторону пассажирской кабины нахмуренное лицо со сведенными к переносице бровями и сжатыми губами. За рулем он переставал быть тем беспечным весельчаком, которым был на земле.

Встретясь взглядом с глазами Победителя, он почтительно-сурово улыбнулся. За короткое время знакомства он успел полюбить горячий пепел этих пронизывающих зрачков. И, подняв руку в меховой перчатке, он крикнул отрывисто и резко, птичьим криком:

— Готово!

Победитель медленно и тяжело склонил голову.

Гильоме повернулся к рулю и так же коротко бросил Вальтеру Штралю:

— Контакт...

\* \* \*

Люди, оставшиеся на пристани, директор Гельмсен, служащие фактории и Нильс Воллан увидели, как кресты пропеллеров дрогнули и слились в стремительные гудящие круги. Гидроплан дрогнул, рванулся, почти выпрыгнув из воды; от зеленых с белым поплавков, плеская и шипя, побежала пена.

Он быстро уменьшался, стремясь в своем беге в устье залива, в открытую ширь. Гулкий рев взвихренного пропеллерами воздуха таял и расплывался в мягком натиске ветра.

Еще несколько секунд и аппарат оторвался от синеватой пелены воды, расплался тонкой черной чертой на золотом небе, повернул и, резко взмыв кверху, пошел на север.

По берегу к пристани бежали, задыхаясь, опоздавшие репортеры и фотографы, на ходу развертывая треножки и пытаясь поймать на пленку опустевшее небо. Зыбкая черная точка мелькнула в последний раз и растаяла, как брошенный в кипяток кусочек рафинада.

Нильс Воллан вздохнул и низко надвинул на брови зеленый с белым шерстяной колпак. Его окружили репортеры.

## 5

У полета есть свой необычайный и заманчивый пейзаж.

Гидроплан шел высоко над бухтой Джерри-Бай, все резче забирая на север. Покрытые хвоей острозубые мысы уплывали назад, омываемые голубизной моря. Море казалось огромным стеклом слепительного блеска, и берега были как-будто наклеены на это стекло.

Весь пейзаж был до чрезвычайности похож на лепные макеты местностей, которые можно видеть в военных музеях. Земля, вылепленная из папье-маше, обсыпанная раскрашенным песком, на который наклеены зеленые шерстинки лесов и кусочки старых негативов, замещающие водные пространства.

Земной макет медленно скользил под крыльями машины, уходя в розоватую дымку. Впереди сплошной, ртутно сияющей рябью накатывался океан. Он набегал из-за горизонта, как бесконечная вертикальная стена.

Впрочем, из всех обитателей гондолы земным пейзажем занималась одна Мадлен. Она была в полете только пассажиркой, человеком без обязанностей и это позволяло ей наслаждаться скрывающимися позади теньями земного прочного мира и переливающимся сверканием океана.

Остальные, занятые каждый своим делом, не обращали внимания на то, что оставалось внизу и сзади.

Вальтер Штраль, высунувшись до половины из верхнего люка пассажирской гондолы и подставив плечи упругому натиску пронизываемого воздуха, наблюдал работу моторов в моторной коробке.

Его голова, с откинутым назад меховым капюшоном, медленно склонялась от одного мотора к другому. Он слушал. Он слушал с немного мечтательной выжидающей и одобрительной улыбкой ровный гул цилиндров. Так старый и добрый доктор слушает через стетоскоп биение сердца ребенка, только что перенесшего критическую минуту болезни, и улыбается все удовлетворенней, когда ритм ударов доказывает ему, что опасность миновала и можно обрадовать стоящих у постельки оступелых от ожидания родных одним бодрим кивком головы и прищелкиванием пальцев.

И, оборачиваясь изредка к Гильоме, встречая неподвижный взгляд летчика, Вальтер Штраль бессознательно воспроизводил этот докторский жест. Он кивал головой и прищелкивал пальцами, и по этому знаку Гильоме понимал, что моторы в полном порядке и беспокоиться нечего.

Доктор Эриксен с момента под'ема не отрывался от своих приборов. Он проверил солнечные компасы, они тикали четким звоном, который можно было слышать даже в реве пропеллеров. Успокоившись, он нежно погладил крышку компаса и пустил в ход автоматический гигрометр. Поглядев некоторое время на извилистую линию, которую чертил вделанный в металлическую лапку графитовый штифт-

тик, он достал американский шаровой секстан и в последний раз заперенговал направление по еле видимому в тумане клочку исчезающей земли.

Победитель склонился к картам, разложенным на его коленях и, не разгибая спины, непрерывно делал заметки в своей записной книжке. Он проверял еще раз сверху линии уже пройденных пространств и читал в них, как в загадочной для других и ясной для него книге, сложную повесть мировых путей.

Внезапно он поднял голову. Доктор Эриксен, обернувшись к нему, тронул его колено почтительно, но настойчиво.

Доктор Эриксен показал на стеклянную стенку кабины летчика. Гильоме головой сделал знак, приглашающий Победителя приблизиться. Он встал, отложив карты, и, держась за спинки кресел, — машину бросало в воздушных ямах, — продвинулся вперед к стеклянной перегородке.

Гильоме показал рукой вперед.

Перед носом аэроплана, далеко впереди, но надвигаясь с каждой секундой, висела лохматая, серая шерстяная пелена. Она колыхалась, как повешенное для просушки солдатское одеяло.

Губы Гильоме шевельнулись. Звук слова растаял в реве машины, но по складу губ, по надвигающейся пелене Победитель понял сказанное:

— Туман.

Тяжелые веки прищурились над горячим пеплом зрачков, и морщины у рта дрогнули. Туман. Это было самое худшее, то, чего надо было бояться.

Но уже в следующую секунду он поднял руку, указывая в небо, и Гильоме, сверкнув на мгновение зубами в короткой и деловой усмешке, положил на себя рули высоты.

И в тот же миг гидроплан мягко, как в вату, нырнул в молочно-белую, влажную и душную мглу тумана, Мадлен, вскрикнув, откинулась от окна и тревожно взглянула на возвращающегося на свое место Победителя. Но сухое, темное лицо его было спокойно, он мимоходом положил руку на плечо женщины, и от этого уверенного прикосновения она почувствовала разливающееся по всему телу спокойствие и благодарно улыбнулась ему.

Крутой взлет вверх откинул ее на спинку кресла и она закрыла глаза. Когда она открыла их вновь и взглянула в окно, — солнце заливало румяным блеском серебристое крыло. Мутное, душное серое одеяло качалось внизу, глубоко под ногами, бессильное дотянуться до поплавков гидроплана.

Она посмотрела в сторону доктора Эриксена. Он тоже приткнулся к своему окну, что-то разглядывая внизу.

Обернувшись и поймав ее взгляд, он поманил ее. Мадлен поднялась и, опираясь на его плечо, перегнулась к окну. Ей представилось необычайное зрелище. Внизу, на пелене тумана, отраженный, как

в зеркале, неся другой гидроплан, перевернутый вверх ногами и окруженный сверкающим кольцом радуги. Этого она никогда не видела в прежних своих прозаических и обычных полетах с Гильоме над зелеными полями и рощами Франции. Она замерла у окна, цепляясь за ремень.

Радужное кольцо дрожало, мерцало, светилось, то погасая, то вспыхивая почти нестерпимым для зрения блеском. Она еще ближе подалась к окну. Ее щека очутилась совсем рядом со щекой Эриксона, он чувствовал теплое дуновение пахнувшей духами кожи и сидел неподвижный, зачарованный, залившийся горячим багрянцем.

Покрывало тумана внизу разорвалось.

В свистящей воздушной бездне мелькнуло белое ледяное поле. Его резали во всех направлениях черно-синие линии трещин. Широкие полыньи казались тихими озерами. Лед блестел зеленоватым фосфорическим отблеском.

Но, прежде чем Мадлен успела насмотреться на эту картину, длинные волокна тумана, кружась и завиваясь, закрыли ее. Опять внизу качалась плотная тяжелая муть, и от этого качания у Мадлен томительно закружилась голова.

Она опустилась на свое сиденье.

И в это же время Вальтер Штраль спустился из моторной гондолы вниз и, сгибаясь, влез в кабину летчика. Он нагнулся к самой голове Гильоме и, широко раскрывая рот, закричал ему в самое ухо, указывая вверх.

И Гильоме так же, как Победитель, понял механика скорее по жестам и движению губ, чем по теряющемуся в гуле беззвучному крику.

Вальтер Штраль сообщал, что смазочное масло начинает густеть от холода на высоте и что нужно снижаться в более теплые слои воздуха, иначе два металлических сердца застынут.

Гильоме нахмурился. Внизу был туман. Шерстистый, коварный, липкий, непроглядный. Он тянулся на многие сотни километров в этих мертвых пространствах и уйти от него нельзя было иначе, как держась над ним.

Он не любил тумана, как все летчики. Он чуял в нем смертельного врага.

Аэроплан был подобием птицы, но все же не птицей. Аэроплан не обладал верхним чутьем пространства, высоты и расстояния. Летящая в тумане птица инстинктом чувствовала препятствие на пути. Человек этим чутьем не обладал и это делало его беспомощным и жалким в сырой темноте.

Но Гильоме знал, что спуск, хотя бы и временный, необходим. Рискованный путь наугад, вслепую, был все же лучшим исходом, чем внезапная закупорка труб сгустившимся маслом, взрыв и головокругительное падение с высоты восьмисот метров на острые кромки пакового льда.

И, пропустив сквозь зубы яростное ругательство, он пошел на снижение, буйствуя и протестуя в душе, но бессильный бороться с законом воздуха.

Победитель, ощутив плавное падение, вопросительно посмотрел на балансирующего по проходу Штраля. Штраль, вытянувшись и поднеся руку к капюшону, прокричал ему в ухо, так же, как и пилоту, о случившемся.

Морщинистое лицо потемнело. Победитель сумрачно поглядел в окно, которое опять облипал молочным киселем туман. Но ничего не ответил механику. Он, как и Гильоме, знал волю и закон ледяных пространств.

Он мог бы дать приказ о возвращении. Туман был необорным врагом, и отступление перед ним не было позором.

Но за свою долгую жизнь он научился ненавидеть отступление. Он мог отступать только перед лицом немедленной смерти. Туман был опасностью, но еще не гибелью. И он решил не отступать.

Может быть, он отступил бы прежде, когда он по своей воле и желанию, для себя пробивал пути к тайне. Но теперь он шел в эту мрачную и безысходную пустыню не для себя. В нескольких сотнях километров на льдине стыли три человека без пищи, без помощи, одинокие в белой тишине звящего холода.

И среди этих трех был его враг. И потому он должен был не отступать. Он мог бы отступить перед опасностью, спасая друга. Но для спасения врага должно было презреть все опасности. Так говорил ему внутренний властный голос.

Гидроплан с глухим ревом резал сметанную гущу тумана.

Тонкие, суховатые пальцы неврастеника на ободке руля жили своей особой, напряженной, внимательной жизнью. Они как бы существовали отдельно от летчика. Они с молниеносной быстротой отзывались на каждое вздрагивание, на каждое колебание аппарата.

Они были еще спокойны и автоматически уверены, в то время как в сознание их хозяина стала врываться неуверенность и беспокойство.

Гильоме нервничал. Он не хотел сознаться в этом самому себе. Жуткое ощущение слепоты и беспомощности начинало давить его нервы тяжелым прессом. Ему начинало казаться, что близится неведомая, но неотвратимая опасность. Вокруг него не было ни горизонта, ни ориентировочных предметов.

На расстоянии метра от его глаз металась волокнами непроглядная сырая белизна. Он стал терять ощущение пространства.

Моментами ему казалось, что аэроплан падает, кренится на бок, что высота потолка катастрофически падает, и он круто вздергивал машину кверху.

Он начал чувствовать страшное — он перестал доверять показаниям приборов. Альтиметр показывал среднюю высоту над морем полтора метра, кренометр своей стрелкой успокоительно кри-



чал, что аппарат идет горизонтально, не отклоняясь в колебаниях от нормальных пределов.

Но Гильоме не верил этому благополучию. Ему казалось, что всегда покорная ему алюминиевая птица возмутилась, что в ней проснулся дух дерзкого и смертоносного мятежа, что она стремительно рушится в воздушную бездну, ложась на бок таким креном, выправить который было невозможно.

Он с ужасом ощутил, что у него дрожат руки и сердце бьется с неимоверной быстротой и силой, гудя, как мотор.

Ледяной и липкий пот проступил у него на лбу, под холодной кожей шлема.

Сознание мутилось и изменяло ему, как-будто в душных волокнах тумана, которыми он дышал, был растворен обжигающий и несущий сумасшествие яд.

Он поднял правую руку от руля и, сбросив перчатку, вытер лоб от проступивших капель с таким омерзением, как-будто прикоснулся к холодному и скользкому телу жабы.

И в ту же минуту ощутил, что гидроплан, рухнув в яму, свалился на правый бок.

Инстинктивно, привычным и твердым движением он рванул рычаги управления элеронами, чтобы дать крен налево и выравнять аппарат. В то же время помутневшие и бессознательные зрачки его уперлись в стрелку кренометра. В момент рывка стрелка стояла ровно посередине, показывая безукоризненно правильное горизонтальное положение.

Но он не мог уже исправить ошибки, если бы даже и поверил в этот момент прибору.

Дрогнувшая стрелка бурно кинулась вправо, гидроплан лег на левое крыло, и Гильоме швырнуло на стенку кабины. От толчка ровный и ослепительный свет, как сигнал бедствия, вспыхнул в его мозгу. Он вскрикнул и рванул рычаги элеронов в обратную сторону. Гидроплан дрогнул, но не выправлялся.

Гильоме не видел, как сзади него, выброшенный из кресла доктор Эриксен всей своей тяжестью свалился на Мадлен. Он не видел, как попытался вскочить и тоже свалился на стенку кабины Победитель.

Последним усилием воли он выключил магнето и остановил мотор. Ветер и какая-то гулкая, дикая, безумная музыка свистели у него в ушах, и ему показалось, что эта музыка продолжается необычайно долго. Он не успел удивиться этому. Резкий, разрывающийся треск грянул под его ногами, и новый толчок перебросил его на другую стенку кабины. Тяжестью своего тела он сломал рычаги и оборвал провода.

Зеленые искры замерцали у него под веками. Он услышал вторичный гулко ударивший треск. Из сырой ваты тумана в разбитое стекло козырька кинулась на него какая-то синяя, распухшая, коле-

блущаяся, как желе, морда и захватила его голову мягкими слюнявыми челюстями.

Он не мог дышать, он захлебывался омерзительной холодной слюной и, пронзительно закричав, провалился в эту бездонную пасть.

## 6

Морской заяц, высунувший круглую усатую морду из воды, у края небольшой полыньи, чтобы подышать летним воздухом, поглядеть на молчаливый белый мир и показать себя, был необычайно поражен неслышанным в его жизни гулом высоко в небе, над его мокрой и гладкой головой.

Он знал всякие шумы. Он привык, что во время передвижки льдов или в дни штормов по пространствам катается раздирающий уши грохот и гул ломающихся голубовато-зеленых глыб, от которого лопаются уши даже у привычного ко всему морского зверя.

Он знал также, что когда начинается такая музыка в ледяном царстве, — тюленям, моржам, морским львам и прочей твари нужно нырять поглубже и переждать там окончания буйства, потому что сдвигающиеся льдины могут растереть попавшее между ними неловкое зверье тело так, что не останется и косточек.

Но гул и грохот, творимые льдами, были неправильны, неровны, не имели никакого ритма. А звенящий гул над его головой был ровным, певучим, ритмическим, неслышанным в этих владениях.

И, несмотря на то, что этот гул мог таить в себе неслышанную еще и страшнейшую из всех опасностей, какие приберегала жизнь для молодого морского зайца, — любопытство преодолело в нем все другие побуждения.

Он даже вскарабкался на лед, задрал усы кверху, раскрыл розовый рот и запищал от волнения, помахивая лапами. Гул приближался и рос, от него начинало уже звенеть во всем теле, и заяц осторожно подался опять на самый край полыньи, чтобы иметь под боком спасительную черную глубину.

Но воющий гул оборвался, сменившись внезапным и пугающим молчанием.

Вслед затем сырое облако, тянувшееся надо льдом, разорвалось, и из него, взмахнув крылом, ринулась на застигнутого врасплох зверя громаднейшая страшная птица.

Заяц заверещал и отчаянно метнулся к воде. Он счел себя уже погибшим в клюве чудовища, но, ныряя, успел заметить, что птица с разлету задела крылом за выступ высокого тороса перед полыньей, перевернулась, крыло отлетело в сторону, а сама птица с звонким грохотом рухнула и покатилась по льду вверх лапами.

Уйдя на достаточную глубину, морской заяц успокоился и стал соображать. Он был еще молод, но жизненный опыт уже мог под-

сказать ему, что птица, которая припадении теряет крыло и катится по земле спиной, — это или больная, или мертвая птица.

И, нерешительно пошевелив ластами, он неторопливо поднялся снова на поверхность полыньи.

Первое, что он увидел, — был странный, зеленый с белой полосой предмет, качавшийся совсем рядом с ним на мелкой ряби воды. Предмет был неподвижен и явно мертв. Заяц осторожно подплыл к нему, обнюхал и ткнулся мордой в раскрашенный бок предмета.

Он услышал легкий пустой отзвук, понял, что предмет особого интереса не представляет, и оглянулся по сторонам.

Птица лежала попрежнему задрав лапы. На одной из них боком висел такой же зеленый с белым предмет, какой качался в воде. Заяц выполз на льдину и, снedaемый любопытством, заковылял к ней.

Но не успел он проползти и половину расстояния, как в боку мертвой птицы вдруг открылась узкая дыра и в нее вывалился шевелящийся меховой ком. Заяц перевернулся и настолько быстро, насколько позволяли ему лапы, помчался к воде, рухнул в нее с фонтаном брызг и скрылся, чтобы больше не появляться.

Движущийся меховой ком, странный и невиданный, — это было уже слишком для мирного зверя.

Меховой ком долго копошился на льду, пытаясь подняться. Наконец, он протянулся во всю длину и некоторое время лежал неподвижно.

Но потом опять зашевелился. Гильоме — это был он — заскреб пальцами по льду и простонал. Холодное прикосновение льда к лицу привело его в себя. Он поднял голову, — на льду осталось широкое ярко-розовое пятно в том месте, где к нему прижималась рассеченная щека, оперся на руки и тяжело встал во весь рост.

Голова у него кружилась и звенела набатом. Он сделал несколько шатающихся шагов и облокотился на корпус гидроплана. Он захватил кусок смерзшегося снега и стал сосать его дрожащими белыми губами.

От колючих ожогов снега сознание его понемногу яснело. Он бросил снег, достал из-за пазухи платок и вытер щеку, по которой сползала кровь.

В эту минуту он впервые со всей остротой отдал себе отчет в том, что случилось несчастье, и с ужасом посмотрел в темное пространство за перекошенной и скрюченной ударом дверью гондолы. Он не мог решиться вступить туда, откуда он бессознательно, с инстинктивным упрямством губнущего, сумел выбраться. Ему стало страшно, что там больше нет жизни.

Он вспомнил о людях, которые доверили свою жизнь его опыту и знанию, и снова застонал. И, как бы в ответ на этот стон, из гондолы послышался тихо зовущий его голос, голос Победителя, который он узнал с первого звука.

— Гильоме. Вы живы? Помогите вынести наружу женщину и доктора.

Гильоме рванулся на зов. Слабость и страх мгновенно замолкли в нем. Он знал теперь, что нужно работать, только работать, ничего не говоря и ни о чем не спрашивая. Все тело его болело невыносимо и казалось разломанным на мелкие куски, но он впрыгнул в гондолу с мальчишеской легкостью.

В сумраке опрокинутой и сдавленной кабины он встретил спокойное тление горячего пепла под тяжелыми бровями.

— Я, кажется, совсем цел, — ответил Победитель на вопросительный взгляд пилота. — Легкие ушибы и сотрясение. Она гоже по всей вероятности, не получила тяжелых повреждений, — он указал на тело Мадлен, лежавшее у него на коленях. — Хуже всего с беднягой Эриксом. По поверхностному осмотру у него перелом обеих голеней. Берите вашу подругу, я займусь им.

Гильоме принял на руки легкое тело Мадлен и осторожно выбрался с ним из гондолы на лед. Он положил ее и поспешил на помощь Победителю. Оба с трудом подняли грузного и большого Эриксона — он тоже был без сознания — и опустили его рядом с Мадлен.

Победитель расстегивал сумку с походной аптечкой. Взглянув искоса на Гильоме, наклонившегося над Мадлен и с тревогой смотревшего в побелевшее лицо женщины, он сказал тихо и недоуменно:

— Как же это произошло?

Гильоме выпрямился. Кровь гулко зашумела в нем, он покраснел и опустил голову.

— Не знаю, — ответил он после паузы, — я не могу понять... это в первый раз со мной... Но это было выше меня... я потерял голову в этом проклятом тумане... мне показалось... показалось, что аппарат падает... вы понимаете... я не верил кренометру и я взял крен... Впрочем, это не оправдание, я сознаю свое преступление... я сумею ответить за него, — голос его начал дрожать и рваться.

Победитель шагнул к нему и положил меховую руку на плечо летчика.

— Бросьте,—произнес он властно и в то же время ласково. — Бросьте это навсегда. Преступление? Вздор! Если так, то главный преступник я, потянувший вас за собой в смертельный рейс. Ни слова больше о вине. Никто, никогда не посмеет упрекнуть вас. Возьмите,—дайте вашей подруге понюхать. Потом мы дадим ей глоток рома.

Он подал летчику пузырек нашатырного спирта и сам опустился на колени перед расprostертым навзничь Эриксом.

Гильоме, кусая губы и дрожа от волнения, открыл склянку и поднес ее к лицу Мадлен. Крылья ее носа дрогнули, рот искривился, она всхлинула, вдохнула еще раз. Ресницы с усилием разжались, и Гильоме вздохнул, увидев помутневшие зрачки, так непохожие на ясный и прозрачный взгляд своей подруги.

— Мадлен... Мадлен... моя крошка, — позвал он нерешительно, поддерживая ее голову.

Теплая легкая искорка мелькнула в глубине глаз. Мадлен снова всхлипнула, губы ее сложились страдальческой складкой и Гильоме услышал хриплый шопот:

— Альфред... Что мы? Где? Ты жив, Альфред? Мне больно... мне очень больно. Я хочу домой.

Гильоме с силой отчаяния стиснул ее руку.

— Лежи! Лежи, Мадлен! Спокойно! Не бойся, мы поедем домой. Где у тебя болит? Скажи.

— Все болит, — прошептала она, оседая.

Гильоме быстро ощупал ее руки и ноги. — они были целы. Расстегнув малицу, он исследовал спину и грудную клетку и убедился, что ребра и позвоночник тоже не пострадали. Он опять застегнул ее малицу, встал, пошел к машине, вытащил из гондолы подушку от сиденья и подложил ее под голову Мадлен.

В это время его позвал Победитель:

— Он скоро очнется, — сказал он, указывая на Эриксена, — надо сделать ему лубки. Берите нож, раскалывайте лыжу.

Гильоме взял протянутый нож, вытащил лыжу и принялся за работу. Победитель, стащив с ног Эриксена меховые сапоги и штаны, приторачивал отрезаемые летчиком куски лыжи бинтами. Эриксен, не открывая глаз, стонал.

Наложив лубки, Победитель поднялся.

— Принесите одеяло. Закутайте ему ноги, — приказал он.

Гильоме достал одеяло и оба старательно укутали сломанные голени доктора. Победитель подхватил пошатнувшегося Гильоме.

— Дайте я перевяжу вас, — сказал он, — у вас разорвана вся щека.

Гильоме махнул рукой. Какая-то царапина казалась ему нестоящей внимания на ряду со сломанными ногами доктора Эриксена. Он оглянулся вокруг и вдруг вскрикнул:

— А где же Штраль?

Победитель также недоуменно посмотрел кругом. Обоим стало на мгновение мучительно стыдно, что они могли забыть о механике. Гильоме первый бросился к изломанному корпусу машины и обежал его кругом.

Победитель услышал его странно глухой и подсекающийся крик:

— О, мой боже.. Он здесь... Помогите.

Вальтер Штраль в момент катастрофы подымался в моторную гондолу. Падение застигло его в то мгновение, когда он по грудь втиснулся в узкое пространство между двумя моторами и один из них, сорванный сотрясением с места, придавил всей тяжестью тело механика к другому.

Из гондолы виднелась только нижняя часть корпуса Вальтера Штраля. Ноги его, подогнутые и неподвижные, мертво лежали на фюзеляже.

— Топор, — бросил рывком Победитель бледному Гильоме.

Схватив поданный топор, он стал рубить алюминиевую оболочку гондолы и ее крепления, пока Гильоме отгибал разрубленные листы. Наконец, они увидели сине-черное лицо Штраля, налитое кровью, с выпученными безжизненными шарами белков.

Гильоме содрогнулся и закрылся рукой.

— Мотор!.. Сворачивайте мотор, — прикрикнул на него Победитель, и овладевший собой Гильоме вцепился в выступы мотора. После долгих усилий им удалось свернуть на сторону тяжелую махину металла и высвободить зажатое тело. Оно мешком с'ехало на лед.

— Конец! — сказал Гильоме.

Победитель опустился над Вальтером Штралем с такой же суровой заботой, как и над Эриксоном. Он взял тяжело повисшую кисть механика и нащупал пульс. Гильоме, забывший обо всем, застыл, не двигаясь.

— Пульс есть. Очень слабый. Давайте ром, — услышал он спокойный приказ, приказ вождя, и, невольно поражаясь самообладанию и воле этого старого уставшего человека, выполнил распоряжение.

Победитель разжал зубы Штраля ножом и по капле вливал ром. Тело механика затрепетало, он захлебнулся, и изо рта его вместе с кашлем хлынула тяжелая, густая и черная волна крови на белый олений мех малицы.

— Безнадежен, — произнес Победитель. — Проломана грудная клетка. Он может прожить еще полчаса, час. Может быть, жестоко пробуждать его, но нужно узнать у бедняги, кому он хотел бы послать последний привет. Помогите перенести его к остальным.

Они подняли Вальтера Штраля и понесли его туда, где лежали доктор Эриксен и Мадлен. Когда они огибали корпус гидроплана, они увидели, что одна из оставленных фигур приподнялась и склонилась над друпой.

Доктор Эриксен тяжело и продолжительно стонал. Веки его были попрежнему опущены и на его лбу мягко лежала успокаивающая ладонь Мадлен.

— Он хотел подняться... Он бредил, — сказала она с виноватой улыбкой подходящим. — Я не могла позволить ему встать.

— Мадлен, *ma petite*. Лежи. Тебе тоже нельзя вставать, — заволновался Гильоме.

Но она перебила его:

— Нет, нет, Альфред. Мне уже не больно. У меня только немного головокружение. Я буду помогать вам... — она внезапно заметила струю крови на одежде Штраля, привстала, и ее глазницы налились слезами. — Он умер? — спросила она чуть слышно.

— Нет еще. Но умирает.

Она наклонилась над Штралем и рукавом бесконечно нежным и инстинктивным движением женщины вытерла кровь с губ бортме-

ханика. И, как-будто от ласкового тока этого прикосновения, Вальтер Штраль открыл глаза и странным пустым взглядом уперся в фигуру Победителя.

Губы его разлепились и с хрипом и новой струйкой крови из них выдавились неразборчивые звуки. Двое мужчин и женщина склонились над ним.

Наконец, они с трудом разобрали слова и переглянулись, потрясенные.

Вальтер Штраль, захлебываясь кровью, задыхаясь, просил засвидетельствовать фирме, что катастрофа произошла не по вине моторов, что моторы до последней секунды работали безукоризненно.

Победитель мягко сказал умирающему:

— Не нужно об этом думать. Мы знаем, что моторы тут не причем. Вам нужно отдохнуть.

Вальтер Штраль весь перекосясь жалкой и страшной улыбкой. Он опять заговорил, и хрип его с каждой секундой становился ясней и чище, как часто бывает у умирающих:

— Мне не стоит... отдыхать... Я знаю... мне конец... Я прошу... составить акт для фирмы... Я долго служил... честно... мне не хочется... чтобы герр директор... подумал обо мне плохо... Я прошу вас... господ... Акт.

Гильоме и Победитель переглянулись. Летчик увидел, что у Победителя подергивается судорогой угол рта. Он расстегнул костюм и вынул блокнот.

— Хорошо, дорогой. Успокойтесь. Мы напишем.

Он застрочил карандашом. Гильоме, понурясь, отвернулся. Мадлен, поддерживая тяжелеющую голову Штраля, не отрывалась от ползущей из его рта кровавой струйки, все время вытирая ее рукавом.

Победитель кончил писать и наклонился над механиком:

— Прослушайте..

Штраль, мутнея, прослушал несколько строк, свидетельствующих, что моторы гидроплана до последней минуты работали без отказа и выявили исключительные качества.

— Подпишите, — прохрипел Штраль.

Победитель поставил свою подпись и протянул блокнот Гильоме. Тот подписался в свою очередь.

Вальтер Штраль с усилием приподнял прозрачную руку, испачканную маслом. Победитель, поняв это движение, вложил в эти уже мертвые пальцы карандаш и поставил блокнот.

Собрав последнюю силу, Вальтер Штраль расплзающимися буквами вывел под актом свою фамилию и выронил карандаш.

— Данке шён... — прохрипел он, — гут...

Новая волна крови брызнула сквозь его сжатые зубы. Он рванулся, вытянулся всем телом, забулькал, забил ногами и замер. Мадлен отшатнулась.

Победитель накрыл меховым капюшоном искаженное смертной судорогой лицо.

— Остальным надо жить, — сказал он сурово. — Пусть мадам позаботится о докторе. Нам надо выяснить наши запасы и состояние инструментов. Итти придется долго и трудно.

Они направились к гидроплану. Мадлен шаткой походкой, бледная, подошла к доктору Эриксену. Он уже пришел в себя и опять пытался приподняться.

Мадлен сквозь слезы улыбнулась ему.

— Не шевелитесь... Не шевелитесь, доктор. Вам нужно лежать неподвижно. Вы будете теперь моим большим бэби и должны слушаться меня.

Доктор Эриксен смотрел на нее восторженно, по-детски благоговейно. Он действительно был похож на больного ребенка.

— Что со мной, фру? — спросил он. — Что с моими ногами? Не скрывайте от меня правды. Что вообще случилось? Я ничего не помню. Только первый толчок... Я должен просить у вас прощения, фру, я, наверное, ушиб вас, но я не мог удержаться...

И доктор Эриксен покраснел.

— Мы упали, — ответила Мадлен, пораженная, что этот огромный ребенок с изувеченными ногами может еще извиняться за нечаянный толчок, — упали очень плохо. Я сейчас еще ничего не понимаю. Но мы одни во льду. Машина разбита. Альфред, monsieur, я, мы почти не пострадали. У вас, кажется, сломаны обе ноги... Но это пустяки... вы вылечитесь... Только бедный саксонец умер. Ему раздавило грудь мотором. Но нам нечего бояться, неправда ли? Monsieur такой опытный в северных путешествиях. Он спасет нас всех...

В последних словах Мадлен доктор Эриксен уловил тревогу и скрываемое отчаяние. И, забывая о своей боли, он ответил, насколько мог весело:

— Не беспокойтесь, фру. Через две недели мы будем дома. Все это пустяки. Мне только досадно, что я могу несколько помешать вам со сломанными ногами... Сломаны? Это очень плохо. Но все же никакой опасности нет.

— С вами я ничего не боюсь, — шутливо ответила она, подворачивая его одеяло. Доктор Эриксен, следя за ее движениями, заботливо сказал:

— Наденьте перчатки, фру. В этом климате нельзя оставлять руки непокрытыми...

Он не окончил фразы. Мозжащая боль поднялась от ступней к коленям, поползла по бедрам, животу, ударила под сердце. Он напряг все силы, чтобы не застонать, не испугать небесного ангела, склонившегося над ним, и от боли и напряжения опять потерял сознание.

К ночи Победитель и Гильоме разбили палатку, в которую перенесли бредившего Эриксена. Застывшее тело Вальтера Штраля они



подтащили к полынье, привязав к его ногам кусок станины разбитого мотора, и опустили в воду.

На примусе сварили шоколад, напоили больного.

Уставшая и разбитая Мадлен заснула, заботливо завернутая, как в кокон, в спальный мешок.

Победитель и Гильоме сидели друг против друга перед электрическим фонариком и шопотом разговаривали.

— До земли Франца-Иосифа по-моему около ста километров. Завтра я определяюсь по секстану. Лед плотный и без разрывов. В обычных случаях десять дней пути. Но у нас больной и женщина. Следовательно, две, две с половиной недели. Эриксена придется тащить на санях. С собой возьмем продукты, ружье, складную лодку для переправ через полыньи. Мне очень жаль мадам, ей будет тяжело. Вам не следовало брать ее, но, впрочем, это было ваше желание. А теперь отдыхайте. Я выйду посмотреть на лед.

Победитель встал. При слабом свете фонарика его фигура казалась очень худой и значительно выше, чем днем. Морщины на щеках тоже были глубже и резче. На потолок палатки отбрасывалась ломаная странная тень.

Он закурил трубку и вышел. Гильоме закутался в мешок.

Победитель прошел к погибшему аэроплану. Он постоял возле него и безотчетно погладил продавленный алюминий гондолы.

Отошел от машины и взобрался на верхушку тороса.

Туман рассеялся. Вверху плыли невысокие редкие тучи. Сквозь них иногда проглядывало низкое, медно-желтое, неподвижное полупочное солнце, обведенное опаловым нимбом.

Кругом лежали густые льды, плотные, взгорбленные торосами, белые и душные. Они тихо скрипели, потрескивали, звенели.

Победитель неподвижно стоял на верхушке тороса и смотрел на юг. Он чувствовал свинцовую непреодолимую усталость. И, как прежде, в дни болезни, из белого ледяного молчания наплыл мираж, расслабляющий и лишаящий воли.

Белый домик на берегу тихой бухты и нежный обволакивающий покой уюта и отдыха. Он закрыл глаза и вздохнул. Этот мираж был плохим признаком.

Победитель встряхнул головой, как-будто прогоняя видение, и грузно пошел к палатке.

Ночью Гильоме видел странные сны. Парижские бульвары в опаловом весеннем тумане сияли заревами огней. С пчелиным жужжаньем мелькали вереницы авто, звенела музыка. Веселые люди в светлых одеждах, непохожие на обычных парижан, проходили под сладостным шорохом каштановой листвы. Они были красивы — и мужчины и женщины — невиданной утонченной красотой, смеялись и пели.

Гильоме же летал над ними. Но не в машине. Он летал так, как летают в детских снах. Он висел в воздухе над домами, над кашта-

нами, висел свободно и легко. Ему только стоило слегка разводить руками в воздухе, чтобы передвигаться. Он то опускался вниз, то взлетал вверх и сам радовался весеннему вечеру, сиреневому мерцанию Сены, шуму, музыке.

Внезапно на скамье он увидел пару. Мужчина и женщина сидели обнявшись.

Он спустился совсем низко и повис над их головами. Женщина, вытянувшись, в истоме подставила свои губы возлюбленному, запрокинув голову на спинку скамьи. Гильоме вздрогнул. Он узнал в женщине Мадлен и в мужчине своего товарища по фронту Траверсе.

Он вскрикнул от боли и ревности и ринулся вниз. Мужчина и женщина вскочили и бросились бежать. Гильоме побежал за ними дико крича. Но почва бульвара была необычной. Вместо шероховатого асфальта блестел и звенел под ногами фосфорически сияющий лед.

Мадлен и Траверсе мчались по нему с легкостью птиц. Ноги Гильоме расползались, скользили, он падал. Преследуемые, смеясь, уходили все дальше. Гильоме сделал последнее усилие и покатился на лед. Лед встал наклонно, и Гильоме стремительно полетел по склону. Ветер свистел у него в ушах от быстроты падения. Впереди вставало мрачное алое зарево.

Он попытался ухватиться за кочку, рванулся и проснулся.

Стиснув голову, он дико огляделся и сразу вспомнил все.

Потолок палатки слегка качался над ним от ветра.

Слева лежал и тихо стонал Эриксен. Дальше, в меховом мешке, завернутая с головой, видимо, спала спокойным сном Мадлен.

Париж, бульвары, Траверсе, погоня—все было лишь сном. Из яви в сне было только стремительное падение и лед.

Гильоме вздохнул и сел. Он искал взглядом Победителя, но его не было в палатке. Гильоме выкарабкался из мешка и подошел к Мадлен. Отвернув осторожно край, он увидел разругавшуюся щеку, полуоткрытый рот. Мадлен дышала ровно и здорово, и Гильоме почувствовал облегчение.

Он снова закрыл ее мехом и вышел из палатки. У обломков гидроплана возилась высокая, согнутая фигура Победителя. Завидев Гильоме, он поднялся.

— Уложил сани. Продовольствия на месяц по ограниченной порции. Часть на санях, остальное в этих рюкзаках. Нам с вами придется нести на себе. Мадам мы обременим только аптечкой: для женщины это достаточный груз. Не скрою—нам придется трудно. Рюкзаки и нарта с Эриксеном. Как вы себя чувствуете? Можете итти?

Гильоме покраснел. Это суровое и лаконическое спокойствие и забота о нем, виновнике катастрофы, глубоко задели его.

— Но почему же вы работали один, monsieur? Я бы мог вам помочь.

Победитель улыбнулся, наклоняясь над нартой.

— Теперь я один взрослый в нашей семье. Вы были взрослым в воздухе. Эриксен не в счет, так же как и женщина. Я здоров, и потому только я чувствую себя здесь в своих владениях. Лучше разожгите примус. Нужно завтракать— и в путь.

Гильоме медлил. Оглянувшись на палатку, как бы боясь, чтобы там не услышали, он спросил шопотом:

— Простите, monsieur. Мне нужно знать. Мы... можем пойти?

Победитель молча затягивал ремень. Затянув, он повернулся к летчику.

— Можем ли мы пойти? Не нужно спрашивать... Впрочем, вы имеете право знать. Пойти можем. До земли сто километров... Но... вылетая, мы рассчитывали долететь. Непредвиденность... туман. Мы можем пойти. Но первая непредвиденность—больной... Вторая—состояние льдов, направление дрейфа. Много лет назад Нансена пронесло дрейфом на тысячи километров от места, к которому он стремился. Мы можем пойти... Но, кроме этого,—мы должны пойти. А теперь принимайтесь за завтрак.

Гильоме торопливо пошел к палатке, зажег примус и, набив котелок льдом, поставил его на огонь. Сев рядом на выступ льдины, он устался на бледный, голубоватый шипящий огонек пустыми зрачками.

За этим занятием его застала вышедшая из палатки Мадлен. Она тихо подошла к нему сбоку и по этой вялой позе, по опущенным рукам, по пустому взгляду поняла, что ему тоскливо и смутно. И ей захотелось вдохнуть в него бодрость и жажду бороться за нее и за себя. И она весело окликнула его:

— Альфред!.. Я уже встала... Какая чудесная погода. Какое солнце! Как чудесно блестит лед! Какое забавное приключение, Альфред. Мы теперь пойдем пешком с мешками на спинах, как мусульманские пилигримы ходят в Мекку. О, это будет так весело, неправда ли, Альфред?

Гильоме, хмуро улыбнувшись, посмотрел на нее, потом на ледяные просторы.

Вчерашний губельный туман бесследно исчез. На стальном тяжелом небе грузным, вычищенным колоколом висело косматое, как комета, растянутое солнце.

Белая пустыня искрилась и переливалась металлическими блесками, как парчевое покрывало на катафалке. И Гильоме ответил женщине:

— Да, Мадлен. Мы пойдем, как пилигримы. Мы пойдем к черному камню. Мы напьемся сейчас шоколаду, как дома, в нашей столовой, и пойдем. Ты не уставай, Мадлен. Нельзя устать... Как Эриксен?

Мадлен подошла ближе и облокотилась на плечо Гильоме. Медленно и печально она сказала:

— Эриксен? Он очень плох, Альфред. Он не хочет этого показывать, чтобы не огорчать меня, тебя, monsieur. Но ему так больно. Он

такой большой, ему стыдно болеть. У него дома невеста. Мы отвезем его к ней. Ведь мы довезем его, Альфред? Правда?

Гильоме молчал. От гидроплана подошел Победитель. Он понял, что разговор шел о тяжелом и смутном.

— Не стоит задумываться над будущим,—сказал он, опускаясь на льдину.—Пусть мадам напоит Эриксена, потом мы положим его на нарту.

Мадлен ушла в палатку. Победитель сидел, сгорбив плечи, как большая хищная птица в клетке зверинца, и прихлебывал шоколад. Гильоме с деланно спокойным видом укладывал примус в мешок.

— Не прячьте далеко топор,—проговорил Победитель, видя, что Гильоме намеревается уложить маленький скаутский топор в мешок.— Возьмите за пояс. Мы не только пойдем по этой дороге,—он показал в пространство,—мы сами должны будем делать себе дорогу.

Он встал.

— Подведем нарту к палатке. Его нельзя нести далеко.

Гильоме последовал за ним. Впрягшись в ляжки нарты, они подтащили ее к палатке и осторожно уложили Эриксена. Доктор лежал неподвижно, закусив губу, и смотрел вверх в стальное небо, в какую-то ему одному видную точку.

Победитель взглянул на компас.

— В путь,—обронил он коротко.

Мадлен с испугом шагнула к нему.

— А палатка, monsieur? Мы забыли ее взять.

Гильоме, уже налегший на ляжку, остановился в нерешительности, но Победитель сделал отрицательный жест.

— Нет. Палатка остается. С сегодняшнего дня нам придется забыть об удобствах,—сухо сказал он и, впервые за все время, спутники уловили в его голосе твердость военной команды. Мадлен опустила голову, ей не хотелось, чтобы мужчины увидели слезы.

Но они не смотрели на нее. Они налегли на ляжки. Сухо скрипнул снег и полозья начали чертить по нему однообразную запись пути.

Большое ровное поле лежало до горизонта, унылое и омерзительное своей плоскостью. За ним, уже на самом краю, где лед сливался с небом, над ним искрящейся зубчатой каймой вставали рваные края загромождающих дорогу торосов. Эта кайма ничего не говорила Гильоме, но Победитель знал, чем угрожает изломанный гребень на горизонте.

Это были клыки ледяной пустыни, ее свирепые и бездушные челюсти, которые нужно было выламывать с яростью, с остервенением, до судорог в руках, до изнеможения. Он не в первый раз попадал в страшный зажим этих челюстей, но тогда с ним были испытанные спутники, железные люди, которые могли выломать клыки белой гибели.

Теперь с ним был непривычный человек, стихией которого был воздух, маленькая, испуганная, бодрившаяся женщина и искалеченный обломок.

И тень сомнения ложилась на его морщины. Он шел мерно, налегая на ляжку, цепко ставя ноги в тяжелых сапогах, но взгляд его был угрюм, и пепел зрачков холодел от встречного холода снега.

Безветренная тишина висела синеватой ризой над пространством. Солнце, разбрасывая косые лучи, било в лицо удесятенным отражением блеска. От этого светового пожара слезились глаза и казалось, — перед ними стелется мутный полог из кисеи, скрывающий даль.

Гильоме не мог смотреть на этот свет и шел, как автомат, с опущенными веками, надвинув на брови капюшон. Изредка он на мгновение подымал ресницы, чтобы проверить направление, и опять смежал их, встречая тянущуюся впереди безотрадную равнину.

Рядом с собой он слышал отчетливый и мерный скрип снега. Он знал, что это лыжная палка в руке Победителя с механической точностью заносилась вперед, откачивалась вправо с замахом руки и медленно отходила назад для нового замаха.

Казалось, она качается с чудовищной правильностью, как маятник роковых часов, отсчитывающий бесконечное течение угрожающего времени.

И сухой скрип снега под вонзавшимся наконечником был похож на брюзгливый нудный старческий голос, твердивший без конца:

— Не дойти... не дойти... не дойти...

Гильоме старался не слушать этого нашептывания и думать о чем-нибудь своем. Он боялся оглянуться назад. Он знал, что Мадден идет за санями, придерживаясь за борт привязанной складной лодки.

Он даже слышал на ряду с поскрипыванием палки сухой шорох ее мелких торопливых женских шагов, но не смел взглянуть на нее. Он боялся увидеть боль, отчаяние, осуждение ему.

Утихшее за ночь сознание вины перед спутниками разгоралось теперь в нем с новой мстительной силой. Он сжал челюсти и заскрипел зубами.

Он изо всех сил налег на ляжку и тянул, как трудолюбивый и верный вол тянет крестьянскую телегу на холмах Шампани.

Внезапно ему послышалось веяние теплого ветра и благоуханный запах цветов. В красном мерцании, дрожавшем перед ним, замелькали ветви апельсиновых деревьев с темной глянцевитой листвой. Оранжевые тяжелые плоды клонили ветви к земле. Сквозь сетку зелени сквозила густая, горячая синева моря.

Гильоме сделал еще несколько шагов. Купа зелени надвинулась ближе. Он уже почти входил в нее. Большой апельсин, красно-золотой, теплый, поблескивавший, мягко коснулся его щеки. Он ухватил качавшийся плод и очнулся.

Равнина кончалась. Зубчатая лента торосов вплотную вырастала на пути. Торосы наваливались один на другой, громоздились, закрывали путь.

Липкий пот, такой же, как перед падением гидроплана, выступил у него по телу. Он остановился, зашатался.

Он почувствовал, что кто-то поддерживает его под локоть и, как сквозь сон, услышал встревоженный щебет Мадлен. Она трясла его за плечо:

— Альфред... Альфред... Очнись... Что с тобой? Ты болен? Нет, нет. Мы же должны идти. Нам нужно домой, Альфред.

Сознание медленно возвращалось к нему. Он увидел хмуро участливые складки морщин Победителя, вздрагивающий подбородок Мадлен.

Краска стыда забрызгала пятнами его скулы, он выпрямился.

— Ничего, ничего. У меня закружилась голова от блеска. Это уже прошло. В путь,—почти злобно сказал он.

И в то же самое мгновение он увидел на снях позади себя доктора Эриксена. Доктор приподнялся на локте на жесткой брезентовой постели и глядел на Гильоме. В его запавших орбитах, обведенных темными тенями, мерцал безмолвный вопрос.

Гильоме, побледнев, отвернулся и, подавшись вперед плечом, с решимостью отчаяния двинулся на склон первого тороса.

\* \* \*

По часам пришла ночь, но ночи не было. Солнце, распухшее и пьяное от бессонницы, качалось на горизонте, задевая ледяные выступы, обливая их желтой бешеной кровью.

Победитель сунул за пояс топор, которым он вырубал острые выступы льда на ледяном взгорбье.

— На сегодня довольно,—сказал он глухо,—дорога трудна с непривычки. Мадам тоже устала.

— Нет, нет, *monsieur!* Я могу идти еще много,—торопливо ответила Мадлен, облизывая растрескавшиеся губы,—я могу идти. Нам нужно домой,—повторила она с болезненным упорством.

Лицо ее в темном нимбе мехового капюшона было белым, как снег, расстилавшийся под ногами.

Она ухватилась за сани, как бы стремясь столкнуть их с места, но Победитель с мягкой настойчивостью отвел ее.

— Нельзя, я знаю, сколько можно идти в этих местах. Ночлег!

Гильоме механически опустился на снег, тупо смотря перед собой. Снежная слепота мучила его.

Победитель развязал рюкзак и сварил пеммикан.

— Теперь ложитесь,—приказал он, когда все выпили по чашке густого бульона,—завтра нужно будет подняться раньше. Я думал, мы пройдем больше. Пять километров слишком мало.

Гильоме торопливо закутался в спальный мешок. Мадлен приблизилась к нему.

— Ты нездоров, Альфред? Не нужно,—просительно сказала она,—потерпи, Альфред. Ты же мужчина, ты мой храбрый, неутомимый. Помнишь войну? Помнишь—ты был королем воздуха, как ты

сбивал немцев, как они боялись тебя и как восторгалась тобой Франция?

Гильоме молчал. Тяжелая дремота клонила его в темную пустоту.

Мадлен тихо отошла к своему мешку. Когда она проходила мимо саней, тихий, чуть слышный призыв Эриксона остановил ее.

— Простите, фру,—заговорил доктор, когда она села на край саней,—простите, что я остановил вас. Сколько мы прошли за сегодняшний день?

— Пять километров. Monsieur говорит, что это слишком мало. Но так тяжело идти по этим горам. Я никогда не думала, что это кончится так ужасно. И как ужасно, что вы больны,—грустно сказала она, не замечая, как он вздрогнул от этих слов.

Несколько секунд стояла тишина, грузная, весомая.

Потом Эриксен так же тихо проговорил, смотря в небо:

— Да... я знаю, что я ненужная и губительная обуза.

Мадлен встрепелась и вскочила:

— Ах, ради бога... какая я глупая. Я совсем не то хотела сказать... Нет... Ведь вы не прибавляете никакой тяжести. Сани скользят легко... Не говорите так, а то я заплачу. Мне так жаль вас, я хочу, чтобы вы еще увидели фрекен Анну... Да, да...

— Хорошо, я не буду больше... Спасибо за вашу доброту... Дайте я поцелую вашу руку перед сном. Завтра все пойдет хорошо.

Мадлен, сдерживая слезы, сняла рукавицу, и потомок викингов, доктор Эриксен, почтительно и благоговейно дотронулся до обветрившейся кожи воспаленными губами.

— Теперь прощайте, — произнес он, отпуская ее.

Мадлен, вздохнув, сошла с саней и направилась к мешку. Закутавшись, она еще раз оглянулась на сани. Доктор Эриксен лежал на них, длинный, прямой, вытянувшийся на спине.

На мутно вороненом небе желтел освещенный боковым пламенем солнца его профиль с заострившимся носом и глубоко запавшими орбитами.

Мадлен вздохнула еще раз и набросила мех на голову.

Доктор Эриксен лежал неподвижно и думал.

Он сознавал свою обреченность. Обе ноги изломаны. Ниже колен каша из размозженных костей и порванных мышц. Правда, в этом холоде нет особенной опасности гангрены, кости могут срастись. Пусть неправильно, пусть он навсегда останется калекой. Но у него железное здоровье, он сможет работать и с искалеченными ногами.

Жизнь... Жизнь...

Какое умное и прекрасное слово! Жизнь... работа... университет... лаборатория, белокурое и синеглазое виденье... фрекен Анна... Но фрекен Анна знает его полным сил, спортсменом, лыжником. Эти прекрасные прогулки в январских хрупких снегах... Пологие скаты, по которым со свистом скользят лыжи. Испуганный вскрик женщины,

его твердые руки, подхватывающие ее стан, близко, близко пылающие щеки и смеющийся рот... Нет, больше не будет этого...

И потом... потом этот черный путь через ледяную неизвестность. Их только двое... Победитель и лейтенант Гильоме. Победитель—ста-реющий гигант. Он живет только волей, поддерживающей дряхлеющее тело. Он не может быть неутомим, как прежде... Гильоме?.. О, эти французы. Нежный, легкомысленный, слабосильный народ. Комки нервов... Воспаленный и слабый мозг умирающей Европы! Он тоже не выдержит долго. Что же тогда? Одинокая маленькая женщина с ласковыми глазами, одна в челюстях белой гибели.

Доктор Эриксен беспокожно взглянул в сторону Мадлен.

Да, конечно, он обуза... Он только лишняя и вредная тяжесть на плечах этих людей, которые на пути к жизни должны перешагнуть через смерть. И он может стать причиной того, что смерть раздавит их всех. Нет — этого он не может, не должен допустить.

Эта мысль прожгла его, как раскаленные клещи палача.

Он, доктор Эриксен, собираясь в полет, мечтал о том, что он совершит что-нибудь, что возвысит его в глазах этой женщины, так дружески улыбавшейся ему в кабине гидроплана. Какой-нибудь поступок, доблестью равный подвигам древних викингов.

Доктор Эриксен, нахмутив брови, зашевелился. Он осторожно просунул руку под меховую оболочку и вытащил из грудного кармана теплой замшевой куртки маленький черный револьвер.

Как хорошо, что он понял. Без мертвого веса его большого, беспощадно изломанного тела эти трое легче придут на солнечный берег жизни. Он должен помочь им мертвый, если не может живой.

Бессильным пальцем он с натугой отодвинул щелкнувший предохранитель и, крадучись, поднес дуло к голове.

Острый зеленоватый зрачок огонька тускло мигнул в неживой желтизне полуночного света.

## 8

Доктор Эриксен лежал на глубине полутора метров в вырубленной узкой яме, засыпанный осколками льда.

В головах у него трепался в поземке начинающейся пурги привязанный к лыжной палке квадратный клочок родного флага. Он должен был своим шелестом напоминать спящему родину, зеленые склоны фиордов и все, что было дорого памяти и сердцу.

Желтое ночное солнце исчезло. Над головами рвались, свиваясь и густея, волокна туч. Рывастый бешеный ветер носил шлейфы колющих снежных игл.

Они кружились все гуще и гуще и рушились неистовыми бесшумными белыми водопадами, мгновенно наметая гривистые сугробы.

Нарта ныряла, как гичка в острой зыби, валясь с бока на бок. На месте, вчера занятом доктором Эриксеном, лежала укутанная Мадлен.



Смерть Эриксона сломала ее искусственную бодрость. Ее веки опухли от слез, они грязными потёками расплывались по красной лупящейся коже и замерзали сосульками на малице.

В белесой сумятице Гильоме едва различал рядом с собой смутный силуэт Победителя. Изредка он с тревогой оглядывался назад; ему казалось, что ревущий напор ветра сорвет с нарты Мадлен и она останется позади, не в силах встать и догнать уходящих.

Временами нарта застревала в сыпучей каше. Полозья зарывались по самые нащепы, и натянувшиеся лямки швыряли назад тянущих. Тогда, подволакивая лямку под передний копыл нащепы, оба, хрипя и напрягаясь, выволакивали нос нарты из сугроба, чтобы через несколько шагов опять завязить ее еще глубже.

Наконец, выбившись из сил, они остановились оба сразу, как будто кто-нибудь извне приказал им. Победитель отбросил на секунду капюшон и вытер лоб. Несмотря на вьюгу и леденящий ветер, он был мокр от пота.

— Нельзя. Нужно переждать. К утру стихнет. Все равно мы не можем держать направления и только напрасно выбьемся из сил, — сказал он, присаживаясь на край нарты.

Гильоме сел прямо в снег и опустил голову в колени. Охваченный усталой безнадежностью, он повернулся спиной к ветру, чувствуя наваливающуюся тяжесть душной и непреодолимой дремоты.

Он не знал, сколько времени он просидел так.

Поднявшись, он увидел занесенную снегом до верха нарту и свернувшуюся на ней клубком Мадлен. Она тоже была засыпана снежными волнами.

Она лежала так неподвижно, что у Гильоме мелькнуло тревожное подозрение. Он протянул руку к маленькому отверстию в спальном мешке и радостно ощупал живую теплоту ее шеи.

Она пошевелилась, и верхняя часть ее лица показалась из меха.

— Альфред! Почему мы не идем? — спросила она. — Что случилось?

Он ответил вяло и нехотя:

— Метель... Не видно дороги. Нужно отдохнуть.

И в ту же минуту увидел, что Победителя нет у нарты.

Сумасшедшая мысль рванула его с места. Он, спотыкаясь и проваливаясь в сугробы, обежал вокруг нарты. Никого не было видно. Он приставил ладони ко рту и пронзительно, хрипло закричал.

Ответа не было. Выла и свистела пурга, бросая ему в открытый рот комья снега. Он прижался к нарте, тормоза Мадлен:

— Мадлен!.. Мадлен!.. Мы пропали. Он ушел... ушел один... Он бросил нас. Мы никогда не выберемся из этого ада. Нет... нет... я догоню его... я убью его.

Мадлен с дрожью испуга смотрела на его перекошенный рот, на вылезающие из орбит белки. Гильоме схватил ее за руку, она оттолкнула его.

— Ты трус и лжец, — крикнула она, — ты не мужчина. Я никогда не поверю, что monsieur может оставить женщину на произвол судьбы. Стыдись, Альфред!

Гильоме отшатнулся. Горький трепет стыда потряс его. Он опустился в снег задыхаясь, хрипя. И сейчас же услышал окликающий его из мги глухой голос.

— Я разведывал дорогу, — сказал подошедший Победитель, стряхая снег с малицы, — там за торосами влево огромное ровное поле. Мы переночуем здесь и утром двинемся туда. Будет совсем легко!

Гильоме сидел, не подымая головы. Победитель перевел взгляд с него на Мадлен и понял. Морщины у его рта выступили явственней в жестоко-иронической складке.

— Мы дойдем все трое... или не дойдем, но тоже все трое, — проронил он жестко и укоряюще. — А сейчас надо располагаться.

Гильоме поднялся и, избегая смотреть на Победителя, помог ему перевернуть нарту на бок. Под нартой подрыли снег, и в эту ямку усадили Мадлен, укрывая ее от ветра. Победитель ножом вскрыл консервные банки и протянул одну из них с галетами Мадлен.

— Сегодня ужин à la fourchette. Придется примириться, — сказал он, ласково погладив ее меховой рукав.

Ели молча, машинально. Доев, Мадлен отбросила банку и улеглась. Гильоме тесно прижался к ней. Победитель лег снаружи.

Ветер понемногу слабел, снег валил уже не такими сплошными водопадами. Несколько раз тучи разрывались на мгновение, открывая тяжелую синеву неба.

Спустя некоторое время гулко лопнувший в отдалении звук разбудил Победителя. Он привстал и прислушался. Гул лопнул вторично и покатился над льдами, круглый и значительный. Он был похож на пушечный выстрел.

Победитель поднялся на ноги, прислушиваясь. Но звук не повторялся больше. Победитель устало набил трубку и закурил.

Он знал, что пушечного выстрела не может быть здесь, что это лопается лед, громоздясь и ломаясь от ветра и подводных толчков.

Но все же он отошел от нарты и взобрался на вершину ближайшего тороса, вглядываясь до боли в зрачках в кружащуюся сугемь. Но в десяти шагах все сливалось в томительно дрожащий белесый полог.

Он присел на выступ льдины. Ветер с бешенством разрывал голубые клочки табачного дыма, подымавшегося от трубки.

Победитель устало сидел один со своими мыслями.

Они были грузны и неотвязчивы, как рвущиеся за прохожим яростные деревенские псы. Он не мог отогнать их. Он остался одиноким в этой пустыне.

Он с горечью вспомнил свой поход через ледяные барьеры на противоположном конце земли. Их было тогда тоже пятеро, отпра-

вившихся в смертельный путь. Пятеро, как и теперь, в начале этого пути.

Но это были люди, с которыми он сжился, как с самим собой, в двадцатилетних скитаниях. Они без слов понимали каждое его движение, каждый жест. И они были крепки, как дубовые бимсы брига. Сжав челюсти, они шли напролом, не зная усталости, болезни и уныния.

Теперь из пятерых осталось только трое. И в числе двух, уже погибших, был единственный, кто был ему близок.

Бортмеханик Штраль, Гильоме были знатоки своего дела, люди, владевшие секретами своего ремесла, но они были неопытны и бесполезны в стране белой гибели. Он впервые пожал руки своим спутникам за три дня до отправления в путь. И с ними была еще женщина. Женщина, которую не нужно было брать в рейс, где закадычным соседом была смерть. И он жалел, что согласился на настойчивую просьбу летчика, отказывавшегося лететь без нее.

Он вспомнил старое наивное морское суеверие, что женщина на корабле приносит несчастье. Сколько раз он сам смеялся над этой, детской легендой, но сейчас воспоминание о ней наполнило его смутной и раздражающей тревогой. Он с досадой выколотил пепел из трубки и встал.

Опять тот же приступ тоски и смущения, который он испытал в сердце ледяных пустынь на юге, защекотал его нервы шершавыми щупальцами.

Смутно еще, но с возрастающим недоумением и почти испугом он почувствовал, что его охватывает безраличие. Исход борьбы перестал интересовать его, у него больше не было цели и не было желания побороть, дойти и победить.

Может быть, от налетевшего порыва ветра, а может быть, и от этой странной и пугающей мысли он почувствовал озноб и холод в коленях.

И, с трудом разгибая ноги, осунувшийся и вялый, он прошел к нарте и улегся рядом со спящими спутниками.

\* \* \*

Пурга утихла за ночь так же стремительно, как и разыгралась. По небу скользили ленивые, круглые, пышные, совсем весенние облака.

Они были такие же нежно-розоватые, как те, что плыли над бухтой Джерри-Бай в час отлета.

Так сказала Гильоме Мадлен поутру, перед отправлением в путь.

Потерянная бодрость снова вернулась к ней при свете солнца, при блеске облаков и снегов.

Несколько часов Гильоме и Победитель врубались топорами в лед торосов, пробивая дорогу к замеченному вчера ровному полю.

Торосы, как утесы, стояли на дороге. Люди с остервенением крошили ломкое, звенящее замороженное стекло. Искрошив лед на

несколько метров перед нартой, влегали в лямки, протаскивали нарту через расчищенное пространство, выпрягались опять, чтобы взяться за топоры.

Наконец, нарта вскарабкалась на переволок последнего ледяного увала и, подтолкнутая сзади, мягко с'ехала по откосу на ровный лед.

После минутного отдыха тронулись дальше.

Тянуть по наглаженной пургой плоскости было легко. Гильоме поднял голову и засвистал веселую мелодию.

Уныние и тяжесть покинули его, он снова поверил в свое счастье. Мадлен, смеясь, подталкивала нарту сзади и на все вопросы отвечала, что чувствует себя совсем, как на Rue Saint-Martin.

Победитель легко тянул лямку в трех шагах впереди Гильоме. Он шел, слегка наклоняясь вперед и свесив руки, ровной, размеренной походкой. Он заимствовал ее у полярных тундровых собак, он знал, что не нужно утомлять себя рывками, и Гильоме старался подражать его движениям.

Внезапно у него лопнул ремень, стягивавший пояс меховых штанов. Гильоме остановился и, сбросив с плеч лямку, начал связывать концы ремня.

Победитель продолжал тянуть один, не останавливаясь. Нарта прошла мимо Гильоме, и Мадлен улыбнулась ему разгоряченным лицом.

Он быстро покончил с ремнем и побежал, догоняя ушедших. Он был уже в десяти шагах от нарты, как вдруг фигура Победителя скрылась в облаке взвившегося снега, и он услышал короткий и хриплый вскрик.

Он рванулся вперед и увидел, как нарта, встав вертикально, рухнула в провал. Он едва успел схватить Мадлен и отбросить ее назад, а сам кинулся плашмя на край провала.

В полутора метрах под ним в широкой трещине, прикрытой за ночь легким и зыбким, провалившимся под тяжестью человека снежным мостом, пузырилась черная прозрачная вода.

В ней он увидел смутные тени уходящей в глубину нарты и другую, человечью. Она судорожно металась. Гильоме понял эти движения. Человек, увлекаемый тяжестью груза, пытался сбросить с себя петлю лямки.

Два-три раза мелькнула в неверном зеркале воды эта бьющаяся тень, всплыли на поверхность крупные пузыри, и вода легла мертвым и недвижимым слоем.

Гильоме вцепился в закраину льда и, не чувствуя боли от ломающихся ногтей, закаменев, смотрел в черную глубину.

Минута—и он вскочил, как-будто отброшенный от трещины.

Мадлен стояла на коленях, расставив руки жестом слепой.

Глаза ее были иступленны, страшны, и в открытом, как для крика, рту пузырилась, сбегая по губе, пена.

Ничто больше не связывало этих двух людей, бессильно и вяло карабкающихся по неровному льду.

Они забыли все. Они забыли свое прошлое и настоящее.

У них не было ни мыслей, ни слов—одни автоматические движения, не подчиненные ни воле ни разуму.

Они сами не сознавали себя людьми. Они шли бессознательно, у них не было ни цели, ни направления.

Их след на снегу лежал большой круглой петлей, и они ходили по этой петле, как лошади на корде, все суживая и суживая ее.

Им некуда было идти. Они не знали дороги, они не могли отдать себе отчета, где север и где юг. Им незачем было идти и истощать последние силы в бессмысленном кружении, потому что у них не было еды, нечем было поддержать угасающее тление жизни.

Но они с упрямством маньяков тащились, вытаскивая из снега разбитые ноги. Их глаза оступело и мрачно смотрели вперед, застывшие, замерзшие, выкаченные и, встречаясь изредка взглядами, они поспешно отворачивались, пугаясь зеленых огней волчьей злобы и ненависти, вспыхивавших во встречных зрачках.

Так же бессознательно они держались на некотором расстоянии друг от друга, боясь сближаться вплотную, точно чувствуя, что прикосновение тела к телу может превратить их в зверей.

Им некуда было идти. Огромная полынья, перерезавшая им путь, тянулась без края в обе стороны. Противоположный берег ее был чуть виден на горизонте фосфоресцирующей голубоватой полоской.

На низких серых тучах вдали дрожал темный вороненый отблеск. Там, за льдами, было свободное море, темный отблеск молчаливым языком примет говорил об этом. Но они не знали этого языка, а если бы и знали—это не помогло бы им.

Изредка передняя фигура, спотыкаясь, падала на колени и затем валилась ничком, вытянув руки, и сейчас же ложилась в снег и задняя, как бы подстерегая ее движения.

И как только первая подымалась, за ней тенью вставала вторая, начиная опять трагический круг. Два дня и две ночи продолжалась эта смертельная игра, когда, наконец, первая круто повернулась и пошла, рыча и захлебываясь, на преследующую.

В первой тени никто из знавших не узнал бы бывшего короля воздуха, лейтенанта Гильоме. Черная щетина проросла сквозь его облупившуюся кожу. Кожа отлипала пластами и висела со щек, как слезающая чешуя змеи, делая и без того искаженное лицо фантастической маской пятнистой чумы. Полопавшиеся губы кровоточили, и челюсть по-звериному выдвинулась вперед.

Он шел шатаясь и по-волчьи лязгал зубами, ощерившийся, дикий, вытягивая вперед хватающие воздух руки.

Вторая фигура остановилась, вздрогнула, жалко по-собачьи завещала и, осунувшись на колени, смотрела на подходящего Гильоме, тоже оскалив мелкие белые зубы. Лицо ее было также искажено и изломано зверьим преображением.

Не дойдя нескольких шагов до нее, Гильоме опустил на снег и пополз на четвереньках, пригибаясь и задирая кверху голову.

Мадлен шарила левой рукой по снегу. Осколок льда попал ей под рукавицу, она ухватила его и с визгом бросила в подползающего противника. Осколок слабо взлетел и пролетел мимо, и в ту же минуту бросок навалившегося тела опрокинул ее навзничь. Руки, цепкие, как когти, зашарили у ее горла.

Тогда неистовый страх воскресил в ней человеечье и воющим голосом она закричала высоко и звонко:

— Альфред!.. Альфред!.. Опомнись!..

Руки упали с ее шеи. Человек лежал вниз лицом, скреб снег пальцами, оставляя на нем капли крови, и глухо рыдал.

Она наклонилась над ним, она быстро и нежно гладила его меховую одежду, неразборчиво бормоча смутные, давно забытые ласковые уменьшительные имена, всплывшие в проясненном болью сознании.

Она старалась поднять его отяжелевшую измученную голову. Сама изнамогающая, теряя остатки сил, она думала о нем, и ей хотелось только облегчить его тяжесть.

Но он упрямо упирался в снег и мычал.

Потом он дернулся, вскочил на ноги и, заплетаясь, побежал от нее.

У нее не было силы подняться вслед за ним, она только со стоном протягивала вслед падающие руки.

Гильоме отбежал недалеко и опять упал. Приподнявшись, он стиснул виски и, качаясь взад и вперед, ошеломленный и раздавленный, пусто смотрел перед собой.

Взгорбья льдин, снега, горизонт шатались и кружились в беспорядочной пляске. Все было смутно, неверно и томительно бело. В этой белизне глаза искали какого-нибудь цветного пятнышка, за которое можно было бы зацепиться, чтоб остановить кружение серебряно-белой карусели.

И вдруг ему показалось, что за торосом, шагах в сорока, выплыли из белеси три крошечных черных точки. Он отнял пальцы от висков и потер веки. Точки не исчезали. Он приподнялся. Точки зашевелились.

Он еще раз протер глаза. Кисея, застилавшая зрение, прояснилась, и он увидел на вершине тороса желтовато-белый силуэт медведя.

Медведь стоял и нюхал воздух, вытягивая длинную злую морду.

Гильоме, не сводя с него глаз, тихо поднимался, опираясь на руки, и, наконец, встал во весь рост. Медведь попрежнему стоял не двигаясь.

Он понимал положение. Он видел, что перед ним только двое, и эти двое в таком состоянии, что не могут сопротивляться. Он стоял и ждал, когда они упадут, чтобы больше не встать.

Медведь был здоров и сыт. Он не торопился, он мог ждать долго.

Гильоме оглянулся на Мадлен. Она лежала неподвижно. Тогда, тихо пятясь от медведя, он начал подползать к ней. Ему нужно было в эту минуту ощущать близость другого, человеческого, хотя и бес- сильного тела.

И по мере того, как он отходил, медведь осторожно и бесшумно спускался за ним с тороса на гладкий лед.

Доползши до Мадлен, Гильоме затормошил ее.

Дикий и всклокоченный, он тряс ее за плечо и выбрасывал хри- лым шопотом рвущиеся слова:

— Мадлен!.. Мадлен!.. Там... там... видишь, белый... Он пришел за нами... Но я убью его... У нас будет мясо... Мы будем жить, Мадлен... Жить.

Она трудно повернулась на бок и мутно смотрела на три черных точки—нос и глаза медведя. Потом, как-будто поняв, забормотала в свою очередь:

— Да, да... Альфред... Убей его... Мы должны жить.

И словно в ее словах был ток, толкающий вперед, пробудивший память о прошлом, Гильоме, качнувшись, встал и, как бык, грузно пошел на медведя.

Медведь со спокойным любопытством наблюдал его приближение.

Человек качался и шел, весь растопырясь и оскалясь, как-будто уже рвал клыками врага. Но медведь знал свою силу и ждал.

Когда человек был в десяти шагах, медведь глухо заурчал и приподнялся на задних лапах.

Они стояли друг против друга, выжидающие, напряженные, оба готовые к броску. Но человек остановился и вспомнил. Гибельное мгновение окончательно разбудило его память. Он сбросил перчатку и, сунув руку в карман малицы, вытащил большой кольт.

Медведь с любопытством смотрел, как человек взмахнул какой-то плоской черной штукой, повернулся к нему боком и положил эту штуку на дрожащий сгиб левого локтя.

Он не успел рассмотреть этой занятой штуки и от злости зама- хал лапами и заревел. Но его рев сорвался в двух всплесках грохота, и медведь почувствовал, как жгучие и зазубренные иглы прорвали в двух местах его шкуру и железная боль ударила ему в позвоночник.

Он рывкнул и, сев на все четыре лапы, бросился прочь.

Но железная боль расходилась по всему телу и, пробежав косою пробежкой пространство, отделявшее его от полыньи, он подогнул ла- пы и опрокинулся на спину, катаясь и взметая когтями облака пороши.

Потом перевернулся на бок и вытянулся.

Гильоме, вопя, подбегал к распластанному медвежьему телу.

В пяти шагах он остановился и в третий раз поднял кольт.

Новый укол иглы рванул медвежье тело и пробудил медведя от смертельного бессилия. Собрав всю уходящую силу, он вскочил, сделал огромный прыжок на край льда, перевернулся и, подняв тучу брызг, рухнул в воду.

Сделав два последних слабых взмаха парализованными болью лапами, он пошел под лед, уносимый течением. Умирая, он помнил одно, что нельзя отдаваться даже мертвым в руки человека.

Гильоме стал на краю полыньи и бессмысленно смотрел на пляшущие по взмятенной падением зверя воде кусочки льда.

Его рот искривился уродливой гримасой. Он вскрикнул и бросил кольт в воду вслед за медведем бессознательным, произвольным движением.

Уронивши руки вдоль бедер, сгибая колени, он поплелся назад, к Мадлен.

Она смотрела на подходящего с вопросительной жалкой улыбкой. Гильоме содрогнулся.

— Я убил... да, я убил его... Ты не веришь? Клянусь тебе, я убил его... Но он упал в воду... Он утонул, проклятый зверь... Он ушел.

Мадлен упала.

Гильоме растерянно постоял около нее. Лицо его распустилось, обмякло. Он сломался пополам и лег, уронив голову на ее бедро.

\* \* \*

Гильоме, трясась, отбросил капюшон. На ресницах Мадлен звездами стыл иней. Он стыл и на полуоткрытых губах и на полоске мелких зубов. Гильоме попытался поднять ее руку.

Она не сгибалась. Он всей тяжестью налег на ее локоть. Скрипуче хрустнув, рука сложилась.

Звук этого хруста прошел морозом по спине Гильоме. Он сел и замер, смотря на сине-белые щеки Мадлен. Но это зрелище было невыносимо, и он упал опять рядом с ней.

Он изо всей силы дышал на эти каменно-твердые, щеки, пытаясь согреть их. Но они оставались такими же твердыми, ледяными, безжизненными.

Он смирился и затих.

Он пролежал несколько часов, сколько—он не знал. Время утратило для него смысл.

Железная скребница раздирала его внутренности. Голова кружилась. Он испытывал одно желание: есть, есть, есть.

Он беспомощно и загнанно огляделся.

Из туч, влачившихся над его головой, сыпался, все усиливаясь, снег. Опять начиналась пурга. Белые вихри неслись ему в лицо от полыньи.

Он всмотрелся в эту мглу и попятился, чувствуя, как встают под капюшоном волосы на голове. Из сугеми метели на него наплывала огромная, блестяще-белая, медленно колыхающаяся масса.

Она была бесформенна и громадна. У нее была широкая, застывшая неподвижно, студенистая морда, похожая на ту, которая уже при-



виделась ему однажды, в момент обморока, вызванного падением гидроплана.

В ее жадно разверзнутой пасти синели выщербленные ледяные клыки, и с ледяной, жестокой, замораживающей тупостью смотрели круглые совиные, зеленоватые глаза.

Она наваливалась, растопыривая лапы, безжалостная, неизбежная, и спасения от нее не было. Вспышкой угасающего сознания Гильоме понял, что это подходит к нему белая снеговая гибель и, отталкиваясь от нее руками, он прыгнул в черную рябь воды, где она не могла догнать его.

## 10

Легнее утро расцветало над Джерри-Баем, над бухтой, над косматыми налобьями скал.

Дверца заднего крыльца домика старшего инженера фактории отворилась с тихим скрипением, и из нее боком вылез Нильс Воллан.

Теперь он уже не боялся инженера. Он был помолвлен с Ингвар и приходил к ней на правах жениха.

Он стоял на крыльце, подставляя голову теплomu, ласкающему ветру, и тихо улыбался удовлетворенной и осиянной улыбкой. Ночью, среди поцелуев, Ингвар призналась ему, что она тяжела от него.

Он улыбался и думал о том, что у него будет хороший, толстенький, розовый мальчишка, который будет ковылять за ним, топя перевязанными ниточкой у запястий ногами.

Он уже думал о том, как он назовет его, и не мог придумать хорошего имени.

Резкий мелодический крик прозвенел над его головой. Он поглядел вверх. По прозрачному небу раздвинутым, сверкающим белизной циркулем летела стая диких гусей. Они тянули на север и, проследив их величавый лет, Нильс Воллан вспомнил о человеке, в глаза которого он заглянул на пристани в час отлета на север серой металлической птицы.

Он знал, что улетевшие не вернуться. Об этом уже говорили в поселке, и директор Гельмсен провел несколько бессонных ночей на берегу, вглядываясь во влажную и пустую морскую даль и в равнодушное небо.

Нильс Воллан сошел со ступенек и набил трубку. Закурив, он закрыл глаза и припомнил суровый и тяжелый профиль того, кто похлопал его по плечу на ступеньках трапа.

И, тряхнув головой, он сказал сам себе:

— Что же, он был настоящий старик... Пожалуй, можно назвать парнишку в его честь. Наш парнишка тоже должен быть неплохим малым.

Он засмеялся и, насунув на белые мохнатые брови шерстяной, зеленый с белым колпак, пошел по тропинке к селению.

Ленинград, октябрь—ноябрь 1928 год.

# Д в о е

Рассказ

ПЕТР ШИРЯЕВ

После шумного и пестрого цыганского хора эстрада некоторое время оставалась пустой. Черные пюпитры без нот, стулья без людей и в углу, в глубине сцены, похожий на верблюда контрабас лезли в глаза, и пустая эстрада так же замечалась в дыму и мути пьяного ночного часа, как замечаются на черепе глазные впадины. Был слышней нестройный гул голосов, возившийся над столиками с поблеклыми астрами, и заметней люди, сидевшие за ними...

В углу залы, близ эстрады, редковолосый человек в парусиновой толстовке неохотно отхлебывал из фужера красное вино и между глотками рассматривал публику. По любопытству, с каким он делал это, можно было с уверенностью сказать, что он — случайный посетитель, в первый раз очутившийся в ночном ресторане. Он был очень худ, и, когда наклонялся к столу, из-под толстовки резко выпирали его острые лопатки. Пьяный, расшатанный выкрик: «б-б-би-с!», словно шапка, брошенная над толпой, вырвавшийся откуда-то из глубины залы, заставил человека в толстовке рассмеяться. С улыбкой он повернулся на выкрик, в гущу столиков и лиц, и вдруг медленно выпрямился, будто увидел что-то необычайное. Улыбка на его лице с'ежилась, а изумленные глаза прилипли к большой, лохматой голове в противоположной стороне залы. Торопливо допив вино, он оглянулся еще раз и встал. Не извиняясь задевал стулья и столики, наступал на ноги, толкался и, когда очутился перед грузным, лохматым человеком, в одиночестве тянувшем пиво, выговорил с заметным усилием:

— Здравствуйте.

Серые, круглые глаза поднялись к нему так же, как поднимаются глаза у большой куклы. На мясистом, в глубоких складках, лице не отразилось ничего в ответ на приветствие, и челюсти продолжали дробить соленые сухарики.

— Не узнаете меня?!

Человек в толстовке произнес эту фразу так, что она прозвучала не как вопрос, а как настойчивое напоминание: «вы не можете не узнать меня».

Лохматый ловко бросил в рот сухарик и слышно им хрустнул. Потом хлебнул пива и, откачнув назад грузное туловище, уставился на худого, редковолосого человека, улыбавшегося ему вынужденной и странной улыбкой. И, словно пронесли свечу за темной опущенной шторой, в круглых, серых глазах прошло воспоминание. Худой человек заметил это и заговорил с поспешностью:

— Помните, три года тому назад, моя фамилия — Иванов, я вас сразу узнал, обернулся, смотрю — вы, я теперь служу на консервной фабрике, два года уже служу...

— Где?

— На консервной фабрике.

На эстраду тем временем вышел человек в черном. У него было бритое, надменное лицо, на голове — блестящий цилиндр, руки затянуты в перчатки, и поверх лакированных ботинок — серые гамаша. Чопорно поклонившись зале, он одернул смокинг и сделал знак пианисту.

Лохматый повернул большую неуклюжую голову к эстраде, посмотрел и сказал:

— Он похож на Эдуарда Грея.

Его собеседник ответить не успел. Ноги человека в черном вдруг сделали удивительное антраша и, подбоченившись, Эдуард Грей пошел по эстраде мелким плясом. Сделав два круга, он остановился, замер на один миг и с тем же чрезвычайно серьезным лицом начал стремительно выбрасывать ноги вверх, оставаясь на месте. Лакированные ботинки в серых гамашах попеременно взлетали выше головы, с каждым разом ускоряя темп своих взлетов, а голова в цилиндре была неподвижна, серьезна и безучастна к тому, что делали ноги...

Лохматый крикнул густо и отвернулся.

— Чорт знает что! Взрослый, немолодой уже человек, может быть, и семья есть, отец детей, а видите, что выделяет!..

— Да, да, — торопливо согласился худой, — нелепость, какая-то нелепость есть в этом, вы правы, я тоже подумал!.. Если бы, например, мой отец вот так... ведь это ужа-асно! У него, наверное, есть жена и дети, отсюда он пойдет к ним, домой...

— Вы в Москве живете? — неожиданно спросил лохматый, приглядываясь к своему собеседнику с возрастающим вниманием и вместе с тем пытаясь скрыть это.

— Да, да, в Москве. Собственно не в Москве сейчас, под Москвой. Сегодня вот опоздал на поезд и забрел сюда вот...

Человек в толстовке вскинул на лохматого запавшие глубоко глаза и с неловкой улыбкой добавил:

— И сижу вот за одним столиком с вами... Странно-то как!

Лохматый скрипнул стулом, бросил в рот сухарик и забарабанил по столу короткими волосатыми пальцами.

— Даже не похоже на правду, — помолчал, продолжал человек в толстовке, не переставая улыбаться, — я ведь, как сейчас, всё помню, и не верится... Вы и я! За одним столиком... И ничего!

— У меня ремонт в квартире, — перебил его лохматый, — семья на даче.

— У вас есть семья?! — с живостью воскликнул худой человек и, словно боясь, что его перебьют, продолжал торопливо: — Я как раз об этом думал, та-ак думал, тогда, помните? Ужасно думал! «Есть у него семья или нет? Есть у него семья или нет?». Понимаете, это было очень важно. В необыкновенности-то вашей, в вашей чрезвычайности, понимаете, найти крохотну-у-ущую щелочку одну... чтоб и вы—человек, и я — человек, понимаете, — оба! Мостик чтоб перебросить хоть в одну тонюсенькую жердочку...

Круглые серые глаза метнулись к проходившему официанту, и пивная кружка тяжело и резко стукнула по столу.

— Сколько с меня?

— И с меня, пожалуйста! Я во-он за тем столиком сидел! — полез за кошельком худой человек.

Лохматый остановил его:

— Я заплачу. Сколько за все?

Вышли вместе. На углу улицы, перед большой площадью с потушенными фонарями, остановились.

— Вы куда? — спросил лохматый.

— Да мне в сущности некуда! Придется прошляться до утра, до первого поезда.

Лохматый подумал и сказал:

— Хотите, пойдем ко мне? Только у меня ремонт, семья-то на даче. И электричества еще нет, со свечкой придется...

— Ну это пустяк!

— Сегодня весь день провозился с обоями, никак не мог найти подходящих. Жена обязательно хочет в полоску, палевые, а таких нигде нет. Купил синие, с цветами, одну комнату уже оклеили. Теперь не знаю, как с женой быть, она во что бы то ни стало хотела палевые и в полоску...

— От синего цвету глаза портятся, — серьезно проговорил худой, — палевые, действительно, мягче, поспокойнее.

— А я-то при чем тут! Сам, что ли, обои делаю? Если бы я их сам делал, пожалуйста, извольте палевые и в полоску, какие угодно!.. Нам направо сейчас, видите большой дом? В нем и живу, на втором этаже. Вы на диване ляжете, диван у меня на ять!..

Когда уже поднимались по лестнице, худой неожиданно вспомнил:

— А знаете, я ведь вас еще раз встретил, в прошлом году... Вы редиску в Охотном покупали, с вами дама была, весной прошлого года...

— Жена, должно быть! — буркнул лохматый и, помолчав, добавил: — Редиску я люблю.

Перед дверью квартиры он долго шарил по всем карманам, ища ключ. Открыв дверь, зажег спичку и пропустил гостя вперед.

— Вот и пришли! Особых удобств предложить не могу, ну, а... Входите, входите, чего ж остановились...

В большой квадратной комнате было почти пусто. У стены — походная кровать, на письменном столе у окна — картонки, пустая бутылка из-под молока, примус и ворох газет. Туго набитый желтый портфель лежал на полу, около кровати. С потолка свисал электрический провод, и на нем — липкая лента бумаги для мух. Пахло сыростью, клейстером и скипидаром.

Принесенный из прихожей диван поставили у стены, против походной кровати, и стали раздеваться. Огарок свечи, воткнутый в бутылку из-под молока, освещал синие обои неровным и тусклым светом, перемещая тени.

— Подтяжки-то у нас, смотрите, одинаковые! — с улыбкой заметил гость, наблюдая, как раздевается его грузный, лохматый хозяин. Тот посмотрел на подтяжки и не ответил ничего. Потушил догоравший огарок и улегся, хрястнув кроватью. Дыханье у него было тяжелое, с присвистом.

На столе двое часов торопливо и в разнобой отсчитывали минуты, а у потолка, на мухоловке несколько раз принималась жужжать муха, и ее жужжанье с каждым разом становилось короче и слабее.

— Вы не спите? — тихо спросил хозяин.

— Нет.

Замолчали и слушали, как в темноте у потолка жужжит жалобно муха.

— Знаете, о чем я думаю? — тихо проговорил гость.

Лохматый не ответил, но его дыханье стало тише.

— О звонке, — продолжал тихо гость, — ах, какой это был страшный звонок!.. Помните, утром ведь это было. Всю ночь я ждал, с двенадцати ночи и до девяти утра. Три года прошло, а помню все как сейчас! Утро было мглистое, серое и какое-то слепое. И вдруг в этой мглистости звонок!.. Резкий, дребезжащий, бесконечный звонок, я думал, никогда он не кончится, и мне стало стра-а-ашно... А потом вышли вы из совещательной комнаты... Вышли, а руки у вас дрожат. Читатете приговор, а руки дрожат, читаете а руки дрожат, а я смотрю прямо в лицо вам, смотрю и спотыкаюсь мыслями в какой-то ужасной, последней торопливости: «Неужели он на меня не посмотрит, неужели он на меня не посмотрит?!». А вы дочитать спешите, и, когда прочли: «к смертной казни» — я даже и не понял как-будто... А вы так и не взглянули, ушли, а меня увели, конечно. Для вас-то навсегда увели меня...

— Я из газет узнал потом, помиловали вас... Я тогда уехал, — глухо отозвался хозяин, — давайте спать! Покойной ночи!..

Когда в комнате осела ненарушимая прочная тишина, походная кровать осторожно вдруг скрипнула, было слышно, как опустились на пол босые ноги, потом хрустнули в коленях связки...

Вспыхнувшая спичка осветила худое длинное лицо спящего гостя и склонившую низко над ним лохматую голову с круглыми серыми и большими глазами, похожими на ожившие глаза куклы...

Обжигая пальцы, спичка догорела и потухла.

1928 года. Москва.

Октябрь — ноябрь.

# В У ф е

ГЕННАДИЙ ФИШ

И косым, и проливным, и громом  
Прогремит гроза над городком.  
Этот город был таким знакомым,  
А теперь вдруг вовсе незнаком.

Он ветвями тянется к простору,  
Влажную тяжелою листвою,  
Он ручьем бежит по косогору,  
Сочной выпрямляется травой.

Одаряя песней дождевою,  
Одуряет свежестью лесной.  
Белая, скрываясь за горою,  
Помутневшей плещется волной.

Стекла окон, ослепляя разом,  
Предзакатные, дрожа, горят;  
Посмотри, ты видишь даже глазом  
Этот струйками летящий аромат.

Этой душевной влагой дождевою  
Дышит упоенная земля,  
Радуга взбегает над землею,  
Семицветная — ложится на поля.

И в ворота семицветным жаром  
Что открылись в наш широкий мир, —  
Вот в'езжают на базар с товаром  
Четверо замызганных башкир.



# Встреча

ИЛЬЯ САДОФЬЕВ

Тебя я знаю много лет,  
И твой вопрос и твой ответ, —  
С характером простуды схожи, —  
Идут нарывами по коже.

И вот, сползая по кривой,  
Как обесславленный герой,  
Покуда жизнь не раскололась,  
На спор приподнимаешь голос.

И он натянутой струной  
Дрожит и хрипнет над страной,  
Ложась загубленной заботой  
На плечи будничной работы.

Тяжел под'ем и труден рост.  
А ты разглаживаешь хвост  
И промахам и неудачам,  
На срыв судьбы рукам горячим.

Любезный, нечего таить,  
Я знаю замыслы твои,  
Они идут, хрустя костями,  
Проселками и городами...

Зачем же попусту пытаться  
Работников крутую статью!  
Зачем разведчику обоза  
Такая фронтовая поза!?

Тебе не закрывают рта,  
Кварталов настезь ворота, —  
На выручку в проходе узком,  
Утروив мускулов нагрузку!

Но сознавайся, ты привык,  
Как штык оттачивать язык  
На мелких стертых камнях спора  
И переносишь спор на порох.

Но и пришпоренная речь,  
И слов горячая картечь  
Лихой воинственной игрою  
Постройки нашей не разругают.

Недаром выправка годов  
И громкий грохот городов,  
Развертывая будней скорость,  
Как знамя, поднимают голос:

Чтоб жизнь дышала горячей,  
Не надо огненных речей, —  
Пора ответственно и просто  
Греметь индустриальным ростом!

---



# За живой и мертвой водой<sup>1)</sup>

А. ВОРОНСКИЙ

## Страда

**И**з ссылки я приехал в Москву. Губительным и тлетворным показалось мне время, проведенное на севере. Я успел отвыкнуть от большого города и теперь впервые за три года понял, что меня окружали безглазые море и лес, мертвая тундра, пустые дали, равнодушный покой небес. Уверенно и прочно теснились друг к другу груды зданий,—они не боялись угрюмо-тоскливых, одиноких просторов. В гранит закованная река покорно и устало несла усмиренные, обесчещенные воды. Земля была жестко и плотно утрамбована камнем. Пышные, пестрые витрины магазинов кичились обилием мудро и хитро сделанных вещей. Я вспоминал унылые, мокрые избы, хатенки, домишки. Стыдясь своей убогости, они горбились, прятались в туманах, во мгле, в сумерках. Разноголосый, назойливый уличный шум, резкие повелительные звонки, пронзительные взвизги трамваев, бездушное хрюканье автомобилей, толпы кем-то подстегнутых прохожих будто говорили: «Надо спешить, надо спешить; нам нет никакого дела до этого прозябания там, где-то на окраинах. Сегодня сотни и тысячи жалких лачуг могут сгинуть; дети, жены, отцы переживут смертное отчаяние; об этом нам завтра же будет известно и завтра же забыто в деловой гаме, потому что у нас от этой гибели ничего не изменится». В самом деле, может быть, даже и нет этих темных углов и задворков? Я хоронил недавнее прошлое и с грустью жалел о потерянных сроках. Но кружевной Кремль роднил город с нашими, с российскими полями. Он раскрывался чашей гигантского цветка с исполинским пестиком — Иваном Великим в сердцевине. Сказочным шмелем гудел большой колокол, наполняя город равнинным мирным раздольем; да еще зубчатые и узорчатые стены Китай-города, изгибаясь гребнем древнего дракона, уводили в Азию, на Восток, в былое.

Я снял комнату в Замоскворечье, в тихом, безлюдном месте, у просфорни. Комната лепилась под самой крышей, рядом с чердаком, где беспрестанно возились крысы и мыши. Старушка-хозяйка с сомнением осмотрела

<sup>1)</sup> См. „Новый Мир“ книги 9, 10, 11, 12 за 1928 г.

мою сплюсненную корзину, потертое пальто, пачку книг. Я успокоил ее, заверив, что я — студент, живу уроками.

Явочных адресов в организацию у меня не было. Я решил итти окольными путями, припомнил своих прежних знакомых. Полученные справки привели, прежде всего, к Володе Ашмуруну. В бытность мою в семинарии мы встречались с Володей в подпольном ученическом кружке, позже работали вместе в губернской группе большевиков. Володя отличался рассеянностью, безалаберностью, -склонностями к легкой иронии и к искусству. Он писал рассказы, очерки, фельетоны, помещая их в местной народнической газете. Партийные поручения выполнял исправно, но как бы снисходительно и немного дурашливо. Жил тогда Ашмурун в полуподвале, просторном, но сыром. В комнате никогда не убиралась постель, валялось, свешиваясь на грязный пол, дырявое одеяло; простыня и подушка имели такой вид, точно на кровати недавно происходило побоище; из угла торчали растрепанные книги; белела доска с черным кругом. По утрам Володя упражнялся в стрельбе из дрянного бульдога, готовясь к боевой деятельности. Я заставлял нередко Ашмуруна без кальсон, в длинной ночной рубаше, с револьвером в руке. Он скреб свалывшиеся на голове волосы, заряжал бульдог, в момент выстрела зверски таращил глаза, попадал в круг редко, но, когда попадал, снисходительно утверждал, что из хорошего револьвера он «вгоняет пулю в пулю», свидетелем чего мне, однако, стать не пришлось. Осенью девятьсот пятого года Володя исчез из родного города. Слухи о нем распространились самые разноречивые и неопределенные. В конце декабря он неожиданно снова появился у нас с простреленной рукой. Он бережно держал ее на повязке, скрытничал, но стало уже известно, что он получил рану в Москве, в пресненских боях на баррикадах. Гимназистки смотрели на Володю с восхищением, считали за честь быть в его свите, прославили его, как героя. Но герой, оправившись, заскучал, начал подтрунивать над собой, завел несколько легкомысленных романов, поспешно собрал свои пожитки, уехал. Говорили, что он в Москве; других сведений о нем получить тогда не удалось.

Я разыскал Ашмуруна на Больших Грузинах. Дома я его не застал, решил обождать. Занимаемая им комната походила на треугольник, потолок был косой. У окна на треножнике стоял фотографический аппарат, покрытый куском черного ситца. На стенах висели темные иконы древнего письма вперемежку с репродукциями Врубеля, Рериха, Васнецова и других художников. Рядом со старинным Георгием - Победоносцем, у которого не было видно лица, но вполне сохранилась ярко - малиновая мантия, помещались малявинские «Бабы», а врубелевский «Пан», с добродушной лапой, был прикреплен над иконой божьей матери «Всех скорбящих». Еще больше виделось повсюду крестов и крестиков — медных, дубовых, кипарисовых, четырех- шести- и восьмиконечных. От них шел еле уловимый смешанный запах медной окиси, ладана, лампадного масла, воска, и пыль веков прочно в'елась в их резьбу. Кресты тускло блестели и вместе с иконами, вместе с наступавшими сумерками превращали комнату в молельню. На письменном столе лежали папки с видами монастырей, книги по истории церковной живописи. Все му увиденному я подивился.

Еще больше я был удивлен, когда в комнату вошел мой друг. Несмотря на позднюю осень, Ашмурин одевался по-летнему. Он носил черную крылатку, а голову его украшал бархатный... женский берет. Тугой высокий воротник лез к ушам, а манжеты, не совсем свежие, стремились соскользнуть с рук. Куцый пиджачок, узкие и короткие брюки, открывавшие большие косопалые ступни в лакированных, но потрескавшихся ботинках «лодочкой», придавали Володе что-то кургузое и почти шутовское. Нужно еще прибавить, — голова Ашмурина напоминала лошадиную: небольшой лоб, уши врозь, длинные, большие челюсти; о челюсти его когда-то в шутку говорили у нас, что ею были побиты филистимляне.

Я спросил Ашмурина, почему в его комнате так много крестов и икон. Он улыбнулся, но тут же стал серьезным:

— Изучаю нетленные памятники прошлого.

— А революция?

Ашмурин взял со стола ручное зеркало, пристально погляделся в него, неодобрительно выпятил нижнюю губу, покровительственно промолвил:

— Есть, мой милый, вещи, не менее важные, чем революция. Революции приходят и уходят, а прекрасное остается. Ты спрашиваешь, чем я сейчас занят? Хожу по старым московским кладбищам, изучаю древние могильные памятники, делаю с них снимки. У меня уже готова о них целая книга,—я покажу ее тебе.—Он открыл ящик, достал толстую рукопись, подал ее. Я прочитал первые строки: «У нас разучились прекрасно умирать. В старину люди умели жить, но еще лучше они умирали». Размашистые буквы шатались вкривь и вкось, точно были пьяны; текст перемежался фотографическими снимками кладбищенских памятников. Автор сделал и подобрал их со вкусом и умением.—Да,—продолжал поучать Ашмурин,—люди нашего поколения забыли о прекрасном. Красоту нужно восстановить. Это не менее важная задача, чем делать революцию. Я стираю пыль с древних писем, с памятников, с вещей, предо мной встает изумительная жизнь, благородная и изящная. У каждой эпохи есть свой стиль, свой запах, свое неповторимое; мы должны все это свято хранить.

— Все это хорошо, — сказал я довольно уныло, — но не можешь ли ты помочь мне найти организацию?

Ашмурин придвинул к дивану, где я сидел, пузатое кресло с ножками как у фокстерьера, глубоко и плотно вдавил себя в него, вытянул ноги, поллушутливо заметил:

— Ну вот, ты перебил меня, это невежливо. В тридцатых годах это не допускалось даже и в приятельской беседе.—Он стал рассматривать ногти.—Из организации я давно вышел. В том, что делают теперь революционные партии, для меня нет ничего интересного. Союзы, клубы, кассы, кружки... по-моему, это крохоборство. Не спорю, они нужны рабочим, но гривенник есть гривенник. У вас, у марксистов, все просто, все известно: механическое сцепление сил, законы природы, эволюция. Все это скучно и плоско, принижается человеческий дух. Для тебя клочок неба, который ты видишь, пуст,—для меня он тайна, чудо. Буржуа—прозаики, вы тоже прозаические люди. И потом — вам решительно недостает благородства.

Нашу беседу прервала хозяйка. Она протиснула в дверь свой огромный живот, почему-то негодуяще и презрительно окинула нас жирным взглядом, не поставила, а скорее бросила на стол поднос с чайниками и стаканами, уходя, хлопнула дверь с такой силой, что прибор подскочил на столе. Поднос был измят, будто щит, побывавший во многих сражениях; жестяной чайник тоже имел из'ян в боку, стаканы напоминали мутно-зеленый расцвет. Я обратил внимание Ашмурина на то, что прибор не производит даже и малейшего эстетического впечатления.

— Ужасающая стерва, — оживившись, заявил Ашмурин убежденно. — Мистическая сволочь... Мой кошмар и испытание. Уверен, она когда-нибудь зарежет меня. Единственное спасение—окружить себя крестами и иконами: побаивается все же, но вообще не считается со мной. То чаду напустит из кухни, то холоду, то мясо начнет рубить часа полтора так, что стены трясутся. Дрянь немислимая.

— Почему же ты не найдешь другой комнаты?

Ашмурин посмотрел на меня соболезнующе.

— А стиль? Ты такую комнату во всей Москве не найдешь. Мне надоело квадратное.

В дверь постучали. — Entrez, — протяжно и расслабленно сказал Ашмурин. Вошла его сестра Полина. У нее, как и у брата, было длинное и точно перекошенное направо лицо, но тонкая кожа нежно розовела.

— Сегодня урока не будет,—заявил ей Ашмурин вскользь и как бы поспешно.

— Ну, и слава богу,—с облегчением ответила Полина, присаживаясь к столу.—Не поверите, совсем замучил меня. Я и танцам старинным должна его обучать, и по-французски с ним заниматься, и какую-то маркизу из себя изображать, и советы ему давать как лучше держать голову,—прямо покоя от него нет.

Владимир сконфуженно пробормотал:

— Это наши семейные дела.

— У тебя деньги есть?—спросила его Полина.

— Денег у меня нет.

Полина достала из ридикюля скомканные кредитки, положила их на стол. Ашмурин сделал вид, что не заметил их.

Я зашел к своему другу через несколько дней. Хозяйка встретила меня взглядом, точно хлестнула веником. Из комнаты Ашмурина доносилось гундосое и протяжное бормотание. Я нашел Володю сидящим у окна с большой книгой в руках. Книга оказалась псалтырем. Ашмурин хрипло и однотонно, но громко читал псалмы. Увидев меня, он сделал таинственный знак, шопотом сказал, посмеиваясь:

— Что поделаешь, приходится изворачиваться. За комнату заплатить нечем, а эта кикимора покоя не дает. В такие дни я вычитываю что-нибудь из священного писания: эта дура богомольна и суеверна. Пожалуй, меня даже за колдуна считает. Во всяком случае, как услышит чтение, дня два не напоминает о недоимках. На практике изучил. Пойдем бродить по городу.

Связей с организацией, как и следовало ожидать, я от Ашмурина не получил, но вновь сдружился с ним. Мы осматривали кремль, церковь Василия Блаженного, музеи, посещали выставки. Суждения и замечания его об искусстве отличались тонкостью. Он научил меня ценить Врубеля, Фериха, Левитана; я уже не мог ограничивать себя натурализмом передвижников; он убедил меня в великом искусстве наших старинных мастеров по дереву, показал картины и вещи, которых посетители обычно не замечают. Жил Ашмурин впроголодь, случайным заработком, с трудом пристраивая свои рукописи в малоизвестных журналах. Однако он этим нисколько не смущался. Когда у него появлялись деньги, он тратил их на покупку книг, картин, икон, нередко и охотно помогал и мне. Я любил в нем беспечность, чуткость, ровность характера. Прельщало в нем также и то, что он, странно рассуждая о красоте какой-нибудь домашней утвари подмосковных имений, тут же подшучивал и трунил над собой. Очень искренний, он сумел остаться наивным мечтателем, а его чудачества были милы и благодушны. Попрежнему он носил темно-синий женский берет, возбуждая недоумение и удивление прохожих. Иногда на улице до нашего слуха долетали совсем недвусмысленные замечания: «вертопрах», «чучело», «стрекулист»,— Ашмурин отделялся от них открытой улыбкой, легкой и непритязательной шуткой. Причуды его не прекращались. Одно время он стал уверять, что люди должны ходить танцующей походкой, подгибал колена, подпрыгивал и дико выворачивал носки. Опыт потерпел неудачу. Тогда Ашмурин нашел, что у него «гнусный голос», лишенный певучести. В этом он был прав, так как говорил глухо и хрипло. Он решил «ставить» голос у профессора музыки, взял несколько уроков, дома завывал, переполошил жильцов и хозяйку, уроки скоро забросил, стал подсмеиваться над собой. Но иногда, впрочем, нечасто, он впадал как бы в сонливость, подолгу валялся на тощем матрасе. В один из таких вечеров он говорил:

— Порой я тебе завидую. Ты бредишь еще пятым годом, рабочими предместьями. У тебя есть потребность находиться в людском потоке, ощущать теплую человечину. С вещами приятно, они живут своею жизнью, они не мешают, не врываются в чувства и в мысли, но у них мертвое бытие. Любовь к вещам и призракам,—произнес он раздельно, вдумываясь в слова,—любовь к вещам и призракам,—она прекрасна, но она не согревает.

— Кто знает,—продолжал он размышлять вслух,—почему изменяется человек? Мы не подвластны себе. В нас совершаются ускользающие от нашей воли и контроля процессы; мы ничего не подозреваем о них, но вот однажды что-то новое властно овладевает нами, доходит до сознания, и мы чувствуем себя иными. У нас меняются вкусы, привычки, пристрастия, привязанности, понятия,—изменяется весь наш внутренний облик. Сложная и еще совсем непонятная вещь человек...

Этот разговор с Ашмуриным припомнился мне позже при встречах с Тартаковым. В девятьсот третьем году Тартаков за участие в студенческих беспорядках был уволен из московского университета, выслан в Тамбов под надзор полиции. Он руководил у нас кружками, и мы, молодежь, смотрели на него, как на своего учителя. Получив о Тартакове справку в адресном

столе, я зашел к нему на квартиру. Он занимал на Плющихе две заново отделанные комнаты с бархатной тяжеловесной мебелью, с коврами, с люстрой, роялем. Тартаков встретил меня полуодетым. Я еле узнал его. В Тамбове он был худ, носил длинные волосы, ходил обычно в косоворотке. Теперь предо мной стоял полный, уже немного обрюзглый, поживший человек. Он облысел, лицо налилось жиром. Синие диагональные брюки со штрипками туго облегли мясистые ляжки. Вправляя свежее-накрахмаленную сорочку, он принял меня радушно, но так, как - будто мы с ним ежедневно виделись:

— Добро пожаловать, заблудшая душа. Садитесь, рассказывайте. Сейчас и кофе принесут.

Узнав, что я ищу подпольную организацию, Тартаков сделался серьезным, не спеша подвязал павлиньего цвета галстук, надул перед зеркалом к чему-то вымытые до блеска и тщательно выбритые щеки, потрогал себя за большой и хрящеватый нос. Кончик носа и подбородок у него были раздвоены. Затем он сел против меня, расставил ноги, опершись в ляжки руками, грубовато и положительно сказал:

— В этом деле никакой помощи я оказать вам не могу. Заявляю прямо и без обиняков: от подпольных дел я сейчас вдали. По-моему, никакой организации больше и нет. Есть, может быть, обломки, остатки, какая-нибудь группка, которая варится в своем собственном соку. Все разбито, подверглось разгрому. Да и зачем вам связываться с организацией? Вы недавно вернулись из изгнания, следовательно, вы на примете. Пройдет два-три месяца, вас снова арестуют. Вы лучше подождите, осмотритесь, отдохните, наберитесь сил, здоровья, спешить не стоит. И потом—глупости все это.

Тартаков встал, прошелся по комнате. Горничная принесла кофе. Тартаков разлил его в стаканы.

— Да, пустяки все это. Я тоже отсидел полтора года в крепости. Больше кормить клопов и бить баклуши я не намерен. Довольно с меня. Учиться надо. Кем я был до сих пор? Вечным студентом, просвещал других по брошюркам, по «Эрфуртской программе»,—на этом далеко, батенька, не уедешь... Сидел я в тюрьме и размышлял о своем прошлом. Что это за жизнь была? Бестолковщина, суета, переезды из одного города в другой, обыски, недоедания. Самые лучшие, ценные и важные годы я растратил неизвестно на что. Теперь я решил, прежде всего учиться, втиснулся кое - как в университет, готовлюсь на юриста и считаю, что в первый раз сделал и для себя и для других полезное дело. Тем же рабочим, за которых вы ратуете и которым вы не нужны, я принесу, в конце концов, больше пользы в качестве адвоката или юрисконсульта. Это куда нужней, чем вбивать в их головы истины, почерпнутые из десятикопеечных книжонок. Довольно этих явок, кружков, собраний, надо дело делать. Жизнь не ждет, она идет своим чередом. Простите за откровенность: вы сидели в тюрьме, потом в ссылке, вдали от событий. Вы жили прошлым, в законсервированном состоянии, в узком, в искусственном кругу приятелей; вы отстали, остались позади всего происходящего.

Тартаков говорил уже сердитым, срывающимся голосом, глаза у него стали колкими и голодными, щеки покрылись фиолетовым цветом, раздвоен-

ный кончик носа побелел, и в уголках рта скопилась пена. Предо мной сидел совсем новый человек, непохожий на прежнего Тартакова. Кто, когда, где подменил тамбовского высокого, тонкого, подвижного юношу этим жиреющим, огрубевшим, огрызающимся искателем «положительной» жизни? Я сказал Тартакову, что многие до сих пор думают иначе. Большими глотками и с бульканием в горле допив кофе, он ответил грубо и издеваясь:

— Какие же это «многие»? В России живет полтора ста миллионов людей. Сколько из них руководствуется вашими, с позволения сказать, социальными идеалами? Сотни, ну, тысячи, а что делают остальные, спрошу я вас? Живут по-своему: сеют, жнут, плодят и растут детей, куют, слесарничают. Если бы они занимались со-ци-аль-ны-ми про-гно-за-ми, общество сидело бы без хлеба.

Заметив, что я с недоумением и с возрастающим негодованием смотрю на него, он круто оборвал речь, придвинул ко мне масло и хлеб.

— Разговоры разговорами, а дело делом. Вам, вероятно, прежде всего нужно иметь заработок: поговорим лучше о том, как вам устроиться.

Он изложил свои соображения. Оказалось, что Тартаков является представителем нескольких крупных книгоиздательств, имеет свой штат агентов, распространяющих книги. Опытный агент зарабатывает на процентах от ста пятидесяти до двухсот рублей. Он, Тартаков, не думает, что я могу столько зарабатывать, но пятьдесят-шестьдесят рублей мне обеспечено. Книги редкие, дорогие. Нужно найти особого читателя. Тартаков готов помочь приятелю. Он показал несколько образцов в дорогих переплетках. Работать у Тартакова после его разговоров мне не хотелось; я думал также, что из меня выйдет плохой агент. Я поделился своими сомнениями с Тартаковым.

— Все образуется. Дело выгодное. Вы, кажется, имеете литературные склонности, вот и поработайте на литературном поприще. Я выдам вам аванс. Дня через два приходите за получением указаний.—Он положил предо мной сорок рублей. Карманы мои были пусты. С колебаниями я принял от него деньги.

Спустя несколько дней, я приступил к работе. С первых же шагов пришлось убедиться, что работа агента не по мне. Утром, часам к девяти, я спешил к Тартакову, заставал у него других агентов: голодных студентов, курсисток, семинаристов. Тартаков спешно перелистывал справочники, телефонные книжки, указатели, диктовал адреса, давал советы, после чего мы расходились. Он обнаруживал сметливость, расторопность и деловитость.

Мне не повезло с самого начала. Охотников до редких и дорогих книг находилось немного. С адресами часто происходили путаница и недоразумения. Я не умел уговаривать подписчиков. Но посещения многих квартир были забавны и любопытны. Я зашел к писателю с известным именем. Он сидел за письменным столом, уныло смотрел в окно. Пред ним лежали мелкоиспанные листки. У него было бабье, геморроидальное лицо, почти лишенное растительности, перекошенные плечи и желтые от табака сухие руки. Не дослушав меня, он встал, вышел из-за стола, поднял руку, будто намеревался вцепиться в мои волосы, визгливо и громко, так, что его голос был слышен во всей квартире, закричал:

— Что такое? Подписка? Вы хотите, чтобы я подписался на какие-то издания? Никогда! Зарубите себе на носу, милостивый государь, что принципиально, понимаете ли, принципиально не трачу ни копейки на книги. Пра-ашу меня не беспокоить. Покупать книги почитаю за гнусность, за подлость и глупость. Только идиоты и выродки делают это.

Я показал ему на полку книг.

— Однако я вижу у вас много книг.

Он широко взмахнул рукой в сторону книжной полки, попридержал другой рукой. сползающие брюки, торжественно об'явил:

— Здесь нет ни одного экземпляра, приобретенного за деньги, нет и не будет. Скорее в могилу лягу, чем когда -нибудь куплю книгу... И вообще, вы, государь, отнимаете у меня рабочее время. Позвольте мне остаться одному.

Он стремительно надвинулся на меня, я поспешил закрыть за собой дверь.

Иногда, выслушав меня, предполагаемый ценитель редкостных изданий пожимал плечами, с удивлением говорил:

— Кто вам сказал, что я интересуюсь всем этим? В первый раз слышу. Ни одной подобной книги не читал и читать не собираюсь. Странно. Вы, вероятно, с кем-то меня спутали. Бывайте здоровы.

Чаще всего меня встречали еще хуже, считая не то за взломщика касс, не то за специалиста по очистке квартир, не то за бандита,—выпроваживая с таким видом, будто не знали, спустить ли меня лучше самим с лестницы, позвать ли дворника или позвонить в полицейский участок.

Поневоле приходилось бывать свидетелем и семейных сцен. Один почтенный и раз'яренный отец семейства, встретив меня в прихожей, сопя и не попадая впопыхах от раздражения в рукава пальто, орал:

— Какие тут к чорту книги, подписки! Тут голова кругом идет. Светопреставление, вавилонское столпотворение, голгофа! Вы, молодой человек, перестали бы лучше шататься по чужим квартирам и попробовали бы сами распутать всю эту несусветную галиматью!—Открыв дверь в столовую, угрожающе крикнул:—Ухожу, ноги моей здесь не будет! Как хочешь, так и обходись! Довольно, я от тебя натерпелся!

Откуда-то из глубины квартиры донесся надрывный женский голос:

— И уходи, уходи поскорей! Я тебе не судомойка. Не попрекай меня куском хлеба! Я и так из-за тебя все свое здоровье потеряла!

Очевидно, забыв, что я случайный посетитель и приглашая меня взглядом в свидетели, отец семейства зарычал:

— Подумайте, какая страдалница сыскалась! Она, видите ли, здоровье из-за меня свое потеряла, красоту, молодость... чортова перешница! Всю семью в гроб вогнала; в пору травиться, либо за границу бежать.

Будто увидев меня в первый раз, свирепо вдруг выпучил глаза, ощетинился, неожиданно завопил:

— Позвольте, что вам угодно, что вы здесь делаете? Как, почему? Проваливайте, откуда появились. Свиньям на разведение ваши книги! Начитались, по горло сыты. В помойку их, в мусорный ящик! Ну-с, не задерживайтесь!..



В другой квартире, едва я открыл дверь, мимо меня прошмыгнул на лестницу малыш лет девяти. С ремнем в руке за ним гнался растрепанный папаша в расстегнутом вицмундире, красный и потный. Он чуть не сшиб меня с ног.

— Ага, ты на лестницу, подлец, на лестницу! Хоррошо! Придешь, я кожу с тебя спущу, я тебе такого зудермана пропишу, век будешь помнить!.. Что?.. Книги, подписка!.. В печку, в огонь их и... вы мне мальчишку упустили,—идите и ловите теперь сами паршивца!..

Заглянув еще в одну квартиру, я услышал в передней раскатистый, рыкающий жирный бас, доносившийся, видимо, из столовой, где звенели посудой, ножами и вилками.

— Я спрашиваю до чего это может дойти? Это до того может дойти, что я... без горячего оставаться буду. Когда же придет конец моим страданиям!.. Сколько раз я твердил, что красное вино надо подавать подогретым, подогретым, говорю я вам!..

Я постарался незаметно убраться.

Одинокая старуха с трясущейся шеей, с волосатой бородавкой на верхней губе, наколке,—к ней я попал по ошибке,—ничего не поняв из того, что я ей говорил, зашамкала:

— Ты, батюшка, не пугай понапрасну людей, я и без того пужливая. Как увижу незнакомого человека, так и затрясусь вся, так и затрясусь. Сама не своя делаюсь. Такие лиходеи кругом пошли, не приведи бог... А ежели ты от полиции, так прямо и говори. Боюсь я всего, и полицию боюсь,—боюсь, а уважаю... Всякому свое: ты вот в полиции служишь, а я чужки теплые вяжу родным, а пуще всего людей страшусь.

Старик в пестром халате с бархатными черными отворотами, ежа нависшие густые брови, буравя меня глазами, внимательно просмотрел образцы изданий,—показывая большой и ерзающий кадык, тихо сказал:

— Пустяки, сущие пустяки! Ненужные книги. Вот, если бы предложили альбомчик эдакий, веселого содержания... бывают такие, с бабочками в особых положениях... я взял бы его у вас... Очень недурные альбомчики продаются... Займитесь: и вам доход, и покупателю приятно.

Усач - кавалерист в жестких подусниках, расставив кривые ноги, пристегивая саблю и глядя на меня мутными выпуклыми глазами, поучал:

— Обман и надувательство и... глупости. Взять бы ваших писак, выстроить на плацу, да погонять в полной амуниции часа четыре — вот и перестали бы бумагу марать. Жулики они, ваши писатели, брандахлысты... шопены какие-то... Пра-шу на меня не надеяться.

Запомнилось мне и посещение редактора-издателя «Русского Архива» П. И. Бартенева. Его деревянный дом, кажется, на Старой Каретной, в старинном русском стиле, уединенно стоял в глубине двора. Дверь открыл старик-слуга в поношенном, но опрятном черном долгополом сюртуке. Видимо, он остался у Бартенева с крепостных времен. Внимательно и сурово оглядев с ног до головы, старик степенно провел меня в гостиную, отнес визитную карточку в кабинет к Бартеневу, возвратившись, сказал внушительно:

— Петр Иванович изволили просить вас, сударь, обождать.

Он придвинул кресло, предложил сесть. В доме стояла тишина, необычайная для Москвы. Все, что было кругом, напоминало старо-дворянский уклад. На стенах из сосновых бревен, без обоев, но чистых, висели именитые портреты. Казалось, они надменно и сурово охраняли незыблемость и своего прошлого и этого уклада в настоящем. На столе лежали альбомы — родословные знатнейших дворянских фамилий, — книги в крепких сафьяновых переплетах. Кожаная темная мебель покоилась парадно и холодно. Пахло смолой, приятной затхлостью. На всем лежал отпечаток былого, простоты, чинности и строгости.

Ждать пришлось недолго. Бартенев принял меня, сидя за большим письменным столом в глубоком кресле, сгорбившись и откинувшись к спинке. По обеим сторонам кресла стояли костыли. Бартеңеву, очевидно, было трудно держать большую голову, она часто у него свешивалась на бок. Увидев меня, он сделал вид, будто пытается привстать, но не привстал, холодно и вежливо прошептал:

— Прошу, сударь, сесть. Чем могу служить?

Я показал ему образцы. Перелистав «Историю Москвы», он промолвил:

— Репродукции хороши, но позвольте узнать, какие сочинители участвуют в ваших изданиях?

Я назвал Рожкова, Кизеветтера, Никольского. Бартенев поспешно отодвинул от себя книги, взял костыль. На его старческом, изможденном лице сеть дряблых морщин стала еще глубже и резче.

— Жиды, сударь, жиды! Не могу подписаться, не буду. Не надо мне жидовских книг.

Я заметил, что названные мной историки — не жиды, а евреи — культурнейшая нация.

Старик поднял ладонь, и, как бы отгораживаясь от меня, с силой перебил:

— Жиды-с! О культуре же расскажу вам, молодой человек, поучительную историю. Подобно вам одна дама наслушалась речей о культуре. Куда не придет, сейчас: культура, культура. Ее и спросили однажды, что же такое культура. — Это, — ответила дама, — зверок такой, на крысу похож. — Культуру-то культурнейшая дама с крысой смешала.

Обескураженный я сказал Бартеңеву:

— У меня есть отзывы газет и журналов о книгах, которые я вам предлагаю. Они все похвальные.

Бартенев заерзал на кресле, наклонился ко мне, сжал еще крепче рукою костыль.

— Все ваши газеты жидовские.

Забыв о цели своего прихода я промолвил:

— Есть разные газеты. По всей вероятности, вы не считаете жидовскими такие газеты, как «Новое Время» или «Русское Знамя».

Старик ни мало не смутился.

— И «Новое Время» и ваше «Русское Знамя» тоже жидовские газеты. Не жидовских газет, государь мой, нет и не может быть. От газет пошли на Руси все беды: смута, бунты. Разврат, безбожие, хамство — все от газет

ваших. В старину газет не было, и жилось лучше. Я газет не читаю и вам заказываю: не оскверняйте рук ваших погаными листками,—дьявольское в них навождение. Не губите себя, послушайтесь старика.

Бартенев потянулся к столу, стал шарить руками. Они у него были длинные и цепкие. Почудилось, что они, как резина, могут стягиваться и растягиваться. Он нашел мою визитную карточку, повертел ее в руках, покачал головой, спросил подозрительно:

— Вы не из поляков?

— Я сын православного священника.

Бартенев пристально посмотрел на меня.

— Разрешаю себе спросить, какой вы губернии?

— Тамбовской.

— Вы не Липецкого уезда?

— Нет, я родился около Кирсанова, но бывал и в Липецком уезде.

Взгляд у Бартенева смягчился. Он отложил костыль в сторону, коснулся моего рукава, мягко и задушевно проговорил:

— Может быть, слышали—родовое имя у меня там есть. Хорошее имя. И кругом прекрасные окрестности. Так вот как: земляки мы с вами. Что же это вы, сын священника, с жидами-то связались? Не могу похвалить, не могу. Папаша-то ваш священствует? Помер? Вот видите, без отца-то и свихнулись.—Указав на визитную карточку, укоризненно продолжал:—К чему это срезанные косяком углы? Безобразно, нехорошо. Дурной вкус. От газет это, от книг ваших. Визитная карточка должна быть почтительна, скромна, а не срамна. Смотрите, в наше время таких вульгарных вещей не было. — Он подал мне свою визитную карточку.—Никаких обрезов, и как славно, государь мой. Вот отчего у нас, у дворян, рождались Пушкины, Лермонтовы, Тютчевы, а у вас стрекулисты... обрезанные... Так-то... Подписаться на ваши издания не могу, не просите, но у меня есть сын,—сейчас он в отъезде. Может быть, он найдет нужным купить ваши книги. Оставьте свой адрес. Когда приедет, я оповещу вас. Вы зайдите, зайдите. Мы еще побеседуем с вами. Наставлять вас надо, учить, долго ли до греха.

Прощаясь, Бартенев на этот раз попытался в самом деле привстать.

Недели через три я получил от Бартенева письмо: «Глубокоуважаемый,—писал он, называя меня по имени и отчеству,—уведомляю вас, что сын мой возвратился в дом мой. Буду признателен, если потрудитесь посетить нас. Надеюсь на вашу неизменную ко мне благосклонность. П. Бартенев».

К сожалению, я не откликнулся на его предложение, но письмо долго хранил.

Дела по подписке и продаже книг шли все хуже и хуже. Тартаков относился к неудачам сначала снисходительно, но мало-по-малу его обращение со мной изменилось.

— Работать надо,—твердил он осанисто и солидно, выбивая пальцами легкую дробь по столу или медленно шагая по комнате и созерцая носки ботинок.—Всякая работа требует упорства, а в нашем деле и нахальства. Агент должен поставить себе за правило не уходить из квартиры или из

учреждения, не уломав подписчика. Одного следует взять измором, другого нахрапом, третьему польстить, четвертого заставить врасплох, пятого убедить. Стесняться и скромничать тут не годится.

Иногда он говорил уже грубо, не скрывая недовольства, он уже приказывал, распоряжался, не выслушивал возражений, перебивал, его замечания звучали уже как выговор. Наши беседы и споры о настоящем, воспоминания о прошлом давно прекратились. Он поставил себя в положение начальника-работодателя, меня—в положение служащего и подчиненного. С другими агентами он держался еще более грубо и несдержанно. Он жил в довольстве, зарабатывая четыреста-пятьсот рублей в месяц, обедал в лучших ресторанах, бывал в опере, в Художественном театре, платил ежемесячно извозчику, державшему рысистую лошадь и щегольскую коляску на дутых шинах.

Первое время меня даже забавляли и его басистые, начальственные окрики, и его откровенные советы, и его хозяйская деловитость. Я миролюбиво отшучивался, но однажды меж нами произошло неожиданное столкновение. Познакомившись с моей работой за прошлый день и убедившись, что я заполучил всего лишь двух подписчиков, Тартаков заявил:

— Это — не работа. Тут вам — не подполье. Тюрьма, ссылка, явки, собрания, споры развили в вас лень, разгильдяйство, беспечность, пренебрежение к труду. Вы, батенька, галок созерцаете. Я давно говорил, что вся эта тайная беготня плодит и воспитывает бездельников и тунеядцев.

Я быстро поднялся со стула и, глядя пристально на раздвоенный конец носа и раздвоенный подбородок Тартакова, сказал, что он сам недавно работал в подполье и может в известной мере считаться даже моим учителем.

Играя желваками скул, Тартаков ответил:

— Что было, то прошло. Кто из нас в юности не делал глупостей? Я с вами о деле говорю, а не о прошлом и не о высоких принципах. Принципы и прошлое пусть останутся при вас, меня они нисколько не занимают.

В комнате наступило тяжелое и тупое молчание. Тартаков большими глотками пил чай, ел бутерброд, сосредоточенно работая крепкими челюстями. В коридоре громко хлопали дверями.

Я объявил Тартакову, что от работы с ним отказываюсь. Тартаков холодно спросил:

— А как с авансом? Вы сперва отработайте его, а после и говорите об уходе. Я не миллионер, чтобы пускать деньги по ветру. Эдак всякий может — взял аванс и до свидания. Не хотите работать, возвратите аванс.

Мне стала понятной готовность, с которой он навязал деньги. Я обещал Тартакову возвратить аванс частями, ушел не попрощавшись. С помощью Ашмарина я нашел себе урок и с омерзением вспоминал опыт с агентурой.

Тартаков напомнил о себе спустя месяц. Он зашел ко мне с развязным и приятельским видом, розовый, довольный и уверенный, — расспрашивал, как я живу, имею ли заработок, вскользь заметил, что во время его последнего разговора со мной он погорячился, сказал кое-что лишнее, но я должен войти и в его положение: он ответственное перед издательством лицо, дело сложное, нельзя каждое лыко ставить в строку. В частности, ему сей-

час очень нужны деньги: не смогу ли я возвратить аванс? Суетясь и стараясь не встретиться взглядом с Тартаковым, путаясь в карманах, я достал две трехрублевки. Кредитки оказались скомканными, жалкими. Я сунул их Тартакову, в смущении пробормотал, что у меня, к сожалению, больше денег нет, но когда будут, — я непременно и в первую очередь возвращу аванс. Я с ним вполне согласен: товарищам нельзя обижаться друг на друга из-за мелочей, вообще «это бывает». Что именно «бывает», я не договорил, но продолжал городить нечто неясное и несуразное. Тартаков уходить не спешил. Он осмотрел комнату, перебрал лежавшие на столе книги, шутил, добродушно и немного иронически балагурил. Ах, это студенческое, подпольное житье-бытье! Он хорошо помнит Тамбов. Не правда ли, его клетушка была тогда даже как-будто еще темней и невзрачней, чем моя? К нему часто приходила Сара Гольдштейн, девушка с глазами, в которых стояла неподвижная темная осенняя ночь. Она мучила себя над «Капиталом» и однажды даже плакала оттого, что ей не давались главы, где излагалось учение о товарном фетишизме. А тайные майские сборища за архиерейскими хуторами, а Ахлибанина роща со множеством ужей, а катания на лодках к железнодорожному мосту, к Эльдorado, где продавались славные горячие пирожки! А красавица эсерка Ванда! Не встречался ли я с Казимиром Вольским? Он все в Тамбове? Очень едкий и остроумный оратор. Да... да... есть кое-что вспомнить!.. Однако ему, Тартакову, пора. Дела, дела... Не найду ли я свободного часа заглянуть к нему? Он очень будет рад. Хуже всего было то, что, расставаясь с Тартаковым, я от растерянности крепко жал ему руку, желал успеха, в дверях наступил нечаянно на ногу, просил не винить меня. Тартаков потрепал меня по плечу. После его ухода от горечи, обиды и стыда я не знал, куда деться.

Мы свиделись с Тартаковым спустя много лет, после Октябрьской революции, после гражданской войны. Он совсем облысел, но не постарел. Его голый череп, полные, тщательно выбритые щеки сияли и лоснились, заплывшие жиром глаза стали еще более рассудительны, спокойны и сановиты. Тартаков занимал видное место в одном из Наркоматов, где его ценили, по его словам, не только как старого коммуниста, но и как редкого специалиста. Когда я спросил, в чем его специальность, он ответил туманно. Опять он вспомнил нашу совместную работу, говорил обстоятельно и почти задушевно, — жалел, что многих общих знакомых уже нет в живых, а судьбы других неизвестны. Старая гвардия редеет: немного уже осталось ветеранов со стажем до пятого года.

— После девятьсот седьмого года вы как-будто отходили от партии?

Тартаков потер раздвоенный кончик носа, спокойно ответил:

— Да, у меня был перерыв. Сначала учился в университете, позже помешали болезни и война. Впрочем, некоторое значение имели и случайные настроения. — Говорят, что вы стали критиком. Что ж, каждому свое, а вот мне некогда и в книгу заглянуть: дела, дела.

Больше он не заходил. Сейчас при случайных встречах на улице Тартаков меня не узнает.

Попытки опуститься в подполье пока оказались безуспешными. Крот слишком глубоко ушел в землю, узкую нору нелегко было найти. Я бродил где-то около нее, но каждый раз, когда казалось, что я близок к цели, как будто что-то случайное и второстепенное создавало неожиданные помехи. Но мне удалось познакомиться с Милютиным, он предложил поработать в союзе кожевников. Я понял, что обстановка изменилась, знал, что большевики уделяют много внимания открытым рабочим организациям, дал согласие, был принят секретарем союза.

Союз кожевников вместе с союзом текстильщиков занимал в Замоскворечье темное и неудобное подвальное помещение. Я приходил в правление по вечерам три-четыре раза в неделю. Секретарские обязанности не отличались сложностью. Надо было записывать в союз новых членов, то-есть принимать взносы, выдавать пособия безработным и стачечникам, участвовать в заседаниях правления. Союз насчитывал триста-четырееста членов и еле-еле сводил концы с концами. Рабочие приходили прямо с работы, усталые, измученные, рассаживались на грубо сколоченных и некрашенных скамьях и табуретах. Жалкие отребья, которые они носили, делали их похожими на бродяг и завсегдатаев Хитровки. Слушая и знакомясь с их бытом, я все больше и больше убеждался, что жизнь их исполнена постоянного и незаметного героизма. Они работали по десяти, по двенадцати часов в сутки в душных, смрадных и смертоносных помещениях, отравлялись ядовитыми, зловонными испарениями разных веществ, с помощью которых производилась обработка кожи, обливались от жары потом и все же голодали, ютятся в подвалах и углах с женами и детьми. Они знали, что работают на других, что их работа нужна всем и каждому, но делали все это просто и скромно. Они убеждали меня в том, что бессмысленно, несправедливо, смешно прославлять и отмечать в историях человеческих судеб всех этих якобы знаменитых людей: полководцев, святых, завоевателей, вожаков, реформаторов, фанатиков, сжигавших на кострах руки, произносивших бессмертные, «остающиеся в веках» изречения, изумлявших своей храбростью и стойкостью. Их, этих простых людей труда, не изумляли и не могли изумлять легенды, сказания, исторические рассказы о подвигах этих героев. Когда я с наивным и глупым воодушевлением рассказывал им о них, они слушали внимательно, но больше из вежливости, слишком поспешно и с удручающей готовностью соглашались, тут же, видимо, забывая о рассказах. Я объяснял их равнодушие их отсталостью, темнотой, но потом убедился, что им незачем было восхищаться моими героями, так как вся их жизнь была героична изо дня в день. Жизнь и труд их, окружающая обстановка воспитывали в них мужество, отвагу, смелость, решительность, самоотверженность, выносливость, общность. Мне приходила на память эпичность гомеровских повествований о смерти героев в гибельных боях под стенами Трои: «Выпала внутренность на землю, и тьма ему очи покрыла...», «вниз он свалился, и тьма ненавистная им овладела...», «в прах он свалился и медь холодную стиснул зубами...». Но по-своему были эпичны и их косноязычные, бесхитростные и обыденные сообщения о ежедневных увечьях, о смертях и болезнях. Их тоже покрывала ненавистная тьма, у них выпадали внутренности, наматываясь на какой-

нибудь маховик, их разила беспощадная медь, и они рассказывали об этом спокойно и ровно. И им незачем было преклоняться пред тем, пред чем привыкли благоговеть образованные, интеллигентные люди, освобожденные от непосредственной борьбы, грудь с грудью, со стихией природы... Я видел, что под спудом жизни, под серым, скучным и невзрачным ее покровом таится отважная, героическая жизнь и ею живет тьма тем людей. И от этого сознания все кругом начинало казаться лучше и радостней. Я привыкал в неприглядных облициях людей чувствовать и находить крепость и мужество. С особым отвращением я стал относиться к газетным и журнальным статьям, к отчетам, к некрологам, где описывалась жизнь знаменитых политических воротил, дельцов, ораторов с неумеренными и лживыми восхвалениями их, с преувеличениями, с неискренним пафосом и ложью, явной для всех и все же принимаемой всеми изо дня в день. Это настроение тогда было во мне сильнейшей логики, рассудка.

Председателем правления союза состоял Никита Лопухов. Что-то упорное, непреложное, уверенное в себе чувствовалось в его коренастой фигуре, в тяжелых и не в меру больших руках, с огромными мослоками, в его изрытом ямами кирпичном, бульдожьем лице с дубленой кожей, в сильных скулах, в квадратном подбородке, в прочной, широкой спине, в его грузной, неуклюжей походке. Он говорил, с трудом подбирая слова, как бы медленно бросая один булыжник за другим, и медленно, жерновами, ворочались в нем мысли. Речь его неизменно начиналась словами: «В это дело бесспорно надо запустить щупальцы»... При этом он поднимал правую руку, отставлял в сторону локоть, растопыривал красные волосатые пальцы, скрючивал их и делал с силой такое движение, точно в самом деле он что-то хватал в воздухе. Дальше шло тугое изложение, в каком именно смысле в дело нужно запустить щупальцы, при чем движения Лопухова были тоже медлительны и вески. Мнение свое он никогда не высказывал первым, долго шевелил рыжими бровями, но, высказавшись, стоял на своем, и его почти невозможно было переубедить. Он очень любил «ученость», книги и газеты читал, надев старые очки; шуток над собой не признавал и сам шутить не любил и не умел. Про «ученость» Никита рассуждал:

— В это дело нашему брату бесспорно нужно запустить свои щупальцы. Потому и облапошивают нас, дураков, что неучи мы, сиволдаи... Ты думаешь, об чем я жалею? Я об труде не жалею, об том, что харкотина у меня с кровью, — я тоже не жалею, и что спина согнулась, я об том сожалею, что всю жизнь неучем остался. Мне теперь пятьдесят первый год пошел; ты поучись-ко в такие годы. Возьмешь в руки перо, а пальцы-то не владают, не сгибаются. Книгу начнешь читать, буквы сигают в глазах, как блохи какие. Пока доберешься до нутра, все зенки проглядишь, и в голове муторно делается. Читаешь — аж вспотеешь весь: здорово, а непонятно.

В делах Никита разбирался с осторожным упорством, никому и ничего не доверяя на слово, — перечитывал бумаги, которые я давал ему подписывать, несколько раз, на лбу у него собирались длинные складки, и на висках резко проступали склерозистые жилы; фамилию свою выводил, старательно выписывая буквы величиной почти в дюйм. — Скажи на милость, — говаривал

он мне, сличая свою и мою подпись, — у тебя письмо птахой вьется, а у меня дубом лежит. — Он имел склонность к нравоучениям, любил, как он сам же выражался, «осадить паренька».

— Ты погодь, любезный, — перебивал он кожевника, который рассказывал ему о подготавливаемой стачке, — ты мне не тово... не лотоши, ты говори толком. Сколько время можете продержаться против хозяина сами? В союзе денег нет, надежа вам только на себя. Какой у вас расценоч? — и он подробно и педантично входил во все мелочи производственной жизни.

Никиту уважали, его слушались, на него полагались, но шутки, смех, прибаутки, грубоватый и соленый юмор слышались в правлении, когда появлялся Серега Тульшин. Возраст Тульшина был неопределенный — от двадцати пяти до сорока лет; длинная, тощая «гусиная» шея с большим кадыком нетвердо держала его голову. На костлявом землистого цвета лице торчал свернутый в сторону нос с горбинкой, с непомерно длинным разрезом ноздрей, которые постоянно что-то вынюхивали. Острые, озорные глаза беспокойно и задиристо шарили кругом; их окаймляли сети мелких и мельчайших беспечных и добрых морщинок. Был Тульшин худ, узкогруд, ходил раскачивающейся походкой, точно намереваясь задеть кого-нибудь, носил синие рубахи «без подпояски»; на голове блином сидел с изгрызанным и поломанным козырьком картуз до того грязный, что уже давно нельзя было определить, какого он цвета. Картуз он никогда не снимал и, когда кто-нибудь в шутку сбрасывал его, Тульшин даже сердился, что, впрочем, происходило с ним крайне редко. К жизни он относился легко, беззаботно, имея вид прохожего: ходит человек по земле, поглядывает с любопытством, как живут люди, но сам как бы в стороне, — люди ему все одинаково интересны, все у него — приятели, друзья, но больших привязанностей нет. На шее от правого уха у Тульшина шел глубокий, уродливый шрам. На вопрос, где он его получил, Тульшин ухмылялся.

— Бог шельму метит. Ты спроси сперва, где я не бывал и чего я не делал? Плотником был? Был. Столяром был? Был. На кирпичном заводе работал? Работал. Смазчиком служил? Служил. На плотях плавал? Плавал. В шахтах уголь добывал? Добывал. И на земле, и под землей, и на воде, и под водой, все я произошел. Только по небу не летал, но... дай срок, полечу, однова дыхнуть, полечу, хучь кубарем... Вот то-то и оно. А ты спрашиваешь, где меня саданули. Слава богу, что живым пока остался. По моей жизни давным давно пора шею двадцать разов сломать и православных на погосте пугать... не то что... рубец какой иметь... Ножиком меня приятель тронул... И приятель-то был знаменитый, а пырнул.

Я спросил Тульшина, есть ли у него семья. Он шмыгнул носом, с легкой издевкой над собой ответил:

— Очень я даже семейный. Только супружница-то моя убёгла от меня. Говорят, с бондарем на селе спуталась. А почему — тому главная причина через мою неосновательность лежит. Взял я ее, когда в батраках в одной економии служил, — взял и привез ее, трясогузочку, в свои, в городские палаты. Огляделась она, и ну прыскать на меня словами разными: — Безусловно, — говорит, — ты — подлец и последний галах и меня оманул. — Где же, —



спрашиваю ее, — я тебя оманывал, и почему я есть подлец? — А потому ты подлец, что наговорил мне в женихах нивесть что, ужаси ужасенные, а выходит на поверку — есть у тебя одна конура собачья. Где, — говорит, — у тебя, у бесстыжого, корова, про которую ты брехал мне, — и где у тебя ящик с музыкой, и где перина пуховая? — Корова, — отвечаю я ей, — у меня есть, только содержится она у мамыши. Неужто могу я держать корову у себя в городе, где даже цыкнуть после затяжки некуда? Образумься, милая! У мамыши корова. Помрет мамыша, вся твоя корова будет, и даже с приплодом, можешь доить ее с утра до вечера и пить молочко парное для здоровья. Ящик с музыкой — мечта моей жизни, и я беспременно куплю его, а перину пуховую, должно, упер без меня мой приятель; имею подозрение, что пропил он ее в доску. — Поплакала жена, поругалась, потом мы помирились и жили очень приятно: бабочка хоть куда, трясогузочка, и хозяйство любила. Только какое же у меня хозяйство, спрошу я вас? Хозяйство у меня, конечно, самое малое... Ну, цветочки она там разводила, птицу-синицу купит. Да ведь какой же ей толк в этих геранях и синичках, ежели от нее, жены-то, за версту женским жаром полыхает. Прискорбно ей было, это уж так. Сядет, бывало, на лавку, залется слезами, плачет одним словом. — Что это, — говорит, — за жизнь такая; ничего-то у нас, ничегошеньки нет! Тараканы — и те гнушаются нас. — Я тоже у окошка сяду, ручкой голову подопру, гляжу, как галки со двора дрянь всякую таскают. Скучать стал. И работа надоела. Смотрел — смотрел, да недели на две и загулял. Тут вдобавок приятель аховый подвернулся. Очухался, гляжу — бабочки моей и следа нет; в деревню к своим уехала. Уговаривал я ее, два письма написал, не пошла. Так у нас все и кончилось.

Никита качал головой, замечал Тульшину с укором:

— Щупальцы тебе, Серега, в волосья надо запускать; отдашь ты свою душу ни за што ни про што.

Тульшин весело и с готовностью соглашался:

— Это ты верно сказал, Никита, — ни за понюшку табаку пропаду.

Иногда он приходил в правление навеселе, но слишком пьяным я его никогда не видал. Он возбужденно толкался среди кожевников, вмешивался в разговоры, хитро и приятельски подмигивал, егозил, притаптывал, при-свиствывал, хлопал по плечу.

— И — эх, дорогие мои! Чего я хочу, чего я желаю?! Я добра желаю трудящему народу, боле мне ничего не надо. Сымай с меня штаны, раздевай до тла, бери мой кисет — ничего не скажу. Суму в дорогу всегда найдешь, а не найдешь — она... сама тебя найдет. Да-к чего ж я беспокоиться буду, а?

Он нелепо размахивал руками, и, когда оборачивался задом, было видно, как болтались и свисали мешком его брючишки с заплатами и свежими прорехами.

Увидев меня, он подходил к столу, задира л козырек, с удивлением и одобрением говорил, обращаясь к собравшимся:

— Сидит! Ну, ну, сиди. Пиши, браток, про нас в книгу свою, едят те мухи с комарами! Размазывай чернила, старайся за нас! Ты не думай, мы возблагодарим тебя, на руках понесем и... не грохнем, прямо как в ката-

фалке, по первому разряду... привезем...—Удивившись еще более:—Чудное дело, — с очками промежду нас появились и служат нам, ей-богу! А почему служат? Потому служат, что силу нашу несметную понимать стали, потому, — он ударял себя в грудь, — потому: пролетарии всех стран, об'единяйтесь! Очень даже просто...

Выполняя обычную работу секретаря, я старался также подобрать группу наиболее способных и революционных рабочих. Я ее составил. В группу вошли пять-шесть кожевников и три молодых ткача. Мы собирались два-три раза в месяц. В условленный вечер Тульшин, входя в комнату правления, щурил глаз, гримасничал, намеренно придурковато спрашивал:

— Кажись, сегодня заседание правления будет?

Никита поучал его из-за стола, медленно поднимая от бумаги взгляд:

— Будя паясничать, тут тебе не трактир.

— Да я что ж, наше дело с боку.

Подвал скудно освещался лампой, пахло керосином, махоркой. Окна завешивались. Кидая мрачные, уродливые тени, рабочие молча рассаживались у стола, покрытого темной клеенкой, изрезанной и залитой чернилами. В комнате было холодно. Пододвигалась железная печка; прибавлялся запах дыма, от него першило в горле, ело в глазах. Вспоминались таинственные собрания заговорщиков, но лица собравшихся были обычны. Никита сурово и хозяйственно оглядывал членов кружка, точно проверял их, стучал по столу казанком пальца или карандашем, торжественно произносил:

— Слушайте товарища лектора.

Вначале я всегда смущался: не считая молодых ткачей, слушатели были люди пожилые, семейные, много видавшие и испытывшие; казалось, что учить их нечему и что они не доверяют мне. Я глухо, неуверенно, с трудом подбирая слова, путался. Но в угрюмой сосредоточенности рабочих, в сдержанных покашливаниях, в их деловитой серьезности я уже ощущал молчаливое поощрение и одобрение. Их вид как бы говорил мне: — Ничего, ничего, ты не стесняйся. Из того, о чем ты рассказываешь, не все нам понятно, нужно и интересно; и жизни ты нашей не знаешь и толкуешь о ней лишь по книжкам; но книжки твои неплохие. Ты говори, а уж мы сами разберемся, что к чему и зачем. — Я замечал у них и снисходительность, но, соединенная со скрытым и сдержанным дружелюбием, она меня не обижала. И голос мой крепнул, речь делалась плавной. Мимолетная улыбка, сочувственный вздох, оброненное односложное замечание: — правильно, верно, — поощряли и одобряли еще больше, я знал тогда твердо, что беседа ведется так, как нужно. Потом члены кружка задавали вопросы, переходившие в общий оживленный разговор. Кривой кожевник Семен, с густейшей бородой, осипшим голосом выпрашивал осторожно и с недоверием, как социал-демократы и большевики относятся к крестьянам. Он начинал говорить издали:

— Слышал я, что в остатных странах крестьян совсем порешили: одни фабрики там, и вся земля под заводы пущена... Как это надо понимать?

Я раз'яснял, что мы думаем о положении крестьян на Западе и у нас. Впиваясь в меня одним глазом, — другой у него был с бельмом, — Семен допытывался в упор:

— Значит, прирезка земли будет от вас?

Я отвечал, что будет. Семен подробно интересовался, какая именно будет прирезка, в заключение решительно говорил:

— Ежели прирезка, да ежели помещиков уберут, и государственные угодья и леса будут для крестьянства, — тогда нас ничем не порешат. Мы тогда землю вот, в кулак зажмем; у нас ее никакой силой тогда не достигнешь, — костями крестьянство лягит, а землю-кормилицу не упустит.

Никита вразумительно возражал Семену:

— Ты о своем только думаешь, о деревенском. Обо всех надо заботу иметь, о рабочем человеке, — чтобы всем сообща хозяйство вести и в городе и на селе.

Семен закрывал кривой глаз, пристально смотрел в темноту, на стену, поверх голов слушателей, сдержанно заявлял:

— Против того я не говорю. Только сообща пролетарию жить нужно, а мужик — он в свое ведро глядит. Без мужика России не быть, а ему без земли не жить.

— Опять же ты, голова, не туда попадаешь, — раз'яснял ему Никита. — Зачем тебе Россия, если все страны в согласии жить станут, кустом то-есть. Сказано тебе: «С Интернационалом воспрянет род людской». — Никита подымал указательный палец.

— Это как есть, — неопределенно соглашался Семен.

Тульшин, уже давно нетерпеливо ёрзавший на табурете, срывался, заявлял неожиданно:

— А я, братцы, когда будет этот самый Интернационал и полная социальность, коней заведу, ей-богу! Ух, какие кони у меня будут; гривастые, звери-кони, птицей полетят в поднебесье! Первое дело.

— Для чего себе, Серега, кони? — перебивали его. — Хозяйством, что ли, заниматься будешь?

— Нет, какое тут хозяйство! Не хозяин я... А так... для потехи молодецкой. Упряжь добуду с бубенцами серебряными, вожжи натяну малиновые али голубые... Эх, взвивайтесь, соколы: Серега Тульшин в... социализм в'езжает... без никаких... в чем мать родила. Сторонись!.. Рабочий люд гуляет!

Ткач Афанасий с тонким, нежным и аскетическим лицом вдумчиво останавливал расходившегося Тульшина:

— Будет тебе, Сергей, огород городить. Не доскачешь ты до социализма с конями своими: рвов очень много.

Слушатели подтверждали:

— Уनावозят кровушкой нашей землю, напоят ее досьята, досьяна.

— Детишек жалко.

— А без этого нельзя. Не выются для нас торные дороженьки.

Семен упрямо подтверждал, будто подводил итог:

— За землю лягим.

— А я тебе крест... осиновый вколочу, — шутил Тульшин.

Я уходил с собрания, точно под'ятый теплой волной. Мои чувства и мысли обострялись, раскрываясь для всего мира. Я переживал счастье даю-

щего и не требующего себе ничего взамен. В такие моменты я снова и снова без сожаления готов был сидеть в тюрьмах, вновь испытывать ссылку, унижения и лишения.

Окольными путями я получил от Валентина с юга записку и в ней явочный адрес. На явке меня принял тощий, чахоточный товарищ. Кличку я его забыл. Я узнал, что в Москве происходят непрерывные аресты, организация никак от них не может оправиться. Видна рука опытного и до сих пор неведомого провокатора. Не хватает организаторов, пропагандистов. Товарищ одобрил мою работу среди кожевников и ткачей. Мы собирались уже расставаться, когда в квартире послышался настойчивый звонок. Мы сидели в спальном комнате; дверь в столовую была чуть-чуть открыта. Мы заглянули в щель и онемели: в столовой стоял пристав и два городовых. В следующее мгновение мы бесшумно прокрались в дальний угол. Трясущимися руками мой товарищ начал шарить по карманам, рвать тонкие листки с пометками и адресами. Из соседней комнаты доносился спокойный бас пристава: — Сударыня... прошу вас... мой долг... вы меня простите... — Видимо, он объяснялся с хозяйкой квартиры, зубным врачом. Прислушиваясь, мы убедились, что речь идет о каком-то не то налоге, не то штрафе, который наша хозяйка отказывалась признать справедливым. Она не думала сдаваться, возражала приставу очень решительно и с раздражением. Это несколько успокоило нас. Прошло минут десять. Пристав повышал голос. Мы проклинали последними проклятиями и пристава и еще больше хозяйку. Мой товарищ качал головой, грозил кулаком, пожимал плечами, ломал пальцы, беззвучно поднимался и вновь садился на кровать. Я крутил конец одеяла. Потом до нас долетела фраза: — В таком случае, я вынужден буду, сударыня, приступить к описи. — Мы вновь замерли на месте. Мой товарищ прокрался к окну, заглянул на улицу, но окно находилось на третьем этаже. Неизвестно почему, я лег на кровать... Голоса стали раздаваться глуше, потом совсем замолкли, хлопнула дверь, — мы заглянули в столовую, хозяйка была одна. Видимо, она уступила приставу. Мой товарищ не выдержал, ворвался в столовую. — Идиотизм, глупость! — заорал он на хозяйку. — Чорт бы вас побрал! Ведь и вас и нас едва не арестовали! — Хозяйка, обескураженная его неистовыми криками, пыталась оправдаться. Товарищ, не дослушав ее, сорвал пальто с вешалки, не простившись, потащил меня из квартиры. На улице мы условились о встречах.

Зиму и весну я спокойно ходил к кожевникам. Я завел себе тетрадь, куда записывал рассказы и сообщения рабочих о быте их и жизни; из них составлялись небольшие статьи и заметки; я посылал их в зарубежный наш орган или передавал в профессиональную газету. Газета выходила два раза в месяц, меняя редакторов. Летом, в один из вечеров, когда я шел в правление союза, на перекрестке на меня налетел оборванец, толкнул больно плечом в грудь. В оборванце я не сразу узнал Тульшина. Свернув голову в сторону, не глядя на меня и, очевидно, конспирируя, он скороговоркой, надсадно и зловеще прошептал:

— Поворачивай, друг, оглобли. Скорей. Обыск у нас вчерась в правлении был. Засада там сидит. Должно, тебя дожидают.

Он сделал уморительные и непонятные знаки пальцами, дернул козырек, быстро перешел на другую сторону улицы, смешался с толпой прохожих. Все это произошло неподалеку от помещения союза, у церковной ограды. Я торопливо пошел вдоль нее, осторожно оглядываясь и прислушиваясь к шагам сзади меня, — в недолгом времени заметил, что за мной следует человек в сером пиджаке и в синих брюках, заправленных в высокие сапоги. Я пересек улицу, направился в переулочек: человек в сером пиджаке от меня не отставал. Так как в квартире союза сидела засада, то преследование сыщика имело один смысл: меня хотели арестовать. Я зашагал быстрее, сыщик не отступался. Я почувствовал, будто к моему затылку прилипает его сверлящий взгляд, колена мои задрожали, я стал задыхаться. И прохожие, и улица, и пыльные деревья, и дома показались вдруг чужими и далекими. Стараясь вернуть себе спокойствие, я увидел в конце переулочка одинокого извозчика, заспешил к нему. Сыщик находился шагах в двадцати. К извозчику я почти подбежал, хотел сесть в пролетку, но в это время на улице, куда выходил переулочек, остановился трамвай; я бросился к трамваю, сел — он уже трогался. Сыщик опоздал. Он сделал попытку его догнать, но трамвай пошел быстро под уклон. У сыщика возбужденно блестели глаза, он бежал, бестолково размахивая руками, сгорбившись и спотыкаясь.

Домой возвращаться было безрассудно, я ночевал у Ашмурина. В комнате у просфорни остались паспорт и вещи. Вдобавок недели за две до обыска я потерял связь с организацией: товарища, принимавшего меня, арестовали. Я не мог уехать из Москвы и укрывался пока у знакомых, тщетно размышляя о том, что делать дальше. Несколько ночей я провел у Ашмурина, но мне показалось, что у его квартиры появились филеры, я перестал к нему заходить; потом он уехал к родным в деревню.

Я перебрался к землячке Александре Петровне. В непосредственной работе организации она участия не принимала, но никогда не отказывалась от постоянных услуг: собирала деньги, вещи, носила в тюрьмы передачи, кормила нас обедами, давала приют. У этой гибкой белокурой, с синими участливыми глазами приятельницы был один недостаток: она любила «спасать от переживаний». Я приходил к ней измученный и удрученный, наскоро ужинал (и обедал), уходил в отведенную мне комнату, валялся в изнеможении на кровать, — дверь тихо отворялась, входила Александра Петровна, присаживалась на край постели, глядела на меня сострадательно и нежно, вздыхала и спрашивала, что у меня «на душе». Я отвечал, что на душе у меня переутомление; еще я желаю добыть паспорт и уехать. Она вздыхала снова, заглядывала в глаза, укоризненно уверяла: — Нет, вы от меня что-то скрываете. Вас надо спасти от ваших переживаний. У вас печальные и глубоко запавшие глаза, и веки покраснели. Скажите, что с вами, я умею слушать. — Я благодарил ее, повторял, что никаких переживаний, от которых следовало бы «спасаться», у меня нет, что веки покраснели, вероятно, оттого, что я не высыпаюсь. Александра Петровна продолжала допытываться: может быть, мне не хватает личного счастья, может быть, я угнетен неудачами революции, может быть, я одинок и разочаровался в людях. Когда и на эти вопросы я давал отрицательные ответы, она упрекала в скрытности, в том, что я

не хочу поделиться с ней переживаниями. При всей дружбе, при всем расположении к Александре Петровне должен с откровенностью признаться, что с тех самых пор и до последнего дня я возненавидел слово «переживание» жгучей ненавистью, и оно теперь продолжает вызывать во мне состояние, близкое к головокружению.

Так как «спасать от переживаний» Александре Петровне меня не удалось, то она «спасала» от них себя и просила и меня в том оказать ей содействие. «Переживания» ее отличались сложностью. Муж Александры Петровны принадлежал к старинному, известному в наших краях дворянскому роду. От него Александра Петровна родила двух очаровательных мальчиков. Ее свекор и свекровь, владевшие доходной и большой усадьбой, находили брак сына неудачным и несчастным: они не переносили, что Александра Петровна исповедывала «отщепенские» и «нигилистические» взгляды. Они заставили своего сына воспитывать детей у себя. Уже одно это очень огорчало мою подругу. Но за последние два года к этим огорчениям прибавились и новые. Ее муж влюбился в ее подругу, женщину, действительно, обаятельную. Александра Петровна страдала и от «непростительного» отношения к ней подруги и оттого, что у нее отняли детей, и еще оттого, что сама она влюбилась в брата своей подруги. Я застал ее в Москве именно в такое время, когда она не знала, что делать. Она часто спрашивала, как ей быть. Мои ответы ее не успокаивали. Я отвечал, что опытом в делах семейных не обладаю, либо я соглашался со всеми ее предложениями. Александра Петровна корила меня за отсутствие глубины, за незнание психологии и за равнодушные. Тогда я советовал ей «отряхнуть прах от буржуазных устоев», отринуть мещанское счастье и не погрязать в бытовых мелочах. На это она возражала, что не понимает, почему материнскую любовь я называю мещанским счастьем, и что мне чужды ее «переживания». Она находила меня черствым и бездушным. Я соглашался и с этим и приводил ее еще в большее отчаяние.

Все это, однако, не помешало тому, что Александра Петровна сделала попытку вырвать мои вещи и паспорт у просфорни. Она сходила к ней с моей запиской под видом двоюродной сестры. Я опасался, что ее арестуют, но ее не арестовали. Выяснилось, что у меня произвели обыск, три дня сидела за сада. Вещи Александре Петровне удалось заполучить, но паспорт при обыске взял пристав и охранники. В эти же дни к Александре Петровне приехал свекор, холеный барин. Увидев меня, он объявил ей, что не желает встречаться в квартире своего сына с темными личностями, которые либо в карманы норовят залезть, либо готовы бомбу бросить. Александра Петровна мужественно отстаивала свои права принимать кого угодно, но я предпочел у нее пока не ночевать.

Я зашел к Милютину. Ранней весной, увидев меня в поддевке, которую я получил в подарок от Александры Петровны, он нашел, что мой вид в ней слишком приметен, навязал демисезонное пальто, видимо, тоже не свое, потому что он был значительно выше меня ростом, а пальто пришлось мне в пору. Зимнюю поддевку я оставил у Милютина. Теперь я вспомнил и о поддевке и о Милютине. Его квартирохозяин, содержатель грязной пивной, осмотрев мою фигуру весьма внимательно и подозрительно, сначала заявил,

что Милютина нет дома, затем спросил, зачем он мне нужен. Я ответил, что оставил у Милютина зимнюю поддевку. — Поддевка была, была поддевка, — ответил трактирщик, что-то обдумывая. Он вышел из-за стойки, подойдя ко мне вплотную и оглядевшись, — хотя трактир пустовал, — сурово и внушительно прошептал:

— Вот что, парень, убирайся ты лучше отсюда скорей подобру поздорову. Приятеля твою взяла полиция, а таких, как ты, приказано доставлять с дворником в участок. Уходи.

Я скатился с лестницы, прошмыгнул мимо дворника в воротах с отчаянным и оторопелым видом. Дорогой решил, что меня спас разговор о поддевке.

Я остался на улице: Днем сидел в библиотеках, посещал музеи, картинные галереи, давал уроки, вечером садился в трамвай, ехал к Покровскому-Стрешневу либо на Воробьевы горы. Моим излюбленным ночным местом была на горах старая беседка, которую весной показал мне Ашмулин. Он называл ее Инсаровской, утверждая, что в ней встречались Инсаров и Елена. Стоял зрелый и сухой конец июля. Огромная черная ночь спускалась на землю. Я ложился на скамью с расстроенным воображением, придавленный и как бы побежденный сплошной, глухой тьмой. Меня окружало нечто опасное и многоликое. Темный куст разрастался на глазах, преобразаясь в уродливое и безобразное чудовище, — сходил с места, приближался и вдруг расплывался. Узкие просветы меж деревьев качались удавленниками на сучках; кто-то махал рукой, кто-то расставлял пухлые лапы, ловил меня; кто-то стоял не дыша, следил за мной, притаившись, припавши к земле, — шуршал, ломал ветки, видимо, подбираясь и угрожая. Кругом все зловеще и беззвучно шевелилось: шевелились звезды, края туч, кусты, вершины деревьев, вся земля и все небо. Нужно было сделать большие усилия над собой, чтобы восстановить мир обычных видений и звуков. От ночной свежести и лесной сырости ломило в костях, я дрожал от холода, кутался в пальто, подгибал ноги, сжимаясь в комок. Лежать на гнилой скамье было неудобно, я чувствовал себя отверженным и близким к отчаянию. Меня выгнали, вытолкнули, выбросили из жизни. В тщетных поисках проходят дни, недели. В городе, где сотни тысяч людей, я не могу найти немногих друзей. Где вы, мои отважные товарищи? Горят огни далекого города, но и они так же враждебны, как шевелящаяся домовыми, лешими, удавленниками, вурдалаками неизбежная, томительная ночь. И не обратился ли весь мир против меня в филера и сыщика? Нет ни у кого ко мне участия. Мои невозвратные годы! Если не сгину в тюрьме, настанут дни заката, потускнеют глаза, выкрошатся зубы, дряблые и скучные морщины лягут на лицо мое, будут трястись руки, помутится рассудок, и холодны будут желанья мои, надвинется вечная тьма и поглотит меня равнодушно. Что испытал, что пережил я для себя?! А где-то поблизости есть материнская милая ласка, детская радость, семья, любовь женщины, ее розовое тело, искусительный запах волос, взгляды, которые падают, как звезды в августовские ночи: от них и страшно и хорошо... Но лишь только в моем воображении возникал неясный женский образ, томивший меня, приходила на помощь давнишняя привычка, — она выработалась в тюрь-

мах, в ссылке и еще раньше в бурсе. В своих скитаниях, где жизнь с женщиной является помехой, я приучил себя отгонять пленительные искушения. Зато я любил отдаваться своим ребячьим мечтаниям. Я воображал себя капитаном таинственного «Наутилуса», в океанских зеленых пучинах топил вражеские броненосцы с тяжелыми и медленно вращающимися стальными башнями, с жадно торчащими жерлами пушек. Я расправлялся с сановниками, с губернаторами, с начальниками тюрем и охранных отделений. Я делал ночные стоянки у больших городов, — жаль, что Москва не на берегу океана! — неуловимый, я разбрасывал, пользуясь своей испытанной командой, воззвания с дерзкими и яростными призывами, удалялся к пустынным берегам, к неприступным скалам и там сторожил очередную жертву... Недурно также сделаться знаменитым взломщиком касс, чтобы полиция охотилась за мной (она и без того за тобой охотится, — насмешливо и ехидно прервал бег моего воображения кто-то другой во мне и будто посторонний). Я совершаю ряд ограблений, деньги отдаю в партийную кассу, наша организация получает мощную поддержку... Иногда мои мечтания принимали идиллическое направление. Мне хотелось стать сельским учителем (кто же тебе мешает в этом? — вопрошал другой, посторонний). Кругом веселый детский гомон, галдеж. Я рассказываю маленьким друзьям удивительные истории, от них у детей блестят глаза и вскидываются ресницы, — за школой тепло зреет рожь, цветут васильки, хрусталом звенят жаворонки... Не худо бы и заболеть, лежать в жару на постели с чистым и свежем бельем. (Ага!) Наступают мирные сумерки, за стеной кто-то играет на рояли. Рядом со мной на стуле молодая сиделка (долой!), у нее заботливые руки, пальцы нежно просвечивают (долой, долой! пальцы не просвечивают в сумерках!); она склонилась над книгой голову, ее профиль мягок, губы полураскрыты (долой, долой, долой!)... Я в Швейцарии среди эмигрантов, каждый день встречаюсь с Плехановым и с Лениным. Ленин очень ценит меня, предлагает остаться за границей, совместно редактировать центральный орган: у меня талант публициста и критика. Но я отказываюсь; мое место там, в России. Я еду туда укреплять группы и комитеты, живу нелегально (—Ты и так живешь нелегально и даже без паспорта...—бррр, как холодно!)...

Одно сновидение запомнилось мне из тех дней. Я лежу где-то в незнакомом доме. В комнате кто-то есть; темнота не позволяет разглядеть, кто именно. Мне страшно. Я осторожно натягиваю на себя одеяло, кутаюсь в него с головой, боюсь дышать, боюсь шелохнуться. Я чувствую, что неведомое существо приблизилось, садится на кровать, медленно открывает одеяло. Ужас охватывает меня, с трудом я еле протягиваю вперед руку... Рука касается теплого, упругого плеча, и я уже знаю, — это сидит Ирина, небывалое счастье потрясает меня... Я просыпаюсь. Налево чернеет южный край неба, видимый сквозь прорезь деревьев. Звезды кажутся золотыми плодами на концах веток. Они качаются вместе с ними. Окрест одинокий покой, ночь еще длинна, ночь огромна; на руке у кисти еле слышно, мелко и безразлично тикают часы...

Утром я вставал с болью в костях, одежда была мокра от росы. Чтобы согреться, я делал гимнастику, солнце встречал, как избавление. Я уди-



влялся своим ночным настроениям и мыслям. Делалось непонятным и стыдным, что я, профессиональный революционер, заражался ночными страхами, что меня одолевали глупые детские мечтания. Я шел в город, с нетерпением искал раннюю чайную.

Я сидел на бульварах, в садах, купался в реке, лежал на берегу, часто бродил около Кремля, — здесь у меня было любимое место, я забывал из-за него даже филеров. Место это находилось между кремлевской стеной и Василием Блаженным. При под'еме со стороны Москвы-реки я останавливался, несколько не доходя до церкви. Справа вставала пыльная, раскосая, расписная Азия: маковки, похожие на чалмы, на шатры, на еловые шишки, притворы, по которым вот-вот с посохом в руках начнет спускаться Иван Грозный с пронзительным, с сумасшедшим взглядом. Во всем стиле Василия Блаженного — что-то осевшее, толстозадое, жирное, округлое, плотское. Иногда церковь напоминала разряженную купчиху, присевшую и распутившую цветистый пестрый подол. А напротив, слева поднималась кремлевская стена с выдвинутой вперед Спасской башней. Эта часть Кремля возвышалась средневековым замком. Тут — умеренная готика, уходящие в высь воздушные и легкие прямые линии, шпили, бойницы, ворота, которым не доставало только рва и под'емного моста. И стены и башня говорили о творческом полете человеческого духа и об его истории. Европа вплотную здесь подходила к Азии. Азия и Европа смотрели друг на друга в старинном и знаменательном соседстве, однако, все же обособленные и друг другу противоположные. Не такое ли лицо и у России; одна сторона азиатская, варварская, буддийская, животная, а другая — европейская оплодотворенная творческой волей и мыслью? И до сих пор это место остается для меня самым любимым и пророческим.

Уличные и ночные скитания продолжались недели две, пока не уехал свекор Александры Петровны. Случайно на улице я повстречался с ткачем Афанасием. Он рассказал, что полиция произвела обыск и у Никиты, но его не арестовали. Это меня утешило, но оставаться в Москве дальше было бессмысленно: рано или поздно я попадусь на глаза филерам, и тогда меня возьмут в тюрьму. Я решил поехать на родину: может быть, там удастся достать паспорт. Александра Петровна помогла собраться в дорогу, дала денег и крашенный солдатский сундук, не преминула лишний раз упрекнуть в том, что я скрываю от нее свои «переживания». Я хвалил ее за помощь, в переживаниях не сознался за исключением одного: как бы на вокзале не задержали филеры. Но филеры на вокзале меня не задержали и, когда поезд тронулся, от радости я даже переглянулся из окна с остроглазой дамой в сиреневой шляпе, гулявшей по перрону.

### В родных краях

Родной город показался мне чужим и убогим. Будто в первый раз я увидел, что улицы пустынные, пыльные и грязные, что город врос в землю, приниженно сгорбился, одряхлел, лежал в трясинах, в гнилых и ржавых болотах, что живут в нем неряшливо, скучно, недостойно и что в нем самое

заметное: монастырь, три пожарные каланчи, дом для дворянских собраний и магазин Шоршорова. Всего лишь несколько лет тому назад мне увлекательной казалась каждая прогулка по городу, каждая отлучка из семинарии куда-нибудь к знакомым, к приятелям, на собрание кружка, когда я тайком пробирался к калитке, оглядываясь по сторонам, дабы избежать встреч с надзирателем или инспектором. «Неужели, — думалось мне, — здесь ходил я по Покровской, по Долевой улице, погруженный в восторженную мечтательность, обуреваемый надеждами, порывами, точно кругом меня летали стаи сизокрылых голубей? Куда все это подевалось?..». Я побродил около семинарии. Из открытых окон доносился знакомый привычный шум, крики, пенье, игра на скрипке, — на подоконниках лежали, выглядывая на улицу, молодые, усатые семинаристы. Попрежнему из столовой и кухни пахло кислой капустой, печеным аржаным хлебом и квасом, и так же, как и раньше, голубел тяжелый купол над зданием, лежала за берегом тихая Цна, раскидывались поёмные луга, чернел вдали лес, — но и лес, и луга, и город стали мельче, я смотрел на них как бы через бинокль, если его приложить к глазам обратной, уменьшающей стороной.

В поисках друзей и знакомых я зашел к Лукьяненко. Семья Лукьяненко по-старому жила за городом, в дачной местности. Каменный помещичий дом, когда-то дородный, блиставший белизной, — разваливался. Окна с выдавленными стеклами были забиты изнутри досками, крыша проржавела, железные листы оторвались местами от стропил, свисали жалкими лохмотьями; рукава желобов валялись на углах в кучах щебня и мусора. Лукьяненко ютились в невзрачном и тесном флигеле, окруженном большим заглушим и запущенным садом. Дорожки заросли травой. На них густым слоем лежали опавшие листья, сухие ветки, еловые шишки, иглы, вороньи и галочки перья, битое стекло. У яблонь гнили никем не подбираемые яблоки, пахнувшие спиртом. Буйно росли крапива, лопухи, дикая и горькая полынь.

Несколько лет тому назад здесь собиралась революционная молодежь. С вечера и до утра ожесточенно и беспорядочно спорили, убеждали, опровергали. В лунные летние ночи отправлялись к Цне кататься на лодках или бродили по аллеям, пели, смеялись, влюблялись, ревновали. Хозяйка Олимпиада Григорьевна, урожденная Алексеева, в молодости ходила в народ, привлекалась по делу 193-х, ее хорошо знал Морозов; кажется, она была его первой любовью. Когда я учился в семинарии, Олимпиада Григорьевна имела большую семью. Брак ее был неудачным. Муж, захудалый помещик, служивший в акцизном управлении, занимался прожектерством; то разводил свиней невиданной в наших краях породы, то покупал необыкновенных рысаков, то строил мельницу, то вырубал сад для новых посадок по способу, известному лишь ему одному, то пускал по городу для блага и удобства обывателей дилижансы, которые смогли бы заменить недостающую конку. Деревья в саду редели, мельница не достраивалась, свиньи дохли, а в дилижансах ездили одни лишь дети Лукьяненко и их знакомые. Таким именно образом он промотал свое состояние без особых затруднений. Олимпиада Григорьевна билась из-за каждой копейки, воспитывала детей в

гимназиях и еще ухитрялась кормить прожорливую ораву студентов, курсисток, артистов и артисток, поэтов и поэтесс. Принимала она всех по-матерински, любила давать советы, вспоминала семидесятые годы.

Я нашел ее очень постаревшей и еле ее узнал. У нее заострился и выдвинулся вперед подбородок, тряслась голова и, когда она говорила, единственный верхний гнилой зуб качался, и на это тяжело было смотреть. Раньше я дружил с ее старшим сыном Анатолием. Он тогда учился в гимназии. С ним вместе мы читали Маркса, Энгельса, Плеханова. Я спросил о нем Олимпиаду Григорьевну. Она ничего не ответила, провела в одну из комнат. Анатолий сидел на диване, с подушкой в руках; он показался мне поздоровевшим и пополнившимся. Я подал ему руку. Он мутно посмотрел на меня, руки не принял, отодвинулся в угол дивана, будто я хотел отнять подушку, а он решил ее мне не давать. Олимпиада Григорьевна заплакала. Я с недоумением смотрел на Анатолия. Олимпиада Григорьевна его спросила: — Толя, ты узнаешь товарища? — Анатолий попрежнему молча жался с подушкой в угол дивана. Тогда я заметил, что у него неподвижные, напряженные и застывшие глаза идиота. Подушку он выпустил из рук, подошел к окну, поглядел в него, поспешно отодвинулся, лег на кровать. Я попытался с ним заговорить, он ничего не ответил. Я вышел из комнаты. Олимпиада Григорьевна, давась от слез и почему-то шопотом, рассказала, что Анатолий был арестован, сидел несколько месяцев в одиночном заключении, заболел манией преследования, стал заговариваться; его выпустили на поруки, лечили, лечение не помогло: душевное расстройство перешло в тихое помешательство. — Вот так и живем, — закончила она более спокойно, но убито свой рассказ. — Спасибо, что вспомнили старуху. Теперь почти никто и не бывает у нас, забыли. Да и нет многих: кто повешен, кто мается в тюрьмах, кто скрылся, а другие считают служение общему делу бреднями и увлечениями. Семья моя тоже разбрелась по белу свету — кто куда. Живу с мужем да с Толей.

Мы прошлись по саду. Осенние листья, поломанные, сгнившие беседки и скамейки, покосившийся, падающий забор, пустынные аллеи — от всего веяло непоправимой грустью и безнадежным концом. Я расспрашивал Олимпиаду Григорьевну о знакомых, сведения были неутешительны; зашел попрощаться с Анатолием. На этот раз он вяло и апатично подал мне руку. — Узнал, кажется, — сказала Олимпиада Григорьевна; у нее оживились и потептели глаза, и от этой робкой и неоправданной надежды стало еще более тоскливо.

От Олимпиады Григорьевны я отправился к Доброхотовым. Недавно веселая, дружная, жившая в довольстве семья городского священника тоже переживала теперь мрачное время. Еще в Москве от Александры Петровны я узнал, что младший и единственный сын Доброхотовых, мой сверстник, социалист-революционер, сидит в тюрьме, но подробных сведений о нем не имел. Их сообщила мне мать Доброхотова, бойкая и неглупая женщина. Пушливо озираясь, по сторонам, крепко вытирая губы платком, она рассказала, что сын сидел в Саратове неизвестным. В нашей губернии его усиленно искали власти по обвинению в убийстве трех жандармов, не зная,

что он сидит в тюрьме. Доброхотова пытливо всматривалась в меня, видимо, ожидая советов. Потом она говорила:

— Мой-то в отъезде сейчас. Жалеть будет, что не повидался с вами. Ох, тяжко ему, не приведи бог. Придет домой из церкви, — туча-тучей. Час ходит в гостиной, другой, третий. Молиться много стал. Ночью-то не спит, встанет, и — к иконам. Молитв никаких не читает, стоит, как столб, и глаз с иконы не сводит. А то опустится на колена, уткнется лбом в пол и лежит так неизвестно сколько время. Даже страшно за него делается... Взглянуть бы на того хоть сквозь щелку: кому ведомо, может быть, и проститься не доведется. Приходил тут недавно один его товарищ, себя не назвал. Сидел он с ним вместе в тюрьме, поклон передал. Наш-то строгонастрого заказал не писать, хуже, говорит, может быть. Бойтся. И мы трясемся каждый час. Как прочтем о повешенных, так и синеем сами с отцом, будто удавленники какие!.. И почему все это случилось, мне непонятно совсем. Был в семинарии такой тихоня, скромник, в первых учениках шел, на девицу красную походил, слова обидного не скажет, бывало, и в поведении отличный, — ан, вот какой грех вышел... И мы-то до чего дошли — и во сне не приснится. Хожу теперь к его товарищам, все дела ваши понимать стала, по-своему, по-старому, конечно. Этих, как их... сыщиков угадывать на улицах научилась. Мой-то и так уж говорит мне: — А что, мать, мы с тобой, чего доброго, и впрямь нигилистами сделаемся: волосья-то у нас и без того длинные, подходящие... — Народ ваш — ничего себе: смелые и уважительны, только не своею смертью все помрут. Глаз у меня на это есть, верный глаз. А вот о своем-то ничего не могу сказать: знать, не судья мать сыну, не судья.

Доброхотова, очевидно, из каких-то опасений боялась назвать сына по имени, говоря о нем: тот, наш, свой. Вспомнив, что еще ничем не угостила меня, она всполошилась, заторопила кухарку с самоваром, достала из банок варенье, поставила тарелку с сотовым медом. Уходя, я сказал ей, что, может быть, мне придется поехать в Саратов. Доброхотова обрадовалась, просила не забыть ее сына.

Ночевал я у двоюродных братьев, семинаристов. Во время семинарского бунта они учились в младших классах и так же, как и я, били стекла, вышибали оконные переплеты и жгли учительскую. Теперь они считались богословами. В полутемной квартире я застал Григория, остальные ушли гулять. Григорий встретил меня с куском черного хлеба, кусок был намазан маслом и густо посыпан порошком. Григорий облысел, несмотря на свои двадцать три года, походил на куль, наполненный мягкой трухой. Я спросил его, с чем он ест хлеб. Григорий ухмыльнулся, положил кусок со следами зубов на стол.

— Это я фосфор жру. У Писарева есть выражение из Молешотта: «Без фосфора нет мысли». У меня что-то тупеть голова стала. За учебник сяду — книга из рук валится, спать охота. Должно быть, фосфора недостает; я и решил его с хлебом есть.

— И помогает?

— Не заметно, — сознался уныло Григорий. — Чувствую, полное ту-поумие развивается...

Пришли другие братья Григория. Разговор с ними тоже был безрадостен. Семинария теперь совсем иная. Подпольной библиотеки нет и в помине, некому взяться. Прежние книги растащили. Никаких кружков тоже нет. В старших классах ввели новую науку — обличение «социалистических лжеучений». Среди семинаристов — пьянство, карьеризм, ябедничество, запуганность, забитость.

— А вы как живете?

— Очень просто живем. Перевалил в следующий класс — и слава богу.

Григорий, потирая лысеющую голову, с которой обильно сыпалась на черную рубашку перхоть, пояснил:

— Ты думаешь, нам революция нужна? Не нужна она нам. Нам пошло и стойло нужны, баба о шести пудов. Нажрался, напился — и на боковую. Встал, заложил тарантас зеленыя посмотреть или в соседнее село к приятелю-попу заглянул, перцовки клюнул, в картишки перекинулся — и домой опять спать часов на десять.

— Да вы же еще молоды, вы со школьной скамьи не сошли!

— Вот то-то и оно, что никак не сойдешь. Мне недавно двадцать четвертый год подошел, а я еще в пятом классе сижу, а в духовное училище меня привезли девяти лет: четырнадцать зим учусь и, прах его знает, когда этому учению конец придет. В одном четвертом классе три года сидел: один раз по лени остался, на другой год ногу сломал в деревне, с лошади упал. Теперь фосфор лопаю. Какой тут социализм! Утром\*насилу глаза продерешь, — подойдешь к зеркалу: они у тебя, как у судака протухшего, плюнуть хочется. Стал я однажды Куно Фишера о Канте читать, ничего не понятно, но про один случай запомнил: когда Кант занимался, то часами с места не сходил; а доктора моцион ему прописывали. Так он, бестия, что придумал! Насморк у него был хронический; вот он свой платок и решил класть на столик, который подалее от него в углу стоял. Задумался об идеализме и категорическом императиве, а насморк-то и напоминает о себе, нос облегчения просит. Волея-неволей приходится вставать и за платком итти в угол. Прочитал я про это и думаю: дай и я по Канту поступать начну — насморк и у меня тоже есть, и тоже хронический. Кант от занятий не мог оторваться, а я лежать привык прямо даже до одурения. Взял и положил платок вон в том углу. Не помогло. Лежу, из носа течет, а встать за платком не могу, будто меня цепями опутали и к кровати привязали, — ногой пошевелить трудно. Так я, знаешь, наловчился языком мокрое подлизывать. Вот тебе и жизнь по Канту... Нет, куда нам до кантов и до социализмов этих самых! Рылом не вышли.

Григорий рассмеялся, остальные его дружно поддержали. После чая послали за водкой.

Утром, гуляя по берегу Цны, я встретился с высоким молодым священником. На нем шуршала темно-лиловая щегольская ряса; он широко и уверенно шагал, деловито перебирая пальцами правой руки серебряную цепь нагрудного креста. Я узнал своего одноклассника Вселенского. Вселенский

считался в семинарии одним из лучших учеников. Науки давались ему легко, он свободно читал по-французски и по-немецки, брал из нелегальной библиотеки Писарева, Добролюбова, Герцена, Чернышевского, книги возвращал аккуратно обернутыми в бумагу. В наших кружках не состоял, но был к ним близок. Умел ладить и с нами и с начальством, но достоинства своего не терял. После окончания семинарии Вселенский предполагал поступить в университет.

Мы пошли вместе. Я удивился, почему он в рясе.

— Ну, в рясе-то я несколько лет хожу. Уже повышение имею: назначен духовным следователем.

— Насколько помнится, у тебя совсем другие замыслы были?

Вселенский погладил курчавую светло-рыжую бороду, поправил обшлага рясы, сощурившись, ответил:

— Женился. Женишься — переменишься. Дети пошли. Пристроиться нужно было по-настоящему. Духовное начальство тоже думало, что я по светской линии пойду, а когда в консистории стало известно про мое решение сан принять, обрадовались, обласкали, приход дали превосходный, а теперь вот следователем назначают. Живу хорошо, нечего бога гневить: двоих детишек имею; матушка у меня — красавица и веселая такая... А ты что делаешь?

Неожиданно для себя я ответил, что намереваюсь поступить в Коммерческий институт. Вселенский сочувственно закивал головой, потер руки, баском поощрительно промолвил:

— Одобряю, одобряю. Плетью обуха не перешибешь. Давно пора остепениться и темные дела бросить. И то сказать, кто из нас в молодости не увлекался разными пустозвонными теориями. От юности моя мнози борют мя страсти.

Я ничего не ответил Вселенскому. Видимо, он решил, что я согласен с ним.

— А знаешь, — он откровенно взглянул на меня коричневыми глазами, — а знаешь, мне теперь книжки этих нигилистов, которые я тогда в семинарии брал, очень большую помощь оказывают. На диспутах выступаю, знатоком атеизма прослыл и статьи в «Епархиальных Ведомостях» печатаю. Недавно в столице похвалили.

Из-за угла нетвердой походкой к нам направился старик-оборванец исполинского роста, в рваном, испачканном грязью пальто, без головного убора. Седые волосы свисали у него на плечи грозными лохмами. Он исподлобья оглядел Вселенского налитыми кровью глазами, хрипло одним духом прогудел:

— Подайте академику Платонычу. Блеск, талант, ученость, чины, уважение, но... — оборванец залихватски щелкнул себя по шее у горла, — но, раз вполне прихвативши, был лишен места, изгнан, яко тать и... вот... в пустыне я живу, как птица, даром божьей пищи.

Платоныча знал весь город. Он, действительно, с блеском окончил академию, преподавал в семинарии, наизусть читал по-гречески песни из «Илиады», но запил, семинарию бросил, ходил по городу босяком без угла

и пристанища, всегда пьяный, готовый к обличению чиновников и обывателей. Не раз и не два родные и знакомые находили его в ночлежках и трущобах, приводили к себе, обували и одевали, пристраивали на службу, — Платоныч неизменно пропивал одежду, службу бросал с проклятиями и с издевательствами.

Вселенский распахнул рясу, запустил руку в глубокий карман шаровар, подал Платонычу гривенник. Платоныч взвесил его насмешливо на заскорузлой ладони, втянул громко в ноздри воздух, сказал повелительно:

— Что? Гривенник академику? Давай рупь, сморчок!

Вселенский заспешил вперед, путаясь в рясе. Платоныч опередил нас, стал, раскинул широко руки, загораживая дорогу.

— Рупь давай, ррракалия! Терсит презрительный! Что ты рыло, мозгляк, воротишь? Ты!.. Пренебрегаешь! А знаешь, кто я и кто есть ты? Наг и бос я, пьян и смердящ, но... — Платоныч ударил себя с силой кулаком в грудь, — но благороден и чист в помыслах моих, ибо имел силу нелюбимым и открытым взором заглянуть в страшные недра бытия и ужаснуться великим человеческим ужасом. Стой! Слушай! И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость, — испытал и... отринул, и... пал, и горжусь падением моим. Стой, слушай, пустосвят, что понял академик Платоныч! Вот ты... надел новую рясу, крестик на тебе блестит, вымыт, чист, доволен... Но погоди, погоди, придет и твой темный час, час двенадцатый. Жизнь, она, брат, черная гарпия, — она настигнет тебя, возьмет свое. Придут беды, болезни, неудачи, старость, придет более сильный ловкач... чорт его знает, что придет; жена изменит... сын в тюрьму угодит... Ко всякому человеку приходит, никого не минет, никого не обойдет. И тогда забудут тебя, отвернутся, пренебрегут, как пренебрегаешь ты мною теперь. Будешь валяться на задворках, будешь гнить, стонать, и никто не откликнется, никто не скажет от чистого сердца слов любви и участия, а станут думать и ждать, чтобы скорей ты перестал надоедать всем, либо будут «отдавать тебе до-олг»... Проклянешь день своего рождения и ночь своего зачатия. Понимаешь... все когда-нибудь проклинают. Есть такой судный день у каждого человека! Miserere! — сукин ты сын, — Miserere! — вырывается из уст миллионов людей, а ты, гад, не слышишь!.. Miserere! — Лучшее и самое правдивое слово, которое выдумал человек! Можешь ты восчувствовать томление моего духа и тоску мою неисходную, сребролюбец, стяжатель, беззаконник, в храме торгующий Христом распивочно и на вынос! Рупь давай на утешение скорбей сына человеческого! Не дашь, предам тебя поруганию на... Варваринской площади, подобно... пророку Иезекиилю... Помнишь: «Буду судить тебя судом проливающих кровь... кровавой ярости, и увидят срам твой, — так говорю я тебе, твой господь». Помнишь! Ну?

Платоныч угрожающе поднял руку. Распухшее лицо у него стало вдохновенным, и даже багровый синяк под глазом сделался как бы незаметным. Внизу, у высокого берега, река казалась неподвижной. В осеннем солнце за рекой равнодушно грелись луга, уходя к темным, немым и бесстрастным стенам леса. Слева у леса, точно затерянные, одиноко белели архиерейские хутора.

Вселенский достал рубль, сунул его Платонычу. Тот презрительно опустил монету в карман, не сказав ни слова, круто отвернулся от нас, пошел, волоча ноги и показывая согнутую спину. Вселенский покачал ему вслед головой, пригласил к себе «в номерок попить чайку». Я отказался.

Вечером в городском сквере столкнулся со школьным товарищем Дыбинским. В семинарии он писал стихи. Они мне нравились. Некоторые из них напечатала местная газета. Дыбинский забросил реторику и гомилетику. Его исключили из семинарии, он не тужил об этом, будучи уверен в своем поэтическом призвании. Теперь оказалось, что он служил писцом в духовной консистории у некоего Простосердова, ведавшего бракоразводными делами. О Простосердове в городе слагались легенды. Рассказывали, что в консистории, в присутствии чиновников и посетителей, он открывал двери в коридор и громогласно приглашал к себе: — Лжесвидетели и взяточники, прошу вас пожаловать в кабинет!.. — Дыбинский выглядел угрюмо и апатично. Лицо его покрывали сине-багровые угри, от него дурно пахло заношенным бельем и ножным потом. Как ему живется? Живется плохо. Правда, он не теряет надежды: столоначальник обещал прибавить жалования — вместо шестнадцати рублей он будет получать двадцать. Прибавка небольшая, но все же она облегчит его положение: он живет с матерью. Служба в консистории отнимает много времени, часто приходится заниматься по вечерам. Много ябедников и подхалимов. Пишет ли он стихи? Дыбинский махнул рукой. Нет, он стихов больше не пишет. Стишками сыт не будешь. Никому они не нужны. Над поэтами в городе смеются, считают их бездельниками и дурачками. Да и некогда. Днем на работе, вечером на работе. В праздники сходишь к знакомым канцеляристам, напиешься, — с ними же вместе сходишь в дом терпимости. Так и идут дни за днями...

...По вечерам, пред солнечным закатом, над обрывом, там, где дом фабриканта Асеева, часто можно было видеть пожилую женщину, худую, с огромными, с безумными глазами. Она подходила к редким прохожим, останавливала их, тихо, таинственно, невнятно, но очень вежливо спрашивала, не из Москвы ли они. Женщина была матерью Кати Смоляниновой. Два года тому назад Катя, московская курсистка, застрелилась. Она оставила записку, в которой, конечно, просила никого не винить в ее смерти; она уходит из жизни потому, что не в силах больше выносить скуки, пошлости и смертных казней. Мать не поверила ее смерти; она знала, что ее Катя не могла умереть, что ее смерть немыслима для нее, и она выходила на берег, ловила прохожих: не встречались ли они в Москве с ее Катей и не думают ли они, что она скрывается от полиции и что она скоро приедет. Когда я был в семинарии, Катя училась в гимназии, жила в интернате. В воскресные дни я, стыдясь и волнуясь, с угрюмым и решительным видом приходил к ней, разумеется, по делу, по очень секретному делу. Ее веселые и бойкие подруги задорно и насмешливо кричали: — Смолянинова, на свидание, Смолянинова, к тебе пришли. — Катя выходила всегда немного смущен-



ная, держа руки под передником, пышноволосяя и улыбающаяся. Она была так молода и свежа, что глазами, цветом кожи, каждым своим мускулом, каждым движением своим будто говорила: — Право, я же не виновата, что я так безотчетно счастлива и здорова. — Я выбирал удобный момент, когда в приемной никого не было или когда на нас никто не смотрел, с суровым и заговорщицким видом совал ей листки, брошюры. Она прятала их в рукава или под передник. Я говорил, что надо спешить, но не уходил: она очень заразительно и беззаботно смеялась. Она умела смеяться, и было теперь непонятно, как она могла уйти из жизни, жалуясь на скуку. Припомнилось, Катя любила летом, на каникулах, носить на шее черную бархатку. И еще у нее тогда нежно и робко округлялся живот.

Я продолжал искать своих прежних знакомых и товарищей и скоро убедился, что ни группы, ни организации нашей в городе больше не существует. На всех, с кем я встречался, лежал отпечаток пришибленности, равнодушия, боязни, растерянности. Большинство окружило себя мелкими заботами и жизненными докуками. Одни старательно учились, мечтая о дипломах, об удобных местах, другие обзаводились мебелью, квартирой, семьей, третьи пугливо прятались. Общий упадок был столь велик, что я с удивлением спрашивал себя, как могла произойти в городе такая быстрая и разительная перемена? Еще недавно, тому назад всего лишь несколько лет, город покрывался сетью революционных кружков, групп, комитетов, объединений. Митинги, собрания, массовки, диспуты, открытые демонстрации, казалось, навсегда и бесповоротно изменили захолустный облик его. В деревнях, в мастерских, в школах, повсюду в губернии появились, выросли, поднялись новые люди, непохожие на чиновников и обывателей. Отряды боевиков, дружинников карали охранников, ораторы громили самовластье. Здесь в Лужановского стреляла Мария Спиридонова, здесь работал «Адмирал», братья Вольские, Ванда, Гармиза. Здесь воинствовала группа большевиков: Савич, Гальперин, Варвара, Яхонтова, Подбельский, Усиевич, рабочие мастерских и заводов. Как вольно тогда дышалось, как легко и страстно верилось в человека, в его силы, в его общественные инстинкты, в его отвагу и героизм, в бунтарство и в преобразующую волю его! Куда же все это погинуло?.. Много смельчаков убито, перевешано, замордовано в тюрьмах, в далеких, в погибельных ссылках, но ведь много и осталось в живых! Этих живых я помнил, я знал их совсем иными. Точно в отместку ехидный и злой бес истории поднял с житейского дна все самое пошлое, низкое, себялюбивое, трусливое и подлое, пресмыкающееся и ничтожное, дабы посмеяться над мучительными усилиями лучших людей. — Я дам тебе звезду утреннюю! — Где же она, утренняя звезда наша? Или и впрямь, — как храбро ни борись, какие чудеса героизма ни совершай, сколько ни лей бесценной, горячей человеческой крови, — в конце-то всех концов, в итоге всех итогов верх всегда возьмет тупая, сонная сытость, уверенные и мелкие приживальщички жизни?!

...Ночь... город глух... звезды холодны... Кто там заунывно тянет: — слушай! — Нет, это только послышалось. Но как мрачно теперь на

окраине, у зловещих тюремных стен! Может быть, весь мир — тюрьма...  
Слу-шай!.. Скорбь, скорбь!..

Минувшее проходит предо мной:  
Давно ль оно несло событий полно,  
Волнуясь, как море-окиян?  
Теперь оно безмолвно и спокойно...  
А прочее погибло безвозвратно...

И все же... не может быть: где-то собираются друзья мои, где-то они  
собираются!..

*(Продолжение следует)*

---

# Из воспоминаний о В. И. Ленине

(Женевский период)

ВЛАД. БОНЧ-БРУЕВИЧ

## I

Чем более разгорались страсти на Втором съезде партии, чем все более и более назревали элементы раскола, тем и в Женеве все более сгущались тучи на нашем и без того беспокойном горизонте. Многие, привыкшие итти за личностями, а не за принципами, просто понять не могли, как это так могло случиться, что Владимир Ильич не соглашается с Засулич, с Аксельродом, совершенно расходится с Мартовым, с Потресовым. Да ведь они давнишние друзья! Да ведь они все время работали вместе, — как же можно разойтись? — твердили эти обыватели в нашей революционной социал-демократической среде.

— Ну, Владимир Ильич, — он известен своей неуживчивостью, всегда любит возражать, не соглашаться, — говорят другие, — но каков Плеханов? Кто ждал от Георгия Валентиновича, что он разойдется с Верой Ивановной Засулич, с Павлом Борисовичем Аксельродом? Это невозможно! Это недопустимо! Да они просто там все с ума сошли! — пели и завывали на все голоса давнишние подголоски всегдашнего властителя дум, действительно неотразимого Георгия Валентиновича. И здесь они не хотели верить тому, что действительно уже случилось.

— Они друг другу не кланяются! — почти в истерике кричал мне за целый квартал экспансивный член нашей

группы. — Какой ужас! До чего мы дошли? Развал, распад, уничтожение!.. И из-за чего — подумать только: кто, как и сколько будет платить в партию членский взнос! Вот уж действительно меднолобое упрямство, формализм, бюрократизм, отсутствие такта и черт знает что такое.

Прислушиваясь ко всем этим речам, все ясней и ясней выходило, что во всем кругом виноват Владимир Ильич и только он один.

Все стрелы направлялись именно в его сторону. Тут только впервые стало вскрываться несомненно затаенное недружелюбное отношение к Владимиру Ильичу со стороны многих членов всего нашего нелегального аппарата. Видимо, постоянная его требовательность, замкнутость, выдержанность, фанатическая преданность идее революционной борьбы, идейная, строгая определенность далеко не всем была понутру, и у многих давно накапливался протест, чтобы вдруг проявиться в виде как-будто бы неожиданно вспыхнувшего раскола в партии. Нечего уже, конечно, говорить о тех, кто расхохотался с ним и ранее теоретически. Тут была радость неопишная; эти безнадежно тупые и ограниченные люди никак не могли понять свое собственное положение. Они думали, что они — соль земли, что они — те, кто призван бороться с абсолютизмом, что именно за ними пойдут огромные рабочие массы, что они — «вожди». Они не видели того,

что уже довольно давно находят-ся они у разбитого корыта, что жизнь опередила их, что Зубатов, устроив легальные экономические организации, сильнейшим образом подкузьмил их, скомпрометировав политически, что передовые рабочие массы, раскусив и экономизм «Рабочей Мысли» и «Рабочего Дела», совершенно не хотят, — несмотря на все громкие фразы с вечным припевом «долой самодержавие!» — менять упорную, организованную, длительную революционную борьбу, которую так мощно вела повсюду «Искра», на убудочные, измельчавшие требования обветшалой программы рабочедельцев и бундовцев, не дававшей никакой надежды на действительный успех в борьбе и с обнаглевшим царизмом и с все более и более давившей и наседавшей на рабочих всероссийской буржуазией.

Эти люди в падении «Искры» видели свое возрождение, не понимая того, что если бы искровская организация действительно распалась бы и не имела бы достойного преемника, — наша революционная борьба того времени была бы отброшена на много лет назад. В этом «экономическом» лагере социал-демократии готовы были как угодно преувеличить партийные события, лишь бы раздуть пожар, лишь бы иметь возможность кричать вездѣ и всюду, что отец раскола партии — это Ленин, что именно он и никто другой — губитель «нашего» единства, «нашей» целостности, всех заветов «нашей» борьбы!

## II

Мы, оставшиеся в Женеве на время с'езда для выпуска «Искры» и для осуществления других практических дел партии, знали уже по письмам из Лондона, по отрывочным сведениям, по слухам, мелькавшим в нашей социал-демократической колонии, о тех великих сдвигах и разногласиях, которые так мучительно и так больно происходили там, на столь долгожданном с'езде нашей партии. Мы мечтали, что этот с'езд всех объединит, найдет общий язык, общую линию для общей титанической борьбы там, за рубежом, в

России, где мы должны были подгото-вить и нанести сокрушающий удар царизму. И вдруг — раскол! Смертельная вражда между вчерашними близкими политическими друзьями и единомышленниками. Новые группировки, совершенно неожиданные и никогда не чаянные. Сдерживая себя из всех сил, четко выполняя партийную работу, еще пристальней наблюдая за революционной дисциплиной во всей нашей многоветвистой организации, мы работали сосредоточенно и молчаливо, боясь затронуть друг с другом больные, все всколыхнувшие вопросы, ибо чуяли мы, что и нас не избежат они, что и мы вот-вот, совсем вскоре, должны будем дать себе ясный отчет во всем, и, почем знать, может быть, и мы, сейчас здесь работающие рядом, за одним столом, завтра непримиримо разойдемся навсегда. И мы невольно углублялись в себя, люя лондонские новости, обсуждая их в самом тесном кругу. Нас утешало, что вместе с Владимиром Ильичем был и Г. В. Плеханов.

Вот приблизилось время конца с'езда, и мы ждали приезда наших делегатов с часу на час. Наконец, первыми приехали бундовцы и возвестили о громадном расколе в партии, — о том, что искровцы «провалились», «разодрались», «перекусались» и «распались». Злорадно, ехидно высмеивали и вышучивали они тех, кто еще только вчера бил их теоретические социал-шовинистические позиции. Они думали, что наступают их безраздельное царствование, их гегемония во всероссийском соц.-демократическом движении, что вот они-то и есть те избранные вожди революции, к которым, волей-неволей, все обратятся, так как все остальные должны будут заниматься исключительно самопожиранием. Спорам не было конца. Наступали в высшей степени серьезные дни.

## III

Утомленный работой, я под вечер шел домой одной из улиц района *Plaint Palais*. Завернув за угол, вдруг совершенно неожиданно лицом к лицу я встретился с Владимиром Ильичем. Он приветливо поздоровался со мной, и



1924  $\frac{21}{I}$  1929

его утомленное с желтоватыми пятнами лицо, сосредоточенные грустные глаза сразу показали мне, сколь глубоко-трагически переживает он все то, что случилось на съезде в эти последние недели.

— Раскол! — сказал я.

— Да, глубокий и принципиальный... Параграф первый устава прежде всего положил рубеж... Вы, конечно, знаете, в чем разница формулировок...

— Да, да... — вставил я.

— Это первое... — И он вопросительно посмотрел на меня, немного задержавшись...

— Но ведь противоположная формулировка — явно либеральная, вполне допустимая для Струве, для «освобожденцев», а не для «искровцев», не для революционеров...

— Хорошо, очень хорошо... — ласково улыбаясь и смеясь, сказал мне Владимир Ильич. — Совершенно правильная оценка.

— Создание нелегальной организации профессиональных революционеров...

— Неужели отрицают?.. — перебил я.

— Ну да, конечно... Говорят, что это вздор, что это путь для вырождения...

— А как же работать? Кто же будет работать? Кто перевозить литературу? Ставить нелегальную работу в России? Транспорт, оружия, типографии... — засыпал я вопросами Владимира Ильича.

Владимир Ильич засмеялся тихим смешком, что всегда означало у него, что он доволен, радуется, и тихонько сказал:

— Вот она, практика-то революции, всегда ставит на верный путь...

— Да как же иначе? Что же нам ликвидировать, что ль, все? Или заняться гастролерством...

— Г-а-с-тро-лер-ств-ом... — повторил он, — правильно, именно гастролерством предлагают нам заняться...

— В партию должна быть введена демократия, чуть ли не выборное начало... — продолжал он. — Это теперь-то, когда царизм напрягает все силы нас разгромить!?

— Чтобы находиться в перманентном провале...

— Видимо так...

— По-моему, нам нужно еще более централизовать все, законспирировать все еще больше, дабы организация наша была бы действительно неприступна и не колебалась бы ни от каких провалов...

— Совершенно верно...

Мы тихонько шли по безлюдному переулку и беседовали.

Владимир Ильич вдруг в упор посмотрел на меня и спросил:

— У вас было какое-либо собрание здесь? Вы с кем-нибудь еще беседовали?..

— Нет, ничего не было... Кроме, как с Верой Михайловной<sup>1)</sup> да с Лепешинскими, ни с кем не приходилось говорить... Верных сведений нет, документов тоже, все как-то стесняются еще говорить друг с другом... Вот от вас впервые слышу все эти подробности, и должен прямо сказать вам, что все, что вы говорите, вполне приемлю. Более того, чувствую полный отзвук своего постоянного настроения. Это именно то, что должно быть и что необходимо именно так, как можно скорей, строить. Я заявляю вам, что целиком и полностью присоединяюсь к вашей позиции.

Владимир Ильич радостно улыбнулся, но вдруг очень серьезно посмотрел в упор, как бы отодвинувшись от меня на шаг...

— Это очень серьезно... И вы так скоро не решайте... Все обдумайте хорошенько, проверьте, прочтите документы — и тогда окончательно скажите мне ваше мнение о всех этих событиях. Главное, не спешите...

— Я вполне понимаю вас, Владимир Ильич, — ответил я ему, — и очень благодарю за дружеский совет. Я отлично понимаю, что здесь надо решить раз и навсегда, на всю жизнь, но главнейшее, как я понимаю, я услышал от вас, и все, что вы сказали, я чувствую, я знаю, — это мое собственное, от которого никуда и никогда отойти нельзя...

— Это очень-я очень хорошо... но только будьте осторожны, — улыбаясь сказал

<sup>1)</sup> Вера Михайловна Величкина — моя жена, давнишний член партии.

он мне и дружески, крепко пожал руку... — Заходите ко мне денька через два, через три, а теперь прощайте... — И он быстро, как всегда, двинулся дальше и вдруг мгновенно исчез за каким-то поворотом...

Я долго смотрел ему вслед...

Что должен был пережить этот изумительный человек? — думал я. И он тверд, как скала, в своих принципах. И он порвет со всеми, с самыми близкими, лишь бы не принизить знамя нашей революции, нашей борьбы.

Полный серьезности, с трепещущим сердцем вернулся я домой, где встретил нескольких товарищей, волновавшихся вопросами дня, и здесь я, не говоря никому ни слова, что только что видел Владимира Ильича, спокойно и твердо выступил в спорах, как совершенно стойко определившийся большевик.

И это было первое, никогда незабываемое для меня выступление в качестве члена фракции большевиков нашей партии. Вера Михайловна была крайне удивлена моему спокойствию и моей непререкаемой твердостью. И, когда все разошлись, я рассказал ей мою беседу с Владимиром Ильичем. Она заявила мне, что если все это так, то возражать здесь нечего, и твердо сказала мне, что совершенно определенно присоединяется к большинству съезда, будучи во всем солидарна с Владимиром Ильичем.

В два, в три дня уже стала определяться группа жевевских товарищей, которая также высказалась за Владимира Ильича. Тут были, кроме тех, которые приехали со съезда, В. Д. Бонч-Бруевич, В. М. Величкина, Лепешинские, Воровский, Гусев, Лядов, Лидия Мандельштам, Ильины, рабочий Афанасий, Малинин, Лейбович и др.

Прошло три дня и мы этой небольшой нашей группой были у Владимира Ильича, чтобы заявить ему, что мы твердо присоединились к мнению большинства и готовы работать под его руководством...

Так организовалась первая большевистская группа в Женеве, которой вскоре пришлось выдержать бой на съезде «Лиги», и выступить с особым

заявлением - декларацией — этим первым документом большевиков после раскола.

#### IV

После раскола российской с.д. рабочей партии на Втором съезде весь технический аппарат остался в руках большевиков. Новый Ц. К. партии решил организовать настоящую центральную экспедицию в Женеве. Член Ц. К. нашей партии тов. Ф. Г. Ленгник пришел ко мне поговорить об организации экспедиции и всей технической части, а также правильной бухгалтерии при ней. Когда я изложил ему свой план, он одобрил его и сказал, что он желал бы, чтобы я взялся за эту ответственную работу и что он сейчас же переговорит об этом с Владимиром Ильичем. Вечером этого же дня я получил маленькую записочку от Владимира Ильича, аккуратно, бисерным почерком написанную, где он просил меня зайти к нему на другой день в 10 часов утра. Я, конечно, точно в этот час был у него. Там уже был тов. Ленгник.

— Мы хотим вам поручить всю экспедицию и техническую часть, — сказал Владимир Ильич, выходя из своей комнаты, здороваясь и на ходу застегивая ремень, которым он подпоясывал косоворотку, и, как всегда, сразу приступая к делу.

— Мои обязанности?.. — спросил я у него в ответ.

— Чорт избрал, это хорошо, когда люди говорят сначала об обязанностях, а потом, вероятно, о правах... — и он, хитро прищуривая глаз, точно приглядываясь, посмотрел на меня улыбаясь.

— Я полагаю, что у рядового члена партии есть единственное право — это выполнять все возлагаемое на него Центральным Комитетом самым лучшим образом, — ответил я ему.

— И только?..

— Других прав я не знаю...

— Начало хорошее, оч-ч-е-нь хорошо... — и он сейчас же уселся против меня и деловито, как самый заправский коммерсант, стал высчитывать и соображать, во что обходится нам номер

газеты, штат, что нужно сократить, что добавить, какую бумагу лучше брать на газету в скольких экземплярах печатать книги и пр. и пр.

Ко всем моим практическим указаниям он внимательно прислушивался и сейчас же настораживался, четко записывал по номерам абзацы, что ему казалось особо важным, нередко давал тут же свое согласие на то или другое предложение.

— Вы это проверьте еще и еще раз, все взвесьте, кратенько запишите и в четверг, — мы будем собираться по четвергам точно в три часа, — расскажите нам, и мы окончательно поговорим.

— Не спешите, — сказал он по другому поводу, — все взвесьте, помните, что лучше не сделать, чем ошибиться, средства у нас весьма ограниченные, ошибка вызовет вой меньшевиков, отзовется в России, нам нужно везде делать отчетливые, верные шаги...

И так везде: осторожность, предусмотрительность, расчет, учет, экономия, минимум затрат, максимум внимания к приезжим из России, особая забота о рабочих...

В результате этой нашей практической деловой беседы, длившейся более часа и состоявшейся, приблизительно, в январе 1904 г., у Владимира Ильича образовался листок, на котором были помечены несколько десятков вопросов, вытекших из сути нашего разговора. Этот листок он передал мне до четверга, по которому мне предстояло дать подробный ответ на каждый пункт.

Здесь же, получив за подписями членов Ц. К. (Ленина и Ленгника) официальное назначение, я в тот же день пошел принимать экспедицию, типографию, брошировочную и пр. у нашего товарища, ныне умершего Лейбовича (Цейтлина), который мало был способен к этому делу, случайно на него возложенному и даже тяготившему его.

У

Начиная с № 46 (15 августа 1903 г.), «Искра» выходит под новой редакцией

(Ленин — Плеханов) вплоть до № 51 (22 октября 1903 г.).

№ 52 (7 ноября 1903 г.) вышел только под редакцией Г. В. Плеханова, так как В. И. Ленин в виду возникших разногласий вышел тогда из редакции «Искры».

С № 53 (25-го ноября 1903 г.) «Искра» выходит под новой кооптированной Г. В. Плехановым редакцией, куда вновь вернулись Потресов (Старовер), И. Мартов, П. Аксельрод и В. Засулич. Именно с этого момента до конца дней своих газета «Искра» становится исключительно меньшевистской. Плеханов в ней имеет все меньше и меньше влияния и, наконец, не вытерпев, после решений меньшевистской «Первой обще-русской конференции партийных работников», вышел из редакции «Искры», напечатав об этом заявление в № 101 «Искры» (29-го мая 1905 г.), и с этого времени, когда-то общепартийная, а ранее ортодоксально-революционная, газета становится всецело органом новых русских оппортунистов в с.-д. партии. «Искра» сделалась органом меньшевиков.

Г. В. Плеханов, очевидно, предчувствуя свое будущее расхождение со своими старыми товарищами по группе «Освобождение Труда» и более молодыми по «Искре», еще с марта 1905 г. начинает издавать «Дневник социал-демократа», чтобы во-время можно было отступить на заранее приготовленные и укрепленные литературные позиции. Но, отступая на них, он остается почти в полном одиночестве и вместо организующего массы органа, вместо газеты принужден обстоятельствами жизни издавать лишь свой собственный «Дневник», т. е. нечто личное, исключительно индивидуалистическое, в то время, когда вся наша общественно-революционная жизнь мощно шла к коллективному творчеству. Так началась первая глава драмы всех последних 15 лет жизни и деятельности основоположника российской социал-демократии, несравненного трибуна, вождя, революционера и теоретика марксизма Георгия Валентиновича Плеханова.



## VI

В № 53 «Искры», где появилась заметка под названием «Изменение в редакции «Искры», сейчас же изменяется, по настоянию заграничного представителя Ц. К., и текст при адресе экспедиции. К аксельродовскому женеvскому адресу прибавляются следующие слова: «На всех письмах и сообщениях необходимо обозначить (на внутренних конвертах) «для редакции Ц. О.», «для Ц. К.» или «для Лиги». Таким образом, впервые здесь появилось разделение адресов для «Ц. О.» (меньшевики) и «Ц. К.» (большевики). В этом, казалось, маленьком деле уже ясно отразилось тогдашнее настроение обеих сторон, особенно большевиков, которые, таким образом, порвав литературно, начинают «отмежевываться» организационно от меньшевиков и их центра «Ц. О.» и «Лиги». В этом же номере под «Почтовым ящиком» также впервые напечатана заметка от заграничного представителя Ц. К., ясно говорящая о той же настороженности. «Центральный Комитет, — говорится в этой заметке, — заявляет во всеобщее сведение, что за границей находится теперь постоянно его агент, к которому просят обращаться всех, имеющих дело с Центральным Комитетом.

Место и время для свиданий можно узнавать через членов партии, а не имеющих партийных связей просят обращаться письменно по адресу «Искры» (Genève, Acacias, Paul Axelrod) с обязательной отметкой «для Ц. К.».

Представитель в то время еще большевистского Ц. К. большевик Ф. В. Ленгник добивался и здесь, в руководстве и в информации приезжающих из России товарищей, отделения от меньшевиков и их влияния. Но этого заявления, главная суть которого была, конечно, в последних словах, само собой понятно, было мало. Необходимо было на ряду с адресом Аксельрода выдвинуть авторитетный адрес со стороны большевиков, который, по нашему тогдашнему мнению, должен был печататься в «Искре» на ряду с аксельродовским адресом экспедиции. Пока что в №№ 53 и 54 «Искры» пе-

чатается адрес Аксельрода и рядом с ним вышеприведенное заявление заграничного Ц. К. партии. В №№ 55, 56, 57, 58, 59 и 60 оба адреса совершенно отсутствуют, и лишь печатается адрес типографии партии (rue de la Couluvermière, 27), где всецело и безраздельно господствовали меньшевики, и, в сущности, большевистскому в то время Ц. К. нашей партии типография принадлежала только номинально: никакого влияния или руководства мы там не имели, и можно было всегда сомневаться, захотят ли «меньшевики» подчиниться тому или иному распоряжению Ц. К. и напечатать ли то, что нами туда будет послано. Целый ряд наших изданий бесконечно долго тянулся там, и, например, книжка Владимира Ильича «Шаг вперед, два шага назад» была набрана в партийной типографии с большими промедлениями и неприязненными фырканиями со стороны ответственных по типографии. Точно так же письмо Владимира Ильича в редакцию «Искры» под названием «Почему я вышел из редакции» не было напечатано меньшевистской редакцией, что вызвало, по совершенно понятным причинам, полное нежелание Владимира Ильича посылать к печати вообще что-либо в эту явно враждебную ему газету.

Редакция имела бесстыдство в № 58 «Искры» на вполне естественные тревожные запросы товарищей из-за границы и из России — почему не появляются статьи самого крупного, признанного огромной пролетарской массой вождя партии — напечатать в «Почтовом ящике» следующий нахальный, если не сказать больше, ответ:

«Нескольким читателям. Отсутствие в «Искре» статей тов. Ленина объясняется просто тем, что со времени отложенного нами его письма («Почему я вышел из редакции») тов. Ленин до сих пор для «Искры» ничего не присылал». Как известно, эта почтенная редакция так прочно «отложила» письмо Владимира Ильича, что оно могло лишь появиться отдельной брошюрой в издании Ц. К. нашей партии, под названием «Почему я вышел из редакции «Искры», конечно, без ма-

лейшего участия со стороны меньшевиков. Так все более назревало и крепло деловое расхождение с меньшевиками, только лишь прикидывавшимися, что они хотят сохранить мнимое «единство партии», на самом же деле везде и всюду, даже по самым маленьким мелочам, выступавшими как действительно нетерпимые раскольники, не желавшие считаться с мнением большей половины партии, а всемерно стремившимися задавить, заглушить ее мнение, ее влияние, прикрываясь пустопорожней словесностью о вольной дискуссии на страницах Ц. О., куда допускали они произведения лишь тех товарищей, которые давали им хороший повод к ответу, к высмеиванию, к искажению. Такие «сотрудники», как Владимир Ильич, им были нежелательны, и они его статью «откладывали» из номера в номер, чтобы совсем замариновать ее. Еще бы! Они прекрасно знали, как встретит пролетариат России известие, что Владимир Ильич вынужден был покинуть редакцию Ц. О. партии, куда, вопреки голосованию большинства съездов, желанием одного человека вновь втащены те, кто остался в меньшинстве на съезде, кто, несомненно, не выражал волю революционного пролетариата России того времени.

В начале 1904 года все большевики, находившиеся при центральных учреждениях в Женеве, почувствовали всю необходимость иметь свой политический адрес и всю неправильность зависимости всей почты от адреса Ц. О. Заграничный представитель Ц. К. партии на опыте убедился, как бесцеремонно обращается праведная меньшевистская редакция с его желанием получать почту для Ц. К., хотя бы в отдельных конвертах по адресу Ц. О. Это заявление, как мы видим, просто снималось с номера, и всегда выходило так, что у заведующего типографией тов. Блюменфельда при верстке номера не хватало места именно для этого заявления. В марте 1904 года я твердо настоял перед заграничным представителем Ц. К. и Владимиром Ильичем обязательно выпускать номера «Искры» с двойным адресом: один Ц. О.,

другой Ц. К., при чем предложил, чтобы этот последний адрес был обязательно на имя Владимира Ильича. Многие сомневались, что возможно будет в силу сложившихся отношений настаивать на этом, но я сказал, что это дело мое, и что раз представители Ц. К. на это согласны, то именно так и будет, и я сейчас же запасся соответствующей бумажкой от Ц. К. Я решил к тому же ограничить число вкладных листов в «Искру», ибо не в меру разрастающиеся номера газеты теряли уже представление о газете, и, главное, крайне истощали нашу кассу, а платить-то за издание газеты должен был ведь Ц. К. партии, который возложил эту хлопотливую обязанность на женевскую центральную экспедицию Ц. К. При моем свидании с Мартовым, состоявшимся на квартире Плеханова, я определенно заявил, что номера «Искры» в силу распоряжения Ц. К. будут теперь выходить с двумя адресами, и точно условился о сокращении размера. При существовавший здесь же Г. В. Плеханов совершенно не вмешивался в разговор, лишь полюбопытствовал, спросив, во что обходится номер газеты. Когда он узнал ту значительную сумму, которую нам почти каждые десять дней приходится тратить, удивился ее размеру и тотчас сказал: «Совершенно необходимо сокращаться, этак мы доведем их до долговой тюрьмы». И тут же энергично предложил целый ряд статей, уже присланных для набора, отложить, другие соединить в брошюры и пр.

Я передал новый текст адресов и сказал, что без них ни один номер «Искры» более не выйдет. Плеханов посмотрел адрес и усмехнулся, переглянувшись с Мартовым.

— Прикажете это рассматривать, как акт определенного недоверия Ц. К. к Ц. О.?—ядовито и усмешливо заметил Мартов.

Я не обратил внимания на его «яд» и просто сказал:

— Так меньше будет путаницы: дела партии развиваются, и все необходимо приводить в порядок, ставить на деловые ноги.

— Ну, что же,—невнятно, еще сердясь, произнес Мартов и текст адресов положил в портфель.

Адрес был не из приятных для Мартова.

К аксельродовскому адресу мы прибавили следующий текст: «Всю заграничную корреспонденцию, простую и денежную, предназначенную для Ц. К. партии или для партийной экспедиции, Ц. К. просит направлять по адресу: «V. Oulianoff, 3 Rue de colline (près Pont-neuf) Genève (Suisse)».

Владимир Ильич никогда не жил по указанному здесь адресу. Здесь помещалась экспедиция Ц. К. Доверенность на получение всевозможной корреспонденции Владимир Ильич тотчас же выдал мне, и, таким образом, его более не приходилось тревожить по этим почтовым делам.

Таким образом, впервые после раскола на Съезде, Ц. К. партии эмансипировался и в этой организационной детали от Ц. О. нашей партии, находившегося в то время в руках меньшевиков.

Этот двойной адрес в «Искре» печатается вплоть до номера 72 (25 августа 1904 года). Именно в этом номере появилось то расплывчатое, раздававшее «всем сестрам по серьгам» заявление Ц. К. партии того времени. В Ц. К. получились изменения. Большевик Ф. В. Ленгник был арестован нелегальным в России; некоторые из большевиков (тов. Глеб) сильно заколебались и устроили примиренческий Ц. К., вероятно, искренне желая, чтобы в партии прекратились «ссоры». Но так как ссор в партии не было, а было глубокое принципиальное разногласие, то само собой понятно, что все это благодушное настроение нового Ц. К. пошло не в пользу, а на прямой вред партии, на некоторое время затушевывая эти разногласия для того, чтобы в очень скором времени они проявились еще с большей резкостью. Ц. К., конечно, выразил пожелание, чтобы тов. Ленин вошел в редакцию Ц. О., и это предложение делалось после того, как всем было хорошо известно, что вся меньшевистская братия готова была утопить Ленина в ложке воды. Другое прекраснодушное пожелание примиренческого

Ц. К. заключалось в том, чтобы все перестали ссориться, и тут же «Ц. К. решительно высказывался против съезда в настоящее время экстренного съезда и против агитации за этот съезд». Само собой понятно, что этот пункт резолюции был прямым образом направлен против большевиков и партии. Тут же делалось косвенное нападение на Вл. Ил. Ленина, когда в п. 6 говорилось, что, «приняв во внимание вред, причиняемый партийной организацией несогласованностью с деятельностью Ц. К. в России деятельностью представителя его за границей (читай Ленина), Ц. К. постановляет: в сношениях с Ц. О. представители Ц. К. не предпринимают ответственных действий иначе, как по прямому поручению коллегий». Совершенно было ясно, что после таких персональных изменений в Ц. К. партии и изменений в курсе его политики по всей линии пойдет сдача позиций меньшевикам. Так оно и случилось. Заграничным представителем был назначен примиренец меньшевистского уклада, который тотчас же пошел в меньшевистскую каноссу и в том же номере «Искры» поместил заявление против вышедшей на немецком языке книги тов. Мандельштама: «Material zur Erläuterung der Parteikrise», за подписью «Lydin Yertrausmann des Centralcomitee», ибо, мол, Ц. К. к ней не имел никакого отношения. И с этого же номера «Искры», конечно, исчезает адрес для Ц. К. партии на Вл. Ил. Ульянова (Ленина), исчез адрес экспедиции, и вся корреспонденция вновь была передана адресу Ц. О. (Аксельрод и т. д.). Также этим заявлением Ц. К. партии доводит до сведения всех товарищей, что в партийной типографии будут печататься произведения в той или иной степени значительные, что же касается изданий Ц. К., то впредь они будут носить пометку: «изд. Ц. К.».

Это глухое заявление, конечно, было непонятно лишь посвященным. Кто же, в самом деле, будет определять эту «значительность»? Конечно, Ц. О., т. е. меньшевики,—т. е. большевистской литературе больше появляться в свет на общепартийные средства будет нельзя. До сих пор мы много причинили на

шими изданиями неприятностей Ц.О. и всем меньшевикам. В самом деле, какую «значительность» могли они придавать той литературе, которая немолимо, шаг за шагом, разоблачала их шаткие оппортунистические позиции, которая везде и всюду открывала глаза рабочим, что новая тактика новой «Искры» к добру для рабочего класса не приведет! Достаточно посмотреть списки наших изданий, напечатанных по распоряжению большевистского Ц. К., распространившихся через партийную экспедицию и принадлежавших перу большевистских писателей, чтобы вполне согласиться с тем, что там, действительно, многое было очень огорчительно для меньшевиков.

1) Н. Ленин. Письмо в редакцию «Искры» («Почему я вышел из редакции», как помнят читатели, «отложено» к напечатанию редакцией Ц. О.

2) Н. Ленин. Письмо к товарищу (О наших организационных задачах).

3) Павлович. Письмо к товарищу о Втором съезде Рос. Соц.-Дем. Раб. Партии.

4) Комментарии к протоколам Второго съезда заграничной лиги русской революционной соц.-демократии.

Все это было издано в несколько месяцев, и для меньшевиков ясно было, что мы и в дальнейшем будем печатать такую же разоблачительную литературу.

Так как сидеть между двух стульев неудобно, а в политике и невозможно, то ясно, что нашим примиренцам объективно пришлось пересестя на стул меньшевиков, и вся их примиренческая деятельность пошла, конечно, по наклонной плоскости к меньшевизму.

Мы продолжали работать по-старому в экспедиции и пр., но ясно видели, что наступают последние дни совместной работы.

## VII

В экспедиции мы хорошо организовались, и дело наше шло весьма недурно, несмотря на то, что мы должны были, в силу партийной дисциплины распространять явно враждебный нам орган, в который превратилась «Искра».

Само же дело экспедиции все более и более налаживалось, и Владимир Ильич, уезжая в отпуск в феврале 1904 года, еще более энергично настаивал, чтобы я совершенно вилотную брался за все дело нашей партийной техники. Хотя официально я уже принял экспедицию, но все-таки еще оставалось некоторое двоевластие, так как товарищ Лейбович сдавал дела крайне мешкотно и никак не мог докончить эту сдачу: то надо было еще учинить расчеты с типографиями, брошировщиками и бумажниками, то надо собрать разбросанные по женевским мастерским отпечатанные книжки и газеты, то выяснить счета с третьими лицами, — и все это было очень хлопотно и очень нудно. А мы дело строили так, что в каждую минуту могли перейти на самостоятельные рельсы, совершенно порвав с меньшевиками. Организацию всей нашей заграничной техники Владимир Ильич, как я уже сообщал, поручил мне, о чем перед своим отъездом, помимо личного разговора, еще раз уведомил меня письмом от 8 февраля 1904 года:

8/II — 04 г. «Селадина (?) послал вчерашним с Игнатом<sup>1)</sup>. Получили?»

Дорогой Владимир Дмитриевич!

Большое спасибо за адреса. Простите, что причинил Вам такие хлопоты, я не предполагал, что придется Вам ехать за ними.

Уеду я, верно, сегодня. Пожалуйста, заберите Вы себе вполне в руки экспедицию: по всему видно, что не идет дело у Л.<sup>2)</sup> Как забрать, Вы уже там увидите. Но я все больше убеждаюсь, что пока Вы не заберете, не будет добра. Поговорите еще об этом с Васильевым<sup>3)</sup>.

Жму крепко руку.

Ваш Н. Ленин.

Р. С. На счет типографии тоже на Вас надежда.

В связи с раскрытием слежки за нашей почтой, а также и потому, что с

<sup>1)</sup> Игнат — П. А. Красиков.

<sup>2)</sup> Лейбович.

<sup>3)</sup> Ф. В. Легинок — член ЦК нашей партии того времени.

момента раскола на съезде необходимо было менять все наши адреса, так как нам не было никакого интереса знать, что почта, идущая к нам, может попасть в руки меньшевиков, Владимир Ильич решил переменить большинство адресов, по которым шла конспиративная корреспонденция.

Владимиру Ильичу потребовались надежные адреса. Я не считал возможным писать об этом моим политическим друзьям, жившим в разных городах Швейцарии, а, чтобы твердо и окончательно увериться в возможности этими адресами воспользоваться и организовать пересылку всего того, что будет приходиться на них, я сейчас же поехал в эти города, все устроил и, когда получил полную уверенность в надежности адресов,—сообщил их Владимиру Ильичу.

За время отсутствия Владимира Ильича мы особенно энергично принялись за все устройство экспедиции, твердо решив, когда он вернется, более не беспокоить его всеми этими хозяйственными мелочами.

В один из дней к нам пришел приехавший за границу из далекой сибирской ссылки Михаил Степанович Александров (Ольминский), которого мы знали по литературе, так как он был один из главных участников знаменитой лахтинской петербургской типографии, где печатались многие социал-демократические брошюры членов петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» и, в частности, несколько брошюр Владимира Ильича. Типография эта была народо-вольческой, так называемых «народо-вольцев четвертого листка», т. е. тех народо-вольцев, которые в своем периодическом издании «Листка» в № 4 высказались за марксистский взгляд на историю, приветствуя борьбу рабочего класса. Это для того времени было очень ново, и мы, молодые марксисты, радостно приветствовали этих новых наших союзников. Мы считали хорошим признаком, что наша теория проникает и в лагерь революционного народничества, делает там переворот мыслей и отрывает от народнической сре-

ды лучшие, деятельные, революционные элементы. Мы также слышали, что в ссылке М. С. Александров (Ольминский) сближался с нашими товарищами и усердно изучал марксистскую литературу. Его жена, Александрова, весьма энергичная, деятельная и умная, была яркой меньшевичкой, но мы слышали, что он с ней не дружил и как-будто бы даже разошелся. Михаил Степанович приехал к нам из Парижа и зашел к нам в экспедицию. Это нас радовало. Начало было хорошее. Это предвещало хорошую развязку наших отношений. Познакомившись со всеми нами, он сразу предложил себя на работу. Это как раз было во время самой большой спешки по приведению нашей новой экспедиции в полный порядок. Мы обрадовались новому сотруднику, и я, ничто же сумняшеся, предложил ему очень скучную, но крайне необходимую работу по инвентаризации нашего склада, когда мы открывали для каждой брошюры, каждой книжки, каждого номера газеты или журнала особый товарный счет. Михаил Степанович смиренно принял эту работу и каждый день аккуратно несколько часов посвящал себя ей. Мы все ближе и ближе знакомились с ним и были совершенно очарованы этим прекрасным человеком, товарищем и революционером, имевшим серьезные, выстраданные мнения по вопросам не только нашей теории, но и практики и этики обыденной жизни революционеров. Мы вскоре с ним не только сошлись по душам, но и искренне полюбили его. И он сделался и нашим другом и нашим товарищем, навсегда наших кружков, собраний, интимных бесед и конспиративных соображений и планов. Михаил Степанович вскоре познакомился с Владимиром Ильичем, с которым очень сошелся, а летом 1904 года он уже писал свои знаменитые брошюры-памфлеты под псевдонимом Галерка, чтобы осенью 1904 года стать одним из редакторов нашей первой большевистской газеты «Вперед». И с тех пор до сего времени, через полосу четвертиковой совместной работы, я имею честь быть с ним, этим ветераном русской революции марксистского пери-

да, в самых дружеских товарищеских отношениях, ничем никогда не омраченных, и хотел бы, чтобы так продолжалось еще долгие и долгие времена.

### VIII

В декабре каждого года в Женеве совершается широконародный праздник Эскалада. Женевцы в эти дни празднуют свое давнишнее освобождение от иноземной зависимости. Сохранилось предание, что когда Женеву окружили иноземные войска, стремившиеся вновь покорить взбунтовавшихся женеvцев, то восстали решительно все. Мужчины сражались, женщины и дети пошли на крепостные стены и там кипятили воду и обливали кипятком осаждавших воинов, поднимавшихся по лестницам на стены крепости. И женеvцы победили, прогнав врага. Этот день освобождения от ненавистного ига свято чтится женеvцами из поколения в поколение. Город оживает. Устраивается народное празднество, всюду раскидываются карусели, множество палаток со всякими сладостями и яствами. Приезжает народный цирк, тир, различные фокусники, зверинцы и т. п. Но самый интерес впереди,—это вечерний карнавал, когда все идут на улицы, наряженные в различные костюмы, в маски. Веселье заливаает город. Все веселятся, осыпают друг друга конфетти, опутывают серпантинами, и улицы блещут нарядными огнями, фейерверками, весельем, пением. Мы, русские политические эмигранты, конечно, ходили смотреть на это зрелище, но, по свойственной нам угрюмости, мешковатости и застенчивости, никогда не принимали живого участия в этом четырехдневном народном праздничном весельи. И вот, когда у нас в партии страсти кипели изо всех сил, когда раскол на большевиков и меньшевиков разделял всех и когда среди нас не было веселых настроений, наступил декабрь 1903 года... Мы сидели по своим углам, изучали документы, готовились к докладам, строили свою новую организацию. Не до веселья было нам. На улицу даже не тянуло. Вдруг зво-

нок. Входит Владимир Ильич, оживившийся, веселый.

— Что это мы все сидим за книгами, угрюмые, серьезные? Смотрите, какое веселье на улицах!.. Смех, шутки, пляски... Идемте гулять!.. Все важные вопросы отложим до завтра...

Мы встрепенулись... Нам так было приятно видеть Владимира Ильича таким веселым, бодрым... В последнее время, после с'езда, ведь он так устал, так изнервничался от всей этой ужасной, душной атмосферы, что, казалось, пока трудно было ждать нового прилива живых, творческих сил.

Радостно отозвались голоса. Точно все только и ожидали этого призыва, отвлекшего нас от сумрачного настроения. Мы шумной толпой вышли на улицу. Погода стояла прекрасная, теплая. Огни всюду светились радостно, и многоводная, быстротечная горная река Арва, которая протекала здесь совсем поблизости, так радовала своим переливчатым шумом... Мы зашли еще и еще к товарищам, всех увлекая с собой на улицу. Шуму и смеху не было конца, и Владимир Ильич—впереди всех. Мы радостной толпой влились в общее веселье улицы и пели, и кричали, и шумели, все более увлекаясь общим приподнятым настроением. Серпантинны летели от нас во все стороны более энергично, чем от других компаний, и мы усердно обсыпали конфетти наиболее интересные и живые маски.

И вот раздалась песня. Пели все, пела вся улица веселые бодрые песни, в которых звучали то мотивы «Марсельезы», то мотивы «Карманьолы». Кое-кто принялся танцевать. Вдруг Владимир Ильич быстро, энергично схвативши нас за руки, мгновенно образовал круг вокруг нескольких девушек, одетых в маски, и мы запели, и мы закружились, и мы заплясали вокруг них. Те ответили песней и тоже стали танцевать. Круг наш увеличился, и мы в общем веселье неслись по улице гирляндой, окружая то одних, то других, увлекали всех на своем пути. Нашему примеру последовали многие другие гуляющие здесь, и особенно молодежь с величайшей радостью подхватывала

всякую новую песню, новую шутку, новый пляс.

И надо было видеть, с какой неподдельной радостью, с каким огромным увлечением и заражавшим всех под-емом веселился Владимир Ильич, здесь на улице, среди женевской толпы граждан, в которой, конечно, более всего принимал участие рабочий люд, трудящееся население этого небольшого, веселого и изящного городка. Наплясавшись до упаду, увлекши с собой многих и многих наших товарищей, которые скромно и чинно гуляли по улицам и с истинным изумлением смотрели на нашу компанию и особенно на Владимира Ильича, который показал себя здесь с иной, веселой, глубоко товарищеской стороны, показал свою истинную живую натуру, умевшую и быть сосредоточенно серьезным, и увлекаться весельем, и радоваться радостям жизни, и быть коноводом и в шутке, и в игре.

Мы вваливались турьбой в кафе, отдыхали, смеялись, шутили, и остроум, казалось, не будет конца, и, наконец, изрядно поуставши, отправились все в наше излюбленное кафе Ландольта, где постоянно бывала русская политическая колония, и отдали честь великодушным сосискам с кислой тушеной капустой, которые мы так все любили.

На другой день по нашей русской колонии разнеслась весть о том, как большевики, с самим Лениным во главе, веселились на улицах. И это всем было и дивно и завидно. Никто, кажется, не ожидал от нас, что мы так вольно нарушим эмигрантское благочестие и проявим такое живое и молодое участие в народном гулянье. Но каково было удивление всех, когда все узнали, что зачинщиком этого дела был

сам Владимир Ильич, принимавший такое живейшее участие в нем.

И как это было хорошо! И теперь, после почти двадцати пяти лет, как приятно и радостно вспомнить Владимира Ильича не только бойцом, не только революционером, не только гениальным политиком и ученым, но вот таким, простым, жизненным, бодрым, веселым, заражающим всех своей радостью и предающимся и веселью с такой же страстью, с какой он делал решительно все. Вот эта непосредственность Владимира Ильича, умение подойти к явлениям жизни прямо, умение участвовать в самой жизни, сливаться с ней в ее радостных сторонах и вместе с тем всегда быть строгим к себе так прекрасно характеризуют Владимира Ильича.

Некоторые рисуют себе Владимира Ильича как сумрачного человека, вечно погруженного в самые серьезные занятия, совершенно отошедшего от радостей и горестей обыденной жизни. Имея ничем не поколебимое стремление переорганизовать жизнь для блага и счастья огромного трудящегося большинства людей, он чувствовал жизнь во всех ее проявлениях. Он терпеть не мог пошлости жизни, мещанства, глушащего все живое, трепетное и действительно прекрасное, и вместе с тем он откликался на всякую радость масс, на все то, что шло к массам, к их счастью, к их благу, к их радости и веселью. Вечно думая о жизни угнетенных, стремясь понять и провести в жизнь все то, что эту жизнь облагораживает, возвышает, очищает, поднимает,—он сам всегда хотел принять живое, непосредственное участие в самой гуще жизни, изучая и познавая ее со всех сторон.

Таким всегда был Владимир Ильич.

# Очерки современной литературы

## О творчестве Всеволода Иванова

ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

#### I

За недолгий срок со времени появления первых произведений Иванова он прошел длинный путь, тревожный и не прямой. Но одно из первых мест в литературе им удержано. Вместе с тем не умолкают споры вокруг его имени.

Споры — хороший знак. Бесспорны лишь бездарности и гении. Впрочем, — даже последние спорны. Автор «Бронепоезда», разумеется, не гений. Но даже враг не назовет его бездарным.

Талант Всеволода Иванова велик, и каковы бы ни были дальнейшие пути и перепутья его художественных исканий, то, что написано им в годы революции, останется одной из самых ярких страниц советского периода русской литературы.

Слава досталась Иванову почти что без борьбы. Он был одним из первых, кого выбросила на берег искусства волна революции.

В его стремительном успехе нет ничего удивительного. Правда, Иванов, подобно другим «молодым», вступившим в литературу в 1921—23 годах, не имел «конкурентов». Но причина успеха лежала в его стихийной талантливости, во-первых, и своеобразии материала, какой давал он читателю, — во-вторых. Последний слышал кое-что о сибирских партизанах и жестокой

партизанской борьбе. Художник их ему показал. Он развернул перед глазами читателя картины крестьянской революции, дохнул ему в лицо огнем и дымом пожарищ, открыл новый мир, до того невиданный и чуждый.

В произведениях искусства на его страницах превратились такие события революции, которые нельзя было показать «по наслышке». Иванову «повезло». Его личный опыт оказался исключительно богатым. Талант по силе и размаху несколько не уступал опыту. Этому счастливому сочетанию мы и обязаны появлением «Партизан», «Бронепоезда», «Цветных ветров», «Голубых песков».

#### II

С первых же страниц бросается в глаза крестьянское, деревенское мироощущение нашего автора. Это раньше всего можно увидеть на его сравнениях. Если Иванов говорит о днях, бегущим мимо, у него выходит так: «дни были тугие и смолистые, как кедровые шишки». Небо он сравнивает с «огромной недубленной овчиной». Седые головы ему напоминают «снопы пакли». Если тоска легла на лицо человека, — ему кажется, что это «ветерок», ворошащий «стоги сена». «Сухая, темная, как слежалое сено» — говорит он про женщину. Выстрелы заставляют его вспоминать «треск ло-



пающихся бобовых стручьев», а сопки кажутся ему «огромными муравьиными гнездами». Пустоту в голове человека он сравнивает с «бессочьем», «как в мертвом тростнике», плечи — с «степными дорогами», лохматые усы — с «лисыим хвостом», а грудь — с «свежими стогами». Если он хочет сказать, как погибает народ, — то выразит эту мысль так: «народ-то, как урожай под дождем, гниет». Тело человека вызывает у него воспоминание о «весенних землях», станция же, набитая людьми, напоминает «банку с червями».

Эта ограниченность сравнений выразительно говорит о мироощущении художника. У него нет иных красок, кроме тех, что почерпнуты из деревенского, негородского бытия. Из этой ограниченности — удачи и неудачи Иванова. Его страницы щедро украшены образами, которые дышат солнцем, пахнут лесом, овеяны степными ветрами. Когда же он захочет выйти за пределы деревенского круга, — слабеют сила и краски. Социальная природа мстит художнику, когда он пытается изменить ей.

Мир представляется ему многоцветным и пахучим, — не случайно одну повесть он назвал «Цветными ветрами», а другую «Голубыми песками». Потому-то читатель не удивляется, когда жара у Иванова «зеленая», лицо человека «желто-синее», а глаза встречаются «длинные, жесткие и темно-зеленоватые, как у рыси». Вот характерный отрывок: «Ветер желтый с запахами от падающих листьев несся вверх по пади. Ночью зеленый, густой туго падал с белого, как олений мох, неба». В другом случае горный ветер кажется ему «оранжевым», тающие снега «теплые, сапфирно-золотые»,

утки, летящие вверх, «снегово-малиновые», «блекло-синее» небо кажется ему, как «огромная синяя рыба». «Вершины гор были как красные утки в синих облаках», а плавники пойманных рыб, вытщенных из воды, хранят «нежные цвета моря — сапфирно-золотистые, ярко-желтые и густо-оранжевые». Насыщенная красочность у Иванова первого периода постоянна. Ее так много, что она утомляет глаз. «Фиолетовая прохлада» дремлет на дороге, «черно-лиловые, запашистые отфыркиваются кусты», «фиолетовые горы», «голубоногие чибисы», «зеленый ветер», «розово-фиолетовое небо», «синий волос» и все это на трех-четырёх строчках, — киноварь, охра, синька, по-азиатски нестро и первобытно нарядно.

Есть в этой красочности плакатность, упрощенность, нечто от примитива. Наиболее показательна повесть «Цветные ветра». Здесь краски синие, желтые, зеленые, алые, золотые, лиловые, медно-желтые и иссиня-черные, и темно-синие,

и земельно-синие, — и все на первых страницах, смаху, как из опрокинутого ведра, без чувства меры.

Столь же богата запахами каждая его страница. Пахнет зерном, прелым от самогонки, хлебом, геранью, табаком, сыростью, мхами, улетающими птицами, аммиаком, смолой, извечными запахами земли и деревьев. Из хоровода красок и душных запахов подымается могучее, земляное, полужверинное ощущение стихийной жизни.

Происходит борьба, люди убивают друг друга, движутся по земле, железные чудовища, течет кровь и вода, — но равнодушная земля, как огромное животное, живет своей жизнью, могучая, пахучая, плодоносная. «Земля мычит, течет слюна, — жуёт снега земля. Дышит в сердце человеке запа-



Всеволод Иванов

хами вечными, нерукотворными». Гора сел и деревни, исчезает крестьянское добро; художник жадным взглядом ловит мужицкое горе, тут же рядом с рубленовской насыщенностью рисуя плодородие: «золотые, пахнущие медом снопы овса. Пахли медом тихие, тучные лошади с зыбкими, зелеными глазами». «Истомленные под зноем возвращались туговымные коровы с мутно-зелеными глазами. И густое, точно каша, несли бабы молоко в подойниках».

Жизнь продолжается. Одной рукой истребляет, другой—возмещает. Главным героем партизанской эпопеи «Цветные ветра» является «хозяин» Калистрат Ефимыч. Он и бога искал, и с партизанами дружбу водил. Когда же промчались «цветные ветра»,—старик обратился к миру с просьбой:

«Пусти, мир, на пашню»...

И сам автор, в одном из лирических отступлений, подчеркивал мотив плодородия, власти земли, круговорота плодоносной жизни.

«Ветер зеленый плодороден и светел. Здрав будь, сладок,

К себе землю, колебли ее и жми!  
Семя принеси тяжелое и розовое».

В партизанских повестях Иванова земля рисуется не как «мир», «вселенная», но по-крестьянски, как кормилица, рождающая каждогодно. От того-то высшей похвалой звучало в его устах сравнение женщины с землей:

«Мягкие и гладкие губы у Настасьи Максимовны, мягкие и гладкие травы. Тепла неутолимою радостью земля.

К земле прижимаются люди, телом гибким, плодоносным и летним».

Земля, зверь, лес—это, собственно, основной материал его произведений. Человек умещается где-то посредине между лесом и зверем. Даже в приемах, с какими Иванов изображает человека, последний больше походит на зверя. Иванов прежде всего чувствует в человеке его животную, звериную природу — оттого характеристики его так плотски, телесны.

«От солнца, от влажного ветра бороды мужиков желтовато-зеленые, спутанные, как болотная тина, и пахнут мужики скотом и травами». Глаза жен-

щины «мягкие, зеленовато-желтые, дремотные». Такие глаза может иметь также кошка, рысь или другое животное. Читатель принимает, как должное, что от синей бороды Калистрата Ефимыча льет «землей и травами». Жену партизана Вершинина автор изображает так: «баба жирная и мягкая, как налим». В людях, особенно в женщинах Иванова, много животности, словно бы в человеке ничего не было, кроме костей и мяса.

Не только предметы, но даже понятия, т. е. явления отвлеченные, приобретают у Иванова вес и меру, овеществляются, материализуются.

В голове волосатого и зеленого попа Исидора юркают мысли, как «мышь». Горбулин в «Партизанах» усилием подымает «с днища души склизкую мысль»... Желая охарактеризовать душевное смятение, Иванов пишет, что «на душе кишело, как клубок белых червей». В «Цветных ветрах» в одном месте он уверяет, будто «голос вертелся, круглый и румяный» — и даже мысль — вещь, как известно, невесомая,—«с потом вываливалась» из мужиков. Естественно поэтому, что неприятный голос Иванов сравнивает однажды с «водянистым бревном».

Все эти не случайные особенности письма Всеволода Иванова говорят о нем больше, чем опубликованная им автобиография.

Анализируя его художественное зрение, его способы изображать мир, мы видим, что перед нами крестьянин, а не горожанин, поэт земли, а не индустрии. Ему близки и понятны леса, степи, с их красками и запахами, но далеки и непонятны каменные города, фабричные здания, паровозы, телефоны и электричество. Герой партизанских повестей Иванова — крестьянин, любящий плодоносную землю, работага и скопидом, рачительный хозяин, с оружием в руках отстаивающий право на свое место под солнцем. В самом авторе—много от его героев: у них общее ощущение мира. Понимают они его по-разному, но чувствуют одинаково. Это именно обстоятельство и позволило Иванову сделаться художником крестьянской революции. Оттого-то

«Партизаны», «Бронепоезд», «Цветные ветра», «Голубые пески» и являются такой необходимой, важной, органической частью новой русской литературы.

### III

«Партизанская» тема таит множество опасностей. Как уберечься от перегибов либо в сторону приукрашивания партизан, — речь идет ведь о революционной борьбе крестьянства, — либо в сторону очернения, — борьба велась с жестокостью первобытной. Эти два «уклона» — постоянные спутники крестьянской беллетристики вообще. Либо авторы склонны идеализировать мужика, по-некрасовски видя в нем страстотерпца, «чи не плачут суровые очи, чи не ропшут больные уста». Такой вообще была исконная традиция русской народолюбивой интеллигенции. Либо мученик, либо мучитель. Страстотерпец или троглодит.

Иванов избегал обеих крайностей. Оно и неудивительно: оба уклона знаменовали стороннее положение авторов, писавших о деревне. Идеализаторы и хулители одинаково были чужды крестьянству, смотрели на него со стороны, не видели в крестьянском облике частицу самого себя. Иванов, наоборот, — выходец из среды, которую изображает. Мужик для него объект не только познания, но самопознания. Партизанская стихия сродни самому Иванову. Он вступил в литературу, когда старую интеллигенцию развеяло по ветру, а новых интеллигентских фракций еще не сложилось. Оттого-то Иванов избегал фракционных интеллигентских влияний. В годы, когда он начал писать, не было еще литературных коммивояжеров, проповедующих теорию «социального заказа». Все это облегчило победу художника, ставившего перед собой задачу дать возможно более близкое к действительности изображение виденного. Тонкое знание среды, превосходное владение языком, верное понимание крестьянской души, великолепная

изобразительная сила, — все это делает партизанские повести Иванова образцовой крестьянской революционной прозой. Реализм сыроватый, с большим перегибом в сторону натурализма, варварская свежесть и грубость красок, игра на струне таланта, с явными недостатками мастерства — таковы черты первых произведений Иванова.

Только лирические отступления, врывавшиеся как музыкальный мотив в неторопливо развертываемую ткань повестей, давали знать о том, что автор — не бесстрастный художник-объективист, но заинтересованное лицо, изредка, для ослабления «давления», открывающее на краткое время «лирические клапаны».

С большой наблюдательностью показывает Иванов мужичье, мелкобуржуазное естество партизана, крестьянского бунтаря. Крестьянин прежде всего хозяин, собственник. Вещи в его сознании занимают центральное место. Общие, отвлеченные идеи почти отсутствуют. Его интересы связаны по преимуществу с местом его жительства. Известна шутка о крестьянине, который на вопрос: «пойдешь защищать Россию?» — отвечал: «нам что, мы рязанские». Она лишь в юмористической форме подчеркивает областнический характер крестьянского мировоззрения. Привязанность к земле, к избе, к пашне, связанность с местом и вещами, образующими хозяйство, — все это ярко показано нашим автором. Его партизаны не знают далеких целей. Их программные заявления не идут дальше лозунга: «наша крестьянская власть». Общие понятия их не трогают. Их сознание вещно. Борьба — конкретна. Они идут в тайгу, потому что японец забирает землю, потому что Колчак вводит налоги, потому что белогвардеец отнимает хлеб. В пылу борьбы они способны на подвиги. Но по холодному расчету отказаться от жизни не могут. Тогда на сцене появляется китаец Син-бин-у. А когда Син-бин-у ложится на рельсы, чтобы умереть, один из партизан — корявый палевобородый мужиченко — крикнул ему:

— Ковш-то брось сюда, манза!.. Да ливорверт-то бы оставил. Куда тебе ево? Ей!.. А мне сгодится!

Ту же «хозяйственность» проявляют мужики, расстреливая шпиона:

«— А ты сапоги-то сейчас сними, а то потом возись».

Рисуя героическую борьбу партизан, Иванов не забывает отметить зависть к мужикам, приехавшим из сопок грабить беженцев. С невозмутимостью сообщает оц, что крестьяне, те самые, которые вместе с большевиками восставали против угнетавшей их власти, после подавления восстания «с радостью помогали арестовывать и бить разбежавшихся деревенских и городских большевиков». Когда в «Партизанах» мужик убивает «красного», чтобы получить за него «сорок» рублей, старосте, «подфамиливавшему» удостоверение на получение денег, было «завидно».

Звериные черты показаны автором рядом с чертами глубоко человеческими. Звериное—неотрывно от человеческого. Иванов не знает, где кончается зверь и начинается человек. Человек и есть зверь. «Звери все» — говорит вождь партизан Никитин в «Цветных ветрах». То же самое повторяет другой партизан: «не верю я людям, сволочи они и звери». Слова эти автор вкладывает им в уста мимоходом, просто констатируя наличие этих качеств. Кровавая борьба за жизнь, за хлеб, за землю, за власть в его повестях столь же естественна, как рост травы, полет птицы или смена дня и ночи. Это не значит, что такой лик жизни удовлетворяет его философским запросам. Но в своих партизанских повестях он не ставил иных задач, кроме художественного показа: какова есть партизанская борьба, без прикрас и философии. Он мог осветить эту борьбу светом общих идей, задачами, какие ставила себе революция. Но их у партизан он не нашел. То были общие задачи революции пролетарской. Он же рисовал стихию крестьянскую, партизанскую.

Революционность партизан связана с хозяйственной психологией земледельца, которому мешают жить с зем-

лей в ладу. Эту связанность «с землей, с ее болями» он подчеркивает многократно. Земля является, собственно, главным героем его партизанских повестей. Из-за нее происходит борьба; она говорит устами действующих лиц. Это она воодушевляет на борьбу. В «Бронепоезде» один корявый мужиченко поймал Вершинина за полу шиджака и, отходя в сторону, таинственно зашептал:

«— Я тебя понимаю. Ты полагаешь, я балда-балдой. Ты им вбей в голову, поверю и пойдут! Самое главное в человеке поверить... А интернационал-то?»

Он подмигнул и еще тише сказал:

— Я ведь знаю—там ничего нету. За таким мудреным словом никогда доброго не найдешь. Слово должно быть простое, скажем, пашня... Хорошее слово».

«Без хозяйства человек—ветер»—говорит кто-то в «Бронепоезде», выразив этими словами самую сущность крестьянского мировоззрения. «Атличнейший чернозем»—мечтательно вспоминает покинутую свою землю беженец. Мечта об «атличнейшем черноземе» незримо сопутствует партизанам. Если Вершинин бросает как-то Здобнову:

«— Будут же после нас люди хорошо жить!»,

то это, по всей вероятности, означает, что будет же время, когда сможет крестьянин без помехи крестьянствовать. «От бога заказано землю любить»—говорит Селезнев в «Партизанах» на замечание Кубди, «что любить ее не за что». «Землю, парень, зря бросать нельзя» — наставительно говорит Селезнев.

Землю надо беречь. Ее любят и жалуют. Другое дело—человек.

«— Человека — что его, его всегда сделать можно. Человек—пыль»—говорит тот же Селезнев. «Нет ничего легче человека... убить» — слышим мы от другого партизана.

Безжалостность к человеку—одна из основных черт картины, развертываемой Ивановым. Характерно, что в партизанских повестях лишь один персонаж «долго говорит» о жалости. Это—растерзанный и размагниченный хлюпик — учитель Кобелев-Малишев-

ский. Единственный оказался жалостливый человек в партизанских повестях Иванова, да и тот — слизняк.

## IV

«Голубые пески» — самое крупное по размерам произведение Иванова. Этим романом замыкается цикл партизанских повестей. Дальнейший период его творческого развития проходит под новым углом зрения. Неясный еще самому автору, он тем не менее дает себя знать уже на страницах романа. Отличие «Голубых песков» от других партизанских повестей прежде всего в том, что здесь мы имеем попытку показать нам большевика, «кожаную куртку». Никитин в «Партизанах» показан вождем. Пеклеванов в «Бронепоезде» лишь «суетился» около Вершинина, крестьянского предводителя. Васька Запус в «Голубых песках» встает во весь рост. Он, кроме того, обособляется от массы. Запус — главное действующее лицо, центральная фигура. «Масса», «множество», прежде занимавшие передний план — в этом романе как-то посторонились, уступив место «вождю». В остальном «Голубые пески» имеют дело с тем же материалом, какой видели мы в других вещах Иванова. Это, однако, не спасло романа. «Голубые пески» — неудачны. Их неудача — не случайна.

Прежде всего о «герое». Он — олеографичен. Сделанный в розовых, смеющихся тонах, золотоволосый, курчавый, удачливый, он напоминает сульфальные изображения Бовы-Королевицы или Стеньки Разина, какие мы видели на лубочных картинках. «Слова у Запуса были розовые, крепкие, как просмоленные веревки, и теплые». Слова он выкрикивает «со смехом», и даже на суде, когда за преступление товарищи исключают его из партии, — лицо его «попрежнему розовое и веселое». Он исполнен «медвяной розовой радостью и силой». Он проходит по страницам романа как молодой зверь, чуждый сомнений, непосредственный, весь в ощущениях животного счастья бытия.

Но роман о Ваське Запусе, коммунисте и командире, не мог ограничиться показом его физиологического портрета. Ведь революция, в которой принимал участие Запус, имела какие-то цели. У революции была идеология, строй мыслей. Она имела знамя, программу. Ее задачи не ограничивались коротким лозунгом партизан: «За нашу крестьянскую власть». И вот тут-то, когда хочешь найти в романе не биологический, а социальный лик Васьки Запуса, — его не спасают ни радость, ни розовые слова, ни кудри, ни бабья любовь. Васька оказывается бессловесным. Телесно он осязаем, но косноязычен. У него нет мыслей. Ему нечего сказать. Он не знает, за что борется и куда ведет бойцов. Но однажды его посетило вдохновение, и вот что получилось:

«Запус, звеня между кирпичей, фиолетовый и востренький, колотил кулаком в стены и царалал где-то цпккой.

— Здесь, старик, Монголия. Наша! Туда, Михей Кириллыч, Китай, — пятьсот миллионов!.. Д-да-а, о!.. Вся паша Красная Азия! Ветер!».

Сказать, что это выражает коммунистическую идеологию — значит сказать нелепость. Иванова, однако, это не смущает. Коммунист Запус в изображении Иванова иным не мог и быть. «Запус... мало говорил о социальной революции — больше вспоминал о Павлодаре семнадцатого года». Он выполняет роль рубака. Надо «рубать» — он «рубает». Самый процесс «рубания» для него процесс радостный, продиктованный необходимостью свалить политический и экономический гнет.

В эпоху после пятого года один тогдашний социал-демократ бросил крылатую фразу: «мы были струнами эоловой арфы, на которой играл ураган революции». Сказано пышно. То же самое, менее эстетно, мог бы сказать о себе Васька Запус. Он был действительно струной, которую заставлял звучать ураган партизанской стихии. Запус — случайный член партии. Он представляет дезорганизаторский ее элемент. Оттого-то его из партии исключают. Бывали времена, когда с Красной армией бок-о-бок шел

Махно. Их сменяли дни, когда тот же батько Махно сражался против Красной армии под флагом защиты «крестьянской революции». Такова партизанщина.

Это великолепно показано Ивановым в фигуре Запуса и в его неспособности развить членораздельно свою программу. Покуда «рубает»,—он на своем месте. Но лишь только Запус открывает рот, чтобы заговорить,—получается сумбур. Когда на суде ему предоставили последнее слово обвиняемого, он сказал такую речь:

«— Извиняюсь, товарищи... Сидеть мне перед вами не на чем. Пока пролетариат Китая организуется и подарит т. Бритько табуретов... сейчас... я, стоя, скажу...

Он оглянулся и вдруг, надевая шапку, пошел:

— Впрочем, я ничего не имею.

Он сказал однажды Олимпиаде:

«— Укреплять волю необходимо... — Вспомнил что-то, улыбнулся:

— Также и читать. Социальная революция...

— Можно и не читать? — спросила задумчиво Олимпиада.

— Да, можно. Социальная революция вызвана... нет, я побеждаю лучше в исполкоме».

Так и не услышала Олимпиада о социальной революции. Когда же один из соратников Запуса попытался сформулировать партизанскую точку зрения на этот предмет,—получилось вот что:

«— Тут ведь, Олимпиада Семеновна, штука-то на весь мир завязывается. Социальная революция—у всех отберут и поделят...

— Раздерутся,—возражает Олимпиада.

— Ничего,—успокаивает ее Горчишников.—Выдюжат».

Такова партизанская точка зрения. Ей в полной мере соответствует герой, снабженный партийным билетом, Васька Запус.

Лихой, удалой, веселый ушкуйник, борющийся будто бы за «социальную революцию»,—он крепко слаян с традиционным героическим творчеством русской деревни. Это все тот же защитник бедных, усмиритель богатых, весельчак, гармонист, пьяница, жено-

люб — Васька Буслаев, не то Стенька Разин. Но эти именно олеографические черты и обнаруживают литературную сочиненность образа.

«Приехал он на базар, тройка вся в пене: шелковая рубаха, ливорверт. Орет: «не будь, грит, я Васька Запус, коли всех офицеров с казаками не переблю». Повернул тройку на всем маху—и в степь опять».

Так рассказывают мужики о Ваське в самом романе. Но это взгляд самого автора.

## V

Васька Запус неудачен. Не удался и весь роман. Ни со стороны тематической, ни со стороны мастерства «Голубые пески» не прибавили лавров к славе Иванова. С точки зрения технологической «Голубые пески» слабее «Бронепоезда», «Партизан» и «Цветных ветров». Большой формой не овладел наш автор. Были растянуты и «Бронепоезд» и «Цветные ветра». Но там все же композиционная схема не подавлялась частными задачами. Происходило это, быть может, потому, что «партизанский» материал был еще нов и неисчерпан. В «Голубых песках» же Иванов вновь строил из того самого материала, который ранее был им использован в полной мере. Приходилось изощряться, освежать его и дополнять. Поэтому множество частных заданий затемнили, отгеснили основную тему романа. Партизанский лейтмотив оказался перекрытым другими мотивами, которые, разумеется, дезорганизовали симфонию. Но, раз в нее ворвавшись, эти новые мотивы знаменовали некие новые задачи, возникшие в сознании автора. Именно в «Голубых песках», где «розовых» красок еще было хоть отбавляй, впервые прозвучали пессимистические ноты.

«А здесь каждый день—как рана. И плод ли созревший люди?»...

Нотка эта прозвучала сначала «под сурдинку». Она зазвучала громче в финале романа, в легенде, вложенной в уста врагу революции, Балиханову. Прослушав эту легенду, Олимпиада замечает:

«Почему вас еще не расстреляли?»

Легенда эта, выходит, далеко не революционная. И, однако, ее именем озаглавлен роман. Именно она брошена на последние страницы. Смысл же легенды о «Голубых песках» заключен в том, что молодежь, пошедшая в гору, расшиблась, «и на голубых песках было много крови».

Зоршинкид, «в голубой пыли побредший вверх по золотой дороге», — «ушел и не возвратился»... Народ, который должен был пойти вслед за ним, вернулся к старым жилищам. Даже любимая девушка пришла к ним обратно.

Правда, у Балиханова есть другой вариант, по которому видно, что «народ кидается вслед Зоршинкиду»... Кидается вслед... а дальше что? <sup>1</sup>

Вопрос — безответен. Им, в сущности, закончен роман о «Голубых песках». Васька Запус скрылся в стенах «Военной академии». Уходом Запуса и заканчивается, собственно, в творчестве Иванова «партизанский цикл». В дальнейшем получают развитие как раз те мотивы, которые в «Голубых песках» звучали «под сурдинку».

\* \* \*

Местами роман этот утомительно длинен, медлителен, испещрен отступлениями, многословием, с множеством лишнего материала. Лиризм, прерывающий повествование, назойлив. Технические ухищрения, с помощью которых автор пытался оживить повествование, — не достигали цели. Слабый идеологически, он оказался неровным со стороны технологической. Эта двойная неудача знаменовала в творческом развитии Иванова некую заминку, грозившую автору понятными опасностями. Пред ним возникли новые задачи и в смысле поисков нового материала, и в смысле освежения и заострения приемов письма. Партизанский период был исчерпан. Оставалось либо повторять себя, т. е. деградировать, либо взять «посох» и идти. Иванов избрал последнее. Цикл вещей, следовавших за «Голубыми песками», открывает новый этап в его творчестве. Менялись не только его художественные приемы. Изменялась точка зрения на мир.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### I

«Переходный» период в творчестве Иванова богат великолепными произведениями. Здесь мы видим: «Лощину Кара-Сор», «Смерть Салеги», «Как создаются курганы», «Долг», «Литера Т», «Зверье», «Дите», «Полая Арапия», «Хабубу», «Заповедник» и много других. Вместе взятые, они составляют наиболее богатую часть его литературного собрания. Здесь виден еще автор партизанских повестей. Он не совсем стяхнул власть революционного взгляда на мир. Но этот взгляд мутнеет. Новые, смутные, противоположные голоса начинают звучать на его страницах. Развертываются мотивы, меняющие идеологический характер творчества.

Если бы в «Бронепоезде» или «Цветных ветрах» появился задумчивый персонаж, искатель «правды», которому многое в происходящей борьбе «непонятно» и «страшно», — этот персонаж разрушил бы стройность революционной повести. Но в рассказе «Зверье» вот что читаем мы про комиссара красного отряда Мургенева:

«За войну он привык мыслить как приказывают, и хотя часто ошибался, но на душе от таких мыслей легче. Да и здесь, у отца, правды все равно не узнать».

Не размышляющего Ваську Запуса сменил, как видим, размышляющий правдоискатель Мургенев. Васька Запус, не умея объяснить, что и как, твердо, однако, знал, куда идет. Он, кроме того, ни в чем не сомневался. Мургенев, напротив, во всем сомневается. Мургенев потерял меру вещей. Хочет он, например, рассказать нечто действительно героическое, а получается «солдатское полувранье». Выходит не то и не так, как надо.

Тревога делается одним из спутников не только героев новых произведений, но и самого автора.

«Возможно, что я никогда бы не написал этого. Мне все труднее и труднее писать о себе» — неожиданно признается он в «Лощине Кара-Сор». А в

рассказе. «Как создаются курганы» читатель находит такие строки:

«...Бревно это скоро упадет, сгниет. Будет сначала сидеть на нем коршун. А затем на гнилушке оранжевая бабочка, называемая у нас могильницей. Курган зарастет ковылем. Облака по вечерам будут мелкие, сухие и оранжевые, как пыль с крыльев бабочки.

И какой-нибудь молодой археолог и поэт через тысячу зим раскопает курган и—ничего не поймет».

Все это в свое время ускользнуло от внимания читателя. Мрачное философствование не вышло как-то с обликом создателя «Бронепоезда 14-69». Как весело хохотал бы Запус, услышав о непонятности мира. Ибо он знал твердо: мир—это борьба, а в борьбе надо победить или умереть. Автор ничего не нашел бы возразить своему герою.

Но когда в «Лощине Кара-Сор» сподвижник по гражданской войне спросил рассказчика, куда ему ехать, — старый боевой товарищ оказался в недоумении.

«Куда мне советовать ему ехать? Куда он помчится разыскивать свою молодость?»—

и не дал ответа потому, что сам не знал: куда же, в самом деле, ехать Хвощу?

Вышло так, будто ехать буквально некуда.

Это, разумеется, радикальная перемена настроений. Она объясняет, почему в творчестве Иванова труп, страх, смерть, прежде занимавшие надлежащее место где-то на периферии,—ныне уверенно продвигаются к центру внимания. «Люди, что трава, одни умрут, другие вырастут»—таково было недавнее убеждение автора. Ныне же он воздвигает перед нами курган (восемь тысяч трупов!), по кургану, утаптывая землю, весело бегают грузовик, нагруженный кирпичами. Земля колыхается и оседает. Сквозь намеренное спокойствие автора просвечивает замысел, очень похожий на тот, что руководил Леонидом Андреевым, когда он писал свой «Красный смех»...

«Трупы лежали штабелями. Через две сажени в землю были вбиты высокие колья и между ними—трупы. Свозили

их сюда на платформах; были трупы зеленоватые»... и так далее, и так далее.

«...Часто пишут о мертвых глазах, а по-моему, тяжелее всего смотреть на руки»—бросает автор, содрогаясь. Он хочет, чтобы содрогнулся и читатель, он заостряет ощущение смерти, страха. «руки» бросает автор, содрогаясь. Он хочет по-бабелевски взять читателя «за тело, за глотку, за волосы» и заставить его вслед за собою повторять: «очень нелепо и по-нелепому страшно».

Можно было бы упрекнуть Всеволода Иванова в том, что его начал прельщать «страшный» жанр. В самом деле: выбор «материала» говорит о такой именно установке. В «Лощине Кара-Сор» чехи на глазах рассказчика истребляют отряд мадьяр... «Они начали дорезать пленных. Резали они почти всегда горло, сапогом оттягивая подбородок». В рассказе «Зверье» истребляется целая деревня... «Никаких следов не осталось от его родных, и никто не мог сообщить, живы ли они или их увезли ижевцы». В рассказе «Долг» расстреливают пленных: недостреленного (револьвер оказался незаряженным, а зарядить было стыдно) бросают живым в могилу. В «Смерти Сапеги» эротоман, после победы отряда, прежде всего насилует женщин; его убивают в постели. Дальше трупы—штабелями, тысячами, курганами.

Но «страшный» жанр тем и плох, что не устрашает... К тому же это типично буржуазный жанр: он существует, как средство волновать отупевшую чувствительность. Ставя задачей «пугать», творцы этого жанра сами лишены способности пугаться. Нашего же автора спасает именно то, что, пытаясь напугать, он прежде всего напуган сам. Иванов мог бы сказать: «я пугаю, потому, что мне страшно».

В его творчестве «страшный» уклон свидетельствует о том, как изменился для него мир. Недавно яркий и радостный—он стал непонятным и скорбным. Страх, как туча, закрывает солнце. Мотив страха пронизывает большую часть его произведений, звучит громче и сильнее, иногда перекрывая и заглушая другие мотивы и вызывая ощу-



щение «смертельной тоски», сгущающейся на его страницах.

«Вот и вечер подошел, а Мургенев все еще тоскливо бродил среди пожарищ... И огромная, как бы многостворчатая скорбь хлынула в него. Шумное пирокое дыхание послышалось вблизи. Он поднял голову. Огромный верблюд, тоскливо мотая головой, шел вдоль состава. Его лиловая тень прошла по ногам Мургенева. Сквозь заледенелые ресницы луна блеснула в верблюжьих глазах. «Эх, ты, зверье»,—шопотом сказал Мургенев вслед верблюду. Ему хотелось что-то добавить, а что, он и сам не знал...<sup>1)</sup>».

«Люду-то сколько перебито» — говорит старик в рассказе «Долг». «Перебитый люд» горой встает перед потрясенным взором нашего партизана. Трупы звенят «как металл или сухое дерево». А когда от взаимного звона и сталкивания отскакивают у трупов «пальцы, ноги, легкие младенческие головы», тогда,—признается автор,—познал он «хрупкость и весь восторг живого человеческого тела!».

Человек, который погибает, делается предметом глубочайшего внимания Иванова. Внимательно и подробно в рассказе «Литера Т» изображает он старого наборщика, который никому не нужен, камнем висит на шее своих товарищей: «зрение его слабнет, мир тускнеет—исчезают веселые облака, рано наступает серый вечер». Но вот именно потому он и привлекает внимание Иванова. Наш художник начинает глядеть на мир его тускнеющими, слепнувшими глазами — мир теряет краски, сереет, как рано наступающий вечер.

Еще недавно он слагает гимны:

Через степь на солнце!  
Через степь на радость.  
Через степь — вперед!

«Пройдем и проедем степи. Пески превратим в камни. Камни—в хлеб.

Веселых дней моих звенящая пена,—  
— Будь!» (Рассказы о себе).

Ныне же хлеб кажется ему камнем. Где она—радость и звенящая пена веселых дней?

«Монголия—зверь дикий и нерадостный. Камень—зверь, вода—зверь и даже бабочка—и та норовит укусить»— вот она перемена угла зрения! Мир стал злым и тревожным. Черный туман скрыл горизонт.

Изменение точки зрения на мир обусловило победу мотивов, звучавших ранее «под сурдинку». Они звучат в «Дитё», в «Полой Арапии», в «Хабу», в «Быке Времени», в «Возвращении Будды». Монголия, сверкнувшая радостным ковром красок, превращается в зверя дикого и нерадостного. Человек верил, что в хлеб превратит камень,—но увидел себя слабой игрушкой.

Человеческая судьба стала походить на страшный сон, а страшные сны оказались действительной человеческой судьбой («Орленое время», «Происшествие на реке Туп»).

«...Вечером, как всегда, поднялся волк на скалу Ийк-Тау, камень Быка Времени. Зажал хвост между ног и лег у откоса, нюхая жаркий, пахнущий кровью воздух.

И, как всегда, выбегал из песков синий Бык Времени и каменным рыком мычал в небо слова непонятные и вечные».

В «Возвращении Будды» то же каменное, молчаливое, запахами земли наполненное небо.

## II

Мы, разумеется, схематизируем живую ткань творчества Всеволода Иванова. Трансформация, нами показанная, шла путем не прямым, а извилистым. Были отклонения в сторону, повороты назад; иногда казалось, что отмеченные только что мотивы—лишь «эпизод» на пути нашего автора. Но мы пишем журнальную статью, а не исчерпывающее исследование о творчестве Иванова. Поэтому считаем себя в праве отмечать основные черты его развития, пренебрегая частностями. Общий же путь, нами показанный, был именно таков. Рассказ «Хабу», в свое время объявленный нашей критикой одним из самых ярких и революционных произведений Иванова, не выпадает из нашей схемы. В рассказе этом, по мне-

<sup>1)</sup> Курсив везде мой. Вяч. П.

нию некоторых критиков, побеждает революция, воля, социалистическое строительство. Это верно лишь отчасти. Кроме Егора и Лейзерова, критика как-то не заметила, что в «Хабу» есть еще третье действующее лицо, едва ли не самое главное: стихия, тайга, косность сопротивляющейся природы. Выходит, что природа побеждена. Лейзеров добился своего. Он увенчан даже трофеем: шкурка «хабу» украсила его могилу. Но странными условиями оставлена эта победа. Еще странней охарактеризованы Егор и Лейзеров. Первый — мощный, огромный, рыхлый, человек-лес, человек-земля, напоминает былинных богатырей. Гиганту-крестьянину противопоставлен Лейзеров — коммунист, мелкий и тщедушный: роговые очки, записная книжка, графы «за» и «против». Он — карикатурен; у него расстройство желудка, он слаб и хлибок, язык его суконовый, как плохая газета, но он — делая, практический человек, поэт всеобщей утилизации, и когда пролетает пух в «брачный период раннего лета», он задает вопрос: «почему тут вокруг летает пух и нельзя ли его утилизировать?». Лейзеров — рассудок, воля, «рационализированный человек», все страсти которого ушли в расчет. Непреклонный и упорный коммунист изображен полунасмешливо, полупрезрительно.

«И завел свою пречуднейшую разговоринку товарищ Лейзеров. Со стороны посмотреть — ларшивенький аршинный человечешко лежит под шубами. Желтые обсохшие от лихорадки ручки, отеки под глазами. Так нет ведь! Рассказал подробно, как гнать древесный уголь, какая может быть осуществлена здесь белая эпергия или белый уголь, какая польза от выганных тысячи верст».

«Хабу» посвящено, собственно, единороству Егора и Лейзерова. Егор — стихия, Лейзеров — рассудок. Егор — разлагается, отбивается от рук, сдает. Его покидает даже любовница и переходит к Лейзерову. «Аршинный человечешко» как-будто побеждает по всей линии. Дорогу через хребет прорубил, трудности преодолел, но сам погибает, сраженный лихорадкой. «Надо только

организовать промысловую кооперацию» — настаивает он. А гиганту-Егору на промысловую кооперацию наплевать! «Что Егору до этого дурака, до себя, наконец, до дороги» — читаем мы. «Действительно же верит, дурак» — думает Егор про Лейзерова. И не знаешь, с кем автор, — с Лейзеровым против Егора, или с Егором против Лейзерова. Как-будто с Лейзеровым, но как-будто и с Егором. Трофеем «Хабу» как-будто достался Лейзерову. Но жертва эта, принесенная туземцами, не мотивирована. Сдается, что лисью шкуру прибил к бревну на могиле не туземец Ням-ням, а сам автор.

Рассудком, волей — автор с Лейзеровым. Лейзеров должен победить. Но чувствами, симпатиями — он против Лейзерова. Оттого не только Егор, но и автор иронизирует над «аршинным человечешкой», над его роговыми очками, записной книжкой, страстью к цифрам и мелочам. Оттого-то автор уже от себя — со стороны — полунасмешливо, полуполюбовно говорит про него:

«И какой же он смешной, этот Лейзеров! Неужели он не понимает, что у него нет силы подняться и сесть, не думая уже о ходьбе». А в другом месте восклицает: «Велика пустыня, хотя ты и проложил пролетную дорогу, человек!».

Лейзеров умер, осуществив смелый план: хребет пробит. Но ведь все-таки — по воле автора — «поезд покатил дальше». О, разумеется, поезд когда-нибудь «вернется обратно», «подле остановится». «Надо подождать».

«Егор вяло глядел в тусклую береговую рощицу и, видимо, ничего не ждал».

«Все молчали». Так заканчивается этот рассказ.

### III

«Хабу» переходная вещь, как «Голубые пески». В ней сильна еще власть революционной установки. Но уже намечилась измена этой власти. Не в том сила, что Лейзеров остался твердым до конца. Сила в том, что Егор не устоял. Егор — из той семьи, что дала Верши-

нина и Запуса. От Лейзерова идут линии к Никитину в «Цветных ветрах» и к Пеклеванову в «Бронепоезде». В творчестве Иванова эти люди уходят. А Егоры — перерождаются, разлагаются, превращаются в упадочников.

Если взглянуть на «Хабу» в общей связи с другими вещами Иванова, тайный смысл этого произведения станет явным. В «Хабу», по мысли Иванова, «крахнули» оба: и Егор, и Лейзеров. С Лейзеровым автор рассчитался навсегда, уложив его спать сном вечным. Егор же остался жить, чтобы под разными именами, под разными масками, вместе с автором искать путь-дорогу. «Куда?»

В том-то и беда, что ни Егор, ни автор ответить не сумеют. Но другое направление, взятое автором, противоположное прежнему, несомненно. В партизанский период Иванов принимал цели, которые осмысливали борьбу, происходившую на его глазах. С изменением идеологической установки цели эти умерли. Потому-то ему все стало непонятно и страшно: исчезло оправдание борьбы, жертв, крови и слез. Но ведь без цели — как жить? На время, — до того, как «Тайное тайных» открыло ему некое новое непонимание жизни, — на его страницах зазвенели ветхие колокола Китежа-града. Древний мотив обетованной земли, достояние музейного изучения, «странно прозвучал на его страницах.

«Спокойную землю» ищут в «Лоскутном озере». Идет с посохом в город Верный косою Кузьма в рассказе «Жаровня архангела Гавриила». Правда, говорят, будто город «сквозь землю провалился». Но все-таки, — замечает автор, — «одна только мысль о чудесном городе Верном наружи билась, и верил он в нее злобно». Голодные, умирающие в «Полой Арапии» также с отчаянием взывают:

«Далекie земли, пустые, полые поля арапские! Какими путями итти, какими дорогами?».

Сам автор, впрочем, не обольщался иллюзиями на счет Китежа-града. Даже Кузьма, «злобно веривший» в чудесный город Верный, признается, что,

может, Верный и взаболъ провалился,— но ведь люди его «для утешения своего придумали».

Вместе с Кузьмой помечтавши о Китеже, автор замечает меланхолически: «Молчат кедрy и не отвечают, своим делом заняты. Что ж, нет ведь чудес на свете, и самое страшное—жить и верить в это».

Отсюда до «Тайное тайных» — один шаг.

#### IV

«Технологическую» линию развития Всеволода Иванова можно определить, как путь от рыхлой, натуралистической, азиатски-цветистой повести к лаконическому, реалистическому рассказу.

Талантливость и яркость его первых вещей не скрывали их недостатков. Иванов научился быть кратким. Растекание мыслию по древу, обилие деталей, многочисленные отступления, игра пустяками, третьестепенные лица и сцены — все это ушло с его страниц. Осталось лишь существенно важное. Прежде Иванов подходил к человеку с разных сторон, лепя образ враздробь, с помощью множества наблюдений, красок, черточек. Он научился рисовать человека короткими и сильными штрихами. Прежде частные задачи отвлекали его внимание. Быт он изображал натуралистически. В его новом периоде бытовая мелочь появляется лишь как характерная деталь. Развертывание сюжета вместе с лаконизмом приобрело стремительную динамику. С первых строк до последней, как с горы, повествование неудержимо идет к концу. Красок стало меньше, поубавилось и запахов, но то, что живопись потеряла в количестве, она выиграла в качестве. Перспектива сделалась как бы стереоскопической—оттого рассказы Иванова приобрели сжатую, сконденсированную силу.

Успехи Иванова как живописца принадлежат к самым крупным в советской литературе. Такие произведения, как «Дитё», «Полая Арапия» могут выдерживать сравнения с лучшими произведениями европейской литературы. В них все объединено, начиная с компо-

зиции, кончая пейзажем и сравнениями, теснейшим образом связанными с характером материала. Я не знаю, кроме «Полой Арапии», другого произведения, которое с такой потрясающей, почти осязательной силой показало бы голодного человека. «Голод» Гамсуна по праву приобрел мировую известность. Но Гамсун показал мир глазами голодающего интеллигента. Искривленный мир был удивителен. Иванов, как и подобало крестьянскому писателю, дал облик голодающей массы, вставшей в первобытное, звериное состояние — на грани людоедства. Этот показ человека поистине страшен. Описания, сравнения, пейзаж даны в «Полой Арапии» так, как если бы мир изображали те самые люди, которые мясом ближнего пытались утолить голод. Именно поэтому дует в рассказе ветер «худоребрый, голодный пес», солнце встает над деревьями «жирное», «об'евшееся», и «тучными животами» выпячиваются тучи.

Изобразительная сила кисти Иванова возросла необычайно. Он стал скуп на слова. То, для чего ему прежде понадобились бы страницы размашистой прозы, — он научился делать с помощью нескольких строк. Если ранняя проза его напоминала живопись пятнами, широкими мазками, ныне в ней намечается графический принцип, четкое распределение света и тени. Изображение делается выпуклым, движущимся, присованным.

Ранний Иванов пространно рассказывал бы о том, как охотник ранил медведя и что из этого получилось. Теперь он одной строкой дает удивительно заостренное зрительное представление: «кровь из раны по шерсти брусничкой катится». «Шипучая крона сосны» — читаем мы в «Хабу». Мимоходом говорит он, что дельфины похожи на «жирные тугие бревна» — и, право, трудно удачнее передать впечатление от этого животного. Еще больше успехов как живописец сделал он в следующем этапе своего творческого пути, ознаменованном рассказами «Тайное тайных». Лаконизм его достиг здесь высочайшей степени. Если прежде краски и запахи были главными изо-

бразительными средствами, в «Тайном тайных» изобразительность усилилась еще звуковым элементом. «Лето было сухое, ветренное, тощие колосья звенели как жестяные» («Комедант»). «Всюду, сквозь все разрушения шло на город море, наполняя дни грохотом и нестерпимой синевою» («Крысы»). «Влекомая ею корзина шипела по сухой траве» («Блаженный Арапий»). «Поземка подхватила одну нитку. Легкое шипенье перекатывающихся снежинок скрутило нитку, понесло». («Счастье епископа Валентина»). Описание пурги в «Полынье» — превосходно. «По сугробам переметывался с тревожным шипеньем снег». «Мчалась округ него шипящая светлая темнота». Тонкость передачи наблюдений делается замечательной. «К вечеру выпадал легкий дождь, выбивая каплями в пыли тонкую сетку». В этой связи лаконизма и выразительности заключена сила Иванова как живописца. Вот как показывает он сноп искр, вырывающихся ночью из трубы паровоза: «Золотая кукла искр прыгала в темном небе — выпрыгнет и погаснет». Лет пять назад он пространно и с множеством подробностей рассказывал бы нам, как просыпается деревня и какою она представляется человеку, на рассвете входящему в нее. Теперь он показывает ее буквально в трех строчках: «В деревне еще спали, но когда он вошел в улицу, уже показался из трубы дым, и оранжево заблестели отсветами от печей маленькие окна». Прежде, чтобы передать волнение человека, он многословно рассказывал бы о состоянии его чувств, о движениях, какие человек делал, о мыслях, суевившихся в его голове, упомянул бы обязательно о поте, который покрывает его лоб и ладони, — и о многом другом. Теперь он ограничивается одной строкой: «от волнения у него словно колос прошелся по горлу». Больше ничего и не надо: великолепно дано физическое ощущение волнения. Здесь оно как бы материализовано. Отчетливость, выпуклость описания, дающая «фактуру» вещей, их шероховатую поверхность, вообще характеризует его новейшую манеру

письма. «На углах веселые и расторопные мужики с алыми пальцами продавали отяжелевшую клубнику» («Сервис»). «Номер был в два окна. Одно, полуприкрытое ставней, разбитое, тихо звенело, когда ходили по комнате» («Блаженный Ананий»). Сила этих строк не нуждается в пояснениях. Она самоочевидна.

Перед нами всего лишь удачно организованные «слова». Но ведь в поисках этих «удач» и заключается техника искусства. Иванов научился пользоваться деталью — она играет в его рисунке огромную роль. Он ею оживляет картину, его описание делается динамическим, оно живет, дышит, движется. «Воробей опустился на яблоню. Веточка качнулась, и несколько осенних листьев скользнуло на землю. Воробей глянул боком, напуганно — и полетел» («Блаженный Ананий»). Другой пример: «За речкой, над окопами белых летала ворона, и отчетливо было видно, как, когда она взмахивала крыльями (несколько устало и, может быть, счастливо), от крыла отделялись перья; и вскоре одно перо выпало и, кружась винтом, медленно и как-то тепло падало на землю. Вспыхнул и погас пулемет» («Бог Матвей»).

Если бы рост мастерства не сопровождался идеологическими превращениями, приведшими Всеволода Иванова к философии упадка и гибели, — в его лице революция имела бы писателя, которым в праве была гордиться. Но, совершенствуя свои приемы работы, Иванов сделал громадный шаг назад, в сторону разложения своего, когда-то революционного мировоззрения. Начав революцией, он пока кончает реакцией. Это красноречиво показывает цикл «Тайное тайных».

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

#### I

Я говорил о перемене точки зрения, происшедшей в творчестве Иванова. С одной стороны, от «мирского» дела он обратился к личной судьбе отдельного человека. При этом Иванова

пленил человек погибающий. Вершинина, Никитина, Ваську Запуса смеяют Смокотинин, Ермолай Григорьич, Демин. Переход на новую точку зрения и появление нового «героя» связаны теснейшими нитями. Характер новой точки зрения и нового героя показывает также социальный смысл превращения. Всеволод Иванов перестал быть художником крестьянской революции. Другой общественный слой стал говорить его кистью.

Ермолай Григорьич Тумаков в рассказе «На покой» — бывший красный боец. Приказом по полку была отмечена выдающаяся его храбрость. Это было не столь давно. Ныне же Тумакова томит усталость, странная и страшная: отдыхом ее не прогонишь... Сердце его постоянно «ноет». Стоит ему «уверенно» стать в очередь позади какого-то «чахоточного», этого последнего, подобно Тумакову, также охватит «тоска» — по причине, которая остается не открытой. Затосковавший человек, «мучаясь», не может «понять — что и почему это с ним происходит»...

Можно было бы подумать, что «тоска» здесь случайна. Но если мы возьмем рассказ «Крысы», то увидим, что и тут «сердце» продолжает «ныть» у некоего Демина. Зашел к Демину приятель, сказал несколько слов, «опять затосковал и ушел». И в рассказе «Плодородие» у Мартына «опять защемило сердце», «тоска оседала на душе все ниже и ниже». И в рассказе «Полынья» Богдану «стало необычайно тоскливо». «И опять мысли, тяжелые горы, упали на него. Один он стоял у поля. Повернуть же в деревню было страшно до поту».

Странные люди, для которых тоска самое обыкновенное состояние. Тоской, как болезнью, заражено все вокруг. Не только у городских людей чахоточного вида, но и у деревенской девочки Мелитки «сердце ноет». В рассказе, носящем многообещающее заглавие «Пейзаж», мы видим людей с «унылыми лицами», даже щеки одного из них «утомленные», — и так неодолимы тоска и усталость в этих рассказах, что само небо, веселое и голубое

в недавних вещах Иванова, ныне кажется ему также «усталым» («Фотограф»).

Это далеко не все, что можно сказать о новых героях автора «Бронепоезда». Не только тоска и усталость щемят их сердце. Томления терзают их; непонятный страх подымается из глубин; а откуда, а почему, — сказать они не могут.

В рассказе «Ночь» мы встречаем здоровенного деревенского парня: странное дело — «непонятное томление охватило его», «холодеют» его виски, «засосало» сердце. Отец и два сына в рассказе «На покой» чего-то не договаривают, но прикидываются улыбающимися и хлопают счастливо друг друга по плечу. Поступки они совершают так, как если бы кто-то невидимый направлял их волю. Если Ермолай Григорыча охватит (случайно) радость — автор подчеркивает, что она беспричинна, т. е. происхождение ее непонятно. Если бы они могли сопротивляться «тревоге», «тоске», «непонятному томленью», картина была бы иной. Но они лишены энергии сопротивления. Они покорны и безропотны — эти новые герои поэта, когда-то воспевшего партизанщину! Если прежние его любимцы делали, с этими, нынешними, — делается. Такова перемена, происшедшая в характере главных героев Иванова. Кто-то, стоящий за спиной, которого не видно, руководит их судьбой, обрекает их на лишения и горести. Ничего не понимая, испытывая лишь тяжесть жизни, они покорно терпят. Так поступает юноша в «Блаженном Анании», принимая жизнь, «как это ни противно», — хотя он мог бы и не принять ее. Так в сущности поступает и красный командир Денисюк в военном рассказе «Бог Матвей». «И когда Денисюк (понимая, что поступать так нельзя, но иначе он поступить не может) поспешно сунул руку в кобуру, и то, что она была не застегнута, чем-то ободрило его, может быть, тем, что все это заранее, где-то далеко внутри его было решено, — поспешно выхватил кольт и одну за другой всадил в бога Матвея три пули».

Где-то в глубине что-то решается — и человеку ничего не остается, как следовать темному приказу. Человек — марионетка, игрушка стихийных сил. «Кому дано знать, как он попал на эту полянью!» — восклицает автор в рассказе «Полянья». И потому, что знать человеку это не дано, все в «Тайном тайных» кажется странным, непонятным, томительным. Мотивировка: «вдруг», «почему-то», «чем-то» становится в рассказах постоянной. «Это до слез почему-то радовало и умиляло солдат» («Бог Матвей»), «упреки его были почему-то особенно обидны» («На покой»), «это чем-то оказалось обидным» («Фотограф»), и так далее, — полнейшая неопределенность, такая удивительная в авторе «Бронепоезда»! Его героями овладевают смутные мысли, которым они не могут противиться. Несчастье обрушивается на них, как лавина, и встречают они его беспрекословно. Ермолай Григорыч, «партийный, уволенный с завода», отправляется в деревню. Там его подстерегает гибель. Он ее предчувствует, но неодолимая сила влечет его, и ничто не предотвратит этой гибели. Темное начало властвует над судьбой человека, подобное «жестокому» и «загадочному» року, тяготевшему над жизнью Василия Фивейского. Литературная традиция, которую мы считали прерванной, возрождается на наших глазах в творчестве бывшего попутчика революции. «Жестокий и загадочный рок» начинает наводить свои порядки в творчестве Иванова, — оттого-то персонажи его «Тайного тайных» действуют как бы сомнамбулически. Так Ермолай Григорыч соблазняет сноху, Кондрагий убивает отца, Афонька — неведомую старуху; сомнамбулизм царит и в «Жизни Смокотинина», и в «На покое», и в «Поле», и в «Плодородии», и в «Полянье», и в «Ночи».

«— Ничего больше не имеете сказать? — спросил судья Афоньку.

— Ничего, — ответил Афонька, и тогда-то только пришло ему в голову, что он людям понятно сказать ничего не может, и он визгливо, по-ребячески заплакал» («Ночь»).

Неуменье выразить себя словами характерно для людей, которых рисует Иванов в «Тайном тайных». Человеку «не дано» знать, как он попал в жизнь и почему его жизнь пошла так, а не иначе.

Сделавшись случайно комендантом, Мелитка стала всеобщим посмешищем. Девочку затравили. Она сошла с ума. Ее поместили в сумасшедший дом. И вот тут-то обнаруживается замечательное обстоятельство: именно в сумасшедшем доме встретила она человеческое обращение. Тут ее впервые приласкала жизнь; ей перестали снится каменные сны; ушла ее тоска, — и, взгляните, как изображает Мелитку наш автор после того, как она вышла из не сумасшедшего житейского круга:

«Мелитка довольна... У нее тихая и счастливая походка. У нее блаженное лицо, ясные и веселые глаза, и все встречные, почтительно поклонившись, сторонятся. Ее все называют Милитиной Кирилловной, она всем довольна и всех хвалит». Даже природа, бывшая злой и жестокой, стала иной: «солнце ходит по саду ленивое и теплое». И лисица, которая живет в саду и выходит из своей норы, если в нору помочиться, — лисица рассказывает сказки «сплошь счастливые».

Где же, по Иванову, собственно, сумасшедший дом?

Епископ Валентин искал тихого счастья для себя в маленькой комнатухе с милой девушкой Софьей. А ему навязывали какое-то большое дело, которого он не хотел. Он хотел маленького счастья в тихом уголку. От него же «требовалось постоянно мыслить, что он, епископ Валентин, слуга бога и живой церкви и борется с тихоновщиной в своей крошечной епархии». Вместо этого, у него в голове бродит простая мысль, «что, наконец-то, милые женские кудри упали на его жизнь, непреодолимо завладели сердцем епископа Валентина».

«...Да, такая именно тишина ему необходима. Маленькое стекло окна, закапанное белой краской, которую, наверно, забудут отмыть и которую так важно именно не отмыть. За окнами — су-

гробы, жрепки, словно бы столетние. За ними чуть-чуть мерцают голубые лотосы на главах собора, под ними огромное российское небо. Тишина, умиление, вера...».

Нужно ли говорить, что «счастье епископа Валентина» — миф.

Мелитка хотела сделать так, «чтобы увидели все, — от детей дворника до парней, — вот как может изменить свою жизнь человек».

«Она поступала правильно, не доедала, не допивала, все деньги посылала в деревню, зная, что все изменится так, как она хочет, у нее будет жених, обувь, хозяйство, уважение, — но на ее пути встретилось слово «комендант». Слово-то пустяковое, а как его осилишь! Слово погубило Мелитку. Полетела прахом жизнь человеческая».

Рассказ «Пейзаж». Утро. Пристань. Тело утонувшего коммуниста. Бессмысленна его смерть. Еще бессмысленнее сутолока около мертвого тела. А вокруг — пейзаж, убийственно унылый. Все мерзко, тоскливо, «пар» — и тот «тусклый», ячейка — и та «заспанная». Один лишь владелец катафалка, «в длиннополом сюртуке и цилиндре песчального цвета, распорядился радостно и гордо. Он первый среди прочих городских гробовщиков догадался окрасить катафалк в красный цвет и даже лошадей подобрал в масть — рыжие».

В «Фотограф» другой вариант того же «Пейзажа». Мертвец в окружении ужасающих морд.

«Снимались и у кремлевских ворот. Мужчины стояли, лихо сдвинув фуражки набок, а женщины пленительно улыбались».

И какую бы вещь из цикла «Тайное тайных» не взять, всюду сталкиваемся мы с нелепицей, с разрушением надежд, с торжеством губительного начала, которое лежит вне воли человека. Это — лейтмотив «Тайного тайных». По-разному, на разном материале развертывает автор эту тему о гибели человеческой и о том, что человеку не дано знать, — откуда и почему наложено на него бремя жизни... «Подростут воронята, перо сизым налетом покроется — раздерутся. С чего раздерутся —

никуму неизвестно; может, из какой ни на есть насекомой. Глядишь ты, — в драке-то развалится твое гнездо — чисто скорлупа» («Яицкие притчи. Про казачку Марфу»).

## II

Сопоставление «Тайного тайных» с циклом революционных произведений Иванова показывает одно из интереснейших в теоретическом и социально-психологическом смысле явлений: духовную трансформацию писателя, увлекающую за собой трансформацию его искусства.

Всеволод Иванов вошел в жизнь, когда она переживала величайшую ломку. Ему довелось быть ее активным участником. Он «ломал» жизнь. Но и она его «ломала». Крестьянская основа мироощущения Иванова меняла свои черты под жесткими пальцами эпохи. Эпоха же была индустриальной, городской, в которой пролетариат играл первую скрипку, задавал тон, руководил «ломкой». Всеволоду Иванову, так же, как и Есенину, пришлось иметь дело с «железным гостем». Всей крестьянской литературе наших дней приходится либо вступать с ним в союз не на словах, а на деле, значит «сломать» себя, перестроить свой мир; либо вступить с ним в конфликт, как вступил Есенин, как находится с ним в конфликте Сергей Клычков. Творческий путь Всеволода Иванова и раскрывает в сущности историю этого назревавшего конфликта. Из столкновения мягкого крестьянского мироощущения с железным мировоззрением господствующей силы рождаются извилины, колебания и срывы, какими богато творчество Иванова. Здесь сталкивается отсталая классовая психика, имеющая глубочайшие корни в прошлом, с требованиями, которые предъявляет ей новый строй жизни. И если говорить о том, как именно проявляется борьба классов в художественной литературе, — то надо говорить вот об этой ломке, происходящей в мироощущении и воззрениях писателя; она-то и отражается в художественной ткани его искусства. Ибо за новой тематикой, за новыми образами,

за новой художественной тканью стоит новый взгляд на мир, новый этап в социальном мироощущении писателя.

В смысле социальном эта трансформация знаменует разрыв прежних классовых связей. Писатель, сумевший ярко и размашисто, по-крестьянски, по-мужички, показать мир глазами партизана, перестает быть мужичким голосом. В его рассказах сохранились имена и профессии его прежних героев. Мы попрежнему встречаем красных командиров и красноармейцев, «партийных» рабочих и крестьян, — но люди эти лишь по инерции носят старые имена. Их психика — иная, их судьба — другая. Это не «партийные» рабочие, не краскомы и не красноармейцы.

Перед нами деклассированные одиночки, жертвы, а не строители. Именно мир погибающих, отчаявшихся и обреченных овладел сознанием Всеволода Иванова. «Полая Арапия», «Крысы», «Жизнь Смокотинина», «На шоккой», «Пепел», «Счастье епископа Валентина» «Бог Матвей», «Блаженный Ананий», «Плодородие», «Ночь», «Командир», «Польня» — все эти рассказы о людях, попавших под трактор истории. Отсюда мрачная философия упадка и гибели, звучащая на его страницах, отсюда темные краски, какими рисует ныне мир Всеволод Иванов. «Град будущего», к которому, плохо ли, хорошо ли, стремились его партизаны, сменился Китежем-градом, — то в виде города Верного, то «Полой Арапии», куда бредут калеки и убогие. Ваську Залуса, человека, который что-то «делал», сменил смутный, бестолковый Демин, с которым что-то «делается». В рассказе «Крысы» произошла встреча этих двух несходных людей.

«Уверенность, которой недавно владел Демин, видимо, до безумнейшего предела наполняла матроса. Демин понял: не найти теперь ему ни работы, ни хлеба. А матрос все найдет, даже ангорскую кошку... Демин со страхом взглянул на его бессмысленно счастливое лицо (и так же бессмысленно счастливо думая: «конец!»), громко и поспешно ответил: «есть!»



## III

Могут сказать: характеристику людей, изображаемых ныне Ивановым, вы переносите на самого автора. Одно дело—персонажи произведений: они могут быть бесконечно разнообразны; другое дело—их автор: при бесконечном разнообразии своих героев он может оставаться самим собой.

Это замечание правильно вообще. Оно неправильно в данном случае. Изменилась не только тематика Иванова, изменился его взгляд на мир, его подход к миру. Не правы поэтому те, кто пытается «объяснить» «Тайное тайных» так: Ивандов-де показывает реакцию оппозитных людей. Это верно, конечно. Но суть в том, что он показывает их «реакциозно»! Не только герои его сделались посетителями упадочнической философии. Она овладела сознанием самого автора, ибо картина, какую в «Тайном тайных» раскрывает он, говорит не только о раскрываемом мире, но еще о самом авторе. Это делается ясным, если мы обратимся к его последним произведениям. Они сделаны из того самого материала, который мы имели в первых партизанских повестях.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

## I

Некоторые критики и читатели в новом обращении нашего автора к революционному материалу увидели некий благотворный знак: Ивандов возвращается к революции. Такое мнение оказалось поверхностным. Анализ «Гибели Железной» и «Подвига Алексея Чемоданова» говорит о том, что наличие революционной тематики не мешает произведению быть реакционным. Дело не в «материале», а в «точке зрения» автора и в «приемах» обработки материала.

«Гибель Железной» вызвала большие разговоры в связи с тем, что Ивандовым были грубоваты использованы некоторые мемуарные источники. Меня это в настоящий момент не интересует. Большой интерес представляет общая неудача повести, ее неубедительность,

фальшь. Фальшива же она от начала до конца. Фальшивы ее общий колорит, психология, поступки действующих лиц. Произошло это, мне думается, потому, что герои «Гибели Железной» так же, как Алексей Чемоданов,—позитивные лица. Загримированные персонажи из «Тайного тайных» неудачно разыгрывают старые роли, порученные им автором. Но все их повадки выдают ряженых. Это те же самые Демин, Смокотинин, Ермолай Григорьевич, Афонька фигурируют под новыми именами. Но духовный мир их тот же самый, какой мы видели в «Тайном тайных». Главное действующее лицо «Гибели Железной» Плешко, совсем как Смокотинин, или Ермолай Григорьевич, или как девочка Мелитка, чувствует «весь день на душе тягучий и мучительный осадок и все старается уяснить: откуда это у него?». Мысли Плешко не похожи на те, которые волновали сознание красных бойцов в дни наивысшего боевого подема. «Да и можно ли любить за красоту, да и что такое любовь?». «А пройдет пятнадцать лет, и село будет освещено электричеством, и девки в шипящих новых ситцевых платьях—грудастые и широкозадые—в обнимку с парнями, горланя и смеясь, пойдут по улицам, и никто не вспомнит ни Плешко, ни трепещущего Матанина» — вот о чем думает «красный герой», когда ему не спится. Подобно епископу Валентину, его охватывает беспричинное умиленное чувство. В Плешко те же безволие, мягкость, бесхребетность, что в героях «Тайного тайных». В «Гибели Железной» красный командир Болдырев испытывает неопределенное «беспокойство». Подобно тому, как это мы видели в «Тайном тайных», и здесь «неохватная бессмыслица вокруг». Подобно героям «Тайного тайных», не понимавших, что происходило вокруг них и в них самих, «что значит—ставить ребром,—Плешко и сам не понимал». Его характеризуют те же смятенность души, тревога, ужас, страх. «И Плешко, понимая, что невозможно требовать простоты в этой страшной жизни, которой они сейчас живут, и что надо ее жалеть, все же не чувствовал к ней

жалости». «Сон на мгновение овладел им, но он вдруг почувствовал столь необычайный прилив радости и нетерпения ехать или разговаривать (великолепные планы чудились его голове, слезы восторга уже почти выступили у него на глаза), — он проснулся!». Подобно тому, как что-то овладевало героями в «Тайном тайных», — так же точно «чувство омерзения, которое охватило его, когда он стрелял в пластунов, опять овладело его телом». Омерзение, страх, томление, — ничего этого не было и не могло быть в революционных произведениях Иванова. Не было и не могло быть потому, что они испепелялись в огне войны. Они могли таиться в темных закоулках сознания, но не проникали в его центр, не делались доминантами, никогда не могли сделаться лейтмотивом. Но постепенно — с «Голубых песков» — они стали звучать сильнее и громче, и лишь в «Тайном тайных» завоевали доминирующее положение. В этой смене доминант и заключено, в сущности, все «превращение» Иванова. Новая доминанта изменила угол зрения автора, перспектива стала иной, преобразились краски, иначе легли свет и тени. Оттого-то мир, показанный нам в «Тайном тайных», оказался непохожим на мир партизанских повестей. Несмотря на то, что в «Гибели Железной» мы вновь встречаем деятелей двадцатого года, — на их лицах, поступках, в общем характере картины мы видим тот самый угол зрения, который обусловил особенности цикла «Тайное тайных»; гибель, рок, бессмыслица, отсутствие перспектив.

«Вот зажигали ночью костры, красноармейцы подходили и стрясали в огонь вшей, слышна непередаваемо похабная брань. Запах отсушившихся онучей, слякоть и грязь, и все отвратительное зловоние полей, и грязные тесные хаты, и грязный крестьянский царь в колоде, Иванушка Бессонов, — какая, казалось бы, чушь и чепуха!».

## II

Можно было бы не говорить подробно о «Подвиге Алексея Чемоданова». Рассказ начинается словами: «это про-

изошло осенью тысяча девятьсот двадцатого года». Но анализ художественной ткани, психология героя, пейзаж, который развертывает перед нами автор, характер сравнений, эпитетов, образов говорят о том, что дата вводит в заблуждение читателя. И здесь мы встречаем заграничных персонажей «Тайного тайных». Знакомое нам «беспокойство» с первой страницы томит Алексея Чемоданова. В голове его «постоянно ныло, а в горле стояла слизистая дрожь, которую никак не удавалось выплюнуть». Его беспокоят самые мысли и ощущения, томившие героев «Тайного тайных». «То чувство, которое овладело им после слов старухи, а именно: сейчас, немедленно же надо придумать и решить ради чего он жил, пьянствовал, обижал людей и самого себя обижал — уныло тревожило его». «Тревога завладевала им все больше и больше». Даже городок, куда он прибыл, «казался необычайно пустынным». Даже собаки «смотрели на него, испуганно молча». Даже «песчаная дорога мертвенно бледнела». И когда чей-то голос зашел, голос этот был «несказанно тоскливый». «Один рот лишь ясно выражал то отчаяние и страдание, которыми была наполнена песня».

«Земля тесная, куда со своей тоской деваться?» — шепчет Чемоданову мещанин. Подобно героям «Тайного тайных» Чемоданов говорит не то, «что должен и мог бы сказать».

Если в рассказе «Источник Взывающего» встретим человека, имевшего «славное прошлое» (воевал в степях, на Украине, на Кавказе, вел красноармейские полки и партизанские мужичьи стаи) — мы наперед скажем, что будем свидетелями его гибели, потому что, какая же другая тема заинтересует ныне Всеволода Иванова? Когда сильный человек ломает жизнь и побеждает, какое дело Иванову до этого человека! Но стоит лишь ему упасть на колени, потерять веру в жизнь, отдаться власти темных предчувствий, смутных томлений, непонятого страха, — другими словами, лишь только запахнет тлением, разложением, гибелью, наш автор партизанских пове-

стей тут как тут, участливо склоняется над загнанным, взволнованно следит за каждым его движением, вместе с ним тоскуя, испытывая волнение, которое холодит виски и погружает в томительное ощущение умирая.

### III

Последний этап творчества Иванова безотраден. Еще гремит на сцене Художественного театра «Бронепоезд». Но автор революционной крестьянской пьесы успел сменить «вехи» в сторону, обратную революции. Ныне он является рупором реакционного социального слоя. В смысле социально-психологическом, путь Иванова—путь деградации. Поэт революционной партизанщины, по мере того, как выветривалось его революционно-крестьянское мировоззрение,—он превратился в поэта разлагающегося мещанства эпохи пролетарской революции. Нельзя отрицать за этим слоем право иметь своего выразителя. Если есть упадочничество,— оно найдет своего художника. Печально то, что художником этим оказался автор, имевший много шансов занять видное место в рядах искусства, призванного участвовать в творчестве нового мира.

В самое последнее время Иванов опубликовал два новых произведения: «Особняк» и «Бамбуковая хижина». Они ничего не добавляют к общей характеристике его. Написана «Бамбуковая хижина» в той же манере стремительного и краткого повествования,— с тем же лейтмотивом недоумения и беспокойства, с хороводом событий, которые могли быть, но могли и не быть, с торжеством немотивированной случайности и с господством слепой силы, которая где-то за стеной руководит человеком и его судьбой. Эти произведения говорят, что этап «Тайного тайных» исчерпывает себя. На фоне упадочных рассказов последних лет «Особняк» любопытен вдвойне: реакционный аллегоризм

его несомненен. Иванов, конечно, не с Чижовым, торжествующим мещанином. Он с мещанством погибающим. В этом смысле Чижов, возвращающийся в свой «особняк»,—ему ненавистен. Но суть в том, что Иванов убежден, будто побеждает именно Чижов, мещанин тупой, сытый, довольный и преуспевающий. На фоне мрачной философии «Тайного тайных» появление торжествующего Смердякова в творчестве Иванова поистине злое.

### IV

Всеволод Иванов молод. Последний этап его творчества, изображенный нами, не является последним на его творческом пути. Талант Иванова, как художника, исключителен. Перед ним стоит задача: преодолеть в себе элементы упадочничества. От победы над ними зависит его судьба как художника. Власть упадочных настроений, философия гибели, в конце концов, ограничивают мир, делают его бедным и плоским. Суть не только в политической реакционности последнего этапа Иванова. Это обстоятельство само по себе имеет огромное значение в нашем литературном движении, ибо реакционность означает конфликт с эпохой, разрыв с революцией. «Тайное тайных» замкнуло все перспективы перед Ивановым—и на примере «Гибели Железной» и «Подвига Алексея Чемоданова» мы видим, как начинает страдать его мастерство: оно перестает убеждать. Кисть Иванова фальшивит. Вместе с тем начинают окостеневать приемы его работы. То, что поражало своеобразием в первых рассказах «Тайного тайных»,—становится штампом, а это грозит смертью искусству. Мрачная тень, легшая на тематику Иванова, начинает распространяться на его мастерство. Упадочничество его философии грозит сделать упадочными самые приемы его работы,—а это будет означать гибель не только персонажей, но самого автора.

# Александр Малышкин

Ник. Смирнов

## I

Прекрасные слова Фета о книжке Тютчева—«вот эта книжка небольшая томов премногих тяжелей»—целиком могут быть отнесены к творчеству писателей-современников, противопоставляющих беллетристическому «размаху» немногословное, но углубленное и полноценное искусство. Фетовское определение с полным правом приложимо и к единственному сборнику рассказов Александра Малышкина<sup>1)</sup>, подводящему итоги его семилетней творческой работы. Этот сборник, как в библейской легенде о весах справедливости, «перетягивает» большинство многотомных «собраний сочинений», закованных в расписные переплеты, пышные, словно купечески-старинный свадебный билет.

На примере Малышкина сказывается одна из отрицательных сторон современной литературной критики—часто наблюдающаяся у нас недооценка подлинных ценностей. У нас за последнее время появилось немало т. н. широких полотен, изготовленных по готовым рецептам и—вероятно, иронически—называемых «проблемными». Огромное большинство таких романов, являющихся ставкой на диспут, находятся за гранью литературы—независимо от того видимого «успеха» и признания, которые создает им непрочная и преходящая злободневность. Но в то время, когда не-

которые из этих, то посредственных, то просто ученических, произведений выдаются за достижения «на литературном фронте»,—в то же время настоящие художественные завоевания, весьма часто замалчиваясь (или недооцениваясь), все-таки входят в историю литературы как ее необходимые звенья.

Имя Малышкина пробуждает в памяти те недавние и славные годы, когда советская страна, только что опустившая меч гражданской войны, переживала стремительный, великодушный и буйный подъем во всех областях своего строительства.

Подъем, организация и реконструкция народного хозяйства сопровождалась быстрым расцветом новой культуры, в частности,—художественной литературы.

Художественная литература, находившаяся в состоянии величайшего упадка, быстро заявила о себе рядом несомненных и ярких талантов.

Правда, будущее показало, что некоторые из этих талантов, «подававших надежды», быстро и навсегда отскочили падучими звездами, а некоторые, исчерпав себя в первых вещах, до сих пор пребывают в творческой летаргии, но большинство из них несомненно остались в литературе, выдержав самое тяжелое из испытаний: испытание временем.

Малышкин принадлежит к числу именно таких «испытанных» писателей. Выступивший впервые как художник в 1923 году,—эпопея «Падение Дайра» в альманахе «Круг»—он через три

<sup>1)</sup> Александр Малышкин, «Февральский снег». Изд. «Пролетарий», 1928 г.

года пишет свой волнующий «Февральский снег», а потом совершенно зрелый «Севастополь»<sup>1)</sup>, всем этим наглядно доказывая огромный, равномерный и уверенный творческий рост. Если «Падение Дaira», звучало чудесным обещанием, то последние вещи Малышкина — его большая и хорошая победа.

Малышкин — настоящее, без кавычек, достижение молодой революционной литературы.

## II

Творчество Малышкина разворачивается по линии органического притяжения современности. Революция — колыбель и родина его творчества. Активный участник героических, почти легендарных походов Красной армии, Малышкин навсегда сросся с революцией, крепко овевшей его лицо бурями, зноем и порохом. Малышкина нельзя назвать попутчиком, — он скорее может быть охарактеризован, как верный спутник революции. Революция — единственная тема Малышкина. Она разработана им с углубленностью, с великой убеждающей и впечатляющей искренностью. Творчество Малышкина последовательно. В нем есть законная цельность. В его повестях и рассказах наблюдается известная хронологичность.

Сборник «Февральский снег», несмотря на тематические разрывы, — они восполняются позднейшим «Севастополем», — объединяет, прежде всего, стройность действия.

«Февральский снег», заглавная вещь сборника, — источник Малышкинской эпопеи.

...Белый зимний Ораниенбаум, гулкая и вихревая метель, морская воен-



Александр Малышкин.

ная школа, вымуштрованные люди, мечтающие об офицерских кителях, певучих шпорах и черноморских волнах, шумящих у бортов порывистой миноноски.

В школе строгий и замкнутый мир, свои обычаи и традиции. Все поставлено на службу единой цели: выработать опытных и покорных защитников и слуг блистательной империи, находящейся накануне стихийного исторического обвала. Обвал близится, раздаются первые, еще подземные, удары революции. Естественно, что революция, вспыхивающая на боевых крепостных фортах, воспринимается здесь как бунт. Юнкера призываются на защиту поникшего трехцветного флага. Но юнкерский состав неоднороден. Энтузиазм древних рыцарей, для которых высшим законом была шпага короля или шлейф королевы, мешается здесь с дерзким скептицизмом, а иногда и с прямо «крамольными» идеями. И только несколько юпошей, родных сыпоев своего класса, несколько аристократов до конца остаются верными слову присяги.

Наиболее законченным и цельным образцом такого, по-своему, конечно, благородного клятвеносца, выступает в повести Елховский, искренне презирающий своих соратников-интеллигентов и тайно позирующий под смуглого корсиканца в ботфортах диктатора.

— Дайте мне роту кронштадтцев и пулемет, — через час вся эта сволочь будет на коленях, — говорит он, указывая на бунтующих матросов.

Примером же интеллигента — разночинца в военном мундире может служить Шелехов, имеющий «университетский диплом» и честно выслуживающий свои серебряные погоны.

Шелехов — главный герой повести. Он разночинец, человек, не имеющий ни твердой корневой социальной опоры, ни определенного, органически-

<sup>1)</sup> «Севастополь» начинается печатанием в настоящей книге «Нового Мира».

чеканного мировоззрения. Он смутен и туманен: его было бы трудно отличить в старой студенческой толпе, как трудно выделить его и в военной школе.

Шелехов неуверен и, пожалуй, растерян.

— Софронов, а вы куда после производства? — спрашивает он одного из своих приятелей, мелкопоместного дворянина.

— Я, Шелехов, решил остаться во флоте совсем, сдать экзамены на штурманского офицера.

— А ваш университетский диплом?

— Что ж, мой университетский диплом не помешает. Знаете, у кого самая красивая форма? У сумских гусар... Флотский офицер не хуже гусара!

У Шелехова нет даже такой, мягко выражаясь, элементарной «установки»: он — человек рефлексии и раздумья. В нем много от мещанина, и вполне нормально, что будущий офицерский чин непременно — и прежде всего! — соединяется в его представлении с материальными благами.

Шелехов постоянно колеблется. Он, например, в глубине души чувствует студенчески-разночинную неприязнь к Елховскому: «Такие Елховские, надев офицерские погоны, недавно могли почти безнаказанно зарубить студента, в роде Шелехова, просто за непочтительный взгляд», — по он все-таки подолгу слушал Елховского. — «И странно: слова не только отвращали, но притягивали чем-то, смутно и неотвязно...».

Здесь — ключ к раскрытию образа Шелехова. Шелехов — характернейший тип рядового «мыслителя» интеллигента, у которого над всем преобладает повышенная и страстная эмоциональность. Шелеховы, в конце концов, идут за теми, на чьей стороне оказывается покоряющая и убеждающая сила. И то, что дух кастовости, господствующей в школе, целиком подчиняет себе Шелехова, — все это, опять-таки, психологически оправдано и законопно.

В решительный час, когда к замкнутым воротам школы приближаются матросы, один из юнкоров спросил Шелехова:

— Ты будешь стрелять?

— Буду! — злобно выпалил Шелехов...

Селезнев опустил глаза на его сапоги, подождал и процедил медленно:

— А ведь ты университет кончил.

«Хотелось крикнуть: да, кончил, да, в свое время и прокламации таскал... но только круто повернулся и ушел...».

Шелехов не совсем понятен без его личного прошлого: свое, личное, кстати, выражено в нем с чрезвычайной наглядностью.

Он, Шелехов, рос и воспитывался в бедной и скучной семье, — он не слышал колыбельных песен старой няни, не знал благодатного и нежного уюта у домовитого, родного очага. У него была старуха-мать, вечно стучащая на ремингтоне, была безрадостная, «стипендиальная» юность с мечтами и бесформенными надеждами, преображавшими жизнь.

Шелехов — мечтатель, человек того «двойного бытия», за которым всегда скрываются душевный надлом, пустота, потерянности.

Яркая подробность: Шелехов, жалуюсь приятелю-юнкеру на свое одиночество, рассказывает ему о любимой девушке-курсистке в лиловом платье и балльных лакированных туфельках, которая чудесно совмещает в себе рядную свежесть молодости с серьезностью университетской науки. Рассказывая об этом, Шелехов понемногу начинает верить в созданное им видение, — «Людмила на людях стала иной, на нее упали шелковые отражения изысканного мира» — и с неохотой возвращается к мысли о реальной Людмиле, обычной, неловкой и недалекой, некрасивой девушке. То же и с воспоминаниями о «научной работе»: мысленно он открывает подлинный текст «Слова о полку Игореве» (он словесник), хотя, на самом деле, прошлое его буднично и обыкновенно.

Шелехов, ища выхода в призрачной романтике, томится своими житейскими неудачами. Он чувствует темную злобу за прошлое. И вглубь понятно, что он, в ожидании серебряных погон, готов зализывать свое будущее.

Однако, Шелехов неглубок и неустойчив: он никогда не дойдет до само-

пожертвования, или, наоборот, до мучительного разлада с собой. Он, будучи воспитан в условиях старого мира, хранит в себе, несмотря ни на что, неясные следы и тени его очарования, но кровно он не связан с ним, как связан, например, Елховский, кончающий самоубийством вместе с падением режима. Шелехов не трагичен.

С другой стороны, он, войдя в революцию, — в чем не будет никакого противоречия, — никогда не поднимется до глубинной осознанности ее классовых целей. Шелехов не монолитен.

### III

Малышкин, как настоящий художник, создает образ героя во всей его полноценной сложности. Писатель идет тщательным и ровным путем зерна, дающего, в конце концов, пышные ветви и зрелый, румяный плод. Тонкий и чуткий психологизм неразрывно соприкасается в его творчестве с удивительным искусством внешней обрисовки.

Малышкин, оттеняя и перекрещивая важнейшие, определяющие частности, умеет показать живого человека с минимальной затратой словесного материала. Трехбальная словесная скульпость — характерная черта Малышкина. Мастерство портрета — одно из прекраснейших достоинств его творчества. Его повести — настоящая галерея живых людей. Люди, даже эпизодически появляющиеся на его страницах, никогда не стираются в памяти читателя: они запоминаются своей индивидуальной самобытностью. То же и с жанровыми, бытовыми зарисовками Малышкина. Он, мастер человеческого портрета, — не овеществленного, а полнокровно-одушевленного, — со всей необходимой и естественной гибкостью владеет и диалогом и обостренной наблюдательностью, облекающей его произведения реалистической тканью жизни.

Малышкин в основе реалист, но реализм его — углубленный, синтезированный, весьма далекий от того буднично-одноцветного бытовизма, который уподобляет писателя пленной

птице с широкими, но бессильными — подрезанными — крыльями.

В творчестве Малышкина неустанно звенит и бьется общественная струя. Он не только изображает (или, даже, преображает) своих героев, — он в своем творчестве касается острых и современных психологически-социальных вопросов. Писатель, исследуя судьбу и значение разночинно-рядового, романтически-беспочвенного интеллигента в революции, ставит — и разрешает — в числе других проблем проблему личности и массы, обосновывает и отражает на конкретных примерах подчиняющее влияние множественной воли на волю отдельного человека. Малышкин проделывает это средствами материалистического познания действительности, всегда достигая убеждающих доказательств.

Малышкин один из немногих писателей, умеющих дать лицо массе. Масса Малышкина не бесстрашна, как цепь гранитных утесов, и не «безначальна», как океан: в ней нет ни величия окаменелости, ни хаотического рева взбунтовавшихся стихий. Она — цементированный сплав разнородных элементов, крепко и прочно соподчиненных единой, объединяющей и внутренне-организующей цели.

Отдельный человек, «растворяясь» в несметном — опять следует подчеркнуть, организованном — массовом потоке, не обезличивается: он сохраняет свою индивидуальность, соразмеряя и согласовывая свои движения и поступки с железным движением множества. С другой стороны, масса, вбирая в себя человека, дисциплинирует его: чувство внутренней сличности с коллективом влечет за собой чувство величайшей ответственности.

Мы уже указывали, что принцип кастовости, господствовавший в военной школе, идейно преображал людей, не имеющих под собой твердого классового фундамента.

Шелехов, человек «золотой середины», подвижный, прежде всего, себялюбивыми, т. е. обывательскими, стремлениями, органически перелицовывал свое внутреннее «я» соответственно идеологии господствующей силы. Ги-

гантская встречающая волна, — рабочая и солдатская масса на улицах Петрограда, сорвавшая орлиное знамя с роскошных дворцовых высот и сразу же перепахнувшая в своих требова-ниях за бархатные рамки либеральной конституции, — это внутренне-сцеплен-ная масса не могла не подчинить себе, хотя бы временно, каждого прекраспо-душного российского интеллигента или даже мелкого буржуа, с законной гордостью украшавшего себя огром-ным и багряным лепестком розы. (Между прочим: к ним больше подхо-дил бы лепесток нарцисса — цветка, окрашенного в два цвета: белый или желтый.)

Масса подчиняет себе Шелехова. Шелехов входит в революцию. Его романтически-эмоциональная револю-ционность идет не от раскаленной стали внутреннего горения, — в ней нет органичности, — а от праздни-чного карнавала, от оркестров и пара-дов, от бантиков и знамен.

«Загорающийся» с пороховой лег-костью при первых звуках бодрящей, магнетизирующей «Марсельезы», — Шелехов совершенно искренне испы-тывает «содроганье», а потом, все с той же искренностью, и скоропрехо-дящее сознание вины перед победи-телями, стыд при воспоминании о своей готовности защищать имперский флаг.

Но Шелехов воспринимает революцию, как «чужое дело». Он присоединяется к манифестирующим массам без ясной целевой веры, которая дается только классовой самоосознанностью.

К Шелехову совсем не подходит траурный плащ Гамлета, хотя бы и вынутый из нафталино-запыленного шкафа в старинной мелкопоместной усадьбе. Но латы Ламанчского рыцаря могут иногда оказаться не лишними для Шелехова.

Романтически-мелкотравчатый Ше-лехов блуждает между старым и но-вым. Он — человек, обреченный балан-сировать на дрожащей и скользкой грани между классами. Это показано Малышкиным с картинной очевид-ностью. Столь же сильно и художест-венно зорко показан им и множествен-ный облик революции, как всегда, взя-

тый писателем во всей сложности ее процессов.

Творческий глаз Малышкина, устре-мленный вглубь, помогает ему синтезировать события и явления. Прием сопоставления повторяется в его творчестве. Писатель, воссоздавая «жизнь и быт» военной школы, резко, и, опять-таки, без всякой подчеркну-той схематичности, разграничил его на два (в прямом и переносном смысле) этажа: на юнкеров и матросов, твердо проведя между ними разделяющую черту. Так же обрисовал он и револю-ционную улицу, залитую разпоязыч-ной человеческой толпой, к которой жадно присматривается Шелехов, по-ка еще одетый в матросскую шинель и потому осознающий как бы свою при-частность к великому революционному действию. Шелехов весьма быстро на-чинает замечать, что на него, как на матроса, смотрят с особенным любо-пытством. Он быстро выявляет новое свойство своей природы — довольно гиб-кую и изобретательную приспособля-емость, способность мысленно переоде-ваться в маскарадный костюм Арлекина.

Одна конституционно-благопомерен-ная дама «уцепила» Шелехова за рукав и стрекотала в упор:

— Вот, матросик, вам разные ора-торы говорят, что царя не надо, а ты сам подумай, матросик, как же это в нашей России без царя? Я вот тебе расскажу, как в Англии...»

«Шелехов почувствовал, что все с любопытством ждут, как он, матрос отнесется к словам этой барыни, чув-ствовал, что обязан сделать что-то особенное, чтобы не уронить кронштад-ской славы.

Он нарочно помедлил и, глядя поверх барыни, с наглой раздельностью сказал:

— Повесить твоего царя к едрени матери...»

Подробность «глядя поверх ба-рыни» — чрезвычайно знаменательна: она больше чем что-либо иное, выдает наигранность Шелехова, как выдает его чуждость в революционной толпе то, что он «начинал посматривать на них (солдат) с некоторым снисходи-тельным, насмешливым добродушием».



И, все таки, его опьянение свободой,— главным образом, своей, собственной,— горячо и искренне. Шелехов переживает даже какое-то метительное личное чувство, являющееся в результате мгновенного разряда душевной боли за неудачную пропавшую жизнь. Он, смотря на цветные осколки еще недавно сверкающего кафе, «испытывал откровенное злорадное удовольствие: еще бы просунуть между досками ногу в матросском коряжистом сапоге, хряснуть там по проклятому стеклу...».

Но, поскольку мир Шелехова ограничен позолоченными стеклами индивидуального благоденствия: «пожить обеспеченной офицерской жизнью... досыта поесть... натошгавшись с матросской ротой, приходиться в тихую комнату...» — постольку Шелехов по-прежнему будет искать выхода в дремлетных полуснах своих «сумеречных» мечтаний.

И только после производства Шелехов по-настоящему оживает.

Шелехов-матрос преобразается: на нем лазурный китель с тугим воротником, «женственные ботинки», рыцарский палаш и снежная фуражка. Он чувствует себя победителем, его переполняет юношески-хмельная радость жизни.

Шелехов, приносящий присягу в Таврическом дворце, органически отдален от солдатской толпы. Ему, правда, «было немного стыдно... по-ребячьи глазающих солдат, вместе с которыми он прожил в матросской шкуре две беззаботных бродяжьих недели, но стыд этот мимолетен»: «что он мог поделать!...». Стыд вскоре сменяется противоположным ощущением — прежней кастовой ненавистью, опять вспыхнувшей в Шелехове вместе с блеском небесного кителя и древнего палаша.

«Соддаты мешали слушать, устраивая кругом смрадную давку...»

— Осторожнее, товарищи, спать, что ли, на меня легли?

— Значит, им можно слушать, а мы не слушаем? А я, може, сам речь хочу сказать?...»

Этот человек, желающий говорить после сановито-барственого Родзянки

и деловитого Гучкова, мечтающего о звоне полковничьих шпор на купеческих галошах, пробуждает в Шелехове задремавшего под звуки «Марсельезы» офицера.

«Тихое, сладостное исступление родилось в Шелехове где-то в глубине — от в'едающихся в память, притворно смиренных глаз, от потной тряпицы на шее... Будь это прежнее время, хоть месяц назад, с каким бы сладострастием, где-нибудь в строю, крикнул бы, плюнул бы словами в это лицо!»

— Подбери губы, с-сукин сын! Что, службы не знаешь!.. Фельдфебель, дай три наряда под винтовку!».

«Вспышка», конечно, быстро проходит, но она может повториться снова: Шелехов — человек, быстро, в зависимости от обстановки, переходящий из одной крайности в другую, быстро воспринимающий, — сердцем, а не разумом, — чужие, то отчаянные, то радостные, зовы.

И, опять-таки, нет ничего невероятно в том, что он, возвращаясь из дворца, молитвенно останавливается у Петропавловской крепости, восторженно шепча:

— Я... офицер революции... вас приветствую... борцы... мученики!..»

И столы же законно, что при встрече с рабочей манифестацией, — здесь же, около Петропавловки, — Шелехов сворачивает в сторону: «погоны опасно и нагло сияли навстречу этой поднявшейся в полночь нищете».

Шелехов не найдет общего языка с массой. Он, оставаясь на распутье, пройдет между политическими партиями, не срастаясь ни с одной из них, хотя и имеет все данные для того, чтобы примкнуть к «левым» социалистам-революционерам, героям «позитуры» и авантюрам. Не исключена возможность, что временно он может оказаться и с революцией Октября, восприняв ее, как воплощение анархически-буйной романтики.

Шелехов, смотря в даль, будет, конечно, мечтать о «крыльях», но, плаывая на корабле, с отрадой вспомнит о покинутых землях.

Его «прозрения» и «взлеты» вечно чередуются с падениями и слепотой.

Таков собирательный образ декласированного российского интеллигента, со всей остротой (и с несомненной иронией) раскрытый в «Февральском снеге».

#### IV

В пасхальную ночь Шелехов уезжал к дальним берегам теплого синего моря. В вагоне он случайно слышал неторопливый солдатский разговор:

— Теперь недельки две о праздниках погуляем, а там и яровое поднимать — Погуляешь... по печке затылком! — угрюмо отозвался другой. — Небось, и все семена-то под'ели.

— По новым правам солдата обсеменить должны.

— Где они, нови-то права? Слышал, подождать велят...

Солдатские, в данном случае, крестьянские «права», были добыты лишь в Октябре, после решительного сруба ветхого, накренившегося, демократически-декорированного «древа» буржуазного владычества.

Гражданской войне, разгоревшейся после Октября, посвящена повесть Малышкина «Падение Даира».

В то время, как в «Февральском снеге» героизм масс ощущался лишь издали, — «молот множеств» не играл там первенствующего значения, — в «Падении Даира» читатель сталкивается с коллективной стихией уже вплотную: масса — главный герой этой повести.

Там была масса, карнавалом праздновавшая свою первую победу на расцвеченных улицах столицы. Здесь она ведет бой с последними осколками старого мира.

Смертельная классовая битва велась во имя величайшей цели — во имя будущего бесклассового общества на всей земле.

«Ночью перед приступом», сидящие у костра красноармейцы заглушенно беседуют:

— Подожди, домой придешь, и ты хозяином будешь...

— До-мо-й! А ежели вот у этого, — парень ткнул в пожилого в кепи, — и дома-то нет, кругом один тернацнал остался.

Лежавший поднял на него мутные добрые глаза.

— У бедных дома нема. Една семья, една хата — интернационал.

Это говорит бездомный бедняк Юзеф, не боящийся смерти, — «за бедных умереть хорошо, бо я сам бив бедний», — и через день действительно погибающий на перекопских высотах.

Умение Малышкина создать живого человека несколькими художественными чертами сказалось здесь в полной мере. Юзеф — замечательная фигура. Он очерчен писателем с удивительной законченностью и, несмотря на внесение в его трактовку ощутительной примеси фатализма, являет собой пример высокой, поднявшейся над личным, человечности. В Юзефе есть то, что может быть названо конечным осознанием себя, как органической частицы множества, спящего общностью интересов и задач.

Полная противоположность Юзефа — Микешин, сконцентрированное отображение класса, союзного пролетариату — трудового крестьянства.

Микешин деловит и заботлив, сообразителен и вдумчив, изобретателен и ловок. Приведенные выше слова: «домой придешь... хозяином будешь» — целиком обрисовывают Микешина.

Но Микешин и Юзеф — только двойное содержание одной и той же картины.

В классовой войне, ведущейся под вечным знаменем интернационального единства, было, вместе с тем, очень сильно выражено и другое, крестьянски-освободительное начало. Оно очень хорошо «формулировано» тем же Микешиним у ночного костра. Он рассказывал, смотря в темноту гор, за которыми жутко молчал сказочный Даир-Перекоп:

— Есть там железная стена, поперек в море уперлась, называется терраса. Сторона за ней ярь-пески, туманы горы. Разведчики наши там были, так сказывают: леги круглый год, по два раза яровое сеют...

Страна богатейших яровых, разливные равнины хлебных колосьев — вот революция в представлении крестьянина, вот его реально-сказочная мечта,

за которую он бьется с упорством и страстью.

Эта сторона революционной войны явно переоценена писателем. Писатель, почти не замечая в революционном размахе действенной силы пролетариата, организующей и направляющей раскованные массы, склонен придавать гигантскому «молоту множеств» чудодейственные средства стихийно-дробящей тяжести. За этим истинно сокрушающим молотом не видно упорного и упрямого кузнеца.

В «Падении Дaira» частично заметно своеобразное народничество. В повести звучат отдаленные, лирически преломленные мотивы национализма. Писатель, остро подметив крестьянское начало войны, обратился к исторической аналогии, взглянув в сияющие дали грядущего туманными глазами былого. Революционные войска представляются ему дикими и древними становьями, в их звуках и песнях он слышит давний кочевой скрип и гул.

Он вспоминает утренние дни русской истории, походы Игоря, очарованную глушь ковыльных степей, где тревожно ржут быстрые и легкие татарские кони.

«Были пустые поля, теплеющий иней на развалинах разбитых хуторов, за курганами невнятная, огромно восходящая заря, как грань времен. Как это? Русь, уже за шеломянем еси?.. В бескрайние курганы уплывали, как черные — на заре — шеломя: назад, в историю...»

Это — совсем из блоковского «Куликова поля»:

Я слушаю рокоты сечи  
И трубные крики татар,  
И вижу над Русью далече  
Широкий и тихий пожар.

Тени вековых татарских пожаров, тени древних национальных войн, почувствованные писателем в битве под Перекопом, смещают плоскости реальной, конкретной обстановки. «Падение Дaira» теряет иногда черты действительности: повесть становится смутной и зыбкой, «музыка эпох» отуманивает, замедляет, а изродка и прерывает дей-

ствие. Степные курганы, «уплывающие в историю», уносят с собою и сегодняшний день: прошлое соединяется с грядущим, — наступает великая тишина забвенья.

«И вдруг прекрасным стал вечер; или чудесным переход фанфар: будто уже нет тех, кому надо завтра умереть, будто прошли века, прошумели все бури и стерлись все письмена, и в успокоительных прекрасных временах поют чудесные песни о них, полузабытых тенях...»

Это сказано очень хорошо, и в этом надо подчеркнуть, нет ничего от библейского закона о «бренности» всего земного, — такой взгляд в корне противоречил бы активной волеустремленности художника, — здесь явственно проступают отзвуки старинных саг, сказочных былин, поэтических, — именно поэтических! — сказаний. Так поют, грустно склоняя седеющую голову, кобзари, лирники и гуслиеры, так шумят пожелтевшие травы на степных казачьих могилах.

В «Падении Дaira» волнующе чувствуется дыхание эпоса.

Повесть, написанная по дымящимся следам войны, или приподнята до величайей торжественности, или, наоборот, заглушено опущена до тихой и вещей певучести — на старинный и раздумчивый лад. Такая форма вполне понятна и нормальна: она определяется зловещим и жутким предощущением и развитием боя — ее центральным внутренним ядром.

В этой повести почти нет отдельных героев: они, будучи самобытными и живыми, неразрывно подчинены целому. Здесь надо всем (и всеми) довлеет стальной закон массы. Массовые сцены в «Падении Дaira» — одни из лучших в творчестве Малышкина. Сила, мощь, напор и отвага — все получает здесь свое, до конца выразительное, экспрессивное воплощение и отражение. Великолепна картина предбоевого, предгрозового парада, где слышится и шум знамен, и титанический топот, и братская слиянность множества, завоевывающего даже бронированные, осыпанные ядом и порохом террасы Перекопа. Так же динамично передана и сцена боя.

«И брызнул огонь — с телег, страшных, двигающихся, разбегающихся, косящих невидимыми лезвиями пулеметов. В конных тучах скрещивались пулевые струи телег, секли, подрезали, подламывали на скаку, клали колоннами на землю; оцупевшие лошади, визжа, крутя головами, уносились дико в муть. И с флангов из-за телег сорвались и ринулись конные, крича «дае-о-ошь!», невидимой в ноги массы подъятых кулаков, пик, бурок, прядяющих грив...».

В этой скатости, в точном распределении деталей, в скупой, лаконической, поющей образности со всей определенностью выступает изобразительное мастерство писателя. (Характерно, например, что образ: «лезвия пулеметов» или «пулевые струи телег» гармонически слит с внутренне-колоритной основой повествования.)

Свойство истинного художника — отход от штампа, проявление творческой самобытности в труднейших деталях — налицо в творчестве Малышкина. Малышкин, разворачивая сцену боя, счастливо избежал всяческой декоративности — скрестившихся шпак, крылатых ментиков и траурно-распшитых венгерок (на что вполне мог бы «созблзнить» гвардейский корпус ген. Оборевича), — избежал и копирования «классических образцов» героического жанра, поэтизирующего существо войны.

Война, — да не заподозрят нас в пацифизме! — отвратительна. Война, направленная на порабощение «колоний», на расширение рынков конкурирующего капиталистического хозяйства, — преступна. Но война, как средство революционной самообороны, — необходима. Однако ее необходимость — только результат вынужденности: это доказывается непререваемым и постоянным стремлением к миру советской власти, противопоставляющей лицемерному пакту звездного Доллара принцип всеобщего и всемерного разоружения. Самое же существо войны не нуждается в идеализации.

Малышкин, ошибочно переоценивший мужицкую сторону гражданской войны, по-своему осознает ее конечные, обще-

человеческие задачи. Это помогло ему дать художественно-верное отражение битвы. Писатель, освободив свои «батальные» картины от ложноклассической героики, не внес в них никакой, даже минимальной, истеричности. Целостное слияние благородной романтики и крепкого реалистического чутья обусловили искупающую правдивость и верность тех глав «Падения Даира», в которых воспроизведена великая боевая схватка. Писатель нашел в этих главах новые слова и краски, сумел равномерно уловить бег и ритм событий.

Параллельный показ людей, отчетливо проявляющийся в «Февральском снеге» (юнкера — матросы, солдаты — офицеры), последовательно проведен и в «Падении Даира». В «Падении Даира» действуют два мира, открыто стоящие друг против друга. Несметная лавина «орд», завоевывающих века, вплотную сталкивается с последними остатками армии, охраняющей золотой герб имперской России.

Метод художественных противополжений традиционен. Он от долгого и настойчивого употребления, давно уже потускнел, как потускнел, например, и прivityчный — «роскошный», «дивный» и т. д. — эпитет, совсем нестерпимый в произведениях посредственного писателя.

Однако настоящий художник может возвращать традиционно-опыленным словам и приемам силу их первоначального сияния. Малышкин владеет этим бесценным даром.

Чуждый всяческой, даже изощренно-мастерской плакатности, писатель показывает Даира, как класс (или союз классов) во всей его внутренней опустошенности, не упрощая и не снижая трактовку представителей вражеского стана. Он даже с чрезмерной яркостью выделяет отсверкавшую внешнюю красоту гибнущего Даира, где звучит скорбно-утонченная погребальная музыка, где все: и девичьи взгляды, и черные шелка Коломбины и бледные гусары, опирающиеся на вызолоченные рукояти дедовских палашей, — все окутано томительным венцом воспоминаний.

«Вставили — откуда? — преисполненные спокойствия и обилия вечера, любви на закате, у тихого дома. Качались, задумчиво головы опьяненных, грустили ушедшие куда-то пустые глаза...».

Даир—мир маскарадных призраков. У Даира нет будущего. Его идеи мертвы, а силы растеряны. Генерал, провожая последний офицерский корпус, напутствует его с патрицианским величием:

— Идя в бой, мы должны себя считать уже убитыми за Россию.

Корпус генерала Оборовича—последняя ставка Даира в трагической игре—погибает с геройской храбростью. Красные вступают в Даир.

«Падение Даира» нельзя принимать без оговорок. Нельзя, в частности, не отметить, что в главах, развертывающих картину умирающего Даира, много, на ряду с излишними «жанровыми» подробностями, и стилистической изысканности, которая неизменно ослабляет эффект непосредственной впечатляемости. Но давняя и заслуженная известность «Падения Даира» законна. Эпопея, испытанная годами, до сих пор занимает одно из наиболее славных мест в художественной литературе, посвященной гражданской войне.

#### У

Гражданская война, революция неизменно отражаются и в прочих произведениях Малышкина. Их, впрочем, немного, — всего несколько рассказов, которые, нисколько не теряя своего самостоятельного значения, служат дополнениями и пояснениями к двум основным вещам Малышкина — «Февральскому снегу» и «Падению Даира».

В творчестве Малышкина есть, разумеется, промахи и срывы, — неудачны его бесперспективные, хаотически-остраненные «Вокзалы», надуманы и творчески-необитаемы «Комнаты», но остальные его рассказы превосходны. В них те же настоящие, живые люди, та же острота мысли, волнующей ум и сердце современного человека.

Массовая, коллективная сила, роль и значение отдельной личности, — то, что

развернуто в центральных повестях писателя, получает дальнейшее психологическое разрешение в рассказе «Ночь под Кривым Рогом». Рассказ этот написан от первого лица, но его «я» незаметно перерастает в «мы», соединяясь в представлении писателя со всем окружающим — с зимней волчьей ночью, с дикой метелью, с гулом и грохотом проходящих к югу эшелонов. Отсюда — подъем и бодрость, сознание своей осмысленной правоты, уверенное желание променять кочевую и студеную ночь в вагоне на жаркую комнату в каком-нибудь наглухо замкнутом мешанском домике. «Нет, то тепло было густо, как удушье».

В этом рассказе снова слышится сердце эпохи, вместе с которым бьется и взволнованное сердце писателя.

«Где-то сбившиеся со шляхов курьеры летучей почты засыпали в обезумевших метельных постелях; и там, у прорыва, слепо плутали части, сплутавшие свои авангарды и хвосты, хлещущие наугад пулеметами в упор буре: — мы-мы-мы... Все мы были ключьями одного циклонно-крутящегося в ноги человеческого хотения, — нашими телами, замерзающими, сочащимися, гибнущими, нарастал какой-то великий, обжажданный человечими мечтами день».

Так может писать только художник, нерасторжимо спаянный с революцией, глубоко и жадно «слушающий» эпоху. Но Малышкин не фотограф «текущих» событий. Писатель, помня, что «моментальные снимки» очень быстро покрываются могильной пылью времени, отбирает в явлениях современности типичное, показательное, отстоявшееся, сложившееся в прочные и точные очертания.

Малышкин — писатель неширокого размаха, но и это, опять-таки, его заслуга, а не порок: он пишет только о том, что знает, видит и наблюдает: художественная честность (и правдивость) непрерывно освещает его творчество.

Его слияние с революцией все крепнет и усиливается. Толкование революции, как бесформенно-покоряющей стихии, сказавшееся в «Падении Даира», постепенно отливадается в формы более или

менее отчетливой ясности. Все это происходит, впрочем, не сразу: некоторые из его позднейших героев-коммунистов носят, выражаясь аллегорически, ветхий крестьянский зипун, наброшенный на боевую кожаную тужурку.

Это целиком подтверждает «Случай с комиссаром», рассказ, блестяще сочетающий облагороженный авантюризм и революционность.

Комиссар и военспец попадают, в разведывательных целях, в город, занятый белыми. Они, маскируясь, выдают себя за офицеров: комиссар, в каждой черточке которого сквозит крепкая мужицкая хватка,—за грозного полковника, а его спутник—за ловкого, находчивого и услужливого адъютанта.

Рассказ во многом показателен для писателя.

Если комиссар является разновидностью героев, дравшихся на минированных отрогах Даира, то военспец Михайлов выступает в качестве двойника Шелехова из «Февральского снега»: так, еще раз, доказывается творческая цельность Малышкина.

Михайлов отличается от Шелехова своей более огнеупорной стойкостью,—что, впрочем, при благоприятных условиях, мог бы выработать в себе и Шелехов, но он (Михайлов) так же занят вопросами своего самоопределения (его рассуждения о роли «спецства») и так же, попадая в ресторанно-печное, баюкающее тепло, подчиняется его свету, глубоко вскрывая в себе временно застывшую раздвоенность.

«Из фонариков, из бархатных уютов, из сумерек, продышанных благоуханными руками и плечами, иструивался, вот как бы возникал из ничего новый, блестящий и надменный поручик Шевалье... Не скрипки, а вот эти эпюлеты, ловкий френч, исцелованный пробор—весь воссозданный вещами поручик Шевалье торжественно зазвучал, начиная жить...».

Здесь, пользуясь выражением: «весь воссозданный вещами поручик...»—уместно будет остановить внимание еще на одной особенности творческой системы Малышкина. Малышкин, придавая большое значение давлению вещей на человека и его

быт, довольно часто показывает своего героя в слиянности с тем или иным предметом его внешнего обихода (наиболее яркий пример—фигура матроса в «Февральском снеге»: «Матрос-часовой каменел неподвижно, в башлыке до глаз, со штыком, навсегда приросшим к плечу»).

Но писатель, опять-таки, несколько не овеществляет героя: вещь в творчестве Малышкина—только одно из зеркальных отражений внутренне-человеческого бытия.

Писатель, хорошо понимая гнетуще-неподвижный, окованный покой вещей, не случайно символизирует вещьную тяжесть.

Выше приходилось уже указывать, что, например, Шелехов, озябневший от озонированного воздуха революционной столицы, испытывал мучительное желание бить, топтать осколки грашенных бокалов в разгромленном кафе.

Точно так же предсевета Сергеев из рассказа «Вожди», с детства помнящий отвратительный запах гнили, похожий на запах лабаза, громит и ломает после революции кирпичные базарные лавки «со злобой и наслаждением».

Тот же Сергеев, куря после махорки папиросу, ловит «запах отдаленнейших приятнейших цветов». «Так почему-то пахли ему и новые дни»—добавляет писатель, уверенно спрашивая: — Разве нет запаха у дней и времен?

Обонятельное, «душистое» восприятие эпохи, открывшееся Сергееву в бархатистой струйке синеющего табачного дыма—ценная художественная подробность. Она, будучи одной из тех подробностей, которые придадут произведению не только окраску, но и раскрывающий смысл, подтверждает шедрое обилие средств и свойств малышкинского творчества.

Малышкин—порывистый и ищущий писатель. Тематическое разрешение его произведений весьма часто зигзагообразно: он любит неожиданность (или даже залутанность) приема, произвольную, но, как потом убеждается читатель, обдуманную перестановку глав, рискованную и обычно оправданную сложность положений.

Образом такого многопланно-композиционного рассказа может служить все тот же рассказ «Вожди», где тесное переплетение «начал и концов» умело подчинено настойчивой и строгой логичности.

«Вожди» — показатель не только формальных особенностей писателя, но и его прогрессирующего вставания в современность. В рассказе дано художественно-правдивое и верное отражение политически-классовых сил, уже знакомое, в основном, по «Февральскому снегу», где, кстати, оно демонстрировалось даже сценками в двух столовых: думски-офицерской и благотворительно-солдатской (для «меньшого брата»). В «Вождах» оно углублено и расширено: индивидуальный пример связывается с огромным обобщенным явлением.

Белое, классовое восстание в уездном городе, начинающееся, конечно, с призывного колокольного плача, парализуется немедленной организованностью беднейших слоев. Восстание перебрасывается в деревню, — там в его черном огне погибают несколько коммунистов-продотрядников.

...Убитые коммунисты похоронены на старом городском кладбище, в братской могиле.

Проходят годы, погост зарастает цветами, деревьями и травами, над ним одиноко веет тишина или бушуют шумные ветры и тогда

«—кладбище двигается с ужасающим гулом, тысячами тысяч безыменных крестов. Они восходят в упор ветру, рядом с неоглядной золотой волной — в дубраву, в небо, распахнутое там всей своей сияющей огромностью, в бездонные дороги. Там гудят столбы — откликном кипучих, работающих городов, борьбы, бессонного, вечного, блаженного движения жизни».

## VI

Малышкин, положивший в основу своего творчества трагическую эпоху революции, не раз касался темы смерти. Смерть в его творчестве побеждает жизнь. Он исключительно бытийственный, исключительно жизнелюбивый писатель.

Писатель, переживший огненные испытания войны и крови, вполне естественно дорожит каждым часом жизни, воспринимая и ощущая ее во всем, и в весеннем аромате сиреневой ветки, и в винном запахе пожелтевшего осеннего листа. Его чувство жизни молодо и здорово, в нем нет ни внутренне-скрытой горечи, идущей от осознания своего неизбежного конца, ни той эгоистически-недалекой беспечности, которая имеет своим началом все тот же намеренно-забытый смертный исход.

Малышкин, в расцвете праздника жизни, нередко переживает грусть. Он, собираясь на юг, туда, где одиноко затерялись в хлебных степях могилы бойцов, павших в бою за чудесную страну Даир, думает с содроганием: «ведь и я, и я мог лежать там безыменно!».

Грусть Малышкина — след воспоминаний о погибших друзьях и соратниках — не влечет за собой отчаяния. Смерть их искупается величием идеи, счастьем будущих поколений, которые никогда не забудут могильных холмов в плодоносных степях.

Только органическое сознание непрерывности жизни, творимой сменой поколений, только сознательное ощущение себя в человеческом множестве дает здоровую полноту и радость бытия. Это же является и залогом цельности и целеустремленности художественного творчества — качеств, присутствующих творчеству Малышкина.

Рассказ «Поезд на юг», возвращающий читателя к «Падению Даира» и отличающийся предельно заостренной психологической глубиной, заканчивается великолепной картиной, символически передающей родственную связь между революционным прошлым, настоящим и будущим.

«...И вижу бережно склоненный затылок женщины и растрепанные нежные волосы, упавшие на шею. В горах похолодело, на плечах ее кое-как наброшено пальто, перешитое из шинели пальто, в складках которого осталось дыхание буревых, бессмертных лет. Парень стоит рядом и, засунув руки в карманы, смотрит внимательно ей на грудь. Его ресницы легли блаженным полукругом. Свет и тишина моря на них».

Паренек с блаженными ресницами и молодая женщина, кормящая ребенка,— люди, встреченные писателем в поезде, несущемся по крымским, уже хлебным равнинам,—горько и радостно напомнили писателю недавнюю битву за Даир. Скромный и незаметный паренек был во время войны знаменитым организатором тыловых боев с Деникиным, а его жена подпольной работницей, собиравшей распыленные партийные силы.

Тройственный образ — любви, пронесенной через кровь, настойчивой воли и материнства — подчеркивает еще одну необходимую черту малышкинского творчества: его человечность.

Малышкин — один из тех писателей, которые имеют все права на почетное звание современника. Современность писателя пробивается в каждом творческом приеме, в каждой художественной подробности.

Он, например, чутко и зорко воспринимает природу: пейзаж, как и все второстепенные детали, у Малышкина предельно сжат и подробно точен.

«Пахнет близким вечером, прокропил небольшой дождь, после которого будет ветер и солнце в соснах, наверху. От прохлады зелеными капельками тронулся виноград на прилавках».

Природа, однако, не играет в творчестве Малышкина самодовлеющей роли. Писатель любит, вместе с очарованием ветра, солнца и моря, движение и ляг стали и железа.

Вот восторженное ощущение автомобильной гонки:

«Машина врзалась в ветер, неслась в словно переместившихся враз, искаженных пространствах. Будто вверх ногами повисла луна».

А вот напряженная передача гудящего бега поезда:

«И вдруг выхватило крутящимися огнями из-за мутной горы. Цар-

ственно рыча, пала грудь чугунного, высочайшего, скрежеща, разрывая ветер. Огромные, зеркальные, сияющие насквозь окна лились одно за другим, как бешеная карусель».

Малышкин оригинален, в его творчестве нет резко выраженной подражательности, — лишь в «Падении Дaira» заметно известное влияние Андреева. Тематика Малышкина свежа. Свежи его эпитеты и сравнения.

Весеннее солнце, приносимое на вязаных девичьих жакетах, или мысли, покрытые «мутной ватой забытья», — все это звучит неожиданной новизной и яркостью. К сожалению, новизна и яркость сравнений не всегда выдержаны у Малышкина. «Яркоцветные ковры», «волшебные дожди юности» и «что-то неотступные глаза, выскивающие сокровенные недра квартир» — относятся целиком к области традиционного-узаконенного литературного трафарета. Это — заношенные воротнички и манжеты стиля.

Зато в эпитете Малышкина много неожиданной смелости, переходящей в звонкую и меткую отточенность («Оцепенелая вытяжка»; «пудовые обмоклые сапоги»; «отемнелый фронт дворцов»; плоско обсеченная высота и т. п.).

Язык последних произведений Малышкина, еще сохраняя кое-где прежнюю гиперболичность и изысканную тяжеловесность, постепенно смягчается, прозрачнее, очищается и классически крепнет.

Малышкин за последние годы вырос на глазах читателя. Никуда не спеша, не гонясь за призраком неустойчивой злободневности, он работает над своим выношенным и близким материалом с замечательным упорством. Он находится на верной дороге.

Писатель достижений, Малышкин попрежнему остается писателем дальнейших возможностей.



# Дома и за границей

## ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО, БЫТ, ПОЛИТИКА

1. Б. ПЕСИС. Франция и Толстой.—2. Н. ЗАМОШКИН. О третьем альманахе „Зиф“.—3. Ф. РОГИНСКАЯ. Бытовая художественная культура и современность.—4. С. ГАЛЬПЕРИН. По всему свету.—5. Б. КУШНЕР. Южное сияние

### ФРАНЦИЯ И ТОЛСТОЙ

Б. Песис

Имя Толстого стало проникать во Францию в восьмидесятых годах прошлого века. В 1875 году был напечатан в газете «Тан» рассказ «Два гусара» в переводе Ш. Роллина и с предисловием Тургенева. Через 4 года Ирина Паскевич (княгиня) перевела и издала в Париже у Гашетта «Войну и мир», скрывшись под псевдонимом «Une Russe». Тургенев писал по этому поводу Толстому, что он роздал часть экземпляров перевода «здесь и там» (здесь и там — между прочим, Тэну, Абу и др.), и полагает, «что они поймут всю силу и красоту» этого произведения. «Весь склад его далек от того, что французы любят и чего они ищут в книгах; но правда, в конце концов, берет свое—я надеюсь,—пишет Тургенев,—если не на блестящую победу, то на прочное, хотя и медленное завоевание». Тургенев в самом деле «позаботился о рекламе» «Войны и мира» (как он обещал в одном из своих писем Я. П. Полонскому), обратившись, между прочим, к упомянутому Абу, редактору журнала «Le XIX siècle» с письмом, в котором указывал, что «Война и мир», «это—великое произведение великого писателя, и это—подлинная Россия». Письмо появилось в «Le XIX siècle» с такой припиской редактора: «Великий русский писатель г. Иван Тургенев сделал нам честь, прислав нижеследующее письмо, в котором объявляет нам о литературном событии,

столь же интересном в своем роде, как и прекрасная выставка Верещагина<sup>1)</sup>». Кроме критиков, Тургенев роздал «Войну и мир» некоторым писателям, в том числе и Флоберу, от которого получил следующий отзыв: «Спасибо, что вы дали мне прочесть роман Толстого. Это—перворазрядное произведение. Какой художник и какой психолог! Первые два тома великолепны: но третий сдает ужасно. Он повторяется! и философствует! Одним словом, становится виден автор и русский, в то время как до этих пор видны были только природа и человечество. Мне кажется, что есть там иногда вещи, подобные Шекспиру. Я издавал восторженные возгласы во время чтения... а ведь оно длинно. Да, это сильно, это очень сильно». Эту оценку Тургенев «с дипломатической точностью» сообщил Толстому, прибавив от себя: «надеюсь, что—en somme—вы останетесь довольны». (См. его письмо Толстому от 12/1 1880 г.). Тургенев, впрочем, не только «переписал» для Толстого отрывок из флюберовского письма, но и сам ответил его автору, подчеркивая, что он вполне согласен с отрицательной оценкой «философской системы» Толстого—«ребяческой, мистической и дерзкой одновременно... Вы коснулись большого

<sup>1)</sup> См. «Русские Пропилеи» т. III 1916. Речь идет о выставке, устроенной в Париже и имевшей большой успех.

места,—пишет от Флоберу,—я не знаю, что скажут критики. Для меня это вещь решенная. Flaubertus dixit. Прочее неважно.

Тургенев, как и Флобер, во многом предвосхитил мысли французской критики о Толстом. В одном он оказался неправ. Франция дала Толстому не просто «прочное завоевание», но громкую победу. Правда, первые два издания прошли мимо широкой публики<sup>1)</sup>. Критика онемела перед толстовским романом. Даже Мельхиор-де-Вогюэ, автор книги «Русский роман»<sup>2)</sup>, знавший русский язык и Россию, признавался, что он долгое время не мог разобраться в Толстом. «Нужно, наконец, решиться заговорить о нем. Я перечитываю постоянно его произведения и всякий раз оттягиваю их исследование»<sup>3)</sup>. Вскоре вышло новое издание «Войны и мира», почти одновременно с ним—книга Вогюэ, и Толстой привлек к себе всеобщее внимание. «Это было в 1886 году,—вспоминает Ромэн Роллан в «Жизни Толстого»,—после нескольких лет глухого прозябания чудесные цветы русского искусства расцвели... Переводы Толстого и Достоевского стали появляться во всех издательствах одновременно с лихорадочной поспешностью. С 1885 года по 1887 год в Париже были выпущены: «Война и мир», «Анна Каренина», «Детство и отрочество», «Поликушка», «Смерть Ивана Ильича», кавказские повеллы и народные сказки.

Патриотическая критика, раздраженная этим загадочным для нее успехом, всячески старалась умерить восторги читателей, упрекая их, между прочим, в измене Тургеневу, который во Франции считался «своим», ибо «живя долгое время... вдали от России, он смог лучше (чем Толстой—Б. П.) с французской точки зрения узнать характер русского народа» (Т. Визева<sup>4)</sup>). Луи Леже,

автор книги о русской литературе, назвавший Тургенева «литературным послом своего отечества на Западе»<sup>1)</sup>, отмечая «приветливость» Тургенева и его «спрестиж», признавал, что «в последнее время его славу несколько затмил Лев Толстой», в сравнении с которым Тургенев является писателем «менее мощным», но зато «более законченным». «Некоторые из его (Тургенева—Б. П.) коротких рассказов, быть может, останутся жить тогда, когда время унесет все или часть того, что создано его знаменитым соперником». Таким образом, критика естественно становилась на сторону «европейца» Тургенева против Толстого. Однако все уговоры ее были напрасны. Тот же Леже вынужден был записать, что «переводчики оспаривают друг у друга малейшую рукопись Толстого... Все или почти все (из Толстого—Б. П.) перешло в наш язык». Специалист по иностранной литературе, Т. Визева в статье «Вторжение русских во французскую литературу» писал, что «важнейшим явлением в литературной жизни» 1886—1887 гг. было «усердие парижских издателей в переводе русских произведений», и что «самый удивительный из романистов, которых открыли французской публике, несомненно Толстой». Визева не скрывает иронии по поводу восторга, какой вызывают «1.200 страниц» «Войны и мира» в читателях, «еще накануне находивших слишком длинными произведения Гонкуров». С особой, характерной для него, яростью обрушился на толстовскую «моду» знаменитый националистический писатель Морис Баррес. «Известно, что вот уже два месяца... как всякий человек, обладающий вкусом и образованием, обязан сейчас же после первых приветствий восклицать: «Ах, monsieur, читаете ли вы русских?». Вы отступаете на шаг и говорите: «О, этот Толстой»... Вот как доказывают в 1886 году свою утонченность... До сих пор стояли за Тургенева, ныне Толстой все более становится единственным, не-

<sup>1)</sup> Это объясняется, прежде всего, тем, что перевод Паскевич, несмотря на старания Тургенева, не распространялся и, во всяком случае, не дошел до читателя. Об этом свидетельствует де-Вогюэ (см. примечание к «Русскому роману»).

<sup>2)</sup> M. de Vogüé, Roman russe. 1886.

<sup>3)</sup> „Revue des deux Mondes“, 15. 7. 1884.

<sup>4)</sup> J. Wyzewa. Ecrivains étrangers. 1897.

<sup>1)</sup> Тургенев в самом деле представлял Россию на литературном конгрессе в Париже в 1887 г. (см. „Русские Пропилеи“, т. III).

сравненным»<sup>1)</sup>. Обращаясь к французским поклонникам Толстого, Баррес писал: «во-первых, вы его совсем не знаете, во-вторых, узнав его, вы увидели бы, что он не так уж необычаен».

Как же объясняла себе эта часть критики успех Толстого? Большинство из тех, кто писал о нем, ссылались, как водится, как водилось, на экзотические вкусы французской публики. Некоторые пытались быть серьезнее. Так, упоминавшийся уже Визева следующим образом комментировал «интервенцию» русского романа. Появление Толстого на книжном рынке Франции совпало с реакцией, наступившей после 10 лет натурализма. Устали от бездушья и объективности натуралистов. Ждали писателя трогательного и расстроганного, сокрушающегося над судьбой своих персонажей. Известный «*Maitre des Forges*» Онэ разошелся в 300 тысячах экземпляров после того, как критик Оллендорф рассказал публике, что автор омолил свою рукопись слезами. Такую же рекламу сделала критика и Толстому, сообщив, что Толстой «полон любви к своим героям»<sup>2)</sup>. Ле Бретон в статье о Толстом и Гюго<sup>3)</sup> ставил автора, «Воскресения» рядом с автором «*Les Misérables*» на том основании, что оба писателя, при всем различии школ и эпох, одинаково одержимы «социальным милосердием», жалостью, стремлением к справедливости. «Не все ли равно, принадлежит ли их творчество к романтизму или реализму, раз оба они умеют трогать сердца». Таким образом, реализм Толстого был противопоставлен как объективности натуралистов так и «бесстрастному» реализму Флобера.

В русском журнале «Книжечек Недели» (№ 2, 1892 г.) находим следующие любопытные данные об отношении Золя к Толстому. В беседе с английскими журналистами Золя, по словам обозревателя «Книжечек Недели», сурово судил

англичан, «не забывая при этом колынуть свою *bête noire*—графа Толстого». Диккенса, по мнению Золя, враги натурализма избрали образцом истинного реализма в противоположность ложному; «с такой же целью,—прибавил Золя,—нас познакомили с Толстым». «В ту самую минуту,—замечает обозреватель «Книжечек»,—как Золя поднялся до вершины своей славы... возникло препятствие, невероятное по силе и вовсе уже никем не предвиденное... Все позабыли о Золя, все заговорили о Толстом». Тогда Золя, по выражению «Книжечек Недели», «надел маску снисходительного уважения», оставаясь враждебным Толстому. «Достаточно вспомнить неприличные намеки (Золя—Б. П.) на литературную непатриотичность французов, на материальные стеснения французским писателям от писателей русских, высокомерные отзывы Золя о Толстом по поводу «Крейцеровой сонаты» и статьи «О вине и табаке», наконец, его нелепое предисловие к недавно изданному во Франции сборнику статей Толстого». Если обозреватель «Книжечек Недели» имеет в виду предисловие Золя к статьям Толстого о переписи, изданным во Франции под заглавием «Деньги и Труд», то нужно сказать, что в этом предисловии нет ровно ничего «нелепого». Золя, восторгаясь художественным гением Толстого, отмечает лишь несостоятельность предлагаемых им социальных реформ и называет его поэтом «мечтателем».

Именно из предисловия к «Деньгам и Труд» видно, что критика и особенно публицистика преувеличивала враждебность Золя к Толстому.

Несомненно, что у Толстого были какие-то корни во Франции 90-х годов, что интерес к нему основывался не только на его противопоставлении французскому натурализму, но и на социальных *correspondances*—соответствиях. Прежде, чем говорить о них, необходимо остановиться на той формальной оценке, которую дала произведением Толстого французская критика. Вообще говоря, для нее оказалась неприемлемой художественная мера Толстого (особенно Толстого «Войны и мира»), тот склад, о котором

<sup>1)</sup> M. Barres. „La mode russe“. То же отмечает L. Sichler в своей „Histoire de la littérature russe“, 1937.

<sup>2)</sup> Наивысшее свое выражение эта мысль нашла впоследствии у Ромэна Роллана, сказавшего, что Толстовский реализм отличается от флюберовского тем, что у Толстого „правда проникнута любовью“.

<sup>3)</sup> André Le Breton. La pitié sociale dans le roman l'auteur des „Misérables“ et l'auteur de „Resurrection“, „Revue des deux Mondes“, 1902.

говорил Тургенев и который во Франции противопоставлялся—«западному»; «законченному» складу <sup>1)</sup>). Признавая Толстого «великим», «выдающимся», «гениальным» и т. д., критическая литература Франции—почти вся — решительно отказывает ему в даре композиции, в архитектонике. «Большие романы его,—говорит Визева,—сбивают с пути читателей... отсутствием плана, множественностью интриги. В четырех томах «Войны и мира» содержится добрый десяток романов, которые чередуются или смешиваются друг с другом». Поль Бурже называет Толстого художником «столь же великим, сколь и несовершенным, бесформенным и незаконченным... Тартюф, Гамлет построены. В них есть середина, начало, конец, какая-то точка зрения. «Война и мир» могла бы продолжаться бесконечно, лишена «движения, перспективы, общего плана» <sup>2)</sup>). Толстой децентрализован («отсутствие центральных фигур и центральной интриги»). «Лучшие романы Толстого страдают, по мнению Бурже, от «полного беспорядка». Даже восторженно относящийся к Толстому де-Вогюэ не мог не отметить что «сначала и еще в течение долгого времени читатель («Войны и мира» — Б. П.) будет дезориентирован, не зная, куда его ведут, он испытает усталость, скажем прямо—скуку». «От нас, французов, привыкших к искусству более умеренному и лучше упорядоченному, от нашей памяти и внимания автор как будто требует слишком многого»,—пишет Леруа-Больё о «Войне и мире» <sup>3)</sup>. «Анна Каренина» была принята более спокойно. Эмиль Фагэ называет этот роман «самым западным из произведений Толстого», а композицию его—«отчетливой, легкой и мощной» <sup>4)</sup>. Вогюэ

<sup>1)</sup> Французская критика заметила, конечно, связь Толстого с французской и вообще западной литературой, особенно с Руссо («русский Руссо»—называет Толстого Фагэ) и Стендалем. О смысловой близости батальных картин Толстого и Стендаля писал еще Вогюэ. Баррес указывает, что учителями Толстого-психолога были Бальзак и Стендаль.

<sup>2)</sup> P. Bourget. „Pages de Critique et de Doctrine“, II. 1912.

<sup>3)</sup> Leroy—Beaulieu. „Léon Tolstoï“ „Revue des deux Mondes“ 15.12.191.

<sup>4)</sup> В предисловии к этому роману в Издании Nelson.

иронически заметил, что в обществе «Анны Карениной» французская публика почувствует себя «менее чужой», ибо найдет там самоубийство, адюльтер и т. п. привычные для нее вещи.

В основе французской критики о Толстом лежит протест не только против его философских произведений, но и против философичности Толстого-художника. Даже Ромэн Роллан признает «достойным сожаления, что красота поэтической концепции «Войны и мира»— «иногда затемняется философской болтовней, которою Толстой перегружает свое произведение».

Наиболее характерным в этом отношении является исследование Вогюэ (глава «Мистицизм и нигилизм» в «Русском романе»). Вогюэ, знавшему русский язык и Россию, посчастливилось стать одним из первых во Франции критиков, ощутивших истинные масштабы толстовских шедевров. «Я не колеблюсь сказать,—пишет Вогюэ,—что этот писатель... является одним из величайших мастеров, из тех, которые будут свидетельствовать о нашем веке». «Война и мир»—не только роман, но «роспись народной жизни», своего рода Summa, свод «наблюдений автора над всем зрелищем человечества». Вогюэ, признавая, что такой повышенный тон, быть может, неуместен в оценке современника, оговаривается: «я вижу его таким великим, что он представляется мне как бы уже умершим». Однако суждение о величии Толстого, по мнению автора «Русского романа», остается верным лишь в тех случаях, когда Толстой «хочет быть только романистом». С философией Толстого Вогюэ расправляется просто, как с выражением спокойной славянской души, нигилизма, мистицизма и т. п. Противоречия Толстого, погруженного по выражению Вогюэ, в нигилистический и мистический туман и в то же время одаренного «бесподобной ясностью». Вогюэ характеризует так: «можно бы сказать, что это дух английского химика, пребывающий в индусском буддисте». «Все это (учение Толстого—Б. П.) не создано для того, чтобы облазнить нас». В осуждении философичности Толстого-художника Вогюэ

заходил так далеко, что выражал, например, свою радость по поводу исключения из французского издания «Войны и мира» эпилога. «Упрямый автор дал к своему роману длинное философское приложение. Его не перевели во французской версии и хорошо сделали; ни один читатель не был бы в состоянии вынести этого ненужного утомления». В другом месте: «Знаменитый писатель предпочел бы, чтоб я хвалил его философию и ругал его романы, но я не могу этого сделать». Для Фагэ, писавшего, что Толстой «ввел» во Францию сначала графа и лишь потом проповедника, художественное творчество Толстого— «чудесное предисловие» к Толстому «социологу». Однако Фагэ не может скрыть, что и этот второй Толстой нашел себе почву во Франции. «Увлечение было огромно,—вспоминает Фагэ о встрече, какую оказала Франция Толстому «второго периода»—это увлечение вполне можно сравнить с тем, которое в XVIII веке вызвал Руссо—автор «Эмиля», последовавший за Руссо—автором «Новой Элоизы». Появилось необычайное количество толстовцев... Стало лучшим тоном быть парижано-анархо-русским»<sup>1</sup>). В действительности речь шла не просто о моде. В то время, как традиционная критика отвергала философию Толстого, именно Толстой «социолог» или, вернее, «весь» Толстой (Ромэн Роллан) нашел себе последователей в младшем поколении французской интеллигенции. О воздействии Толстого на определенные слои французской интеллигенции конца XIX—начала XX века любопытно рассказывает Жан-Ришар Блох в статье «Толстой и добровольное служение»<sup>2</sup>). Блох пытается восстановить «картину духовных интересов» французского юношества «на заре XX века». «Обращение к моральным вопросам, которыми жила эта группа (Блох и его товарищи—Б. П.), к лозунгам, ею принятым, сделает, быть может, более ощутимыми и различие эпох (т. е. 900-х годов и современности—Б. П.) и природу того воздействия, которое оказал Толстой на это

поколение. Блох описывает социальное расслоение во Франции начала века. Крупной, «сытой» буржуазии и остаткам «привилегированных» (т. е. аристократии—чиновной и родовой) противостояла «голодная буржуазия»—мелкобуржуазная и демократическая интеллигенция. Лозунгом последней было «служить» («servir»), служить себе, народу, опираясь на народ для того, чтобы завоевать себе место под солнцем Третьей Республики, прочно занятое буржуазными и аристократическими верхами. Интересы социальной борьбы требовали именно этого лозунга—«добровольного служения», т. е. отказа от личных интересов. «Тут-то и подстерегал нас Толстой», пишет Блох, в той мере, в какой Толстой проповедывал антииндивидуализм, протестовал против общественной и моральной неправды, против «привилегированных». Правда, «грубость, с которой один из величайших художников нашей эпохи мог говорить о музыке, о Вагнере, о поэзии, о театре», шокировала этих юношей, но в основном Толстой был близок им, более того—нужен.

Таким же воспоминаниям предается и Ромэн Роллан. 1886 г. Роллан только что вошел в Ecole Normale, товарищами его были будущий философ Жорж Дюма<sup>1</sup>), поэт Сюарес, классики, стендалисты, вагнерианцы. Несмотря на различие мировоззрений, интересов, Толстой на некоторое время объединил их всех. «В эпоху омраченного тяжелыми тучами заката XIX века он был звездой-утешительницей, единственным другом в европейском искусстве. Его книги были для многих из нас тем, чем был Вертер для своего поколения... Для нас существовал только один Толстой, мы любили его всего». Влияние, какое Толстой оказал лично на Роллана, на его духовное и литературное развитие—общезвестно. Роллан лучше других французов понимает сложность Толстого. Как в «Жизни Толстого», так и в сборнике статей «Предтечи» Роллан подчеркивает, что в Толстом «больше, чем одна личность», что «в таких душах содержится все, все связано»<sup>2</sup>).

<sup>1</sup>) E. Fauguet, „L'homme et l'oeuvre“. „Les annales“, 27.11.1910.

<sup>2</sup>) „Europe“, Юбилейный номер. 15.7.28.

<sup>1</sup>) Автор книги „Толстой и философия любви“.

<sup>2</sup>) R. Rolland. „Les precursors“.

В то же время Роллан отмечает односторонность Толстого. Так он видит в толстовских выступлениях против искусства проявление «неполноты художественной культуры». «Исключая литературу, что мог знать из современного искусства, что мог видеть из произведений живописи, что мог слышать из европейской музыки этот сельский дворянин, всю жизнь проведенный в деревне и не бывавший в Европе с 1860 г.? Что видел он там (в Европе — Б. П.), кроме школ, которые одни только его интересовали?». Конечно, эти мысли Роллана-толстовца, в котором, несмотря на все его преклонение, «бунтует» трезвый европеец, не помешали автору «Жана Кристофа» видеть в «Войне и мире» и «Анне Карениной» колоссальные монументы, возвышающиеся над всем европейским романом». Влияние, оказанное Толстым на Роллана, сравнимо разве только с моральным влиянием Ганди на этого писателя. (См. «Ответ Азиц Толстому»<sup>1)</sup> — новую главу, которую Р. Роллан хочет дополнить свою «Жизнь Толстого»).

Юбилейная литература свидетельствует, прежде всего, об эволюции, которую пережила французская интеллигенция в своем отношении к Толстому. Представители ее, за небольшими исключениями, могут лишь вспомнить о том моральном значении, какое имел для них Толстой. Жан-Ришар Блох пишет: «Слову — служить, бывшему лозунгом нашего детства, противопоставлен (ныне — Б. П.) лозунг молодой буржуазии и художников, ее воплощающих, — наслаждаться». В самом деле, Толстой напрасно стал бы «подстергать» интеллигенцию современной Франции. «Мистицизм» Толстого, слишком архаичный, «азиатский», вряд ли может удовлетворить современных французских мистиков, модников неофомизма, которые самую религию приемлют лишь, «как порошок аспирина» (Жан Кокто), как средство против душевной тревоги, мешающей «свободному наслаждению» (*Libre jouissance*).

Морис Парижанин<sup>2)</sup> (Maurice Parisanine) замечает, что в современной Франции, как и в России в эпоху реакции, в эпоху «социальной расслабленности, эстетических забав, литературных и светских мод... интеллигенция перестала следовать за этим вождем». Если автор имеет в виду необходимость борьбы с эстетическим ограничительством критиков Толстого, с эстетическим «отсюда и досюда», завещанным виконтом Вогюэ, то такую борьбу нужно вести, так же, как нужно бороться с волхвованьем и идолопоклонничеством, которые есть, например, у Роллана. Однако вряд ли следует призывать кого бы то ни было, в том числе и французскую интеллигенцию, «следовать за этим вождем»... Не меньше, чем то декадентское охлаждение к Толстому, о котором говорит Parisanine, заслуживает разоблачения и отпора декадентский интерес к нему во Франции, попытки использовать личную и семейную драму Толстого для публицистических этюдов в стиле сенсационного романа-биографии и т. п. Образцом может служить хотя бы «юбилейная» статья Анри де-Монтерлана («Толстой и семья»)<sup>3)</sup>, полная грубейших выпадов против С. А. Толстой, нелепых разоблачений и обывательских афоризмов о гении и семье, о том, что гению лучше предаваться свободной и даже «продажной» любви, чем прозябать с «женой» и т. д.

Современная Франция, почти не имеющая марксистской или хотя бы подлинно левой критики, вряд ли способна дать серьезный вклад в науку о Толстом. Лучше, что сказано во Франции о Толстом, сказано не критиками ее, а писателями. И самой значительной по широте остается, пожалуй, оценка Толстого Анатолем Франсом. В ней слышится ответ как критикам-эстетам, так и тем некритическим исследователям, вернее, последователям Толстого, для которых он остается единственной «звездой-утешительницей» и в наши дни. «Толстой, эпический писатель, —

<sup>2)</sup> В „Nouvelles litteraires“, Юб. номер.

<sup>3)</sup> M. Parisanine. L'unité de Tolstoï. „Europe“. Юбил. номер.

<sup>1)</sup> „Europe“, Юб. номер.

говорит Франс,—является учителем для всех нас в наблюдении бытия людей как во внешних проявлениях их природы, так и в том, что они оставляют скрытым; он наш учитель, благодаря преизбытку и творческой силе, которой одушевлены его произведения; он наш учитель в непогрешимом выборе условий, которые могут дать читателю ощущение глубокой сложности жизни... Толстой «...разоблачил преступления общества, которое требует от законов только освещения его несправедливостей и насилий... Мы не найдем в благотерпении и простоте духа средства против зол нашего существования, когда пойдем преподавать немного справедливости в суровые индустриальные города нашего медного века, но сохраним в сердце образ великого Папа, евангелиста и патриарха Ясной Поляны... Толстой—душа и голос огромного народа, источник, из которого будут пить в течение веков дети людей

и пастыри человечества» <sup>1)</sup>. Конечно, и эта характеристика, данная в 1910 г., по случаю смерти Толстого, и потому несколько патетичная, приемлема лишь «отсюда и досюда». Однако всякий, кто знает Франса, усмотрит в ней не просто выражение пиетета, вообще несвойственного этому писателю, а зерно такого понимания Толстого, которое обращено не к прошлому, но к будущему. Шарль Раппопорт, сравнивая Толстого и Франса, пишет: «Толстой—величайший русский писатель. Франс—величайший писатель Франции нашего времени... Но какая их разделяет пропасть... Франс видит спасение человечества в торжестве социализма, науки и разума. Толстой отказывается от них и ищет только «спасения в самом себе». Франс принимает и прославляет русскую революцию. Толстой проклинаят ее. Толстой, это—прошлое. Франс—будущее» <sup>2)</sup>.

## О ТРЕТЬЕМ АЛЬМАНАХЕ „ЗИФА“ <sup>1)</sup>

Н. Замошкин

В настоящее время многие склонны считать все вновь появляющиеся художественные произведения, посвященные гражданской войне, как бы «запоздалыми». Современность, то-есть, текущий день требуется во что бы то ни стало. Но, не говоря уже о том, что современность, как материал для художественного изображения, всегда нуждается в известных сроках и известном отдалении, — пережитая гражданская война оставила такие мощные отпечатки в сознании и быту советской страны, что всякое художественное воспоминание о ней надо признать вполне современным и своевременным явлением.

Это замечание понадобилось нам, чтобы заранее «оправдать» тему романа Петра Ширяева «Гульба» (в этом есть настоящая нужда, если иметь

в виду грозные требования «критики»). Гражданская война является неисчерпанным кладом для художника, и едва ли когда-нибудь ее исчерпавешь: так велико содержание, так темны, подчас, моменты, сложны узоры социальных битв и многообразно участие в гражданской войне человека. Есть, однако, минимум, которому должен удовлетворять каждый новый роман на эту всеобъемлющую тему. Речь идет о том, чтобы художественное произведение было в той или иной степени своеобразным. Этому, очень ответственному, минимуму «Гульба», в общем, удовлетворяет. У Петра Ширяева есть свой угол зрения, свой темперамент и достаточно богатый опыт как участника революции, так и писателя.

Что основного в «Гульбе»? Вероятно, вихрь, анархия социальных сил и инстинктов. Если так понимать гуль-

<sup>1)</sup> „Земля и Фабрика“. Литературно-художественный альманах. Книга третья. М. Изд. Зиф. Стр. 347. Ц. 2 р. 50 к.

<sup>1)</sup> Из „Homage à Tolstoï“. Annales“ 27.11. 1910 г.

<sup>2)</sup> „Humanité“ 9/IX 1928 г.

бу (метель, вьюга, пурга — А. Блок, Б. Пильняк и др.), то роман П. Ширяева — не гульба. В нем, в самой его сердцевине, запрятан организуемый принцип разгоревшейся борьбы. Писатель проводит довольно четкое и исторически убедительное разделение между «народом» (зеленые, бандиты), белыми, обывателями и коммунистами. В этом смысле название «Гульба» не специфическое для романа, ибо в нем сильно организующее (аналитическое) мышление писателя, тонко разбирающегося в событиях и людях. Гульбы, как самостоятельного начала, — нет в романе, хотя и соблазняет она иногда автора... Бешеная езда на лошади, например, — разве это не «метелица»?

Петр Ширяев, как хороший автор экспрессивных повелл, как мастер короткой формы, всегда с неожиданной концовкой и некоторой игривостью в фабуле, остается, по существу, таким и в романе, распадающемся на множество небольших, быстро сменяющихся сцен. Значит ли это, что «Гульба» роман только по названию? В русской литературе, как прошлой так и современной, всегда преобладала форма медлительной речи, добросовестная, немножко тяжеловесная композиция, которые так хорошо убеждали читателя в серьезных намерениях автора. Роман же быстрых темпов и множественных сцен, скачущий роман — довольно редко встречался. В «Гульбе» искусная склейка повелл составляет все же единство романтической композиции, которая достигается непрерывным движением событий и «текущей истории». героев, при почти полном забвении «предистории» их и законов твердого эпилога. «Текущая история» является для романа тем спасительным центром и винтом, на котором все вертится. В этом несомненное своеобразие «Гульбы». «Вертящегося» материала в ней очень много. Иногда кажется, что все разлетится и ничего не останется от произведения. Выражаясь фигурально, роман П. Ширяева — непрерывный бег с препятствиями, которые умело и свободно преодолевает писатель. Но существен-

ное-то в нем все-таки бег, а не препятствия. И это обстоятельство придает ему неполноценность в психологическом отношении. Когда нет пауз, передышки, когда все вертится, безэстаповочно движется, тогда создается обидное впечатление бездумья, хотя на самом деле роман полон дум, мыслей. Возникает естественное желание остановиться, оглядеться, поразмыслить. Возьмем 1-ю часть романа. На 57 страницах показана уйма событий (уход красных, приход казаков, бандитов и возвращение красных). Кроме главных классовых сил, показаны арестанты, праздноватающие люди, понойка, уличные сцены, грабежи и др.—чего там только нет... Рябит в глазах. Пестро. И надо удивляться техническому уменью писателя, как он гладко сучит нить своего замысла, как, спотыкаясь, не падает. А какая решительность! Какая свобода обращения с материалом! Отказать П. Ширяеву в огромной фабульной картинности нельзя. Выражаясь немножко по-старомодному, калейдоскопичность романа поразительна. Убеждающая сила его все время висит на волоске.

Как же автор преодолевает «сопротивление материалов», находящихся к тому же в романе не в состоянии покоя, а постоянного вращения?

Молодая советская власть провинциального города борется с зелеными (белые — лишь эпизод). В этой схватке болтается какой-то «типус», интеллигент Телепнев, бывший эмигрант, эсер, народолюбец, который, незаметно для себя, успел к тому времени «выйти из игры» и попал в архив истории. Телепнев предает своего друга — белоохранителя, Телепнев идет к казакам, Телепнев — плохо ли, хорошо — уживается с красными, бежит от них к зеленым, с которыми уживается уже более крепче, пытается спасти красноармейца и большевика, заводит «идеологическую» и «сердечную» дружбу с бабой Марьей. Все совершается необычайно быстро. Такова «нималентная», самораскрывающаяся судьба героя. Подобные «перевоплощения и напяливания на себя чужой шкуры» («свойство художественных натур» — иронизирует



автор), бьют больно не только по герою, но и по автору, который ограничился в данном случае требованиями фабулы, позабыв о правилах художественно-психологического раскрытия личности и создания характера героя. Телепневские личины не могут не увлечь простодушного читателя, но не в этом ведь дело. «Остановки» были необходимы. Закрепить образ вне «имманентными» способами надо было, требовалось раздумье от писателя. Невольным образом создался фаталистический тип интеллигента, вполне бесхарактерная фигура. Конечно, не этого хотел писатель: создать характер — законная мечта всякого художника. Почему бы, например, хоть разок не оставить Телепнева «в одиночестве на балконе», в состоянии раздумья, — как это сделано с другим героем романа, коммунистом Грабовым? (Он привел в ревтрибунал сотню крестьян, но он же остается стоять на балконе штаба, и кто знает, с какими мыслями смотрит он на пустую бульжную мостовую, по которой только что прошли сермяжные бандиты во главе со стариком, крестьянином на церковные купола?..) Подобный или другой штрих был бы очень кстати.

А то, что получилось с Телепневым? Фаталист — механический человек — публицистическая личность. Типичность Телепнева хотя и несомненна, но какая это типичность? Целиком от привычных социологических представлений о слонявом, гамлетиковском, ноющем, «неопределенном» (Телепнев «неопределенно улыбнулся») интеллигенте времен гражданской войны. Ни одной новой черты в нем нет. Нет тех «нюансов» в характере, которые закрепляют не «представление», а живое наблюдение и художественный вымысел. Без «остановок», отступлений (хотя бы и лирических) и переживаний, одним словом, без психологического антуража нельзя было обойтись, а П. Ширяев обошелся — в ущерб художественной убедительности.

Произошло это от пристрастия автора к мгновенным зарисовкам и предубеждения против хорошей медлительности.

Изобразительный метод П. Ширяева оправдал себя зато при изображении представителей восставших мужиков. Бунтующие хозяйственные мужички показаны писателем чрезвычайно остро; с проникновением в самую суть их психологии и поступков, движущихся по линии защиты своего домоводства от необходимых жертв во имя революции. Неумолимый закон пролетарской революции требовал от деревни крайнего напряжения сил, мирился даже с материальным разорением ее, а деревня сопротивлялась, шла в зеленые банды, гуляла, громила, тосковала и... продолжала вести свое хозяйство. Деревня просилась на покой, а покоя не было. «У этих людей не было сомнений. После убийства они пели песни и после песен шли убивать». В лице Тишки Брезента (скопидомство, ловкость, безраздумье, бесстрашие и какая-то необычайная ясность собственного мироощущения) П. Ширяев дал выдающуюся по запоминаемости фигуру. Зная, что выгодно и вредно, что препятствует его хозяйству, Тишка живет без раздумья, ибо мир для него узок, мал, весь на ладони. Лядаший мужичишка живет без всяких резиньаций, для него Телепнев просто «глупой» бари и поэтому, когда революция, город победили, он просто его «убирает» со своей дороги — убивает. Вышло так, что простейшее, атомистическое и атавистическое мироощущение Тишки, не помышляющего о высоких материях, переключилось странным образом с «бездумным» методом (а не мировоззрением) П. Ширяева, совпавшим с самой сущностью мужичьих вожделиний. В силу одного только этого интересного совпадения «зеленая» психология раскрылась ярко. (Впрочем, такая степень «обобщения» мужичьего поведения несколько однозна и высокомерна.) «Остановки» тут были, пожалуй, излишни, ибо поразительная ясность домоводческой психологии мужика не нуждалась в авторской психологизации. Перебежки Тишки с поля битвы домой и обратно говорят сами за себя. Экспрессия и бег подействовали тут сильнее прочих способов раскрытия смысла («переволплощаемость» Ти-

шки и особенно другого бандита, Кабарга, конечно, проще «перевоплощаемости» Телепнева, которая требовала от писателя не только экспрессии, но и психологизации).

Как в Тишке заложен совершенно циничный Кабарга, так в Телепневе живет частица Чибрикова. Чибриков—совершенно гнусная, хихикающая, нечистоплотная, липкая личность, — ведет свою родословную от...! его величества народолюбивой интеллигенции, страдающей, ломающей руки от отчаяния. Почему такой пассаж: Чибриков—Телепнев? Намеки на это имеются в «Гульбе», но только намеки, хотя и выразительные. Чибриков плетется тенью за Телепневым, издевается над ним—покорным человечком. В отряде зеленых «никто не понимал их присутствия», да и нельзя было понять этого мужикам. Но в том-то и дело, что и сам П. Ширяев, чудовищно разоблачая своего героя, не понимает этой близости. Только умозрительно можно предугадать их родство, родство сокровенных грехов Телепнева, как интеллигента, с Чибриковым, как «анализатором» всего поведения Телепнева. Общая предпосылка верна: от фатализма главного героя до цинизма его «тени»—один шаг, по какой шаг! Равный пропасти, которую писатель не заполнил и даже не построил мостика. П. Ширяев не то, что не раскрыл всех карт (недомолвки и умолчания, например, у символистов говорили ярче самых слов!), а просто не почувствовал обязательности раскрытия («Молчи, сойдешь за умного»). Начатую игру в Телепнева—Чибрикова надо было довести до конца,—так, как поступает в своей жизни Кабарга. «Последний дух на-кон!».

Безудержный размах ширяевского письма, спортсменство, беготня привели к тому, что ответственный замысел романа оправдал себя лишь наполовину. Глубокого дыхания не чувствуешь... Оно спасло бы положение, которое замышлено было автором в грагическом плане (судьба Телепнева, «народ», осаждаемые коммунисты). Но страстей-то нет, нет тления, подготовки к исходу и течению страстей, нет, наконец, очищающей силы страдания и борьбы. Те-

лепнев погиб, ну и пусть. Никакого душевного освобождения не испытываешь, хотя автором все как-будто сделано, чтобы вызвать к нему последнее обращение, за которым следует свободный вздох облегчения.

Впрочем, сострадание от самого искреннего участия возникает от всей жизни и смерти Грабова, этого великана-мужчины, добряка, сурового, честного партийца, которому «очень тяжело, но так надо», который «никогда не жлет», ибо верит в свое дело и победу. Гибель его воспринимается как несчастие, как великое историческое недоразумение. Все в нем правдоподобно и впечатлительно, даже та политическая наивность, которая в нем есть: «он упрямо отрицал политический характер зеленого движения и причины его видел в ущемленном продовольственной политикой собственническом инстинкте крестьян». Как-будто эта оборона собственничества могла быть аполитичной! Слова Эмерсона, приводимые П. Ширяевым, о том, что запоминаются только взаимно-симпатические лица, получают таким образом оправдание на примере с Грабовым. Если бы не Грабов, то автора можно было бы обвинить в равнодушии ко всему (то всеобщее равнодушие, с которым обращается П. Ширяев ко всем персонажам романа, включительно до опереточных фигур из белого лагеря, есть ни что иное, как художественное и социальное равнодушие). Социально-симпатическая устремленность писателя, наконец-то, сказалась. Это — сочувствие Грабову и всему делу, им выполняемому.

Если считать, что каждый роман должен давать наиболее сгущенные моменты жизни, то, прочитав «Гульбу», позволительно спросить: все ли его моменты можно назвать сгущенными? Нет, не все. Много в нем «частностей», не оставляющих места для «торможения» действия и его замедления, которые, в конечном итоге, наполнили бы художественной кровью многочисленные яркие и живые картины «Гульбы». В заключение два слова о других результатах слишком скоростного темпа романа. «Глухое падение тела», «она...

в зареве пожара была страшна, как дьявол», «в глазах стыло безумие» и «фраза... звучала как пощечина». Да, действительно, такие фразы звучат как пощечины! Их совсем ничтожное количество, но тем хуже для П. Ширяева, так как говорят о небрежности хорошо владеющего стилем писателя.

\* \* \*

У П. Ширяева — Кабарга, а у Вс. Иванова — Кочерга. Оба бандиты. Но времена другие, и бандиты, как звезда от звезды, разнствуют друг от друга. Растревоженный гражданской войной быт никак не может успокоиться. Но догорают уже последние мятежные огоньки: Кочерга, последний могиқан «из стаи славных», затосковал и позорно умирает от непреклонного сторонника быта, порядка—комсомольца Филиппа. Дух восстания исчезает. Остается только мечтать об одинокой жизни в «бамбуковой хижине» («Бамбук—дерево легкое, легкой жизни способствует»), где можно «наплевать на все думы». Собственно говоря, только и осталось одна живая душа на свете, это — шулер Галкин (которого рабочие любят за «свободу»), жаждающий вот этой самой хижинки. Вообще, революция выродилась. Заступил ее место порядок, то-есть смертная скука, ибо работа, рассчитанная на годы, становится скучной привычкой. Даже «аккуратная» личность—Филипп и тот тронут этой желтой скукой и убивает-то он Кочергу не по головному велению (ради упрочения «порядка»), а по сердечному и темному влечению что-то проклясть, размахнуться, вдарить. Любовь? Где она? Да, там—в кустарниках: там для всех брачное ложе... Работа? Безнадежная затея: инженер Закревский, сделав просчет, застрелился, и вообще бы застрелился—жена ему изменила...

Вот о чем повествует один из сильнейших в современной литературе писателей Вс. Иванов в рассказе «Бамбуковая хижина». Думает же он еще выразительней. Кругом разлита ложь, и именно потому, что много лгут, все кажется искренними, все притворяются. Вообще, все кажется на этом свете: свет лампочки кажется тьмой, разум-

ное кажется нелепым, глупое—важным. При таком порядке вещей нечего искать даже «бесцельной целесообразности» в жизни, которая уже не кажется, а на самом деле является «простой, ясной и наглой».

Не в обиду будет сказано писателю: его рассказ тоже «простой, ясный и наглый» в своей нарочитой художественной обнаженности и примитивности (художественная значительность его воспринимается почти инстинктивно).

\* \* \*

«Софья Таршина да, наверное, и Алешушка думала и делала так, что самую плохую и неудачную жизнь можно при небольшом желании исправить и улучшить—и, жизнь не только свою, а жизнь многих тысяч и миллионов людей»—вот какие покорные, милостивые, заботливые женщины у Вс. Иванова. Только они одни—не в пример мужчинам—и носят высокое (!) звание «человека» у Иванова! Совершенно неожиданно и особым образом об этих женщинах, мирных жителях земли, говорит Вл. Лидин в «Магнитных бурях».

Магнитная буря—образ человеческой воли, всегда непобедимой, несмотря на несчастья и поражения. Таков удел мужской героической дерзновенной воли. Женщины же «берегут землю», в них тот добротный покой и утверждение, та забота о настоящем счастье, без которого мужская воля бесплодна. Резкое размежевание на мужское и женское не ново как в художественной, так и философской литературе. Однако внимание Лидина к «биологии» уравновешено желанием воспеть героизм человека вообще. «Магнитные бури» не рассказ даже, а просто художественный, сдержанно-взволнованный отклик на события последних лет в Арктике. Их лирическая настроенность действует как-то успокаивающе, совершенно безбурно. Этого ли хотел автор?

Переключка внутри альманаха продолжается... Александр Макаров в рассказе «Смерть короля» мечтает, как и шулер Галкин, о легкой жизни, но уже на загородный, а не наглый манер. О женском теле, «которое красивой всех

морей и Кавказов», мечтает советский галантный кавалер, демобилизованный красноармеец, безработный Королев — он же «король». Покоряющая сила города (кино, электрический свет!) отбила в короле все деревенское, он стал по-городскому вежлив. А. Макарову удалось более или менее удачно показать поэтический—под Гамсуна—роман короля и Людмилы, но он тотчас же поспешил спустить свою парочку на грешную землю, где безработица, тоска, а вместо поэзии—балаган. «Королю» нет места в современной действительности—и шутит и грустит автор. Но к чему надо было бедного «короля» нарядить в звериную шкуру на потеху балаганной публике, зачем этот дурацкий колпак на его голове, игра в арлекинаду—вся эта неоригинальная цветистость? Посмеявшись горьким смехом «над разбитой мечтой» своего героя, А. Макаров написал пародию на самого себя. Грустно-ироническая тема, имеющая корни в современности, обернулась против автора, не рассчитавшего своих сил.

Еще ступенькой ниже рассказ Д. Крутикова. Если бы Д. Крутиков не был автором хороших деревенских рассказов, то можно было бы умолчать о его «Белом Кайне»,—совершенно неряшливой, пустой, бездарной вещи. Лавреневские что ли лавры вскружили ему голову, но вот «создался» ррреволюционный рассказ о двух коммунистах и о «демонической» женщине,—террористке, вполне загадочной особе. В рассказе все есть (даже «идея» есть: «Чорт с ним, с плохим старым. Держись за будущее, за хорошее и—амба...»), кроме такта, таланта и ума. Амба!

\* \* \*

О сказке и стихах, имеющих в «Альманахе».

Сказка? Вот заброшенный жанр в советской литературе. Начал возрождать его Н. Ляшко, писатель суровой жизни, но с неизменной страстью к «сказочности», идет ли у него речь о старом подполье, или о доменной печи... Это благородное желание получило полное разрешение в совершенно реалистической

сказке «Бездетка» — о буйной жажде материнства. В ней есть доля традиционной фантастики, без которой «Бездетку» никак нельзя было бы назвать... сказкой. Язык ее, как это и подобает литературной сказке для взрослых, достаточно стилизован, не теряя живой изобразительности.

А почему скатился с крыши. Так.  
Знать не хочу. Придумывайте сами..

Почти ко всем стихотворениям сборника эти две строки И. Сельвинского могут служить эпиграфом. Очень часто приходится читателям «придумывать самим»: отчего и почему?

В. Саянов и Э. Багрицкий пишут «воспоминательные» баллады на полусторонические и полусовременные сюжеты, черпая вдохновение: один у «гренадерской» поэзии, другой у Мицкевича. Лелея блестящие образцы романтической европейской поэзии, они модернизируют на современный политический лад сюжеты своих баллад (у Саянова в «Корчме на литовской границе» «отчизна» и «революция» входят в тонкое соприкосновение, а у Багрицкого в «Можайском шоссе» наполеоновское нашествие упирается в «свинец нефтебаков и фабрик бакал...»). И. Сельвинский же, пекущийся о «поэзии единственной долины, где мы готовы верить в ирреальность» (что-то не верится!), разоблачает их пристрастие к романтике, как самообман, ибо король-то гол, то-есть рыцарь в доспехах, тот самый, который «скатился с крыши», оказался вполне прозаической фигурой, «чернокожим материалистом», купцом! («Стихотворение, найденное в черновиках Евгения Нея»). Отчего и почему?—«придумайте сами», читатель.

Полной ясностью и целеустремленностью насыщено только одно стихотворение—«Шаги агронома» Н. Тихонова, в котором поется слава хлебной тучности и агроному:

Пока не скажет вражий гром  
Свое вступительное слово,  
В полях не может быть иного  
Ловца пространств, чем агроном.

Вот и весь альманах ЗИФ № 3—из разноцветных лоскутков: новеньких, поношенных, шелковых, ситцевых.

### 3. БЫТОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Ф. Рогинская

#### I

Процесс формирования художественной культуры — двусторонний процесс. С одной стороны, весь комплекс предметов материальной культуры, который, благодаря своему внешнему оформлению, является в то же время комплексом предметов художественной бытовой культуры. С другой стороны, — массовый потребитель, который в той или иной форме — пассивно или активно — направляет ход развития художественной культуры и является в то же время ее фактическим реализатором в своем быту.

Как обстоит дело с первым фактором? Здесь заранее следует оговориться, что область специфически художественных изделий (Палехских и т. п.) не входит в задачу настоящей статьи, потому что их действительная, активная, фактическая роль при формировании уровня художественной культуры в условиях современности ничтожна. Они не имеют бытового потребления, «не бытуют», выражаясь музейным языком. Достаточно сказать, что почти вся продукция этих артелей является предметом экспорта и что попытка Мосэкуста организовать внутренний рынок окончилась крахом. Причина проста: кустарные художественные изделия чересчур дороги. Плодоносная почва быта ушла из-под ног кустарных артелей с того момента, когда на путь соревнования с ними стала дешевая фабричная продукция. Но как только рынок повседневного потребления оказывается утраченным, изделия кустарных артелей превращаются из фактора стройки здания художественной культуры в специально орнаментальный момент <sup>1)</sup>. С этого собственно мо-

мента и начинается строгая стабилизация форм художественной кустарной промышленности, так как одновременно с кристаллизацией художественных традиций она обозначает и отсутствие свободной вкусовой циркуляции от быта к художнику.

Настоящим подлинным строителем художественной культуры в быту является, во-первых, вся массовая продукция (мебель, текстиль, посуда и т. д.), не претендующая на звание специально художественной и, во-вторых, в качестве орнаментального материала — всевозможные безделушки и украшения, мелких рыночных дешевых кустарных изделий, которые просачиваются в быт самых широких социальных слоев. Положение здесь чрезвычайно печально. Как известно, предшествовавшая революции эпоха так же, как и почти весь XIX век, отличалась эклектизмом, характерным не только для художественной промышленности, но и для архитектуры. В характере рисунков тканей и обоев, в мебельных формах, в росписи посуды и т. д. можно найти элементы большинства предшествовавших стилей, начиная от византийского, через Возрождение, к плеяде Людовиков. Эти формы составляют главный арсенал орнаментальных мотивов, применяющихся в области промышленности. Художники, работающие непосредственно в производстве, настолько освоились с трактовыми, присущими тому или иному сти-

устремления и в этом отношении, как культурное наследие прошлого, они должны оказаться чрезвычайно важными для активного строительства современной художественной культуры. Между тем, как раз эта роль кустарного искусства обычно проглядывается.

Для некоторых окраинных районов кустарные производства еще сохранили свою прежнюю организующую и формирующую роль. Но в целом, отождествлять высокую художественную ценность специально художественных ремесел с подлинным уровнем бытовой художественной культуры так же неуместно, как по гобеленам судить о среднем уровне французского населения XVIII века.

<sup>1)</sup> Но если бытовая роль утрачена кустарными артелями, они сохраняют очень важную косвенную, передаточную роль, как резервуар, хранящий вековой художественный опыт, вековые художественные традиции и

лю, что почти не в состоянии оперировать собственными изобразительными средствами. Эти наследственные формы засоряют все поры массовой продукции. Присущее им идеологическое содержание выветрилось. Они превратились просто в мертвые схемы, своего рода саганы белых идеологий. В то же время длительное пользование этими мотивами создало настолько прочную традицию, что всякие попытки художников обновить их или отойти от стандарта встречают самые сильные препятствия со стороны торгующих и производственных организаций. Поскольку в настоящий момент ощущается недостаток в большинстве продуктов массового пользования как текстиль, обои и т. д.,—эти организации считают вообще ненужными затраты, связанные с поисками новых рисунков, и вообще всякие опыты в этом направлении (товары ведь все равно расходятся!). Если посмотреть на современное состояние различных отраслей промышленности с точки зрения художественного оформления продукции, мы сразу сталкиваемся с следующим, вполне очевидным фактом: те отрасли производства, сбыт которых зависит от художественного оформления, находятся сравнительно в благоприятном положении. Так, например, довольно благополучно обстоит дело с детской книгой, где иллюстрация имеет первостепенное значение, и с книжной обложкой, которая в значительной мере способствует расхождению книги. Известное количество исканий можно отметить в области киноплаката, довольно большую эволюцию совершила афиша, и т. д. В области текстильного рисунка единственная категория, содержащая попытки применения новых художественных форм, это — область модных городских тканей, которые должны конкурировать с трикотажем и с заграничными изделиями и где нет поэтому полной уверенности в сбыте. Совсем иначе вопрос этот обстоит с теми отраслями производства, где сбыт обеспечен в силу нехватки их продукции на рынке или где он не находится в прямой зависимости от художественности оформления. Там царит полный

застой. Сюда относятся все остальные категории текстильного рисунка во всех разнообразных типах его классических сортов: обои, в которых не сделано буквально ни одного нового рисунка; мебель, которая питает потребителя по каналам мелкорыночной кустарной продукции и, за исключением нескольких неудачных опытов комбинированных моделей, целиком находится во власти старых традиций. Такое положение было бы нормально в капиталистических условиях производства, где частный предприниматель относится совершенно безразлично к вопросам художественного оформления, когда его не стимулирует момент прибыли. Но в условиях производства СССР, особенно в период культурной революции, наши хозяйственники не могут и не должны отменить от себя вопросов художественной культуры, не могут и не должны бояться опытов и связанных с ними расходов по выработке новых идеологически нужных современности типов оформлений.

То засилье старых форм, которое характерно для массового производства, имеется также и в отношении потребительской массы. Она все еще без труда впитывает старый, давно привычный материал. В этом можно убедиться по легкому сбыту псевдохудожественных изделий кустарных артелей, которые по дешевке продаются на рынке. Эта продукция, получившая в последнее время название «сухареvской»,—всевозможные статуэтки, безделушки, рамочки, картины, полочки и т. д.,—отличается, в сущности, теми же типовыми особенностями, которые характерны и для оформления фабрично-заводских изделий.

Что же тут, в сущности, удивительного? Ведь потребитель поставлен в настоящий момент в такие условия, когда он не может не только оформить, но даже проявить свои художественные запросы. В дореволюционное время массы имели возможность высказывать свои художественные требования безгласным, пассивным образом. Что такое, например, так называемая «ходовитость» текстильного рисунка? Это ни что иное, как резуль-

тат своеобразного художественного отбора этого рисунка со стороны потребителя в ущерб другим рисункам, которые, очевидно, менее отвечают его художественным запросам. В дореволюционное время, когда вопрос о сбыте имел для частных предпринимателей очень существенное значение, была создана целая система прощупывания таких пассивных, неоформленных художественных запросов потребителя. Существовал целый институт агентов-выезжеров, которые на местах выясняли применимость данного рисунка для определенного района потребления. Путем своего рода неписанных апкет они выясняли и расцветки, и рисунки, и даже характер тканей, наиболее «ходовитых» для данной области. Отсюда, собственно, возникли и в текстиле, и в посуде, и в обоях достаточно четкие деления всего художественного оформления по районам сбыта. Одни — для центральных областей, другие — для периферии, для Сибири, для Украины и т. д. Это деление проводилось настолько детализованно, что принимало во внимание и социальный признак. Существовали и существуют вполне определенные категории крестьянских и городских тканей и посуды, а в обоях даже «мещанских» и «интеллигентских». Агенты, обследовавшие потребителя, не имели художественного образования. Они довольно точно улавливали сбытовые особенности, но очень мало разбирались в тех художественно-идеологических особенностях, которые определяли бытовую характер того или иного изделия. Поэтому они могли, конечно, исказить и искажали на деле подлинность художественных запросов масс. Как бы то ни было, они являлись хоть и плохими, но все же передатчиками голоса потребителя производству. В настоящий момент эта система отмерла. Некоторый, очень неудовлетворительный, учет запросов потребителя производится кооперативными организациями через посредство магазинов. Заведующий магазином посылает свои заключения в соответствующий кооперативный центр относительно спроса на тот или иной

рисунок. Нельзя не согласиться, что эти сведения еще в значительно меньшей мере достоверны, чем при прежней системе. Фактически они даются почти наугад, так как общезвестно, что при существующем положении расходятся все рисунки. Справедливость требует, впрочем, сказать, что большинство товароведов, работающих в производстве, отмечает значительные сдвиги, которые произошли в запросах потребителей разных районов. Но все эти сведения пока только «носятся в воздухе» и еще никем не учтены и не исследованы.

Но если производственники проявляют недостаточную бдительность, есть ли в условиях современности другие возможности массовому потребителю проявить свои художественные требования? Конечно, есть. Центрами, которые должны вскрывать творческую активность массы, должны были бы быть клубы. Той ячейкой, которая должна была бы проводить эти вскрытые и оформленные требования рабочего потребителя, должны были бы быть изо-кружки при клубах, а также и сами клубы характером и содержанием своего убранства. В действительности же мы не замечаем ни того, ни другого. Особенно распространяется насчет казенной бесцветности и анти-художественного убранства клуба не приходится. Это факт общезвестный. Что касается изо-работы, она находится в состоянии полного распада и замирания. Меньше всего нужно объяснять этот факт равнодушием изо-кружков к работе. Наоборот, тяга к искусству в последние годы была настолько велика, что заставляла мириться с самыми тяжелыми условиями при создании кружков. Кружки организовывались стихийно, без моральной и материальной поддержки и без организующей руки со стороны правления клуба. Они не имели комнат для занятий и занимались сплошь и рядом где попало, даже в подвалах без окон. Один кружок, например, работал в комнате, которая днем служила парикмахерской, а вечером являлась единственным проходом из зрительного зала в буфет. Сплошь и рядом кружок был без руко-

водителя. Кружковцы выделяли руководителя из своей среды, и здесь нельзя не отметить чрезвычайно интересного факта, что иногда кружки под руководством таких новоявленных педагогов разрастались в своего рода художественные школы. В одной из них, например, было 140 учащихся, и работала она в несколько смен. Кружковцы не ограничивались только работой в кружке, они хотели приобщиться к текущей художественной жизни, ознакомиться с современным состоянием искусства, с музеями и т. д. Были случаи, когда они устраивали выставки своих работ, продавали их (покупателями были рабочие тех же фабрик), а деньги реализовали на экскурсию в Москву или на выписку лекторов. Все это им приходилось делать почти без всякой поддержки со стороны управления. Быть может, все это не сломило бы изо-кружки, если бы не тот характер, который принимала их работа, как только они более или менее вызревали. На них наваливали огромное количество нетворческой работы ко всевозможным кампаниям, лозунги, диаграммы, афиши и т. д. Давая небольшую поддержку кружку, клубы желали, чтобы кружки возвращали им ее сторицей. Принцип рентабельности, совершенно неуместный в отношении клубных кружков, почему-то применялся в отношении изо-кружка. Работы было всегда чрезвычайно много, и притом она всегда носила спешный характер. И кружководу и кружковцам неоднократно приходилось и приходится засиживаться за работой до глубокой ночи. В то же время для их непосредственной культурной и творческой работы не оставалось совершенно времени. Не существовало даже программы. Кружок расценивался просто как вспомогательный, обслуживающий другие. При всем том ни с чьей стороны не было систематического руководства изо-клубной работой в целом. Немудрено, что кружковцы постепенно отходят от работы, а кружки неуклонно распадаются.

Но это меньше всего говорит о падении интереса к искусству и к вопросам художественной культуры. Посещае-

мость выставок, активная тяга в художественные учебные заведения, невероятная емкость массового рынка, поглощающего лубки миллионными тиражами, а главное—движение художников-самоучек служит показателем живучести этих стремлений. Но они просто минуют клуб, который их не удовлетворяет, и устремляются по другим каналам. При чем движение художников-самоучек показательно по своему диапазону. Оно охватывает не только рабочих, но и крестьянство<sup>1)</sup>. Интересно, что многие работы на Всесоюзную выставку ОХС<sup>а</sup> прибыли из отдаленнейших захолустных мест Сибири. Таким образом, не может быть и речи об отсутствии активного интереса к искусству со стороны широких масс. Он есть и растет, но остается неиспользованным.

В конечном результате картина создается довольно печальная, как ни подойти к вопросу,—с точки ли зрения производства, как посетителя и проводника определенной художественной культуры, с точки ли зрения потребителя, как выражающей свои требования, направляющей силы.

## II

Минувший сезон 1927—28 г. выдвинул на арену многочисленные кадры художественной молодежи, окончившей ВХУТЕИН. Создались целые художественные объединения, разбитые на секции по производственному принципу. Это ОМАХР, группа РОСТ и «Октябрь». Кроме того, и АХР, под давлением молодежи, пришедшей из ОМАХР<sup>а</sup>, тоже вышел за пределы станкового объединения и включил в свой устав и в свою декларацию вопросы художественной культуры в быту. Помимо того, создалось общество художников-текстильщиков, которое объединяет, помимо молодежи, и тех художников-профессионалов, работающих в производстве, которые стали тяготиться отсутствием творческой самостоятельности, гнетом проводящей рисунок к потреби-

<sup>1)</sup> Так, например, конкурс Уральской крестьянской газеты на карикатуры привлек к участию крестьян из самых глухих медвежьих углов Урала.



телу товароведческой сети, пленом старых форм и т. д.

В связи с переживаемой нами эпохой культурной революции вопросы бытовой художественной культуры выступили на передний план. Они стали дебатироваться и обсуждаться в печати как неотложная задача сегодняшнего дня, стоящая перед художником. При этом особое внимание печати привлек к себе клуб как центр и очаг создания пролетарской культуры. Казалось бы, положение создалось чрезвычайно благоприятное для дальнейших перспектив развития художественной культуры. Между тем, в действительности это не так. Вопросы ставятся таким образом, что возникает самое серьезное опасение, не будет ли эта новая поднимающаяся волна еще печальнее по своим последствиям, чем памятные попытки конструктивизма, собиравшегося заменить художниками инженеров в производстве. Раскрытие этого неправильного подхода к клубу можно найти в статье т. Курелла: «Где искать путь социалистического прогресса в живописи» (письмо художникам РОСТ'а. Журнал «На Литературном Посту» № 2) и в ряде его выступлений на страницах газет, а также в выступлениях нескольких других критиков, объединившихся в дальнейшем вокруг о-ва «Октябрь». «Только смелый прыжок в новые формы художественного творчества может нас спасти» — заявляет т. Курелла. Какие же это новые формы? Они лежат в клубе, отвечает Курелла. Казалось бы, на первый взгляд—установка верная. Клуб действительно должен явиться тем средоточием, той движущей силой, без которой нельзя себе представить развития пролетарского искусства. Однако в какой форме может клуб служить этим целям? Только в форме очага и центра самостоятельного искусства. Тов. Курелла, однако, полагает, что это не так. Ни разу ни он, ни его товарищи по оружию, ни одним словом не касаются изо-кружков, как-будто их и вообще никогда не существовало. Даже когда тов. Курелла говорит об общении художника с клубом, он указывает на

общее собрание всях клубистов, как на единственный метод воздействия на клубную массу, при чем предвидит «ужасные жертвы», которые придется принести «бедным художникам», идя навстречу рабочей массе. «В прежние времена господствующий класс умел украшать такие места» — пишет он в доказательство правильности своей установки. «Собравшиеся массы имели перед своими глазами во время богослужения, речи, концерта, место, где можно отдохнуть и развлечься. Эти художественные произведения играли большую роль, как факторы организации общественного мнения, как регуляторы идеологии масс». Это верно. Но неужели в условиях нашей современности так желательно то состояние пассивной созерцательности, в которое господствующий класс умел приводить массы, собиравшиеся на богослужение? Неужели так желательно, чтобы рабочий посетитель, придя в клуб, с робким восхищением оглядывал благолепие этого нового «храма», а потом шел в свои казармы, в тесноту и антихудожественность своего семейного быта? И уж во всяком случае нельзя здесь увидеть, как это видит т. Курелла, «лучшую, быть может, единственную возможность преодолеть на деле расстояние между художником и публикой, воспитать художника посредством массы и массы посредством художника и раскрыть таким образом путь для совершенно нового развития искусства».

Если клуб, по выражению тов. Бела Уица, агитпроп современности в противоположность церкви—агитпропу прошлого,—то не надо все же забывать, что перед этими двумя агитпропами лежат задачи диаметрально противоположного порядка. И если мы приглушим всю художественную самостоятельность рабочих, пробивающуюся с таким трудом и с таким искренним творческим подъемом в клубах, то о строительстве подлинной художественной культуры не может быть и речи. Правильный подход к вопросу о клубе требует другого решения. Клуб не должен быть просто ареной для художественных экспериментов той или иной группы художни-

ков, безответной средой для осуществления «диктатуры вкуса» какого-нибудь художественного направления. Как уже говорилось выше, центром внимания в нем должна быть самодеятельная работа. Жизнь изо-кружков должна забить высокой струей. Диспуты и доклады по вопросам изо-искусства должны также войти в их обиход, как росли они в быт литературных кружков.

Это относится не только к рабочим клубам. Особого внимания заслуживает и развитие изо-сети в красноармейских частях. Красноармейцы, пройдя через закалку изо-актива, вернувшись в свои села, должны и могут стать проводниками изо-культуры по всей огромной территории СССР. Они должны быть инициаторами и организаторами изо-кружков при избах-читальнях, создавать первичные ячейки художников-самоучек и т. д. Конечно, и независимо от самостоятельной изо-работы в Красной армии, необходима соответствующая сеть изо-кружков и при избах-читальнях. Но красноармеец-отпускник должен стать активным носителем культуры на селе и в этой области.

Художественная работа в клубе, взятая в таком разрезе, вызывает главную точку приложения для художника в клубе в качестве кружководы. В художественных учебных заведениях необходимо поэтому сделать ударение на подготовку кадра изо-руководителей. Возникает также необходимость выработать, наконец, определенную методическую систему изо-клубной работы, упирающуюся, прежде всего в задачи поднятия уровня бытовой художественной культуры. Помимо того, по издательской линии необходима серия популярной литературы, освещающей вопросы изо-искусства, а также широкая постановка дешевого репродуцирования художественных произведений.

Возникает вопрос: а как же с оформлением самих клубов, неужели так и оставить их в нынешнем ужасающем состоянии? Действительно, положение здесь катастрофическое, требующее немедленных мероприятий, между тем, как умирающие от удушья изо-кружки явно не в состоянии с ними

справиться. Поэтому, как паллиатив, как временное компромиссное решение, следует предоставить художникам оформление клуба, конечно, в тесном контакте с его изо-кружком. Тогда же, когда кружки станут на ноги, эти функции должны перейти к ним. Здесь мы подходим к давно назревшему вопросу об организации комплексных групп художников-декораторов, которые ставили бы основной своей задачей оформление общественных зданий: клубов, столовых, кино, театров, витрин и т. д., планировку парков и скверов, спорт-площадок и проч., коллективно разрабатывая общий план этого оформления. Здесь точка приложения для художников стенной росписи, для той части художников-текстильщиков, которая посвящает себя декоративным работам, как всевозможные панно, шторы, скатерти, абажуры и т. д., и для керамиков, занятых не массовой посудой, а изготовлением статуэток, ваз, и т. д. и т. п. Всем этим художникам, специализирующимся, выражаясь производственным языком, на «штучных товарах», необходимо было бы, кроме того, организовать производственные показательные артели, ставящие своей задачей победить «сахаревскую» продукцию, конкурируя с ней в дешевизне и побивая ее в то же время своим художественным качеством. Таким образом, работа шла бы по двум направлениям — оформления «коллективного быта» и быта частного, семейного, индивидуального. В этом отношении принципиальная установка группы, идеологически возглавляющей общество «Октябрь», тоже вызывает серьезные возражения.

Толкая художников-производственников на арену клуба («коллективный быт»), как на единственный выход из создавшегося положения, эта группа совершает большую ошибку не только в том отношении, что этим самым подавляется самодеятельность массы, но и потому, что отвлекаются основные силы от массового фабрично-заводского производства и, следовательно, весь основной массив предметов частного семейного быта бросается на произвол

судьбы. Не приходится, конечно, доказывать, что оформление общественных мест («коллективный быт») очень существенно. Но это отнюдь не должно означать, что в какой-то мере следует игнорировать индивидуальный быт. Потребность в подлинно-художественном оформлении индивидуального быта не исчезнет, а, надо полагать, повысится при приближении к социализму. У нас же сейчас в рабочих казармах, в многомиллионной провинции, в бесчисленном множестве крестьянских изб игнорировать вопросы оформления индивидуального быта абсолютно невозможно. Между тем, этот частный быт вызывает у идеологов «Октября» откровенное пренебрежение. Это пренебрежение настолько велико, что тов. Курелла видит причину всего кризиса станковой живописи и скульптуры в том, что она со стены общественных зданий («церковь, дворец, ратуша и т. д.»), «переселилась в частный дом богатого горожанина». «В качестве репродукции или массового фабриката,— продолжает Курелла,—они появились затем в чистой комнате мелкого мещанина. Из составной части организующего фактора общественной жизни живопись и пластика пали до того, что сделались средством насаждения буржуазной семьи». Таким образом, в величайшем достижении новейшего времени, в возможности массового проникновения искусства непосредственно в быт и в необъятном поэтому объеме его воздействия на зрителя заключается, по мнению тов. Куреллы, падение, а не величайшее расширение роли искусства, как «организующего фактора общественной жизни».

В пафосе своего откровения Курелла настолько последователен, что сейчас видит все спасение живописи в закреплении этой «блудной дочери», в обратном внедрении ее в стену. Вопрос о станковой живописи только частично соприкасается с задачами настоящей статьи. Но здесь нельзя не остановиться именно на том отрезке воздействия, в котором Курелла видит ее «падение», а именно на репродукциях. Тяга к репродукциям, как к средству

украсить стену, среди самых широких масс—огромная. И, конечно, ее необходимо всячески использовать, продвигая самым энергичным образом в быт художественные и идеологически-направляющие образцы. В противном случае это значило бы, действительно, предоставить массового потребителя мещанской стихии. В этом пренебрежении частным бытом кроется, быть может, боязнь увлечься буржуазным уютом. Но, в таком случае, и в перегибании палки в сторону оформления общественных зданий, торжеств, процессий и т. д. также можно впасть в крайности или чисто обрядового порядка или официальной помпезности. Ни того, ни другого бояться не следует. И частный быт, именно в силу того, что его предметы непрерывно и длительно воздействуют на массы, заслуживает в современных условиях сугубого внимания.

Я уже коснулась раньше способов борьбы с «сухаревской» продукцией посредством конкуренции с ней дешевых изделий показательных декоративных артелей. Но это—вторичный момент. Перейду к основному, к утилитарным предметам фабрично-заводского производства. В этой области художникам предстоит долгая и трудная работа, процесс завоевания и производства и потребителя своей новой продукцией, процесс отсортирования из старого культурного наследия тех элементов, которые нужны и полезны для современности, процесс насыщения продукции тем новым идеологическим содержанием, которое может не только противостоять, но и побороть отрицательные моменты буржуазного наследия. Как можно этого достигнуть?

В этом отношении установка о-ва «Октябрь» вызывает целый ряд опасений. Несмотря на многочисленные противоречия в декларации этого объединения, нельзя не увидеть в нем попытку возродить печальной памяти левовско-конструктивистский поход, потерпевший такое жестокое поражение в 1923 г. Начать хотя бы с того сомнительного утверждения, что «особенно важным для пролетарского искусства являются достижения послед-

них десятков лет, когда методы планомерного и конструктивного подхода к художественному творчеству, утерянные художниками мелкой буржуазии, были восстановлены и доведены ими до значительной высоты. Начинающийся в этот период процесс проникновения в творчество неосознанных художниками диалектических и материалистических методов, а также методов машинной и лабораторной научной техники дал многое, что может и должно послужить материалом для развития пролетарского искусства».

Можно не спорить против того, что конструктивисты жаждали ввести начала «машинной лабораторной научной техники» в свои работы, хотя на практике вся их деятельность вылилась в форму своего рода суррогатов технических конструкций, наивных и бездоказательных и совершенно произвольных. Но утверждение относительно «проникновения в творчество неосознанных художниками диалектических и материалистических методов» заставляет только с недоумением пожимать плечами. Действительно, где могли вдохновители «Октября» усмотреть в сухом рационализме эпохи формальных изысканий, в поисках абстрактных и абсолютных закономерностей в цвете, рисунке и т. д., породивших целые потоки беспредметной и геометрической орнаментики, — где могли они усмотреть диалектические, материалистические методы? Во всяком случае, если им и удалось произвести такое открытие, нельзя ограничиться его декларированием, следует его доказать. Для того, чтобы не оставалось сомнений, какие именно течения последних десятилетий имеются в виду «Октябрем», как «особо важные для пролетарского искусства», — достаточно соединить «методы планомерного и конструктивного подхода к художественному творчеству» и «методы машинной, лабораторной техники» с тем определением реализма, которое «Октябрь» считает пролетарским и потому для себя наиболее приемлемым. Остановлюсь на двух определениях. Это — реализм, «делающий вещи», «ре-

ализм, рационально перестраивающий старый быт»<sup>1)</sup>.

Нетрудно узнать в этом определении знакомые черты лефовской теории производственного искусства. Все огорки, которые делает «Октябрь», чтобы в той или иной мере замаскировать эту основную установку, оставляет в силе его основное ядро. Тем более, что достаточно посмотреть в список учредителей «Октября», чтобы увидеть, что обломки крушения конструктивизма нашли себе в нем приют, включая сюда и Гана с его пресловутым лозунгом — «Искусство — опиум для народа».

Надо вспомнить весь вред, нанесенный нормальному развитию художественной культуры первым выступлением Лефа. Он надолго возбудил недоверие среди производственников и художников-профессионалов к молодым художественным силам и тем самым затруднил даже сейчас их возможность проникнуть в производство. Он направил художников по ложному следу в самый ответственный момент — в момент развертывания производительных сил страны — и тем самым способствовал стабилизации в производстве старых отживших форм. Поэтому-то и необходимо бороться с наметившимся рецидивом лефовских тенденций.

Здесь должен быть твердо поставлен вопрос о том, что победить старые формы посредством одной беспредметной орнаментики не возможно. Элементы природы и органического мира не только не содержат ничего чуждого или вредного для развития художественной культуры современности, но, наоборот, должны и могут питать ее своими соками. Вся суть в том, с какой трактовкой подходит к этим элементам. Поясню это примером. Возьму хотя бы самые вопиющие — серию «красавиц», которых демонстрируют нам

<sup>1)</sup> Реализм в обычном понимании этого слова получает от «Октября» следующие лестные эпитеты: «Мы отвергаем мешанский реализм эпигонов, реализм застойного индивидуального быта, пассивно-советательный, статический, натуралистический реализм, бесплодно копирующий действительность, прикрашивающий и канонизирующий старый быт, связывающий энергию и расслабляющий волю культурно неокрепшего пролетариата».

с таким неослабевающим усердием кондитерские и мыльные обложки. Если они вызывают самый энергичный протест, то в силу той «гаремной» трактовки, которая вложена в их изображение. Если бы современный художник пытался на тех же мыльных обложках дать современное представление об осмысленной красоте человеческого тела, здорового, тренированного спортом и т. д., тогда бы они не могли вызвать упреков. Точно так же в многочисленных «закатах» и «востоках», «замках» и «ущельях» можно увидеть ложное использование тех же тенденций, которые вызвали в современности такое здоровое течение, как туризм, а именно—тягу к новой, незнакомой природе. Если вызывают возражения перевитые ленточками букеты на обоях и конфетных коробках, то не потому, что цветы — недостойная область для серьезного борца за пролетарскую культуру, а потому, что они как две капли воды похожи на букеты рококо, и их кокетливый и жеманный характер противоречит современности. В таком же плане следует подвергнуть переоценке все оставшееся нам культурное наследие.

Чтобы обеспечить органический рост бытовой художественной культуры, необходимо держать все время связь с потребителем, восстановить и создать правильную «вкусовую циркуляцию» от потребителя в производство. Необходимо возродить институт агентов, но на новых началах. Такими агентами должны быть художники-товароведы и при исследовании запросов потребителя, «ходовитости» той или иной продукции и т. д., они должны упираться не только на заключенные в магазинах, но на подлинную потребительскую массу. И вот здесь неосценимую роль могут сыграть первичные изо-ячейки. Более того, при каждой отрасли промышленности должны быть созданы свои идеологические центры, научно-исследовательские и художественно-проектировочные мастерские-лаборатории, которые бы суммировали, развивали и направляли эту работу и были бы тесно связаны с производством.

Вот в самом сжатом очерке те основные позиции, за которые приходится сражаться в борьбе за художественную культуру в быту.

#### 4. ПО ВСЕМУ СВЕТУ

(Очерки международной политики)

##### ОТ ЛОКАРНО К ЛУГАНО

С. Гальперин

##### 1. Говорит доллар

«Для нас, европейцев, важно одно: не Герберт Гувер порвет с той политической изоляции, которую Америка проводит в течение последних 10 лет. Несмотря на то, что он много ездил по свету, несмотря на то, что его даже упрекали в том, что он готовился принять английское подданство, — его противники во время последней выборной кампании называли его «сэр» Гувер, — новый президент не сделался от этого гражданином вселенной: он остался американским гражданином в узком смысле этого слова. Конечно, он содействовал снабжению Бельгии во время

германской оккупации, но на другой день после перемирия он стал сторонником той «узкой» политики снабжения Европы, которую практиковала американская администрация. Лучше, чем кто-либо, он знал хозяйственную разруху европейских государств в 1919 г., но это не помешало ему довести до высшей степени совершенства протекционистский режим в Соединенных Штатах. Он знает Европу, но интересуется ею, пожалуй, меньше, чем открывающимися для американской промышленности рынками... в Китае или, может быть, в России. Под его твердым руководством Америка пойдет своим собственным путем».

Так меланхолически откликнулся на избрание Гувера французский еженедельник «L'Europe Nouvelle», один из наилучше документированных органов, посвященных вопросам международной политики в Европе. Как велико должно было быть разочарование французской дипломатии в политике правительства Соединенных Штатов, чтобы этот, близкий к французскому министерству ин. дел, орган отозвался столь недружелюбной характеристикой вновь избранного главы правительства «дружественной» республики.

В чем же дело? Почему Америка так упорно проводит ту политику, которую французские политики считают политикой «изоляции» от Европы, и почему именно Гувер может считаться наиболее твердым выразителем этого курса внешней политики Соединенных Штатов?

Кое-какие элементы для ответа на этот вопрос дает уже вышеприведенная цитата из «L'Europe Nouvelle». Не то чтобы Гувер не «интересовался» Европой, но он не выражает особенной склонности помогать европейским государствам выбраться из разрухи. И потом понятие «Европы» у Гувера не совпадает с узким значением этого слова, которое обычно украшает страницы газет и журналов Франции. На языке французской дипломатии, Европа — это Франция и Англия; остальные государства включаются в ее состав лишь постольку, поскольку их политика подчинена указаниям англо-французской дипломатии. Польша, Румыния и Чехо-Словакия являются поэтому непременными членами сонма «европейских» государств — их политика диктуется из Лондона и Парижа; Италия — смотря по обстоятельствам, а в эпоху Локарно в «Европу» на некоторое время попала даже Германия. Но времена Локарно давно прошли...

Советский Союз, во всяком случае, к «Европе» не относится. Как и Китай, он отнесен к числу тех экзотических стран, которыми могут интересоваться только неугомонные американские капиталисты в погоне за рынками для сбыта своих товаров.

Подход американцев иной. Они знают, что восстановление народного хозяй-

ства Англии и Франции означает возвращение фунту стерлингов его довоенного господства на мировом денежном рынке, господства, которое после мировой войны отошло к доллару. Они знают, что восстановление хозяйственной мощи англо-французской «Европы» означает борьбу за овладение рынками Южной и Центральной Америки и Дальнего Востока. Способствовать усилению своих конкурентов американский капитал не хочет.

В американском журнале «Current History» помещена интересная статья бывшего итальянского премьера Нитти (ныне пребывающего в эмиграции) «Опасность американских займов Европе». Автор указывает, что в последние годы Европа ссудила Соединенным Штатам больше капиталов, чем получила от них. Ссылаясь на исследования Рей Холла, зав. финансовым отделом министерства торговли Соединенных Штатов, и министра торговли, ныне избранного президентом, Герберта Гувера, он приводит следующие цифры. Всего в 1927 г. САСШ ссудили другим государствам (включая и частные вложения капиталов) 1.592 миллиона долларов, а получили 919 миллионов. Но, если принять во внимание, что приток капиталов в Америку шел почти исключительно из Европы, а американские вложения направлялись преимущественно в Канаду и Латинскую Америку, то следует признать, что по обмену капиталами между Соединенными Штатами и Европой положительное сальдо было на стороне европейских государств.

При этом любопытно следующее. Америка ссужалась капиталами из Европы для финансирования европейских же предприятий. «Европа имеет достаточно капиталов, чтобы финансировать свою промышленность, — пишет Нитти, — но она предпочитает иметь при этом гарантию третьей стороны. Соединенные Штаты являются при этом гарантом против осложнений, связанных с политическими беспорядками, неустойчивостью валюты и т. д.» Роль регулятора мирового денежного рынка, которую играл до войны Английский Банк, перешла теперь к эмис-

сионным банкам Америки. О выгодности такого положения для Америки можно судить по тому факту, что из 1.592 миллионов долларов, которые американские банки ссудили в другие государства, только 8,1 миллиона были даны за 4 проц., 248,5 миллионов — по 4,5 проц. и 265 миллионов — по 5 проц. Все остальные займы были даны по более высоким процентам. Америка же по займам, получаемым из Европы, платит не больше 4-5 проц. Разница остается в карманах американских банкиров.

«Поскольку в Европе эти элементы неустойчивости ослабевают, — пишет Нитти, — она приобретает доверие к самой себе и склонна обходиться без американского посредничества. При таком положении вещей Америка, естественно, проявляет большую осторожность в предоставлении займов Европе». Этот вывод Нитти нашел свое классическое выражение в известной речи Кулиджа, произнесенной через несколько времени после избрания Кулиджа. В переводе на язык франко-английских политиков, это значит, что Америка не «интересуется» Европой.

Нет, Европой американские капиталисты не интересуются, но их интересы не совпадают с интересами английского и французского капиталов. И, когда Кулидж в своей речи заявил, что Америка не намерена питать Европу деньгами для увеличения ее вооружений и в то же время подчеркнул необходимость увеличения американского флота, он говорил очень непоследовательно с точки зрения европейских псевдо-пацифистов, но очень логично с точки зрения его величества доллара.

## II. Германия имеет „место под солнцем“

В уже цитированном декабрьском номере «Current History» мы находим и другую симптоматичную статью, характеризующую отношение Америки к Европе. О характере статьи говорит уже ее заглавие: «Германия завоевывает свои прежние позиции как европейская держава». Автор статьи в высшей степени оптимистически рисует хозяй-

ственные и политические успехи Германии в последние годы и приводит к следующим любопытным выводам: «Германия занимает сейчас узловую позицию в Европе, и в ближайшие годы она будет контролировать положение вещей на европейском континенте. Много предположений делается сейчас насчет создания нового соотношения сил в Европе, и, во всяком случае, при всякой перегрушировке Германия выдвинется вперед. Германия завоеует себе то «место под солнцем», о котором говорил еще Вильгельм II в Танжере в 1905 г... Будущее Европы гораздо больше зависит от Германии, чем это думают в Европе... Мы не сможем правильно подойти к разрешению тех проблем, которые ставит перед нами Европа, если не будем учитывать того факта, что Германия является наиболее мощной национальной единицей в Европе».

Мы опускаем ряд делаемых автором любопытных оценок характера взаимоотношений Германии с другими государствами, в частности его указание на роль Германии в разрешении «русского вопроса». С фактической стороны почти все они страдают некоторым преувеличением настоящей роли Германии в международных отношениях, но именно эти преувеличения характерны для настроения американских политических кругов. Если желательное они принимают за реально существующее, то уже тот факт, что американский капитал желает восстановления роли Германии в Европе, имеет значение крупно-политического фактора.

Следует, однако, признать, что преувеличение значения Германии является со стороны американского капитала все же гораздо более реальным подходом к оценке международного положения, чем тот тон, который усвоили по отношению к Германии руководители внешней политики Англии и Франции. Хотя обезоруженная и платящая огромную репарационную дань Германия является сама по себе слабым противником для вооруженных до зубов ее политических противников, но Германия плюс Америка является фактором, по меньшей мере уравновешивающим

силу недавно воскрешенной англо-французской Антанты даже в соединении с ее польско-чешско-румынскими вассалами. И американская печать ставит перед Германией эту проблему совершенно новой ориентации ее на сближение с Америкой.

Но надо сказать, что руководящие политические круги Германии еще в малой степени осознают открывающиеся перед ними перспективы германо-американского сотрудничества. Как известно, проводя политику мирного — а подчас и дружественного — сожительства с Советским Союзом, руководители внешней политики Германии все же постоянно колеблются между так называемой «западной» и «восточной» ориентациями. Правда, ориентация на Запад, т. е., на сотрудничество с Францией и Англией, не находит для себя реальной почвы в политике этих двух держав, но, по крайней мере, часть германских политических кругов не хочет отказаться — или с нелегким сердцем идет на отказ — от тех перспектив, которые перед ней были торжественно развернуты в Локарно.

Огромную роль в этом отношении играют соображения внутренней политики Германии. Наиболее серьезное — хотя и не всегда прямо высказываемое — сопротивление встречает восточная ориентация со стороны германской социал-демократии, ибо ставка на возрастающую мощь Советского Союза неизбежно привела бы к увеличению влияния германской компартии на германский пролетариат. А между тем, то обострение классово-борьбы, которое переживает сейчас Германия, и без того является фактором, чрезвычайно благоприятным для усиления значения германской компартии. Локаут в Руре и ряд новых готовящихся локаутов показывают, что тот арбитражный бальзам, при помощи которого Зеверинги и Лейпарты надеялись залечить все столкновения между трудом и капиталом, потерял всякое значение. Если пару лет тому назад даже на съезде германских промышленников произносились речи о наступлении эры дружественного сотрудничества с социал-демократической партией и профсоюзами,

то сейчас предприниматели не только не идут ни на какие соглашения с профсоюзами, но решительно отвергают даже вмешательство правительственных третейских судов в разрешенные трудовые конфликты. Локаутная политика предпринимателей преследует цель не только разгрома рабочих организаций по методу знаменитого английского локаута горняков в 1926 г., но и прекращение вслед за этим коалиции с социал-демократами в правительстве. Цель капиталистов — вопреки прежнему теорему о «мире в промышленности» — обойтись без социал-демократического посредничества и утвердить свое право на бесконтрольное управление как политической, так и экономической жизнью страны.

Этой тенденции к «поляризации» социальной обстановки в Германии, т. е. к усилению одновременно право-буржуазного, с одной стороны, и коммунистического — с другой, факторов политической жизни, германская социал-демократия противопоставляет судорожное цепляние за «демократию». Западная ориентация внешней политики является в этом отношении для социал-демократов значительным подспорьем, так как Пуанкаре и Бриан предпочитают видеть у власти в Германии Мюллеров и Гильфердингов, чем монархически настроенную буржуазию, которую они подозревают в подготовке «реванша» за поражение в войне 1914—1918 гг.

Немудрено при таких условиях, что ни в одном буржуазном органе печати в Германии мы не встречаем таких безобразных нападков на Советский Союз, как в с.д. «Форвертсе». И в то же время самые резкие выходки по адресу Германии со стороны Чемберленов и Брианов, выходки, вызывающие озлобление всей германской печати, замалчиваются или благодушно принимаются социал-демократическими газетами. Пресмыкательство перед воскресшей Антантой лишает германских социал-демократов — а в политических кругах Германии они все же играют значительную роль — способности трезво расценивать перспективы внешней политики Германии.



Этим в значительной степени объясняются те шатания, которые дают себя чувствовать во всех выступлениях Германии на международной арене.

### III. Англия перед выборами.

В противоположность Германии внешняя политика Англии идет по строго определенному курсу. «Твердолобость» консервативного правительства определяет прямолинейность его политической линии. И если все же в английской политике есть элемент неустойчивости, то лишь потому, что никто не знает, будет ли Англия после выборов 1929 г. иметь то правительство, которое она имеет сейчас.

Политические партии уже в значительной степени определили свои выборные позиции. И уже заранее можно сказать, что основной бой консервативному правительству рабочая партия и либералы дадут по линии внешней политики правительства.

Не случайным является то обстоятельство, что наиболее одиозной фигурой для широких мелкобуржуазных кругов в нынешнем кабинете является не Болдуин и даже не Джойнсон Хикс, — этот неудачливый глава полиции, — а Чемберлен. В Англии оказываются возможными такие парадоксальные на первый взгляд факты, как то, что председатель генсовета британских трэд-юнионов Бен Тиллет, отвечая на анкету одной буржуазной газеты, выдвигает проект «идеального» кабинета с участием Болдуина и Черчилля и либералов Ллойд Джорджа и Герберта Самюэля, но ни один член рабочей партии и ни один либерал не мыслит себе оставления Чемберлена на посту мин. ин. дел. Ибо нет ничего непопулярнее в широких, не только рабочих, но и мелко-буржуазных, слоях, чем внешняя политика консервативного правительства, руководителем которой является сэр Остин Чемберлен.

Эта политика по существу построена на неизбежности в будущем столкновения между Англией и Соединенными Штатами за мировую гегемонию. Исходя из этой предпосылки, Чемберлен заключает англо-французское соглашение, которое должно обеспечить Англии

поддержку самого сильного военного государства в Европе и неофициально возобновляет англо-японский союз, который должен дать Англии могущественного союзника против Америки на Тихом океане.

Этим сомнительным плюсам противостоят совершенно исключительные минусы: порча отношений с такими крупными государствами, как Италия и Германия, и создание лишнего стимула у правительства Соединенных Штатов к возобновлению дипломатических отношений с Советским Союзом, в котором Чемберлен усматривает самого решительного противника своей империалистической политики.

Выводы эти не теоретические. Союз между Англией и Францией возможен лишь на основе присоединения Франции к антисоветской и антиамериканской позиции Англии и поддержки Англией Франции против Германии и Италии.

Английские рабочие и крестьяне, мелкая и средняя буржуазия Англии, которые вообще не в восторге от перспективы вооруженного столкновения с Америкой, с явным неудовольствием смотрят на то, как во имя этой перспективы английские дипломаты, отказываясь от более выгодной для Англии роли арбитра на европейском континенте, регулирующего отношения между Францией и Германией, выступают как подголоски Пуанкаре, отказывая Германии в удовлетворении ее требования об эвакуации рейнских областей.

Ярким образцом этого возмущения политикой Чемберлена является статья в популярном политическом еженедельнике «The New Statesman», от 8 декабря: «Чемберлен извращает общественное мнение Англии всякий раз, когда он выступает с публичными заявлениями. Английский народ не имеет никакого желания держать армию на Рейне шестьдесят лет; наоборот, подавляющее большинство населения стоит за немедленную эвакуацию рейнских областей. В настоящий момент мы хотели бы, чтобы в Германии знали, что сэр Остин не говорит от имени английского народа». И даже солидный «The Eco-

nomist» от того же числа заявляет: «Германия имеет законное право на основании Версальского мира требовать в настоящее время удаления союзных войск из рейнских областей... Продолжение военной оккупации Рейна противоречит имеющимся достижениям в деле умиротворения Европы».

Непопулярность политики Чемберлена в Англии — вне сомнения. Это начинают ощущать даже некоторые члены английской консервативной партии. И — что характернее всего — это недовольство части консервативной партии идет по линии скромных пока намеков на необходимость возобновления дипломатических сношений с советским правительством. Сообщения газеты «Дэйли Экспресс» о том, что финансовые круги Сити высказываются за возобновление дипломатических отношений с СССР и что вопрос этот служил предметом обсуждения правительства, хотя и расцениваются на то, чтобы произвести сенсацию, все же относятся к числу тех сообщений, о которых говорят, что нет дыма без огня. А выступление личного секретаря Черчилля, депутата Бутби, с туманными намеками на желательность поворота в этом вопросе позиций консерваторов, хотя и была произнесена от его личного имени, все же является со стороны консервативных лидеров своего рода пробным шаром, чтобы испытать отношение к этому вопросу идущих за консерваторами общественных кругов.

Во всяком случае, до выборов не приходится говорить о возможности изменения позиции правительства Болдуина в вопросе об СССР, ибо вопрос этот связан с общей линией внешней политики консервативного правительства, а менять эту линию до выборов Болдуин и Чемберлен не станут. И ответы Чемберлена на запросы членов рабочей партии в палате общин на заседании 17 декабря об условиях, на которых возможно возобновление дипломатических отношений, носили характер, не дающий по существу почвы для переговоров по этому поводу.

Лидер претендующей на выборную победу в 1929 г. рабочей партии, Рам-

зей Макдональд, как известно, в свое время на съезде рабочей партии выступил с довольно категорическими утверждениями, что свою деятельность в качестве мин. ин. дел. — если ему суждено им быть, — он начнет с возобновления сношений с СССР и опубликования тайных договоров Болдуина с иностранными государствами. Несколько иной характер имеют выступления Макдональда перед дипломатическими кругами. Так, в своей лекции в Париже, произнесенной в присутствии дипломатического корпуса и президента французской республики Думерга, Макдональд, после слезницы о здоровье короля, рассыпался в любви к Франции и даже заявил о том, что сухопутные силы Франции и морские силы Англии являются совместными гарантами мира.

Не подлежит сомнению, что если выборы приведут к созданию в Англии кабинета Макдональда (в коалиции с либералами или без них), то направление внешней политики, хотя и не испытает особенно резких перемен, — Макдональд твердо блюдет принцип «преэминенции внешней политики» Британской империи, — но все же будет носить менее агрессивный характер, чем при Чемберлене.

#### IV. «Филологический» спор об эвакуации Рейна.

Выше мы цитировали возмущенный отзыв радикально-интеллигентского еженедельника «The New Statesman» о выступлении Чемберлена по поводу требования Германии об эвакуации рейнских провинций. Заявление Чемберлена в основном сводилось к тому, что согласно статье 431 Версальского мирного договора предусматривается очищение Рейна от союзных войск ранее установленного срока в 15 лет, если Германия выполнит все обязательства, возложенные на нее мирным договором. Если принять во внимание, что репарационные платежи Германии расчленены ей по плану Дауэса на 60 лет, то тем самым в толковании Чемберлена исключается вообще всякая возможность не только досрочной, но и преду-

смотренной Версальским договором эвакуации через 15 лет после подписания договора. Легко понять поэтому возмущение, вызванное в либеральных кругах Англии этим заявлением Чемберлена. В отличие от правых кругов французской буржуазии, которые стремятся всячески продлить эвакуацию, и из чувства ненависти к Германии, и из чувства страха перед возможностью германского реванша, английская буржуазия не питает к побежденной Германии особо враждебных чувств и не понимает смысла оккупации ее рейнских провинций через 10 лет после разгрома военной мощи Германии. И не только либералы, но даже и голосующие за консерваторов обыватели усматривают в заявлении Чемберлена прислужничество к французской точке зрения, с их точки зрения не вызываемое никакими политическими соображениями. «Дальний прицел» Чемберлена — союз с Францией для подготовки будущей войны с Америкой — еще менее может, как мы указывали уже выше, пользоваться симпатиями не только рабочих, но и буржуазных обывателей Англии.

Заявление Чемберлена вызвало и протесты в германской печати, которая указывает, что в своем толковании параграфа 431 Версальского договора Чемберлен допустил филологическую передержку. «Berliner Tageblatt», в частности, отмечает, что параграф этот, так же, как и декларация союзных держав от 16 июня 1919 г., ставит досрочную эвакуацию рейнских провинций в зависимость не от того, «выполнит» ли Германия обязательства, падающие на нее по мирному договору, а от того, «будет ли Германия выполнять» эти обязательства. Разница между этими толкованиями договора понятна сама собой: выполнить свои обязательства Германия не сможет и в 15 лет, тогда как выполнять лояльно свои обязательства Германия может — и действительно выполняет их — в надежде на досрочную эвакуацию.

Но само собой разумеется, что филология не является окончательной инстанцией при определении курса политики империалистических держав.

Решающее значение имеет желание Франции (поддерживаемое по указанным выше причинам английской дипломатией) получить за эту эвакуацию своего рода денежный выкуп. Тем самым вопрос сводится к изменению условий уплаты репараций к выгоде Франции. А в связи с этим является нужда уже не в экспертах-филологах, а в экспертах-экономистах, которые должны рассмотреть вопрос о том, в состоянии ли Германия удовлетворить аппетиты г. Пуанкаре.

Этот вопрос о репарациях и был предметом оживленных переговоров частью в Париже, частью в Лугано во время сессии Совета Лиги Наций. Как видно из сообщений французской прессы, ведшиеся еще с начала ноября переговоры имели целью выработать общий ответ 5 держав — Бельгии, Франции, Великобритании, Италии и Японии — на германскую ноту 30 октября об условиях эвакуации рейнских областей. По сообщению «Temps», переговоры эти должны в результате привести к полному и окончательному разрешению проблемы репараций, что, с французской точки зрения, является предварительным условием рассмотрения вопроса об эвакуации рейнских провинций<sup>1)</sup>.

Намечающееся соглашение предусматривает создание комитета независимых (как на этом настаивала Германия) экспертов для определения вопроса о платежеспособности Германии. Независимость эта будет заключаться в том, что эксперты не будут являться чиновниками соответствующих правительств, а будут избраны из числа высококомпетентных специалистов. С другой стороны, и правительства не будут связаны решениями экспертов. Помимо пяти союзных держав и Германии, будет послано приглашение назначить своих экспертов и Соединенным Штатам. Эксперты должны установить число аннуитетов, в течение которых Германия погасит свои репарационные платежи, исходя из решений, принятых по плану Дауэса, с поправкой

<sup>1)</sup> Уже после того как был написан настоящий обзор, получились сообщения, что соглашение это было принято в Лугано и представителями Германии,

на индекс экономического благосостояния Германии.

В этом решении более всего интересно указание на привлечение в комитет экспертов представителей Соединенных Штатов, ибо основной (хотя и не высказанной в официальном сообщении) целью Франции—добиться от Германии такого размера годичных взносов, которые бы полностью погашали платежи Франции и Бельгии Соединенным Штатам. Само собой разумеется, что добиться разрешения этого вопроса без участия Соединенных Штатов невозможно.

#### У. Что произошло в Лугано

Хотя вопрос о репарациях и эвакуации рейнских областей касается лишь заинтересованных в репарациях держав, а не Совета Лиги Наций, но фактически именно вокруг этого вопроса и вертелась все переговоры в Лугано. По установившемуся обычаю сессия Совета Лиги Наций представляла интерес не с точки зрения разрешения стоявших на повестке 33 пунктов порядка дня, а лишь в плоскости тех переговоров, которые имели возможность вести непосредственно друг с другом с'ехавшиеся на сессию руководители внешней политики крупнейших государств Европы. Внимание политических кругов было привлечено поэтому не к официальным заседаниям Совета, а к происходившим во время сессии личным встречам министров.

Наибольший интерес среди этих встреч представляли свидания Штреземана с Брианом (у них было даже две встречи), Чемберленом и итальянским делегатом Гранди, а также встреча между Брианом и Гранди и, наконец, совместные беседы втроем: Штреземана, Чемберлена и Бриана. Официальные сообщения об этих переговорах были составлены в самых туманных выражениях, но самая туманность этих сообщений показывает, что, несмотря на проявленную Штреземаном уступчивость, почвы для сближения между Германией и Антантой не нашлось.

Некоторое представление о позиции германской делегации можно получить

из произнесенной в Берлине речи германского премьер-министра Германа Мюллера. В этой речи Мюллер не останавливался на юридической стороне вопроса об эвакуации и вместо ссылки на знаменитый параграф 431 Версальского договора предпочел говорить о бессмысленности продолжения оккупации после того, как Германия разоружена, и в особенности после того, как между Германией и бывшими союзниками подписаны Локарнские договоры. Мюллер указал, что оккупация рейнских провинций несовместима с провозглашенным в Локарно принципом дружеского сотрудничества между Германией и Францией и принятым обоими государствами торжественным обязательством не посягать на установленные между ними Версальским договором границы.

В переговорах выяснилось, что между Локарно и Лугано лежат не те несколько километров, которые разделяют их пространственно, а три года, в течение которых международная обстановка совершенно изменилась. Если в Локарно центр тяжести лежал в стремлении Англии объединить всю Европу, в том числе и Германию, против Советского Союза, то в Лугано сказались уже не только антисоветские устремления английских консерваторов, но и обострившееся англо-американское сотрудничество. О том, в какой степени это отразилось на отношении Англии к Германии и Франции, достаточно говорилось выше, и возвращаться к этому вопросу не приходится.

Заяв неуприимую позицию по отношению к Германии, Бриан и Чемберлен приложили в Лугано старания, чтобы втянуть в орбиту своей политики и Италию. Разрешение этой задачи представляло тем большую важность, что отношения между Францией и Италией достигли ко времени Лугано значительной степени напряжения. Ведь еще за пару недель до Лугано Пуанкаре в одной из своих речей назвал Италию империалистической державой, а по Италии прокатилась волна антифранцузских демонстраций в связи с мягким наказанием, которое вынес французский суд присяжных убийце итальянского вице-консула графа Нардини. Муссолини в своей речи перед

фашистским парламентом заявил, что, хотя Италия и стремится к миру, но обстоятельства таковы, что он должен потребовать от итальянского народа нового усилия, чтобы быть в состоянии противопоставить возможности вражеского нашествия «все силы суши, моря и неба». «Пусть знают другие государства, что в своей дружбе, как и в своей вражде, Италия дойдет до конца»—вещал грозный Дуче.

Благодаря содействию Чемберлена, кое-каких успехов в деле сближения между Францией и Италией удалось добиться, хотя и сейчас, конечно, отношения между этими двумя империалистическими странами никак не могут быть названы дружественными. Все же известная согласованность выступлений всех бывших союзников против Германии была, повидимому, достигнута.

Сама сессия, как мы уже говорили, не представляла интереса. Но ее заключительное заседание неожиданно приняло драматический характер. Вопреки традиции, по которой заседания Совета происходят в обстановке официальной любезности и казенного благодушия, это заседание ознаменовалось исключительно резкой полемикой между Штреземаном и Залесским по вопросу о правах немецкого меньшинства в силезских провинциях Польши. И то обстоятельство, что во время речи Залесского Штреземан стучал кулаком по столу и кричал: «это неслышанно», «это бесстыдство»—символизировало ту степень расхождения между Германией и Антантой, которая является характерной чертой луганского этапа развития международных отношений.

Когда сессия закрылась, участники конференции, чтобы развеяться после перенесенных тревожений, в автомобилях отправились на прогулку в Локарно. В честь гостей зазвонил колокол на церкви Мадонны-дель-Сассо и играла музыка на берегу Лаго Маджоре. Но колокол звучал фальшиво, а музыка звучала, как трещотка. И под звуки этой трещотки состоялись похороны локареских идиаллий». Так описал закрытие луганской сессии Совета Лиги корреспондент франц. коммунистической газеты «Юманите».

## VI. Лига Наций и Америка

Сессия Совета Лиги Наций в Лугано ознаменовалась одним выступлением международного характера, которое, хотя и не имело отношения к тому кругу вопросов, которыми были заняты Чемберлен, Бриан, Штреземан и Гранди, но представляет некоторый интерес с точки зрения взаимоотношений между Лигой Наций и Америкой. Речь идет о вооруженном пограничном столкновении между двумя южно-американскими республиками: Боливией и Парагваем. Оба эти государства являются членами Лиги Наций, и разрешение конфликта входило в компетенцию Совета. Тем не менее, Бриан первоначально не выразил особого желания принять меры к урегулированию конфликта Лигой Наций, ссылаясь на то, что ни одно из заинтересованных государств не обратилось в Совет с соответствующим заявлением. Причиной этой уклончивости было желание не вызывать подозрений Соединенных Штатов, которые в Лигу Наций не входят и в силу доктрины Монроэ относятся очень недоброжелательно к распространению компетенции Лиги на американские государства. Опасение вызвать недовольство Вашингтона было на этот раз тем более основательно, что столкновение произошло как раз в нефтяном бассейне, на который давно уже претендует северо-американская нефтяная компания.

Однако, после обращения к Совету аргентинского правительства и, надо подо полагать, под давлением Чемберлена, продолжающего в прикрытых формах антиамериканскую линию английского кабинета, Совет Лиги Наций на последнем заседании 15 декабря все же занялся этим вопросом, и Брианом от имени Совета была послана обоим правительствам телеграмма с просьбой воздержаться от всяких действий, которые могут сделать войну неизбежной. Боливийское правительство ответило, что оно является жертвой нападения и поэтому будет требовать морального удовлетворения, а правительство Парагвая ответило, что оно уже обратилось с просьбой о вмешательстве к панамериканской конференции. Это противопоставление панамери-

канской конференции Лиге Наций в качестве арбитра между американскими государствами, даже когда эти последние являются членами Лиги Наций, отражает ту систему взаимоотношений, которая установилась между Америкой и Лигой Наций, в которой Англия играет первенствующую роль.

Когда Боливия и Парагвай в конце концов договорились о разборе конфликта панамериканской конференцией, официозы Англии и Франции вынуждены были заявить, что для Лиги Наций важен самый факт мирной ликвидации конфликта по ее почину, неудача же роли арбитра Америки не подрывает престижа Лиги Наций.

## VII. Америка и СССР

Другим вопросом, привлекавшим к себе внимание политических кругов всех стран в конце истекшего года, был вопрос о взаимоотношениях СССР и Соединенных Штатов. Печать всего мира, в том числе даже враждебная СССР английская пресса, придавала большое значение соглашению, заключенному между нашим Амторгом и Генеральной Электрической Компанией о предоставлении Амторгу кредита в 26 миллионов долларов на 5 лет. Тот факт, что соглашение это было заключено, как об этом было официально заявлено, с ведома министерства иностранных дел Соединенных Штатов, комментировался как доказательство доверия официальных кругов Америки к платежеспособности советского правительства, доверия, логическим последствием которого должно явиться возобновление дипломатических отношений между СССР и Соединенными Штатами.

В своей речи на сессии ЦИК СССР тов. Литвинов указал на то, что речь, в сущности, идет не о признании, — в признании советское правительство после 11 лет своего существования не нуждается, — а о возобновлении нормальных дипломатических отношений. То обстоятельство, что правительство Соединенных Штатов никогда не принимало участия в направленных против СССР политических комбинациях,

является, по словам тов. Литвинова, обстоятельством, облегчающим возможность этого возобновления.

Интересно отметить, что часть американской печати стоит на той точке зрения, что после подписания нами пакта Келлога признание СССР правительством САСШ является вообще совершившимся фактом. В еженедельнике «Нэшен» помещена статья Мориса Фонтэна «Признали ли мы Советскую Россию», в которой автор, ссылаясь на ряд дипломатических процедур, вытекающих из фактов депозита в Вашингтоне акта советского правительства о присоединении к пакту Келлога, считает, что эти процедуры сами по себе равносильны признанию советского правительства. Автор ссылается, в частности, на любопытный прецедент: 25 июля 1928 г. вашингтонское правительство подписало с нанкинским правительством таможенное соглашение, которое Келлог признал равносильным признанию нанкинского правительства де-факто, а два месяца спустя, 27 сентября, государственный департамент (министерство иностранных дел) заявил, что, по заключению юристов, акт этот признан равносильным признанию нанкинского правительства де-юре и никаких других актов для возобновления нормальных дипломатических отношений с нанкинским правительством не требуется. По мнению автора статьи, и по отношению к советскому правительству американское правительство может при желании интерпретировать принятие в депозит советской ноты о присоединении к пакту Келлога как факт, кладущий сам по себе начало нормальным дипломатическим отношениям с Советским Союзом.

Формальные моменты, однако, в политике имеют второстепенное значение. Решающее значение будет иметь отношение близких к Гуверу деловых кругов к вопросу об укреплении экономических связей с Советским Союзом, что, естественно, упирается в вопрос о нормальных дипломатических сношениях. Мнение этих кругов в данный момент, повидимому, еще не в достаточной степени определилось. Учиты-

вая некоторую оппозицию в этом отношении со стороны части сената Соединенных Штатов, на ратификацию которого должен поступить пакт Келлога, министерство иностранных дел подчёркивает, что пакт Келлога и подписание его советским правительством не является обязательной предпосылкой для признания СССР.

## 5. ЮЖНОЕ СИЯНИЕ

### Б. Кушнер

Совершенно неизвестно, почему станция Кавказская обладает станционным залом, которому могли бы позавидовать все столичные вокзалы. Обширный и светлый. Содержится чисто. Потолок и стены выбелены нежной бледно-розовой побелкой. Этот девичий наряд в ярко-жгучий летний день очень к лицу станционному залу.

Станция носит имя Кавказской, город же переименован в Кропоткин. От Кропоткина до немецкой сельскохозяйственной концессии Друзак около 20 километров степной дороги. Нас повезла линейка, запряженная клячей, внешность которой меньше всего соответствовала обычному представлению о привольном степном житье и о степных скакунах.

Город Кропоткин поражает своими размерами воображение, непривычное к степным измерениям. От поворота к повороту тянутся широкие улицы,—пустынные, тихие, одетые одною только густою пылью. По краям у белых мазанок кое-где курчавятся или чахнут зеленые кусты и деревья.

На перекрестке во всю ширину проезда залегла огромная черная лужа, до краев наполненная водой. В безводную, сухую летнюю пору такой вещи, казалось, нельзя было ожидать. Один из спутников наших, немец, впервые посетивший СССР, пришел в восторг. Переезд на линейке через глубокую лужу казался ему рискованной авантюрой, встретившейся в диких советских степях.

Очутиться в настоящей степи, о которой слышано и начитано бог весть

Не проявляя в этом вопросе излишнего оптимизма, надо все же указать, что в области взаимоотношений между СССР и Соединенными Штатами имеется ряд благоприятных симптомов, заставляющих думать, что вопрос о возобновлении между ними нормальных дипломатических сношений является лишь вопросом времени.

чего,—дело не пустячное. Я в'ехал в степь с подлинным сердечным замиранием, с глазами, открытыми во всю ширь. Степь же отнеслась ко мне нечутко и совсем не по-товарищески. Встретилась она нас боком, каким-то бугром, благодаря которому весь наш кругозор не достигал и четверти версты в диаметре. На этом неказистом степном участке произрастало все, что обычно произрастает и у нас за оклицей маленьких городишек. За бугром был овраг, по-степному называющийся балкой. За балкой дорога привела нас в селение. За селением виднелось обширное чистое поле.

Так с бугра на бугор, из балки в балку, от околицы к околице в'езжали мы в Кубанскую степь. Постепенно она выпрямлялась, выравнивалась, ширилась и пустела. Наступил момент, когда перед нами раскинулся, наконец, настоящий степной простор. С восторженной радостью гляделись мы в зеленющую пустоту, торопясь насытиться ею, впитать ее и запомнить навсегда.

Радуюсь широкому кругу горизонта, я вдруг с огорчением заметил впереди полосу отдаленного леса. Было неприятно, словно меня надули и вместо настоящего продукта подсунули скверный суррогат. Вот так безлесная степь! Вот так Кубань! Лес на горизонте, как под Москвой. Обидно!

— Что это за лес?—спросил я у извозчика.

— Это не лес, а Кубань,—ответил он.

Обеспокоившая меня растительность оказалась лишь узкой полоской прибрежных зарослей.

Доехали до Кубани. Горная речка. Не слишком широкая, полноводная, еще не потерявшая инерции, приобретенной на склоне гор. Быстрота течения исключает всякую мысль о плавании по этому потоку.

Через Кубань перекинут узкий деревянный мост—подарок Красной армии, наведенный вместо разрушенного деникинцами парома. Две линейки на этом мосту не могут раз'ехаться. У в'езда стоит столб. На нем предостерегающая надпись: «Тракторам проезд воспрещен». Очевидно, солидность моста сомнительна. Выглан он длинными досками, плохо пришитыми. Когда колеса в'езжают на один конец доски, другой приподнимается и затем опускается, глухо ударяя о перекладину. Мост при проезде грехтит и охает. Линейка наигрывает на ней своеобразную мелодию.

Пшеница в степи была уже повсюду снята. Нечастые участки подсолнуха и кукурузы мало заполняли пустынное степное пространство. Степь лежала сонная, тихая, безветренная и неподвижная.

Начало смеркаться. По южному обычаю, сумерки долго не канителились. Наскоро затащили серой дымкой опрятные мазанки и быстро смылись, уступив место степной ночи.

В степи большие звезды похожи на стеклянные пуговицы, внутри у которых электрические лампочки, вспыхивающие сразу и одновременно. Степные травы обрадовались ночной прохладе и от удовольствия начали сильно пахнуть. Запах свежий, сладкий и горьковатый. Наш кропоткинский одер, учтивая влияние, которое оказывала на нас южная степная ночь, сменил однотонную усталую рысь на задумчивый, тихий шаг.

Мы медленно плелись по степи, вздыхая и прекратив шутки и разговоры. Время от времени кто-либо спрыгивал с линейки и шел рядом. Докучливой казалась мысль, что недалеко уже концессия—цель нашей поездки—и что звездную ровную степь сменят людские голоса, огни, теплая и беспокойная атмосфера жилья. Хотелось, чтобы лошадь шла еще медленнее, чтобы линей-

ка, качаясь, не подвигалась вперед, и чтобы ночь и степь, и наше сквозь них путешествие никогда не имели конца.

Когда мы совсем зарылись в ночь и обжились в ней, началось самое замечательное. Из-за этого самого замечательного наша южная степь должна бы быть популярнейшим местом на свете, и всем путешественникам следует посещать ее наравне с самыми удивительными, достопримечательными и экзотическими странами.

Впереди, на юго-востоке, над самой чертой горизонта незаметно в небо прорвался тихий пучок рассеянного света. Он рос, не спеша, возвышался и тянулся по направлению к зениту. Всползая все выше и выше, он превращался в подобие отдаленного зарева. В верхней его части сияла легкая корона беловато-жемчужного оттенка. Ниже клубились волны белого света. У самой земли ширился плотный столб бледно-розового сияния. Вытягиваясь в половину небесного меридиана, световые облака громоздили в небе фантастических людей и животных, которые быстро расползались по небесной ночной сини и в ней расплывались и таяли.

Мы глядели на неожиданное явление, оторопев от изумления и восторга. Совершалось невероятное и необ'яснимое. Что-то в роде своеобразного миража. Прошло четверть часа безмолвного, удивленного созерцания, и прямо против нас, в южном направлении, небесная мгла начала становиться тонкой, просвечивать, как просвечивает материя, протертая на локтях и коленках. Из-за протертой небесной тверди вылезла еще одна жемчужная световая корона. Второе сияние, обширнее и величественнее первого, вставало перед нами, затушив и заслонив на одежде неба ее звездные пуговицы. Третье сияние, слабей и бледней первых двух, вспыхнуло с западной стороны.

— Да что же это такое!—вскрикнул я в удивлении, обратившись к нашему вознице. Это было восклицание удивления, а не вопрос. Я не рассчитывал получить раз'яснение по поводу возникшего перед нами чуда. Мне и в голову не могло притти, что это изумительное и неслыханное явление случа-



лось и раньше в здешних местах, и что полупрамотный кропоткинский извозчик может что-либо знать и рассказать о нем. Казалось неопровержимым, что мы присутствуем при необычайном и, может быть, грозном событии. Что оно взволнует весь культурный мир и оставит память о себе, подобную памяти об извержениях Везувия. Промелькнула мысль — не проснулись ли исполинские вулканы Кавказа, не зарево ли это от извержения Эльбруса или Казбека?

— Это-то?—переспросил извозчик. И в тоне его не было ни удивления, ни преклонения перед величественным и непонятым. — Солому прошлогоднюю сжигают.

Он утверждал это спокойным и убежденным тоном.

«Какую солому? Что он говорит? При чем тут солома, и какая может быть связь у нее с этим удивительным явлением, разыгрывающимся на небесном своде?»

— Прошлогодние скирды сжигают. Много соломы, девать ее некуда,—продолжал свое объяснение извозчик. Он говорил об этом, как о делах давно известных, обычных и ничего удивительного в себе не содержащих.

Немецкая сельскохозяйственная концессия Друзак занимает территорию шести бывших помещичьих владений. Шесть усадеб, вошедших в ее состав, называются шестью номерами концессии.

Глядя на южное сияние, прекрасное и величественное, отчего бы оно ни происходило, отдыхая в едва освещенной и по-ночному пахнущей степи, мы незаметно под'ехали к концессии № 1. В усадьбе была тишина и темнота. Даже собачий лай не отметил нашего приближения. Вечер еще только-только переходил в ночь, однако, все население, повидимому, уже убралось на покой. Пошарив впотьмах среди неизвестных дворяков и строений, мы нашли за репейником и бурьяном освещенное оконце. К нему проехали прямо целиной, не найдя дороги. Долго стучались совершенно безрезультатно. Только собаку встревожили. Она завозилась где-то по-

близости, дико рыча и лая хриплым басом. Впрочем, тоже не удостоила нас своим появлением.

Об'езжая одно за одним усадебные строения, наехали в узком проезде между служебными зданиями на группу бодрствующих людей. Мужчины и женщины сидели на пороге большого барака и вполголоса разговаривали между собой, не обращая на нас равно никакого внимания. Некоторым из них пришлось посторониться в узком проезде, чтобы дать нам дорогу, но и это не заставило их поглядеть в нашу сторону или полюбопытствовать, что за люди и зачем в ночную пору раз'езжают по концессии. То были сезонные рабочие по уборке урожая.

Между местным русским казацким населением и немецкой администрацией концессии стоит, кроме социальной преграды, еще и преграда языка. Кубанские казаки не понимают по-немецки. Среди немецкой администрации русским языком владеют лишь лица низшего персонала. Рабочие, не понимая речи концессионной администрации, привыкли не обращать на нее никакого внимания. Немцы говорят непонятно, что-то делают, как-то движутся — концессионным рабочим до этого дела нет. Спокойная безучастность стала настолько привычной, что достаточно рабочим было уловить на нашей линейке звук немецкой речи, и они совершенно перестали воспринимать нас. Если б и целую ночь провозились мы на усадьбе, стучались и тыкались во все углы, рабочие и тогда не обратили бы на нас ни малейшего внимания.

У рабочих мы спросили, где живет директор концессии. Получив ответ, что на усадьбе № 2, мы снова уехали в степь, мерно качаясь на узкой линейке среди степных ночных запахов, в свете южного сияния.

В усадьбе № 2 не было и следа той сонливости, которая царилла в № 1. Здесь, несмотря на ночное время, шла работа, и шум ее был слышен далеко в степи. Вокруг усадьбы и в ее пределах раз'езжали верховые об'ездчики.

На обширном дворе одноэтажный каменный корпус взглянул на нас полным освещением всех своих окон. Из

корпуса слышался равномерный гул работающих машин и чувствовалось ритмическое их содрогание. Это молотилки и сортировки работали в три смены по уборке урожая. Обогнув это здание, мы проехали мимо группы рабочих, которые так же, как и в концессии № 1, сидели на пороге своих жилищ. Преобладала молодежь. Парни и девушки пели старые кубанские казачьи песни.

Рабочие концессии № 1 в своем полном невнимании к немецкой администрации, оказывается, не знали даже, где живет главный директор. А живет он рядом с ними, в усадьбе № 1. И зря посылали они нас ночью через степь в усадьбу № 2.

Стали вызывать директора по телефону, которым соединены между собой все номера немецкой концессии. Сонная усадьба № 1 слабо отвечала на телефонные вызовы. Видно, там отказывались тревожить директора в поздний час. Пока велись переговоры, к нам на двор вышел управляющий — молодой человек высокого роста и военной выправки с глубоким шрамом на щеке — не то след войны, не то — результат студенческой дуэли. Его мягкое и неотчетливое прусское произношение особенно оттеняло убогий немецкий язык сопровождавшего нас всадника. Большая часть низшей администрации набрана в концессии из немцев-колонистов. Говорят они по-немецки странно. Язык их скуден и беден словами. Произношение тяжелое, гортанное и мертвое.

Наконец, сговорились с директором. Он просил нас прибыть немедленно в концессию № 1 и выслал за нами свой автомобиль. Мы расплатились с кропоткинским возницей, который не захотел оставаться ночевать в концессии, хотя администрация предложила ему ночлег и безвозмездный корм для лошади. Он предпочел обратное ночное путешествие. Очевидно, он был исключительно высокого мнения о выносливости своей унылой клячи.

Стояли на дворе и беседовали в ожидании машины. Управляющий приглашал нас в дом, старался быть любезным, занимал нас разговорами и все время тянулся в палку и щелкал по-

военному каблучками. Это было выражением культурной вежливости, как он ее понимал. Ждать нам пришлось недолго. Гораздо раньше, чем предполагали, из-за поворота полился ослепительный белый свет, и загудел подлетевший фторд. Он не звенел и не дребезжал жестью, как это делают обычно фторды у нас. Отсечка его мотора была равномерна и чиста. К ней не примешивались никакие посторонние звуки. А фары так ослепительно сияли и проливали такие потоки белого света, как будто они были не просто фтордовскими фарами, а прожекторами морских маяков.

Мы уселись, уложили наши чемоданы и двинулись в степь. От машины, от ярких фар степь сразу приняла иной облик. Синий сумрак сменился непроницаемой мглой, густой, как машинное масло. Свет южного сияния угас и ничего больше не освещал в степи. Звезды из хрустальных пуговиц с электрическими лампочками внутри превратились в простые костяные пуговочки, тускло отсвечивающие на черном небесном бархате.

От самого двора усадьбы № 2 фторд пошел полным ходом — километров на 50. Шофер знал дорогу наизусть. Он без колебаний выбирал нужное направление, уверенно заводя машину на полном ходу то вправо, то влево. Не убавляя газа, проскочил он в ворота усадьбы, сделал круг по двору и у подъезда остановил машину мгновенно и мягко.

В отведенной нам комнате, засыпая, я смутно слышал, как товарищ мой перезаряжал под одеялом кассеты фотографического аппарата. Я уснул тем же крепким сном, каким спали все в усадьбе № 1. И ко мне в окно могли бы безрезультатно стучаться целую ночь усталые путники — разбудить меня едва ли было возможно.

Разбужен я был самым неожиданным образом. Мой сон был нарушен ни свет ни заря странным пронзительным звуком, похожим на крик, на скрип и на скрежет. Неприятный был звук — унылый и тусклый. Он повторился дважды. Я вскочил с постели, выглянул в окно. Посреди двора на тонких ножках стоял павлин и кричал, опираясь на свой

неуклюжий хвост и склонив на бок крохотную головку. Был пятый час утра. Я проклял разбудившего меня павлина и поспешил оказать ту же павлинью услугу своему товарищу. Так начался наш день на Кубани.

Форд сверкал неиспарянным лаком и покачивался. За рулем сидел сам директор.

Слева от дороги возвышалось небольшое причудливое каменное строение в форме беседки. Директор объяснил, что это — мавзоль, гробница бывших владельцев имения. После революции крестьяне вытащили гробы и превратили мавзоль в то, что директор иронически назвал храмом любви. Немецкую администрацию шокировало такое использование бывшего могильного склепа. Ныне любовные парочки изгнаны оттуда, и мавзоль заперт на замок.

Справа от дороги, вдалеке виднелся крутой берег Кубани. На нем два сторожевых кургана.

На опытном поле нас встретил немец-агроном и с любовью показывал нам свои делянки и грядки. Тут росли: пшеница разных сортов—земка и кооператорка, немецкие селекционные сорта ржи, лен—застрельщик сельскохозяйственной культуры на девственных землях, высокая кудрявая конопля, клещевина, из которой добывают касторовое масло, масличные бобы—соя, хлопчатник и всякие иные экзотические и неэкзотические злаки. В степи, на плодородной почве, под горячим южным солнцем все растения вызревают хорошо и дают обильный урожай.

Излишней воды в Кубанской степи нет, но все же она не суха и не безводна. Северные ветры, которым она открыта, так как горы заслоняют ее только с юга, не причиняют ей вреда. Грозны и вредны для нее ветры северо-восточные. На востоке, вокруг Каспийского моря, лежит знойная, песчаная пустыня и солончаковая степь автономной Калмыцкой области. Оттуда летом дуют горячие ветры. Их веяние похоже на воздух, идущий из раскаленной печи. Этот горячий ветер очень сух и гигроскопичен. Он впитывает в себя и уносит всякую влагу, встреченную на

пути. Сушит землю, сушит все, что растет на ней. Называется этот ветер суховеем. Если он дует долго,—а бывает, что не унимается он месяц и другой под ряд,—тогда в степи решительно все высыхает. Ручьи и реки покидают свои обожженные русла и уходят в почву. Растения сгорают и скукоживаются. Степь лежит мертвая, сожженная, черная, как в гангрене. Наступают неурожай и голод.

В этом году сухой дул пятнадцать дней. Как раз когда наливался и дозревал колос. Весна и начало лета были здесь очень хороши. Хлеба стояли в степи на редкость удачные, и жители ждали небывалого урожая. Суховой в пятнадцать дней выпил, высосал все уже почти созревшее богатство степи. И вышел урожай на сорок—шестьдесят процентов ниже нормального.

Суховой—это главный порок и главное бедствие северо-кавказских степей. Лучший способ борьбы с ним—разведение засухоустойчивых культур.

В этом году на концессии Друзаг в виде опыта было засеяно 400 десятин сои. Соя—масличное бобовое растение. Родом из Китая. Мохнатые кустики сои—в 50—70 сантиметров высоты. Под широкими листьями они несут большое количество бобовых стручков. В каждом стручке 2—3 зерна. Из зерен сои жмут растительное масло, а остатки представляют собою ценный для прокорма скота жмых. В Японии этот жмых, богатый азотом, употребляется для удобрения почвы.

В Китае соя очень распространена. Играет весьма видную роль среди пищевых продуктов, потребляемых населением. Незрелые стручки сои едят в качестве салата. Из зрелых делают муку. Китайцы не любят и не пьют коровьего молока, зато охотно употребляют молоко из сои. Из бобового молока готовят вкусный тонкий сыр. Из зерен сои, заквашивая их и подвергая брожению, получают острые, кислые соусы. Едва ли есть еще одно растение, которое давало бы такой богатый ассортимент пищевых продуктов. Питательность бобов сои, вследствие большого содержания в них белка и жиров, очень высока.

Хорошо очищенное бобовое масло похоже на оливковое и вполне его заменяет. Бобовое масло употребляют для выделки маргарина. В неочищенном виде дешевое масло сои идет на производство мыла, глицерина, пудры, олифы, лаков, художественных и литографских красок, осветительных и смазочных масел.

Благодаря столь выдающимся и универсальным качествам соя вышла далеко за пределы своей родины. Она возделывается ныне в странах, которые по почвенным и климатическим условиям совсем на Китай не похожи. Соя культивируют почти во всей Западной Европе и особенно в Америке. В 1920 г. в Соединенных Штатах площадь посевов сои равна была 70.000 гектар, а за три года поднялась до 700.000. Выросла в десять раз.

Низкорослый куст сои с плотно прижатыми к стволу плодовыми стручками, хорошо защищенными сверху листвою, и с мощным, глубоко идущим в почву корнем, весьма неприхотлив. Он довольствуется небольшими количествами влаги и не боится знойных, сухих ветров.

На четырехстах десятинах в концессии Друзэг была засеяна соя различных сортов: круглый золотистый боб — «цзынь-юань», кокетливая «белая бровь» и «хей-цзи» — «темный живот». Урожай всех степных культур из-за пятнадцатидневного суховея снизился на сорок, пятьдесят и шестьдесят процентов. Соя же как будто даже и не оглянулась на жаркое дыхание солончаков Калмыцкой автономии. Кусты сои дали нормальный для них урожай — в среднем сто пудов с гектара.

Агроном и директор концессии были несказанно воодушевлены таким результатом. В увлечении своем они забыли холодную расчетливость европейцев и строили фантастические планы, которые даже на территории нашей страны казались преувеличенными. Директор вычислял предполагаемые доходы с гектара посева сои и определял все выгоды, которое это китайское растение может принести советскому земледелию на Северном Кавказе. Насколько расширит оно сырьевую базу

маслобойной промышленности и как будет содействовать развитию советского экспорта. Выводы его были столь же категоричны, как и обширны.

Он утверждал, что соя вытеснит неколючий подсолнух. Она станет основным и главным масличным растением края. Она постепенно будет вытеснять из местного севооборота все масличные и немасличные растения одно за другим. Даже пшеница, классическая культура степей, не сможет бороться с соей. Пройдут десять, пятнадцать лет, и на Северном Кавказе никто не захочет сеять ничего, кроме одних только бобовых кустов.

Удивительный Китай, подаривший некогда Европе шелковичного червя и чайный куст, в XX веке открыл народам Запада третью свою тайну, быть может, более драгоценную, чем все предыдущие — тайну соевых бобов.

Победы сои на Северном Кавказе будут находиться в полной зависимости от ее действительной способности противостоять суховею. Если администрация концессии права, и соя вовсе никак на суховея не реагирует, сохраняя под пятнадцатидневным непрерывным ветром все сто процентов своего урожая, тогда, конечно, и все крайние выводы справедливы. Едва ли, однако, на основании оценки одного урожая, хотя бы и на четырехстах десятинах, можно с достоверностью утверждать, что соя вовсе не боится суховея. Только систематические посевы в разных частях края и точный учет результатов на протяжении нескольких лет могут дать надежное разрешение этого вопроса.

Надо полагать, что при всей своей устойчивости соя не может быть совершенно невосприимчивой к высушивающим и выжигающим восточным ветрам. Это было бы необъяснимо. Все же исключительными результатами первого опыта пренебрегать нельзя. Нужно признать вместе с руководителями концессии, что эти результаты заставляют предвидеть блестящую и быструю карьеру сои на Кубани, а может быть, и в других частях степного Северо-Кавказского края.

Рядом с пышным, блестящим успехом сои все остальные всходы на опыт-

ных участках выглядели недостаточно убедительно. Хлопок вышел несомненно чахлым. Не удивляла даже клещевина. Она декоративно раскидывает свои узорчатые листья беловатого цвета, как-будто ж зелени их примешано молоко. Прикрывается ими, как распростертыми ладонями. Искося поглядывает на счастливую сою и с достоинством несет яркую плодовую часть, похожую на резеду гигантских размеров. Клещевина—также культура будущего. Касторовое масло употребляется отнюдь не только в качестве примитивного лекарственного средства. Область применения его также очень широка. Касторовое масло, как и масло сои, китайцы употребляют в пищу. В Индии касторкой пользуются как осветительным маслом—она горит без копоти и дает белый свет. В Европе касторка—ценный технический материал. На ней готовится хорошо известное всем хозяйкам «марсельское мыло». В текстильном производстве, под именем «красного турецкого масла», касторка, обработанная серной кислотой, применяется при изготовлении кумача и других красных тканей. Касторовое масло нужно и в парфюмерном деле, и в спиртовой промышленности, и для изготовления особо прочных лаков. В последнее время касторка стала применяться как смазочное машинное масло. Высокое развитие авиации и сверхбыстроходных двигателей делают касторовое масло важным, иногда незаменимым техническим материалом. Семена клещевины очень ядовиты.

Красивая, ядовитая и высокоценная клещевина заслуживает несомненно значительно большего внимания, чем то, которое ей до настоящего времени уделялось на Северном Кавказе.

От экзотических участков опытного поля мы отправились на участки более типичные и классические для сельского хозяйства этой обширной страны. Форд отвез нас к самому центру полей, на которых шла уборка пшеничного урожая. Здесь, вокруг тонкой железной трубы локомобиля, стояли молотилки, каждая величиной с товарный вагон. Они неутомимо трясли своими кузовами пшеничные снопы.

Издали, даже от околицы усадьбы, видно было, что по всей пшеничной степи в разных направлениях возвышаются высокие, крутые холмы, размерами иногда превышающие курганы. Цвет этих возвышенностей серо-бурий либо золотисто-желтый. Это—не постоянные неровности почвы, это—наносные холмы, большие и грузные, но недолговечные. Это—скирды пшеничной соломы—остаток, отход степных пшеничных урожаев. Для того, чтобы навезть такой стог, нужна продолжительная работа четырех-пяти человек и четырех волов или лошадей. На огромную высоту скирды никто не закинет охапки соломы ни на вилах, ни иным каким ручным способом. Нужно особое приспособление, чтобы ее туда доставить. Через скирду перекидывают длиннейший стальной трос. В каждый конец его впряжена пара волов или лошадей. Когда один конец троса находится у молотилки, выбрасывающей обмолоченную солому, другой свешивается с противоположной стороны скирды. К концу, у молотилки, прикреплена сетка, напоминающая размером морской невод. В невод накладывают солому, в количестве, равном, примерно, нашему стогу средней величины. Когда солома наложена и увязана, запрыжку у другого конца троса гонят вперед, прочь от скирды. Она тянет за собою трос и прикрепленный к нему невод и втаскивает увязанный в невод стог соломы на самую вершину скирды. Здесь рабочие принимают его и укладывают, как надо. Так растут и возвышаются в степи соломенные горы.

В безлесной степи солома является единственным материалом, который можно сжигать, единственным топливом. Все печи и кухонные очаги отапливаются здесь исключительно соломой. Этого топлива вдоволь, и его не жалеют. Жгут по чем зря. Целый год жгут и не могут сжечь сколько-нибудь заметной части обильного соломенного урожая. Ежегодно во время уборки урожая новые светло-желтые горные вершины возникают рядом с понурыми, слегка осевшими, но все же холмоподобными прошлогодними скирдами. Если не принимать никаких мер к их

уничтожению, то с каждым урожаем число их будет расти. Новые скирды будут прислоняться к старым, вытягиваясь в хребты, в горные цепи. Пройдет немного лет, и вся поверхность степная сплошь покроется соломенными вершинами, и негде будет сеять пшеницу и пасти скот. Прошлогодние соломенные скирды нужно как-то убирать с поля. Свезти их, конечно, никуда нельзя, в землю тоже не зароешь. Самый лучший, легкий, ничего не стоящий и к тому же единственный способ—это сжигать их.

Каждый год, когда наступает время уборки урожая, оставшуюся в степи прошлогоднюю солому жгут. Скирда величиной с гору горит огромным ярким, жарким пламенем. Зарезво пожара поднимается в небо и долго держится в нем. Таково происхождение поразившего нас южного сияния кубанской ночи. Оно неизбежно и регулярно повторяется каждый год в то же самое время, и его одинаково можно наблюдать во всех уголках степного края. Оно в такой же степени характерно для ночного июльского неба, как для декабрьского неба полярных стран характерно северное сияние.

Посмотрев на исправную и отчетливую работу машин, потряся на ладони полное сухое пшеничное зерно, потрогав руками толстый трос, перекинутый через вершину скирды, мы отправились дальше. Мимо участков, засеянных подсолнухом.

Подсолнух и кукуруза созревают поздно. Еще целый месяц после уборки пшеничного урожая они стоят на корню. Однако круглые, яркие подсолнуховы головки отяжелели уже и больше не могут поворачиваться по ходу солнца. Они поникли, повернулись все в одну сторону и не то глядят себе под корень, не то поглядывают исподлобья на нас. Огромное пространство, на котором стоят миллионы желтолицых растений, производит внушительное впечатление и наглядно подчеркивает степную ширь.

Пока автомобиль идет медленным ходом, подсолнухи шагают мимо нас правильными сомкнутыми рядами. Автомобиль прибавляет ход, и подсолнечни-

ки начинают торопиться, мелькать и вдруг всей своей огромной, бесчисленной ратью пускаются в стремительное бегство. На пятидесятикилометровом автомобильном ходу кажется, что миллионы желтых круглых дисков ссыпаются откуда-то спереди и падают далеко позади уходящего автомобиля, как рой падающих солнц.

В степи, где рабочие проводят целый день от зари до зари, негде достать питьевой воды. Ее подвозят сюда в огромных длинных бочках на телегах, запряженных парой волов. Калмыцкие вола—сильные, спокойные и невзыскательные—с незапамятных времен являются единственной движущей силой этого края. В упрямах, медленных и могучих воловьих движениях отразилась беспредельная ширь, вечный покой и лень больших пространств плодородной земли и благодатного климата. Благодаря покорности своей и могучей мускулатуре вол—самая дешевая рабочая сила в мире. О корме для него заботиться почти не надо. Он ест то, что растет в степи. Пьет ту воду, какая может быть добыта в степных условиях.

Как караванное сообщение в пустынях немислимо без верблюдов, так и колонизация южно-русских степей, их постепенное заселение и культивирование были бы невозможны без волов. Степной человек по-своему ценит этих животных, но заботиться о них он не привык совершенно.

Достоиня особого удивления упряжь, в которой работают вола, — так называемое ярмо. Древнее орудие, название которого на всех языках является символом рабства, угнетения и каторжного труда. Ярмо представляет собою единственное первобытное орудие, употребление которого сохранилось еще до нашего времени. Современная культура не изменила ни формы ярма, ни варварского характера его. Деревянный брус сбивает шерсть и кожу на воловьей шее, и нужны поистине волевые терпеливость и неприязнательность, чтобы работать в этой упряжке. Но вол безропотно носит свое ярмо, и ленивый степной человек не считает необходимым заняться изобретением более со-

временного и более гуманного приспособления. Вол и ярмо сойдут, конечно, со сцены, уступив место автомобилю, трактору и паровому плугу. Пока что вольволя упряжка с огромной бочкой питьевой воды стоит на полях немецкой концессии рядом с локобилем и паровой молотилкой.

Когда я приблизился к группе женщин, работающих у соломенных скирд на льняных участках, сердце мое упало и глаза расширились. Все они без исключения—молодые девушки и старухи—были поражены какой-то страшной, отвратительной болезнью. Напрасливалась мысль о прокаже. Лица их были мертвенно бледны, как гипсовые маски, и густо усеяны черными прырышками, похожими на натуральную оспу. Странно было, что никто из этих отверженных не имел печального и унылого вида. Они были подвижны и жизнерадостны и вовсе, казалось, не думали о страшном, изуродовавшем их недуге. Я удивился, что немецкая администрация принимает на работу людей, пораженных такой отвратительной и, может быть, весьма заразной болезнью. Сифилитики в последней стадии, с провалившимися носами и гнусавым голосом, должны, по справедливости, почитаться приятнейшим и красивейшим обществом по сравнению с этими ужасными лицами. Я чувствовал страшную неловкость и не знал, что мне делать: рассматривать эти лица было тяжело и неуместно, смотреть в сторону—не лучше того.

На месте работ, на льняных участках, застали мы управляющего концессией. Он носил в степи пробковую тропическую каску защитного цвета и щелкал по-военному каблуками. По всему видно было, что он не делал большой разницы между нашим Северо-Кавказским краем и Центральной Африкой. Заметив, какое впечатление произвели на меня женщины с прокаженными, омерзительными лицами, он дал мне нужное разъяснение. Оказалось, женщины вовсе не страдают никакой болезнью. Их страшный вид есть результат своеобразного кокетства. Согласно местным традициям и нравам, загар на лице не в моде, не считается красивым. Жен-

щины, в особенности молодые девушки, весь день проводя в степи под добрым южным солнцем, должны сохранять неприкосновенной белизну своей кожи. Чтобы разрешить столь сложную задачу, они мажут лицо белой жирной мазью. Называется мазь «македонкой». Вся кожа на лице от корня волос до ушей и от уха до уха покрывается равномерным слоем. К белой, как мел, жирной поверхности мази прилипают пыль и мелкие кусочки соломы. Вечером, после работы, мазь с лица смывается и вновь накладывается утром. Летом в течение всего долгого рабочего дня женщины щеголяют перед своими мужчинами в отвратительных масках. И лишь по вечерам, сидя впотьмах на крылечках и на завалинках, наслаждаются гордым сознанием, что загар не коснулся их кожи.

После льняных участков нам надлежало посетить поля, где работают паровые плуги, распахивая целинную первобытную почву. Этой работы, однако, нам не удалось посмотреть. Она была закончена незадолго до нашего прибытия на участок, и мы видели лишь, как огромные нефтяные локобилы медленно, грузно и неуклюже разворачиваются на пластах вспаханной почвы, собираясь отправиться на другое поле.

Был близок полдень, и мы отправились к усадьбе № 1. По пути встретили запряжку волов, тащившую на длинных дрогах длиннейшую деревянную цистерну с нефтью. Такая же цистерна лежала на земле в степи, на краю балки, в качестве стационарного резервуара. Проехали мимо степного колодца. Вокруг него расположилось стадо волов и бычков, пришедших на водопой.

После обеда директор концессии показывал нам конюшню, в которой стояло несколько чистокровных верховых лошадей и рысаков немецкой породы. Показал и прекрасный немецкий упряжной экипаж, ширина хода которого в полтора раза превосходит ширину степной дороги, и которым пользоваться поэтому на концессии нельзя. И чистокровные лошади, и немецкий

экипаж на патентованном ходу в степи не нужны, но директор считает эти вещи необходимой принадлежностью культурного хозяйства и выписал их сюда с большими затратами из далекой Германии. Здесь же нам был показан огромный иоркширский боров и мериносовые саксонские бараны. Бараны отказались выйти из овчарни на двор, и убедить их нельзя было никакими доводами.

Осмотрев достопримечательности конюшни и хлева, мы поехали в дальние усадьбы—№№ 4, 5 и 6. Путь туда лежит вдоль реки Кубани. Вдоль левого берега, на котором расположена территория концессии, тянется широкая полоса земли, заливаемая весенним паводком. Она не обрабатывается и служит сенокосным лугом.

Объехав этот обширный заливной луг, мы очутились на участке, пострадавшем от градобития. Град выпал, по словам директора, величиною с куриное яйцо. Всякий крупный град, поскольку мне приходилось слышать, бывает именно такой величины. Ни больше, ни меньше. Почему никогда ни одному граду не придет в голову соригинаничать и выбрать в качестве образца для себя яйцо воробьиное, гусиное или страусовое? Почему непременно куриное? Для меня это непонятно. Из любезности я поверил, однако, директору, что град, выпавший на его поля, был именно таким, как он рассказывал. Участки кукурузы были частью совершенно выбиты, частью сильно пострадали. Но хорошая бомбардировка куриными яйцами из льда должна бы, казалось мне, вызвать значительно большее опустошение.

За побитым градом кукурузным полем директор круто повернул баранку фордовского руля, и наш автомобиль нырнул радиатором вниз и скатился на ровную низменность. Прямая дорога по диагонали пересекала ее. На дорогу было просыпано изрядное количество свежей соломенной трухи. Местами соломенная труха покрывала всю дорогу и стлалась под шинами автомобиля, как гладкая, скользкая золотая мостовая. Вдоль дороги, подчеркивая ее прямизну, стояли, вытянувшись длинной ше-

ренгой, столбы, поддерживающие телефонный провод.

Степная дорога, вымощенная золотом, вполне гармонировала со жгучим солнцем, с несколько экзотическим характером растительности, с задумчивыми калмыцкими волами и с своеобразным богатством, широким изобилием степи.

Глядя на золото, убежавшее под колеса автомобиля, невольно думалось, что изумительное соломенное изобилие степей можно использовать не только для эффектных ночных фейерверков и золочения степных дорог. Можно для этого горючего, легкого, золотистого материала найти и более ценное, хотя менее эффективное, применение.

В степной соломе, бесплощадно уничтожаемой, скрыты обширные и ценные источники энергии. Солома на Кубани—это местное топливо, в роде штыба—угольной пыли—в районах шахт или торфа в северных губерниях. Солнечная энергия, заключенная в соломенном урожае, может быть преобразована в тепло, в электричество, в движущую силу. Богатые степные хутора, деревни, станции не могут нынче и мечтать о благоматном электрическом свете, которым исподволь уже начинают пользоваться значительно более бедные деревушки центральных и северных районов. Здесь, в степи, нет воды и водяной энергии, нет леса и дров, нет, наконец, промышленных предприятий, электрификация которых оправдала бы дорого стоящий подвоз угля или нефти. А между тем, местное население, лишенное на долгое время каких бы то ни было электрических перспектив, ежегодно выпускает в небо огромнейшие запасы тепловой энергии только для того, чтобы избавиться от соломы, угрожающей загромоздить и завалить всю пахотную землю.

Солому можно так же хорошо сжигать в котельных топках, как и в простых очагах. Вся ту энергию, которая дает красоту и свет южному сиянию, можно превратить в более равномерный, более послушный и полезный свет электрических лампочек. Разумеется, над этим надо поработать.



Быть может, слишком неудобно и слишком дорого сжигать солому в ее натуральном виде. Может быть, лучше предварительно обработать ее, подготовить к процессу рационального сжигания. Можно ее измельчать и сжигать в виде соломенной пыли. Или, наоборот, уплотнять, брикетировать, превращать под большим давлением в твердые плитки. Немцы весьма искусно делают брикеты из разных видов соломы и отбросов древесины. Соломенные брикеты дадут возможность, вместо рыхлой, нетранспортабельной соломы, иметь плотный, грузомкий и удобный в обращении продукт. Такая переработка может сообщить соломе, как топливу, самое широкое применение.

В виде брикетов соломенное топливо могло бы пойти даже и в города степного края. Оно было бы здесь дешевле, доступней и экономней угля и нефти, привозимых издалека.

Степная солома может быть использована не только как топливо. Она может явиться исходным сырьем для целого ряда производственных процессов. Можно ее перерабатывать на целлюлозу. Соломенная целлюлоза при современном состоянии техники может быть, вероятно, использована только для производства неплотных и дешевых сортов бумаги. Но перед техникой можно поставить задачу выработки из соломенной целлюлозы лучших сортов бумаги и даже искусственного шелка.

Из соломы производят всякого рода плетения, набивные и прочие изделия. Соломенные шляпы, колпаки для лошадей, маты, циновки, половики, чехлы для упаковки бутылок, изоляционные прокладки, всякого рода мелкие изделия. На этих видах использования и обработки соломы могла бы развиться обширная не только местная, кустарная, но и фабричная промышленность, что являлось бы чрезвычайно ценным в экстенсивно-земледельческом районе, где рабочие руки крестьянства большую часть года совершенно не заняты. Правда, не для всех перечисленных изделий пригодна простая пшеничная солома, изломанная и измятая в степной молотилке. Для хорошего соломенного плетения, для тонких изделий, в

роде соломенных шляп, нужны специально культивируемые сорта.

В странах Западной Европы существуют особые школы и техникумы, в которых обучают производству вещей из соломы. Быть может, и в северо-кавказской степи нашлись бы благоприятные условия для выращивания специальных тонких сортов соломы и для создания школ, обучающих соломенному делу.

Рано или поздно технический прогресс и развитие производительных сил страны должны неизбежно привести к промышленной переработке соломы. Погаснет южное сияние над степью, неизменно горевшее в течение целых столетий. Не будет более в степи золотых дорог.

Ланцевская молотилка и локомобиль с тонкой черной трубой, уже сегодня перерабатывающие кубанский урожай на зерно и солому, являются первым, самым трудным, но и самым существенным шагом по пути индустриализации.

Усадьба № 4 представляет собой машинный парк концессии. Здесь стоят, занимая весь обширный двор, многочисленные уборочные машины, ожидающие мелкого ремонта. Горячая пора уборки только что закончилась, и поэтому число поврежденных и нуждающихся в исправлении машин велико.

Кузнечная и механическая мастерские расположены в двух скудно освещенных каменных корпусах-полусараях. Достопримечательного в них нет ничего. Механическую силу мастерские получают от нефтяного ланцевского тягача марки «Бульдог». Для целой гужевой транспорта машина эта оказалась неудобной, не оправдала возлагавшихся на нее надежд. В качестве стационарного двигателя «Бульдог» работает исправно, и директор его работой доволен.

Двор усадьбы № 6 окружен каменными строениями. Внешний их вид не дает возможности судить о их назначении. Для обыкновенных амбаров и сараев они слишком тщательно и дорого построены. Вместе с тем — по отсутствию у них окон или иных каких-либо отверстий для освещения — они не

могут иметь другого назначения. Усадьба принадлежала некогда помещику, который по образованию был инженером-строителем. Он не нашел лучшего применения для своих специальных познаний, как построить в степи дорогие, ни для чего ненужные, ни для чего не предназначенные здания. По коньку железных крыш этих сооружений, не соответствующих степной обстановке, вытянуты ажурные кокетливые железные решетки, какие ставят иногда как орнаментальный мотив на высоких крышах богатых особняков и дач. Директор концессии пожимал плечами и не знал, как использовать этот зря заведенный и зря пропадающий инвентарь.

Посреди двора стоит чугунная колонка артезианского колодца. При нажиме рычага из нее светло и обильно течет студеная струя. Полуголые ребятишки бегают по пустынному чистому двору.

Аллеи парка, усаженные пирамидальными тополями и платанами, запущены, зарастают, превращаются в тенистые рощи, обильные грибами и ягодами. Эти рощи — бывшие парковые аллеи — служат, по словам директора, исключительно для любовных надобностей концессионных рабочих.

Вечером, до наступления поздних летних сумерек, я стоял на балконе отведенной нам во втором этаже комнаты и глядел во двор. Павлин, вставший сегодня очень рано и разбудивший меня, уже укладывался спать. Неторопливой, важной походкой подошел он к плетню и долго смотрел на него, склоняя булавочную свою головку то на один, то на другой бок. Насмотревшись вдоволь, отчаянно замахал длинными крыльями и взлетел на плетень. С вершины плетня окинул беглым взглядом двор и уставился на невысокую крышу крыльца, в трех шагах расстояния от плетня. Долго он измерял взглядом пространство, отделявшее его от конька заманчивой крыши и рассчитывал нужное для перелета усилие. Когда все подготовительные расчеты были закончены, он снова преувеличенно замахал крыльями и, грузно обвисая в воздухе, благополучно достиг цели. Чудная пти-

ца сидела на крыше, а хвост ее свешивался почти на половину расстояния до земли. Выше крыльца была крыша дома. Павлин с той же тщательной подготовкой взлетел на нее. Наконец, над крышей дома, чуть-чуть поодаль, раскинулось шатром широковетвенное дерево. Но тут высота была значительна и расстояние велико. Павлин не на шутку задумался, поворачивал голову и так и эдак, считал, соображал, пересчитывал, втягивал голову в туловище, вытягивал ее, как жираф, кверху и всей своей несложной павлиньей мимикой выражал озабоченность. На этот раз крылья его захлопали отчаянно и громко, как парус, сорвавшийся на сильном ветру. Тяжелый, глупый хвост павлиний не так хорош, как думают. Он не оправдывается любовными победами. Слишком велика неприятность быть к нему всю жизнь прикованным, как каторжник к тачке. Этот тяжкий хвост темной тучей повис на мгновенье между крышей дома и деревом. И павлин, неуклюже задевая крыльями ветви, уселся на избранный им сук. Теперь он был, казалось, доволен: сидеть удобно, — и зеленый шатер приятно раскинулся над головой, и достаточно высоко, и весь двор внизу как на ладони. Павлин вздохнул с чувством облегчения, раза два еще вытянул головку на тонкой шее и окончательно втянул ее в плечи. Устало закрыл глаза и заснул.

И я был доволен, что после ужина мы покидаем концессию и что утром мне не придется слышать больше противного павлиньего голоса.

Снова у под'езда директорского дома стоял форд, упираясь в темноту светом фар, таким белым, как будто его только что выстирали. За рулем сидел вчерашний шофер и снова, как вчера, повел машину почти от самого крыльца полным ходом.

В степи нас качало по разветвлениям дороги: из балки в балку, то вниз, то вверх крутыми виражами. Степь, черная от автомобильного света, пахнула, как и вчера, полынью и горькими травами и провожала нас вставшими сзади, над концессией, огненно-розовыми столбами южного сияния. На шестики-

лометровой улице хуторов, которую мы проезжали в обратном направлении, степные собаки не стали лаять на нас, сознав полную бесполезность в данном случае своей собачьей свирепости. Две-три любовные парочки не успели уйти от нас в ночную тьму, и белый свет фар на мгновение раскрыл тайну их нежности. И снова мы были уже в открытой степи, далеко за хуторами, и подминали под себя степное пространство пятидесятикилометровым ходом.

Дорога пошла вниз—на спуск к реке Кубани. На повороте мы проскочили мимо воловьей упряжки, влекущей фургон. Казак с фургона что-то крикнул нам предостерегающим голосом. Что именно он прокричал, расслышать нельзя было из-за быстроты движения.

Быть может, что-нибудь случилось с мостом. Быть может, у моста не все благополучно. Бандитизм в степи изжит и ликвидирован. Но в очень удобных местах, каким несомненно являлся поросший лесом и кустарником берег Кубани, иногда еще пошаливают. Подъехав к самому мосту, шофер без предупреждений и без подготовки сразу остановил машину. Он вынул из ви-

севшего у него на правом боку кобура крупнокалиберный маузер, спустил предохранитель, осмотрел револьвер со всех сторон и положил рядом с собой на сидение. И только после этого медленно повел машину через мост.

Как сутки тому назад под колесами медлительной нашей линейки, так и сейчас под шинами Форда, досчатый настил моста загудел и запел, подобно огромной клавиатуре. Речной воды в темноте видно не было. Лишь слышны были всплески, журчание и рокот кубанских струй.

Мост оказался в полной исправности, и за мостом никаких засад не было. Едва почувствовав под колесами своими твердый берег, автомобиль снова взял свой прежний ход и не сбавлял его уже до самого города Кропоткина.

В Кропоткине царил вечернее оживление: на главной улице был свет, шла бойкая торговля с рук, как на базаре. Подъезд кино был освещен, и парни с девушками ходили попарно или небольшими стайками, пересмеиваясь и рассыпаясь в стороны от автомобильного гудка и ярких его фар.

## Книжное обозрение

1. В. КОЛЕСИНСКИЙ «Угроза новых войн. А. Бонч-Осмоловского.—
2. Г. ДОНСКОЙ «Борьба за Латинскую Америку». А. Бонч-Осмоловского.—
3. ИРАНДУСТ «Движущие силы кемалистской революции». Б. Пурецкого.—
4. Е.Л. ДРАБКИНА «Грузинская контрреволюция». Юр. Бородина.—
5. П. В. АННЕНКОВ «Литературные воспоминания». И. Сергиевского.—
6. А. ОСТРОВСКИЙ «Молодой Толстой в записях современников». И. Сергиевского.—
7. Н. ПАНОВ (Д. ТУМАННЫЙ) «Тайна старого дома». Ник. Богословского.—
8. П. НИЗОВОЙ «Собрание сочинений, тт. I—IV». Ник. Смирнова.—
9. СТЕПАН КИБАЛЬЧИЧ «Поросль». Ник. Богословского.—
10. АЛЕКСАНДР ЛУГИН «Джиад». Н. Замошкина.—
11. ЭЛЬЗА ТРИОЛЕ «Защитный цвет». А. Шафир.—
12. Л. ИЛЬИН «Жители фабричного двора». А. Бек.—
13. САЛЬВАДОР ДЕ-МАДАРИАГА «Священный жираф». Я. Фрида.—
14. СИГРИД УНДСЕТ «Обездоленные». К. Локса.

**В. Колесинский.**—«Угроза новых войн». «Экономические, политические и военные предпосылки». С предисловием Тома Белла. Изд. ГИЗ. М. и Л. 1929 г. Стр. 162. Ц. 1 руб.

Среди многих появившихся за последнее время книг, брошюр и статей, посвященных военно-политическим вопросам и обрисовывающих те или иные предпосылки для будущих военных столкновений, книга В. Колесинского выделяется, при небольшом ее объеме, полнотой материала, широтой охвата темы и стройностью изложения. Это есть попытка представить в систематическом виде весь комплекс тех данных, которые создают угрозу новых войн империалистических стран между собой и этих стран с нашим Союзом. Книга распадается на три части. В первой автор обрисовывает экономическое развитие последних лет, приводящее к обострению борьбы между капиталистическими странами за рынки сбыта товаров, за источник сырья и за поле приложения излишков капиталов. Вто-

рая часть анализирует главные империалистические противоречия, исход которых может быть найден только в военном столкновении. Это — борьба Соединенных Штатов с Англией за мировую гегемонию, соперничество между Англией и Францией за главенство в Европе, противоречия между Францией и Германией, с одной стороны, и Англии, — с другой, конкуренция Франции и Италии на Средиземном море и, наконец, Тихий океан, где сталкиваются экономические и политические интересы Америки, Англии и Японии. Далее приводятся данные, рисующие военно-хозяйственную подготовку великих держав — рост их вооруженных сухопутных, морских и воздушных сил, военизацию промышленности и всего народного хозяйства. Третья часть отведена подготовке к войне капиталистического мира против СССР. Особо отмечается деятельность в этом направлении наших западных соседей — Польши, Румынии, Эстонии, Латвии и Финляндии.

Автор приходит к выводу, что на всех участках империалистического фронта положение становится с каждым годом более напряженным, что узел международного соперничества и борьбы затягивается все туже и что человечество вновь стоит на пороге кровавой борьбы за передел мира. Рост военной техники вырисовывает и характер будущей мировой войны. Несмотря на значительное увеличение состава регулярных сухопутных армий, не что обстоятельство становится особенно угрожающим для человечества. Развитие военной техники делает численный состав армии обстоятельством второстепенного порядка; решающим будет обеспеченность войск автомобилями, насыщенность армий огневыми средствами — усовершенствованной артиллерией, пулеметами, танками. В будущей войне будет использована передача изображений на расстоянии, что коренным образом изменит военную разведку и стрельбу, будет применяться управление механизмами по радио, применение инфракрасных и ультрафиолетовых лучей сделает возможным дальновидение в абсолютной темноте и лишит ночь и туман способности прикрывать движение войск и судов, и, наконец, использование «лучей смерти» может привести к мгновенному уничтожению живых сил и механических приборов противника. Мало того, будущая война — как можно думать на основании данных о подготовке к войне великих держав — захватит не только военные контингенты, но и все население в целом. С этой целью проводится военизация всего населения и милитаризация всего народного хозяйства. Огромное значение будет иметь воздушный флот, который отбросит в прошлое старое понятие о фронте, под защитой которого мирная жизнь может ненарушимо продолжаться. Тыл не будет в безопасности, когда ему будут угрожать не только средства химической, но и бактериологической войны (распространение эпидемий тифа и холеры, выпуск посредством самолетов зачумленных крыс или ампул с культурами сапа, а также вредителей, уничтожающих посевы).

Работа В. Колесинского вполне удовлетворительно выполняет задачу обрисовать пред читателем всю серьезность поводов для новой войны и все значение этой угрозы не только для человечества в целом, но и для каждого из нас.

В заключение несколько отдельных замечаний по поводу книги. Автор почему-то отводит второстепенную роль стремлению Германии вновь стать колониальной державой. Признавая, что Германия будет искать выхода в развитии своего экспорта, автор утверждает, что «колониальная политика не будет играть в системе возрождающегося германского империализма большой роли». Это едва ли справедливо. Правда, торговая экспансия Германии направляется, главным образом, на Европу, но эти рынки недостаточно емки и преграждены таможенными барьерами. Естественный выход для немецких товаров — во внеевропейские страны, поиски колониальных рынков. Немецкая конкуренция опять остро чувствуется и на Ближнем Востоке, в Африке и в Китае. Уже теперь торговый оборот Германии с внеевропейскими странами относительно выше, чем до войны. Возрождению нового германского империализма следовало бы отвести большую роль, чем это делает тов. Колесинский.

Очевидная ошибка допущена автором в вопросе о понижении цен на основные виды сырья. Он считает, что перепроизводство основных видов сырья, вызвавшее понижение цен на него (что доказывается интересной таблицей), «трезвычайно обострило конкурентную борьбу за сырье» и «свидетельствует о напряженности положения» (стр. 41—42). Перепроизводство сырья и падение на него цен, наоборот, создает меньшую напряженность борьбы за сырье, так как обеспечивает удовлетворение всего спроса даже по пониженным ценам.

*А. Бонч-Осмоловский.*

**Г. Донской.**—«Борьба за Латинскую Америку». Изд. «Московский Рабочий». М.—Л. ГИЗ. Стр. 151. Ц. 1 р. 35 к.

Заманчивые перспективы приложения капиталистической предприимчивости к естественным богатствам Латинской

Америки создали из нее предмет ожесточенной борьбы империалистических стран. Перед мировой войной серьезным конкурентом ранее монопольному английскому капиталу выступили немцы. Со свойственной им предприимчивостью, инициативой и привычкой приспособляться к любым условиям работы немцы стали систематически отвоевывать у англичан их позиции. Борьба за южно-американские рынки сыграла не последнюю роль в сложном комплексе причин империалистической войны за мировое господство. С уходом Германии, борьба за экономическое господство над странами Латинской Америки сосредоточилась между Англией и Соединенными Штатами. Заатлантическая республика со своим молодым империализмом шаг за шагом вытесняет Англию с ее старых позиций. В крупных южно-американских республиках Англия еще имеет преимущество перед Соединенными Штатами, но в Центральной Америке Соединенные Штаты господствуют почти безраздельно. Здесь они обеспечивают свое влияние экономически и стратегически, так как зона Панамского канала имеет капитальное значение для обороны Соединенных Штатов. В своей борьбе за экономическое преобладание в Латинской Америке конкурирующие империалистические гиганты опираются на разные социальные элементы. Англия ищет себе поддержки среди землевладельческих элементов, Соединенные Штаты — среди передовых слоев промышленной буржуазии. Финансовые инвестиции американцев направляются, преимущественно, по линии промышленных предприятий, англичане финансируют государственные и муниципальные займы. В сложных социальных процессах, происходящих в странах Латинской Америки, английский и американский капиталы играют, таким образом, различную роль. Но в конечном счете, и тот, и другой иностранный капитал создают в латинских республиках Америки те силы, которые ему же противостоят, — индустриализацию этих отсталых стран и рост пролетариата. Передовые слои местной буржуазии, прослойки интеллигенции, крестьянство и рабочий класс респуб-

лик Латинской Америки ведут борьбу с империалистическим гнетом и организуют сопротивление. Таким образом, борьба за Латинскую Америку слагается из борьбы империалистических стран между собой за господство на этом богатом рынке и из борьбы местных сил с империализмом.

Книжка Донского освещает пред читателем этот важный участок мирового хозяйства, этот интересный узел мировой политики. После небольшого введения, отвечающего на вопрос, что такое Латинская Америка, автор останавливается на главных чертах борьбы за ее завоевание. Большая часть книжки посвящена четырем важнейшим государствам Латинской Америки — Мексике, Бразилии, Аргентине и Чили. Автор широко использовал иностранные источники и дал русскому читателю полезную работу, освещающую мало известные у нас проблемы Латинской Америки.

*А. Бонч-Осмоловский.*

**Ирандуст.** — «Движущие силы кемалистской революции». Госиздат. М.—Л. 1928. Стр. 150 + 1 карта. Ц. 90 коп.

До сих пор еще не имеется капитальной работы, всесторонне и надлежащим образом освещающей грандиозную эпопею национально-освободительной борьбы Турции. Турецкая революция, в результате которой отсталое восточное государство сбросило гнет и цепи султанского режима и ислама и рассеяло надежды западных империалистов на порабощение и расчленение Турции, несомненно, является вслед за Октябрьской революцией одним из значительнейших мировых фактов. Книжка тов. Ирандуста не претендует на всестороннее освещение и полноту фактов, поскольку автор останавливается только на трех пунктах, являющихся, правда, наиболее интересными в общей разработке вопроса о кемалистской революции: «намерение социальной базы кемализма в его последовательном развитии», обоснование возникновения национально-освободительного движения в Турции и, наконец, вопрос о причинах победы турецкой революции над превосходными силами европейского

империализма и его союзников внутри Турции. На все перечисленные вопросы автору удалось дать достаточно определенные и ясные ответы, при чем наиболее детально освещен первый, являющийся как бы стержнем всей работы. Достаточно обоснованно разделяя турецкую революцию на три периода, характеризующие особенности третьего из них автор видит в установлении идеологической диктатуры народной партии, устранении всех оппозиционных группировок, вместе со сближением буржуазии анатолийской с буржуазией портовой и поворотом правительственного курса с «крестьянского» на «промышленно-буржуазный». Против всех этих положений возражать не приходится, разве только что неоднократное утверждение автора о «преклонении Константинополя перед Ангорой» не подтверждается совсем недавними событиями в Турции — раскрытием в Константинополе нового реакционного заговора против кемалистского правительства. Факт этот свидетельствует о том, что оппозиционные силы, несмотря на физическое истребление главнейших их вождей в 1926 году, также после раскрытия заговора, не теряют еще надежды на срыв и изменение русла кемалистской революции. С другой стороны, факт усиления руководящих правительственных функций в сторону одного лица (Мустафы Кемалю) является показателем сознания неполноты идеологической солидарности в самой народной партии и также не может быть признан положительным моментом при оценке перспектив развития кемализма. Автор довольно осторожно намечает три варианта будущего пути Турции при настоящем замедлении темпа международной революции: 1) тенденции компромисса с международной буржуазией и сотрудничества с западным капиталом, т. е., другими словами, эволюция от кемализма к чакайшизму; 2) путь через усиление тенденций к государственному капитализму, последовательная оборона против экономической интервенции Запада при развязывании производительных сил страны путем дальнейшего раскрепощения крестьян-

ства и решительного перелома кемалистской политики в отношении рабочего класса; 3) наиболее вероятный, по мнению автора, вариант, состоящий в возможности комбинации первых двух вариантов, или, как выражается автор, «спуск на тормозах» кемалистской Турции к европейскому капитализму, пока грядущий кризис империализма не откроет перед ней пути некапиталистического развития. В конце книги автор говорит, что кемалистский путь развития нехарактерен для восточных революций и неприемлем в странах Востока, индустриально развитых и обладающих сильным организованным пролетариатом. Второе положение убедительно доказано в начале книги на примере анализа и сравнения революции турецкой и китайской. Что же касается первого положения, то утверждение нехарактерности кемалистского развития для восточных революций не является достаточно определенным. В общих контурах его можно признать характерным в отношении стран промышленно отсталых, с преобладающим земледельческим населением, но всякий раз в специфических вариантах, определяющихся для каждой страны. В заключение нельзя не отметить о значительнейшем акте реформаторской деятельности Кемалю, о которой автор мог говорить только как о предполагающемся. Мы разумеем замену арабского алфавита латинским. «Начало эры, не имеющей прецедента в истории». «Одна из самых удивительных реформ Мустафы Кемалю», так комментировали этот акт западные журналы, очевидно, позабыв, что в СССР латинский алфавит для тюркских народностей давно уже проведен в жизнь. Хотя быстроте проведения реформы надо действительно удивляться: 26 июня состоялось первое заседание комиссии, а в сентябре вся страна, по выражению Йемер-Пашы, представляла собой одну классовую комнату. Возвращаясь к книге т. Ирандуста, следует признать ее весьма положительным явлением в нашей литературе по кемализму и рекомендовать всем желающим ознакомиться с этим вопросом.

Б. Пурецкий.

**Ел. Драбкина.** — «Грузинская контр-революция». Истпарт, Отдел ЦК ВКП(б) по изучению истории ВКП(б) и октябрьской революции. Изд. «Прибой». Л. 1928. Стр. 178. Ц. 1 р. 50 к.

Грузинская Жиронда недостаточно исследована в марксистской литературе. А вопрос этот требует серьезного отношения, потому что в Грузии мы имели логическое развитие и наиболее полное применение меньшевистской доктрины. Рецензируемая книга до некоторой степени заполняет этот пробел, но все же оставляет нерешенными много важных вопросов.

Автор правильно отмечает тот факт, что русский царизм в Грузии стремился насаждать прусский, а не американский тип земледелия, то есть помещицье, а не фермерское хозяйство. Но тогда возникает вопрос, почему на этой экономической базе выросла и укрепилась социал-демократия, а не какая-нибудь крестьянская партия. Эта основная теоретическая проблема остается автором нерешенной. Характерно, что грузинская социал-демократия не имела под собой промышленной базы, и поэтому она вынуждена была с самого начала разрешать аграрный вопрос. Сосредоточение всего внимания на крестьянстве, фактическое отсутствие рабочего вопроса, — вот где нужно искать главную социальную причину крайне правой позиции грузинских меньшевиков. На анализ этой стороны вопроса автор «Грузинской контрреволюции» мало обратил внимания, и это большой недостаток, особенно, когда речь идет об исследовании, а не только описании фактов.

Автор правильно замечает, что русские меньшевики, в лице Мартова, критиковали коалицию слева, в то время как грузинские меньшевики ее критиковали справа, т. е. считали, что вступление рабочих в коалицию отпугнет буржуазию от революции.

Обстоятельно разобрана в рецензируемой книге внешняя политика грузинской социал-демократии; совершенно правильно рассматривать национальную проблему Грузии не только под углом зрения интересов грузинской и армянской буржуазии, но и в свете тех интернационалистических стремле-

ний, которые в отношении Ближнего Востока имели крупные капиталистические государства. Но если это так, то почему же автор не анализирует обстоятельство, заставивших Англию почти что добровольно, без всякого нажима извне и без сопротивления грузинского правительства, оставить Закавказье. Совершенно неясным становится, почему Англия проявляла такое равнодушие, уступая свое место Италии. По всей вероятности, Англия здесь руководствовалась вовсе не добродетельными началами, а более материальными соображениями.

*Юр. Бородин.*

**П. В. Анненков.** — «Литературные воспоминания». Предисл. Н. Пиксанова. Вступ. ст., ред. и прим. Б. М. Эйхенбаума. Изд. «Academia». Л. 1928. Стр. XXIII+661. Ц. 3 р. 40 коп.

И как человек, и как литературный работник Анненков нередко служил предметом довольно ожесточенных нападков со стороны современной ему русской общественности, в особенности со стороны левого ее крыла. Никогда не покидавшее его барское прекраснодушие, поверхностно-любительское отношение ко всему и вся, наконец, почти полное отсутствие какого бы то ни было общественного темперамента, — все это были такие качества, которые не особенно высоко котировались в ту эпоху.

Не могли они не наложить своего особого отпечатка и на мемуарное наследие Анненкова. Переживший смену нескольких поколений, в молодости — активный участник философско-эстетических кружков «молодой России», соратник Белинского и друг Гоголя, довольно заметная фигура в журнальном быту пятидесятых годов, близкий спутник Тургенева и Толстого в зрелые годы, — он всюду сумел сохранить позицию стороннего наблюдателя, обо всем сумел рассказать спокойным, деловым тоном, чуждым какого-либо пафоса, но зато вполне свободным от каких-либо партийно-кружковых симпатий и антипатий.

В одном только сказывается, пожалуй, принадлежность Анненкова к определенному социальному слою и к оп-



ределенному историческому поколению—в самом отборе материала. Многих явлений, современником которых суждено было ему быть, он не затрагивает вовсе, явлений, нередко чрезвычайно существенных, занимавших основное русло исторической жизни тех лет. О многом говорит он лишь попутно и мельком; так совершенно вне поля его зрения осталось все шестидесятиничество, как единая и цельная социально-психологическая формация.

Зато о тех явлениях, о которых он пишет, он пишет с предельной для мемуариста, почти исследовательской объективностью. И если для легкого чтения его воспоминания порой кажутся слишком сухими и тяжеловатыми, то значение их, как исторического документа, как одного из первоисточников для изучения эпохи. — бесспорно первостепенное.

Рецензируемое издание охватывает далеко не все, что вышло из-под пера Анненкова-мемуариста. Все его мемуарное наследие составляет три солидных тома («Воспоминания и критические очерки». 1877—1881), не считая работ, написанных позднее и оставшихся несобранными. Таким образом, о «полном Анненкове» сейчас смешно было бы думать. Нужно быть благодарными издательству за то извлечение, которое представляет собою настоящая книжка.

Тем более, что общий облик Анненкова-мемуариста вырисовывается в ней в достаточной мере отчетливо и всесторонне. Имеем одну из его первых работ мемуарного характера — «Гоголь в Риме», затем статью о «Молодости Тургенева», написанную за три года до смерти, и, наконец, центральное и важнейшее из его сочинений в этом роде — «Замечательное десятилетие, 1838—1848». Подбор, как видно, безусловно удачный и умелый.

Редакция издания принадлежит Б. М. Эйхенбауму, снабдившему его небольшой вступительной статьей, раскрывающей социально-психологический облик Анненкова. Следовало бы только, пожалуй, развернуть эту характеристику несколько шире и подробнее, по образцу других выпусков этой серии.

*И. Сергиевский.*

**А. Островский.—«Молодой Толстой в записях современников».** Ред. и вступ. ст. Б. М. Эйхенбаума. Изд. писателей в Ленинграде. 1929. Стр. 498. Ц. 3 р. 50 коп.

О литературном монтаже можно говорить сейчас как об одном из основных критических жанров современности. Положение его настолько упрочилось, что наблюдается уже некоторая дифференциация внутри его. Наметились два типа монтажей: один с ориентацией на художественную форму биографического романа, другой — не преследующий никаких других целей, кроме популяризации определенного историко-литературного материала.

Работа Островского целиком относится к этому второму типу; поэтому принципы отбора и систематизации материала подчинены у него совершенно иным принципам, чем, напр., в известном монтаже Вересаева о Пушкине. Если там внимание автора прежде всего сосредоточивалось на эстетической действительности материала, то здесь на первый план выступают заботы о его полноте и критической выверенности. Отсюда — аппарат критических примечаний, присоединенный к основному тексту книжки и посвященный детальному анализу отдельных, наиболее спорных свидетельств. Отсюда — подробный реестр источников и предметно-алфавитный указатель, сообщающие изданию подчеркнуто-академический, учебный характер.

Все это, разумеется, менее всего следует понимать в смысле какого-либо упрека автору. Напротив, в очерченных выше рамках он справился с своей задачей вполне удачно и добросовестно, и если местами картина все же получается недостаточно яркой и выпуклой — это уже не его вина. Таков опять-таки материал, с которым пришлось ему орудовать: чрезвычайно богатый количественно и в то же время качественно равноценный — не слишком плохой и не слишком хороший.

Есть, впрочем, кое-какие возражения, которые можно отнести и на авторский счет. Внимательнее, может быть, следовало бы сосредоточиться на собственных-литературных моментах биографии

Толстого, меньшее место уделив ее психологическо-бытовой стороне, по возможности реже пользоваться свидетельствами позднейших мемуаристов (вовсе устранить их было, конечно, невозможно), в восприятии которых живое лицо Толстого нередко окрашивалось сусальными, житийно-иконописными. тонами, наконец,—просто точнее обозначить круг используемых источников. А то книжка правоверного толстовца Гусева, — какой же это «голос эпохи» о Толстом?

Однако все такого рода промахи не столь уж заметно бросаются в глаза при том общем безусловно положительном впечатлении, которое оставляет работа Островского. В особенности, если учесть, что строил ее автор вне ориентации на какую-либо определенную, заранее установленную тему, а, наоборот, стремился к тому, чтобы выявить фигуру «молодого Толстого» во всей ее полноте и сложности. При таком широком диапазоне работы трудно было избежать каких бы то ни было недочетов и неполадок.

В общем, рецензируемое издание заслуживает самой сочувственной встречи. Само собой разумеется, оно не избавляет от необходимости более пристального и систематического обследования использованных в нем материалов. Не исключает оно и необходимости монографической разработки их; в этом смысле абсолютно обосновательно то, довольно распространенное сейчас, воззрение, согласно которому литмонтаж заступает в наши дни место «одряхлевшего» жанра научной монографии. Но для рядового читателя, читателя средней литературной квалификации, оно может сыграть роль серьезной подготовительной школы, прекрасно подготавливающей к усвоению подлинных источников толстовской биографии и его художественного наследия.

*И. Сергеевский.*

**Н. Панов (Д. Туманный).** — «Тайна старого дома». Роман приключений. М.-Л. Изд. ЗИФ. 1928 г. Стр. 112. Ц. 90 к.

Само название этого романа приключений—затасканная «тайна» старого дома и слишком рыночная внешность

книги действуют на читателя предубеждающе. Знакомство с содержанием «Тайны» подтверждает все опасения. Прежде всего, здесь нет, разумеется, никакого романа (т. е. большой повествовательской формы), а есть только «приключения», изготовленные по рецептам многоликого творца желтых пятикопеечных книжечек давнего времени. Вся творческая работа Туманного заключается в том, что на лицо прославленного Пинкертона он напяливает маску с пояснительной надписью: «Замечательный сыщик охранки Ферапонт Иванович Филькин», и точно таким же упрощенным способом превращает он традиционных «похитителей брильянтов» в «организаторов подпольной типографии», которых и должен преследовать Ферапонт Иванович Пинкертоном. Дальше все идет как по маслу: Филькин старается изловить подпольщиков, подпольщики—Филькина, и только финал нарушает незыблемую традицию: победителями оказываются прежние «жертвы»: Филькин-Пинкертоном гибнет от руки своих врагов.

Для большей убедительности всего этого зрелища автор перемежает повествование небольшими «лекциями» («Во времена царской власти в каждом большом городе обязательно существовало таинственное учреждение—охранное отделение... Здесь служили провокаторы—тайные агенты, невидимые уши охранки и т. д.». «Лекции» иллюстрируются «туманными картинками»: «Закутанная фигура—это была Ольга—слегка кивнула головой и заскользила вдоль улицы...» (62 стр.). «Темная фигура—это был член комитета—вышла из-за памятника и подошла к ней...» (64). Затем: «Ее стройная фигура исчезла за кустами» (64). «Через несколько секунд худая фигура выступила из-за кустов» (65 стр.). «Вновь раздался еле слышный свист. Вторая фигура вышла из-за кустов...» (65 стр.). «Ну, товарищи, пошли, — сказал товарищ Эн. Он двинулся первый и исчез в черных кустах» (65 стр.). Туманному кажется, что читатель должен холодеть от страха: еще бы—черные кусты. Клад-

бищенские памятники и столько «темных фигур». «Роман» Туманного написан, видимо, смаху, без всякой подготовки, чрезвычайно неряшливо и беспорядочно: «Осенним хмурым утром 1904 года, в тот промежуточный (?) час, когда рабочий люд уже давно разошелся по фабрикам и заводам, а фабриканты, помещики и люди тому подобных занятий (?) пьют в постели кофе или досматривают последний сладкий сон, в узкие ворота местного (?) охранного отделения быстро прошел человек»... Почему «этот час» называется «промежуточным», и что это за «люди тому подобных занятий»? Таких недоуменных вопросов предложить автору можно много, но едва ли стоит тратить время.

*Ник. Богословский.*

**П. Низовой. — Собрание сочинений. Том I — Черноземье. Стр. 239; т. II — Язычники. Стр. 228; т. III — Повесть о любви. Стр. 232; т. IV — Золотое озеро. Стр. 231. Изд. ЗИФ.**

П. Низовой, выступивший в литературе еще до революции, сложился и оформился, как художник, лишь в позднейшие годы. Сравнение прежних его вещей и вещей последующих — наглядное доказательство талантливости Низового. Низовой много и упорно работает над собой, постоянно расширяя круг тематики и разнообразя творческие приемы. В основе он — крестьянский писатель. Но в его творчестве, в его мироощущении нет цельности. Творчество Низового, особенно в его раннем периоде, обильно окрашено в голубые тона романтики. Одна из его крупнейших ранних вещей («Язычники») целиком пропитана религиозным пантеизмом: он, как его учитель Гамсун, молитвенно поклоняется природе, радостно соприкасаясь с ней.

«Язычники» — повесть, написанная с большим, проникновенным чувством, — только этап в творчестве Низового. Вещи, следуемые за этой повестью, являются для Низового переходными ст. романтизма к реализму, от созерцательности к действительности.

В этих вещах («Крыло птицы», «Золотое озеро») уже явно чувствуется

влияние революции: здесь действуют люди широкого размаха и активной героики (сибирские партизаны), слияние же человека с природой происходит не через бинокль мечтателя, а посредством оздоровляющего и закаляющего труда. Соответственно с этим меняется и стиль писателя: мягкость и женственность красок уступает место твердости и яркости, а словесный «ажур» — уверенному и строгому железному литью.

Низовой постепенно становится художником-реалистом. В реалистическом плане написаны им лучшие его вещи: «Черноземье», «Митякино», «В луговых просторах» и др.—вещи, целиком посвященные деревне. Писатель очень хорошо знает деревню, чувствует и понимает ее. В «Черноземье» ему удалось ярко и сильно показать деревню в условиях империалистической войны, с ее обнищанием и, в то же время, настойчиво крепнущей революционностью.

Революционная деревня («Митякино» и «В луговых просторах») показана Низовым менее отчетливо: деревенская молодежь — строительница будущего — очень часто берется Низовым в агитплакатном плане: она зачастую лишена необходимого художественного полнокровия. Кроме того, некоторые из этих вещей страдают неясностью своей идеологической установки. Электрификация, осушение болот и прочие мероприятия, направленные к социалистическому переустройству деревни, расцениваются иногда писателем, как самоцель, как акт обычной хозяйственной инициативы того или иного предпринимателя.

Но и среди героев современно-деревенских вещей Низового встречаются живые, подлинные, крепко запоминающиеся люди (хотя бы комсомолка Маруся в «Митякине»). Много в этих повестях и прекрасных отдельных сцен, дающих почувствовать деревенскую современность. Тонко и картинно выписан в них и пейзаж, всегда удающийся писателю.

Творчество Низового все же не ограничено рамками деревни. Низовой обращается то к архаическому мона-

стырскому быту («Пути духа моего»), то к ледяным просторам Севера («У океана»), то к городскому обывателю («Повесть о любви»).

«Повесть о любви», как и «Пути духа моего», — наиболее неудачные вещи в творчестве Низового. Первая, выдержанная в психологическом разрезе, неубедительна, скучна и растянута. Вторая, несмотря на целый ряд метких подробностей и живых жанровых сцен, традиционна, сентиментальна и утомительна: люди, действующие в ней, — только новое (и неоригинальное) повторение заштампованных «персонажей» подобных бесчисленных повестей. Встречающиеся в той и другой повести отдельные солнечно-художественные пятна ни в какой мере не смягчают общей их неудачи.

Зато рассказ «У океана» — один из позднейших рассказов Низового — является большим и бесспорным достижением писателя. Природа далекого севера и борьба с ней бесстрашного человека, — все выдержано в рассказе с великолепной и упрямой силой, все это дышит уже не мечтательной покорностью, а дерзкой и побеждающей отвагой.

В рассказе «У океана» целиком сказались творческие данные Низового: пылкость глаза, мастерство изображения личности, органическая близость писателя к нашей бодрой, жизнеутверждающей, активной эпохе.

Теснейшее слияние с современностью — залог дальнейшего расцвета творчества П. Низового.

*Ник. Смирнов.*

**Степан Кибальчич.** — «Поросль». Повесть. М.-Л. ЗИФ. 1928. Стр. 208. Ц. 1 р. 70 к.

На обложке «Поросли» — огненно-рыжая, парфюмерная красавица с томной, загадочной улыбкой и зловещая тень неведомого убийцы с револьвером в руке. Обложка настолько же аляповата и бездарна, насколько безобразна и безграмотна сама повесть Ст. Кибальчича. Они взаимно дополняют друг друга. Нет никаких оснований заниматься серьезным и длитель-

ным разбором произведения Ст. Кибальчича. Все неизбежны «эффекты» низкопробной литературы (многократные убийства, насилия и пр.) автор пытается прикрыть актуальной темой (коллективизация деревни). Но достаточно взглянуть на описание схода или на картину пахоты, изображенную Ст. Кибальчичем, чтобы понять, насколько автор знаком с бытом деревни и психологией крестьян, которых он очень нежно именует «тихими, трудолюбивыми ласточками». Вот заключительная сцена собрания только что организованной коммуны: «Граждане, — сказал Перепелица. — Граждане, давайте поклянемся, что мы коммуну построим... Клянемся, — поднялись из-за стола коммунары... Что это, рыцарский орден или масонская ложа?.. Но опера продолжается: «Гребенкин, шагая за плугом, чувствовал, как черноземные переzoны бурлят в его душе. По черноземным полям, по лугам и равнинам, по высоким холмам и сопкам звенят переzoны, черноземные, чарующие переzoны. Выше и выше заливают душу Григория черноземные переzoны... И хотелось кричать и плакать от счастья» (!) Такой же экзальтацией охвачены все прочие пахари у Кибальчича. «У Петреско тоже брызжут переzoны—радостные, звонкие. Он видит себя великим (?!), гордым... И Перепелице не дают покоя черноземные переzoны... Эх, переzoны! Громче, громче, сильнее звоните. Вдвигайтесь в самый верх к небу» (стр. 109). Увы, никаким оглушительным звоном не поможешь делу, если нет и маленького умения видеть и писать. Совершенно невозможно без смеха читать описание последних минут умирающего от предательской пули председателя коммуны Григория Гребенкина. «Следите за развитием животноводства... развивайте, увеличивайте площадь посева... сейте чистосортные культуры... Я слышу великие переzoны» и т. д. Фальшь и пошлость сочатся из каждой строки этой повести. Замечательны метафоры и метонимии у Кибальчича: «Тонька рассмеялась здо-

ровым (!) бурлящим горошком». «Верно,—тихо б у л ь к н у л и с о б р а в ш и е с я». «Коммуна приняла белый покров» (т. е. выпал снег—Н. Б.). Издательство ЗИФ, невзирая ни на какие упреки, упорно продолжает культивировать последние сорта литературы.

*Ник. Богословский.*

**Александр Лугин. — «Джиадэ». Роман ни о чем.** (На титуле: «Джиадэ или трагические похождения индивидуалиста»). Изд. «Федерация». Артель писателей «Круг». М. 1928. Стр. 255. Ц. 1 р. 75 к.

Представьте себе книгу, где нет ни начала ни конца, ни сюжета, ни того, что хотел поведать миру автор, ни того, о чем он хотел умолчать, где одни только словесные упражнения с превращениями, где все шиворот навыворот. Ох, эти экзерцисы над смыслом и убеждениями, этот неприкрытый ничем эстетский цинизм человека, которому многое—по части литературы и философии—ведомо, и который, похоже, в свое время всего отведал и никого не поблагодарил...

Все отрицать, ни во что не верить! Да ведь это же легчайшее занятие! А. Лугину же кажется, что это почетное и трудное дело. Его затея написать тонкую, глубокомысленную книгу о том, что все на свете трын-трава, преследует одну цель: быть во что бы то ни стало оригинальным и умным до крайности. Неоригинальная оригинальность! Такие книги писались. «Опыты адогматического мышления» разве это уж такая новость, если вспомнить недавнее прошлое российской литературы?

Бедный автор хочет прикрыться Флобером (которого он усердно цитирует), что «не заслуживает одобрения то сочинение, в котором автор дает разгадать себя», наивно думая, что и его «Джиадэ» трудно будет разгадать. Бесконечные цитаты (от библейских пророков и апокалипсиса до Вл. Соловьева), игра созвучными понятиями (аптиномия и антимономия и др.), «мистериальность» жизненных фактов, ноуменальный и вполне феноменальный эротизм, египтологическая (не египетская!) тьма, пародии на необычайные в литературе

жанры, театрализация жизни, эпиграфы, подзаголовки, motto, и т. д. и т. д.— все это, в конце концов, мишура, чужой капитал, и на нем долго не проживешь. Не может остаться неразгаданным «сочинение», в котором ничего нет, кроме отрицания, холодной умственности и рассудочности. Французский рационализм и рационалистический мистицизм оказались развратителями человека, большого почитателя этих специфических направлений. Бессилие автора усугубляется тем, что он все время бьет отбой, т. е. пытается, ничего не имея за душой, злословить над людьми, которым во всем обязан и которым подражает!

Конструкция книги, состоящая из шести пародийных опусов над разнообразными литературными формами, должна ввести в заблуждение доверчивого читателя своим философским содержанием. А. Лугин провоцирует на серьезный разбор своего сочинения, чтобы, в случае осуждения, можно было ему сделать наивное лицо и недоуменно улыбнуться, спрятавшись за чистую, как бы невинную литературность своей книги. Это — главная уловка, которая разгадывается. С внешней стороны его ирония (не столь остроумная, сколь хитроумная), распространяющая свои щупальцы не только на мистическое «первое свидание», но и на гримасы современной жизни, может даже быть сочтена за достижение в истории литературных жанров. Внутри же нее зияет пустота, та самая литературность, над которой смеется и которую очень хотел бы преодолеть автор своим несомненным пародийным талантом. Только в очерке «Мимолетности» соблюдена писателем известная гармония между каламбуром и жизненным содержанием.

Вторая половина книги, где фигурирует, между прочим, герой Невменяев, ближе к жизни именно потому, что она откровенно фельетонская, сатирическая. Здесь все строится по способу, пользуемому мальчишками-газетчиками: «Вечерняя Москва! Утренний выпуск! Попытка к землетрясению в Москве!». А. Лугин в этой части удачно

выступает в роли репортера-филозофа, ищущего «землетрясения» и находящего. В первой же части «трагические похождения индивидуалиста», по причине беспринципности автора, обернулись комической стороной против него самого, предусмотревшего все возможные возражения на его книгу, но не заметившего главного: иронизировать над жизнью, поэзией, любовью может только тот человек, который имеет убеждения.

«Джиадэ» — пища и не для богов и не для простых смертных. Она найдёт поклонников у литературных снобов и гурманов, которые не имеют ни настоящего, ни будущего, а довольствуются сакраментальной «египетской маркой», заменяющей им жизнь, борьбу, творчество.

*Н. Замошкин.*

**Эльза Триоле. — «Защитный цвет».** Роман. Изд. «Федерация». Артель писателей «Круг». Стр. 169. Ц. 1 руб. 25 коп.

«... Слезы моросили из глаз Люсиль...». «... Но Гию боролся, хотя знал, что Варвара понимает больше него, потому что у нее умное сердце...». «Взошел чай на все благополучные английские столы...». «Люсиль живым артикль де Пари сидела на сером диване...».

Что это, неудачный перевод французского романа? Очередная новинка иностранной литературы? Но как ни странно, эта книжка написана порусски писательницей, выступающей уже не первый раз, и издана советским издательством. Но, может быть, приведенные выдержки — случайные ляпсусы, может быть, это все же интересный роман, где развернуто широкое полотно, даны меткие характеристики? Вот образцы: центральное лицо романа — Люсиль. Это она, оказывается, обладает «защитным цветом», «маленьким ростом и розовостью». «В ее механизме не было изъяна. Ни страстей, ни болезней, ни раздумья... Все ее мысли оставались недодуманными... Она никогда не догадалась удивиться, откуда берутся дети. Она даже не знала, что она хороша собой... Ее поле зрения было строго ограничено полным благополучием, здоровьем, день-

гами... У этой идеальной героини был муж, занятый женщинами и делами, и любовник Конрад. Последнего Триоле характеризует так: «Конрад был из породы автобусов, профессиональных давил. Перчатки, паспорта, поезда и войны были для него убедительны, и он убежденно хлопотал». (Невразумительно, но зато оригинально:)

Вторая героиня романа, подруга Люсиль — Варвара, драматическая фигура, русская по происхождению, девушка без определенного социального положения, которая, судя по концу романа, кончила свое существование в узкой улице Марселя, где раскрашенные женщины принимают матросов в дни прибытия в порт паромов.

Впрочем, что такое герои? Пусть они будут велики или ничтожны, жалки или героичны, но и с ними можно построить увлекательный сюжет, можно зажечь роман огнем большой идеи. Но в книжке Триоле не приходится искать ни глубины, ни содержательности, ни даже связности. Писательница напоминает героиню своего романа, которая «... не вдумывалась, все ее мысли оставались недодуманными...».

И все же, несмотря на всю бессодержательность, в книжке Эльзы Триоле есть нечто трогательное, подкупающее: детскость, непосредственность впечатлений от того маленького мирка, который наблюдает она. Внешний мир, мир вещей изображается писательницей одушевленным, сказочно-андерсеновским. Может быть, Триоле следовало бы попробовать писать рассказы для детей? Как бы то ни было, роман ей не по силам.

*Анна Шафир.*

**Я. Ильин. — «Жители фабричного двора».** Изд. «Молодая Гвардия». 1928. Стр. 168. Цена 85 коп.

Книга эта родилась так: редакция «Комсомольской Правды» проводила в свое время смотр ячейки Краснохолмской фабрики. Автор, как видно, во время смотра дневал и ночевал на фабрике. И в результате «на основе живых записей, бесед и зарисовок» автор сле-

лал попытку показать «живых людей, населяющих наши фабричные корпуса». Книга состоит из замкнутых, несвязанных друг с другом глав, при чем каждая глава посвящена характеристике того или иного рабочего. Очерченный однажды характер больше, как правило, в книге не появляется. В книге почти нет, таким образом, соприкосновения, переплетения и столкновения изображенных людей: показанные образы напоминают портреты, рамами отделенные друга от друга. Конечно, эта статичность образов снижает художественную силу книги.

Однако, несмотря на разорванность и изолированность образов, они все же представляют собой известную систему, организованную вокруг единого стержня. Этот стержень—точка зрения автора, обеспечивающая единство основной идеи произведения.

«На какого червячка ловить живых людей. Как стать ловцами человек?» — вот основной вопрос, волнующий автора.

И автор, показывая разные типы рабочих, пристально вглядывается в каждого из них, ища ответа на один и тот же вопрос: «Какие интересы у этого парня, любителем какой работы он может стать и что мешает ему приблизиться к фабричной общественности?».

Почти в каждом из этих людей он находит своеобразную, часто неожиданную «зацепку», почти в каждом он открывает просвет, сквозь который может вырасти тяга к культуре и общественной активности. И нередко порывы этих людей вянут преждевременно из-за нечуткости окружающей среды, черствого бюрократизма многих руководителей и т. д. Таких бюрократов не жалеет автор. «Пафосом обличительства» дышит он, когда рисует тип бюрократа.

Картины быта и среды удались Ильину лучше «живых людей». «Палаты», в которых живут рабочие, фабричный двор, на котором играют дети, картины «пьянки» — все это неизгладимыми чертами врезывается в память. Это и есть «черствая почва неплодной земли». Ильин показывает «примирившихся»

комсомольцев, которых «не волнуют пьяные обовшивевшие люди, заброшенная детвора, исковерканные девушки, хулиганившие от безделья парни».

Наша литература часто впадает в две крайности: либо разводит «идиллию», потокой расписывая современность, либо впадает в истерику, размазывая картины разложения и перерождения.

Ильин избег этих двух крайностей. В нем горит «святое недовольство», но это чувство приводит его не к истерике и пессимизму, а лишь обостряет в нем желание искать способов переделки жизни, искать «зацепок» и в быту и в психике каждого рабочего.

Это соединение «святого недовольства» с оптимистическим энтузиазмом строителя является главной «находкой» Ильина, основным его вкладом в пролетарскую литературу.

А. Бек.

**Сальвадор де Мадариага. — «Священный жираф».** Роман. Перевод с англ. А. В. Кривцовой. Предисл. Евгения Ланна. ГИЗ. М.-Л. 1928. Стр. 267. Ц. 2 р. (в переплете)

Сальвадор де Мадариага — полуиспанец, полуфранцуз, поэт, прозаик и эссеист, пишущий по-испански и по-английски, профессор Оксфордского университета по кафедре испанской литературы. В «Священном жирафе», своей первой книге романического типа, он пробует силы на трудном жанре социальной сатиры.

При этом он пользуется испытанным приемом — показывает несуществующую страну. Читатели, которым совсем недавно довелось побывать на «Острове Пингвинов» А. Франса, попадают в африканское государство Эбонию. Дело происходит в 6922 году; под «цивилизованным миром» понимаются лишь страны, населенные народами черной расы; Европа давно отправилась по стопам Атлантиды, и от белых только и осталось, что жестянка из-под консервов, переплет сборника стихов, да несколько картин и скульптур. Это основное положение романа обрастает немалым количеством других фарсовых ситуаций, памфлетных мо-

тивов, из которых значительное место занимает классическая «феминизация» мужчин и «гоминизация» женщин (в «негритянской цивилизации» руководящую роль во всех областях интеллектуальной и общественной деятельности играют женщины; мужчины— «слабый пол», созданный для любовных утех, возни с детьми, домоводства, болтовни о нарядах и сплетен). Нужно заметить, что, давая пародию на современный буржуазный мир, издеваясь над такими чертами его, как милитаризм, автор не избежал совпадений в ситуациях и с другими современными памфлетами (напр., с гораздо более слабой, чем «Священный жираф», «Триконией» ученика А. Франса—Мишеля Кордэ).

Во всяком случае, пародия получается убедительная, и читатель, смеясь над нелепостью разных сторон эбенской культуры, посмеивается над английским парламентаризмом и священной привычкой к трону, над религией, богом и его сладчайшими чиновниками, над институтом буржуазного брака и над теми, кто борется против равноправия женщин, над «расовой самовлюбленностью» белых, «захватническим рефлексом» капиталистических государств и научными методами некоторых ученых гробкопателей.

Вместе с тем сам автор, видимо, сознательно ведет повествование с ироничным педантизмом эрудита-скептика,—и последовательности, обстоятельности, с которыми он сочиняет мифологию и фольклор Эбонии, читатель обязан одному из самых остроумных мест «Священного жирафа».

Перевод выполнен литературно. Евг. Ланн в предисловии знакомит читателя с автором романа.

*Я. Фрид.*

**Сигрид Ундсет.**—«Обездоленные». Перевод с норвежского М. М. Дьяконова. ГИЗ. 1928. Стр. 241. Ц. 1 р. 20 коп.

«Обездоленные» — это люди какой-то глубокой провинции маленькой страны. Скромность, страдательная душевность и отсутствие каких бы то ни было перспектив владеют этими людьми. Все эти служащие, портнихи, гувернантки представляют себе только одно возможное счастье: удачное замужество или женитьбу, небольшую (они достаточно скромны) обеспеченность— и на этом все кончается в их небольшой и несчастной жизни. Несчастной потому, что автор изображает только людей покинутых, неудачников, по нашей недавней терминологии «лишних».

Он знает и любит своих героев, но от этого его книга не становится веселее, лучше сказать, она чрезвычайно грустна и безысходна. «Слезы фрекен Смит Телефеен неудержимо капали в воду для мытья посуды. Она вряд ли и сама знала, почему она чувствовала себя такой безнадежно несчастной».

«То, что жизнь оставила от сердца Антона Симонсена, горело и щемило»—такие концы обычны в рассказах Ундсет.

Но автор неплохой художник. У него есть несомненное искусство пользоваться самой обычной жизненной ситуацией и на ней строить рассказ. Точно также ему легко дается передача душевных состояний, связанных с этой ничем не замечательной обыденностью. В этом отношении, как и в некоторых других, его можно сравнивать с Чеховым. Вся же книга целиком по своему пейзажу кажется принадлежащей какой-то другой исторической эпохе, примерно, 80—90-м годам прошлого столетия. Это—типично скандинавская литература, мягкая, грустная, проникновенная, теперь скучноватая своей замкнутостью в границах обособленной личной жизни. *К. Локс.*